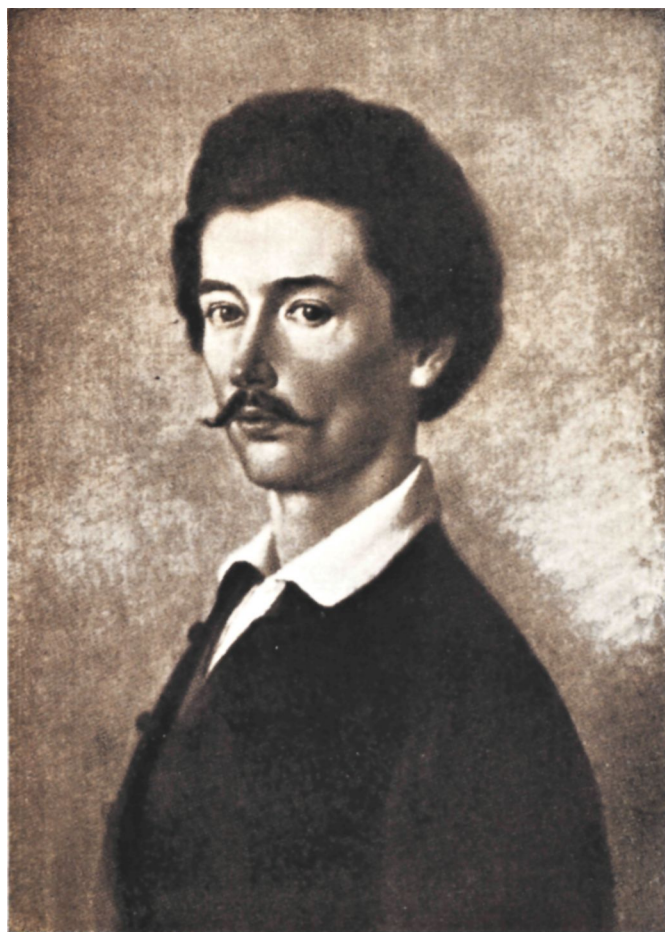


ДЮЛА ИЙЕШ



Шандор
Петерфи



Шандор Петефи. Работа Ш. Петрича Орлаи.

ДЮЛА
ИЙЕШ

Шандор Петефи

Перевод с венгерского
Е. МАЛЫХИНОЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1972

8И (Венг.)
И40

Оформление художника
В. ХОДОРОВСКОГО

$\frac{7-2-2}{245-72}$

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

1 января 1973 года исполняется 150 лет со дня рождения Шандора Петефи. В огромном море литературы о Петефи книга замечательного венгерского поэта Дюлы Ийеша — одна из самых интересных. Это и скрупулезное научное исследование биографии Петефи, и блестящий литературоведческий анализ его стихотворений, и вместе с тем захватывающий, исполненный огромной лирической силы роман, написанный стремительно, на едином дыхании.

Двадцать шесть лет, отмеренных Петефи, обретают живую плоть под пером Ийеша, становятся конкретными, различимыми днями, часами, даже минутами, на которые зримо накладываются, наполняя, насыщая их реальной жизнью, и тяжкий груз перенесенных поэтом ударов и невзгод, и счастливое гордое бремя огромного таланта. Из будней, из прозы жизни, из повседневных забот и дел вырастает постепенно могучий образ поэта-революционера, тысячью неразрывных нитей связанного с народом, посвятившего всю свою жизнь борьбе за свободу, за равное право на счастье всех людей на земле.

Вдохновенный портрет, созданный Ийешем в 1936 году, стал поистине символическим в обстановке хортистской Венгрии, начавшей свое существование с жестокого контрреволюционного террора, а в 30-е годы неудержимо покотившейся к фашизму. В такой обстановке Ийеш воспел не просто поэта Петефи, он вступил в бой за Петефи-революционера. И это было актом высокой гражданственности. Ибо уже к 1923 году, когда исполнялось 100 лет со дня рождения поэта, искусственное замалчивание Петефи окончилось — официальная критика вдруг «открыла» его, признала и с неожиданным энтузиазмом стала курить ему фимиам, снисходительно «прощая» революционные «заблуждения». Ийеш своей книгой с редким мужеством восстал против злостных фальсификаторов,

вслед за Эндре Ади утверждая кристальную чистоту нравственно-идейного облика Петефи, самого последовательного революционера из всех, участвовавших в венгерской революции 1848 года — революции демократической и национальной одновременно, пожелавшей австрийскую монархию. «В Австрии, за исключением Польши и Италии, — писал Ф. Энгельс, — немцы и мадьяры в 1848 году... взяли историческую инициативу в свои руки. Они — представители *революции*»¹.

Некоторые страницы книги звучат по-настоящему трагично: Ийешу, потомку, отделенному от его героя почти столетием, особенно больно было сознавать, что прекрасные надежды и светлые мечты Петефи не осуществились — и не могли осуществиться в реакционной хортистской Венгрии. Вновь и вновь напряженно напоминает он своим читателям о прозорливости Петефи, страстно призывавшего к народной войне, о той огромной революционизирующей роли, которую сыграли его стихи в Венгрии 1848—1849 годов.

Крупным планом рисует Ийеш в своей книге портрет Петефи — человека, поэта, гражданина.

Книга Дюлы Ийеша «Шандор Петефи» многократно издавалась в нынешней Венгрии, переведена на многие языки мира.

В начале 60-х годов Дюла Ийеш значительно расширил ее, органически вплетая в текст лаконичные, но емкие характеристики упоминаемых по ходу сюжета исторических лиц, а также щедрее снабдив ее цитатами из стихотворений, дневников, писем самого Петефи и воспоминаний его современников.

Настоящий перевод сделан по изданию: Illyés Gyula, Petőfi Sándor, Szépirodalmi könyvkiadó, 1971.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 6, стр. 184.

ШАНДОР ПЕТЕФИ

Голоса великих поэтов не раздаются неожиданно — словно божественное откровение, словно гром среди ясного неба. В жизни народов можно проследить издали начало мучительных схваток, предшествующих рождению великого сына. Нация, большая семья, заранее готовится к событию.

Она загодя обучает няnek, которые будут ухаживать за новорожденным, вскармливать его родной речью, очищает и самую речь. Затем воспитывает для него учителей-наставников, заботится об учебниках, подбирает и добрых дядюшек с их подарками и воркотней. Она находит для него верных друзей и достойных соперников, чтобы первые оберегали его, вторые же вселяли стремление к победе. Вся страна в такое время пребывает в волнении.

Ибо при том совершенно неизвестно, родится ли все же долгожданный младенец. И если родится, то достигнет ли зрелости. Уж сколько раз судьба венгерского народа оборачивалась так, что только пророку и было под силу вывести этот народ из его убожества. Обычно пророк находился. Но сколько раз этого так и не случилось. Народ стоял перед новой дорогой, ждал слова и знака. И ждал напрасно. Тот, кому история предназначала голос и разум для великого подвига, не объявлялся. Быть может, его в пятилетнем возрасте задушила дифтерия. Или он так и не сумел выкарабкаться из темноты, в которой прозябали миллионы народа венгерского, и до смертного своего часа оставался пастухом, томимый неясным внутренним беспокойством, которое сделало из него разве что бездомного бродягу. Его плоть родилась, но дух так и не выбрался на свет, ибо о нем не позаботились, ибо нация была ему плохой матерью.

В подобном волнении жила Венгрия и на заре своего национального возрождения.

Причина волнения, лихорадочной тревоги и на этот раз была та же, что всегда: устоит ли страна в великом соревновании народов нового времени? Найдет ли в себе силы для обновления? Сохранится ли вообще эта нация с ее великим прошлым, не смертью ли грозит ей будущее? В сущности, венгерский народ лишь начал приходить в себя после ужасающего четырехвекового напряжения всех сил, благодаря которому удалось удержать равновесие в Европе турок, — под конец уже только собственным телом преграждая путь врагу, вместе с ним катаясь по земле, но не давая ни вырваться, ни продвинуться дальше. Чего бы это ни стоило. А цена была велика: на трех четвертых территории страны, в самых цветущих ее краях, города и села были разрушены до основания, плодородные земли обратились в болота, девять десятых населения погибло. Но теперь и горстке венгров, оставшихся в живых, грозила новая, поистине неожиданная, опасность. Кое-кому не терпелось с корнем выкорчевать из цветущего сада народов венгерскую нацию — как же, ведь она не только не имеет родственников вокруг, но и говорит-то на таком языке, которого, кроме нее самой, никто не понимает — «даже немцы», как писал некий возмущенный ариец. Старую добрую присказку: «Венгрия — щит христианского мира» — повторяли уже одни лишь венгры, с усмешкой самоиронии в уголках губ, покачивая при этом головою, как бы говоря: и стоило же! Есть люди, которые уже не в состоянии верить...

Час, с которого начинается история, рассказанная в этой книге, как будто сам призывает нас оглядеться, — впрочем, с подобного обзора нередко начинаются литературные биографии. Итак, Сильвестрова ночь, канун Нового года — в такое время легко представить себе кого угодно, ибо каждый в эти часы говорит или записывает то, что оставляет след надолго. Самый значительный поэт страны Даниэль Бержени¹, — представим себе его, — беспокойно расхаживает взад-вперед по своей никлайской усадьбе. Ему сорок два года. Он отменный хозяин и, конечно, уже подвел итоги старому

¹ Краткие сведения о писателях и исторических деятелях Венгрии даны в конце книги.

году: владения его в порядке. Но тем безнадежнее другое — то истинное его дело, которому он посвятил жизнь: судьба венгров. На вопрос о будущем Венгрии Бержени ответил бы с горечью. Дворянство, которое он отождествлял с венгерской нацией вообще, изнежено, испорчено, недостойно своих предков. Народ же, от которого так много ожидают лучшие люди Запада, — что он такое, венгерский народ, крепостное крестьянство? Невежественный, нерадивый, отсталый люд, даже в земледелии не знающий толку... уж Бержени-то насквозь видит крестьян, имеет возможность наблюдать их близко. Они — спасители гибнущей отчизны? Мощный вздох, — продолжим эту самую собой рождающуюся игру, — сотрясает раздобревшее тело Бержени, и он горько машет рукой.

Двадцатидвухлетний Михай Вёрёшмарти проводит этот вечер двумя уездами дальше, в Гёрбё Толненского комитата¹, в замке вице-губернатора Чефалваи. Он полон надежд... Но если бы кто-нибудь из веселой компании, встречающей Новый год, загнал его в угол настоячивыми вопросами, то выяснилось бы, что верит он лишь в себя самого. Вёрёшмарти покинул родной Бержени в ноябре, Гёрбё для него — лишь полустанок по дороге к Пешту... Он полон грандиозных планов, он готовится к великому деянию: хочет встряхнуть нацию, которая в его глазах, глазах сына бедного дворянина, управляющего чужими именьями, состоит уже не только из крупнопоместных дворян. Встряхнуть нацию — ради чего? Ради пробуждения самосознания, способности к действию, наконец! Какому действию? Там будет видно, — да это, может быть, уже и не его забота. Как все те, кем движут истинно великие побуждения, он готов считать себя лишь неким предтечей, ставит перед собой только ближайшиие, непосредственные задачи. Потому-то он и полон надежд. Ведь если ему удастся осуществить свою миссию, то найдутся и те, кто пойдет дальше него.

Тридцатидвухлетний Иштван Сечени в этот день записывает в дневник несколько фраз о коннозаводстве. Надо же хоть чем-то расшевелить, пробудить к деятельности аристократию — вот он и занимается этим. Ну, а Кошут, которому в то время всего двадцать один

¹ Комитат — единица административного деления (аналогичная губернии, области). Здесь и далее примечания переводчика.

год? И все молодые люди, которые тоже готовятся — сами еще не зная точно, к чему именно? О чем они думали, сдвигая новогодние бокалы, когда под горячительным воздействием вина каждый размышляет о чем-то большем, нежели собственная судьба? «Пора! Сейчас самое время кому-то воплотить всеобщие стремления, стать их глашатаем!» — вероятно, именно таковы были их мысли. И совсем не обязательно они имели в виду при этом себя или только себя. Молодость бескорыстна.

А о чем мог думать Меттерних, которого и старики и молодые почти единодушно именовали кратко «сатанною Европы»? Ему, недалекому политику, но хитрому дипломату, известно больше, чем кому-либо. Он холоден и бесстрастен, он почти особняком стоит на этом смотре высоких порывов. Допустим, ради единства картины, что и в этот час он раздумывает о том, как ему задушить Венгрию. Он отчетливо видит будущее. Знает, что все эти «национальные пробуждения», которые охватив сперва другие страны Европы, хлынули теперь в Монархию, — лишь первый симптом болезни, именуемой «свобода». Знает, что последует за этим, ему известна история Франции. Идея «обновления» более всех терзает мадьяров. Что-то будет, если оттуда она распространится далее, если венгры, осиянные новой идеей, соберут вокруг себя прочие малые нации? Тогда конец австрийской гегемонии, конец самой династии.

Думал о чем-то, надо полагать, и милостивый отец народов, тридцатилетний Фердинанд V, тогда еще лишь престолонаследник, но, как свидетельствуют вполне достоверные письменные медицинские документы, уже совершенно слабоумный?..

«Кто же будет опорой бедному нашему сыночку?» — такими думами мучились, вероятно, старая крестьянка и еще более старый крестьянин в Салонте, с тревогой встречая Новый год в жалком своем глинобитном домишке. В ногах их кровати лежал хилый пятилетний мальчик; родители не подозревали, конечно, что и ему на роду написано стать великим поэтом, но смутно угадывали другое — что поздний их отпрыск будет до конца дней страдать тою же болезненной чувствительностью, которая тревожила их, когда он был еще не Янош Арань, а всего лишь маленький Яношка. К тому времени, как стать ему взрослым, когда мужчина всерьез

начинает прислушиваться к советам отца с матерью да верного друга, они, родители, будут уже укрыты землей. Найдется ли у их сына истинный друг, который заменил бы ему родного брата?

«Что будет с нами?» — с тоскою думали во всех уголках страны, в тысячах и тысячах крестьянских лачуг те, кто без сна ожидал наступления Нового года. Каждого тревожил и мучил лишь наступающий год, но всей этой тревоги и муки, собранной вместе, с лихвой хватило бы даже на десять миллионов лет.

В городах и селах гудели колокола, начинался новый, 1823 год. Этот колокол — как удар гонга перед поднятием занавеса: с него и начинается наш рассказ.

В небольшой алфёльдской деревушке, Кишкёрёше, в крестьянском доме, который ничем не отличался от множества таких же крестьянских жилищ, раздался вдруг мучительный вопль: у маленькой черноволосой женщины начались схватки — она рожала. И сквозь стоны причитала по-словацки. Это в обычной жизни она говорила по-венгерски, но молитва и слезы, требовали слов, родных с детства.

Муж роженицы слушал ее стоны из кухни. Слова, бессознательно срывающиеся с его сомкнутых тревогой и беспомощностью губ, были венгерские слова.

Наконец из комнаты, раздался детский плач, интернациональная жалоба младенцев на резкий воздух, на холод, на жизнь, на то, что явились они на свет. Родился мальчик, герой этой книги. Мать говорила потом, что весь-то он был с кулачок. Его положили на салфетку, завязали узелки и взвесили на рыночном безмене; все сочли, что он слишком легонький. Потом быстро выкупали, добавив в теплую воду немного спирта, что, по мнению кумушки-соседки, должно было помочь младенцу выжить. Крошечный человечек с красным морщинистым лицом — точно такой же, как любой другой новорожденный младенец... Но это был он — тот, кого ждали, кого избрала история. Кем-то он станет? Пускай мы знаем это — и все же еще раз с волнением проследим до конца его судьбу. Я счастлив, что могу писать о нем.

Пережившая немало испытаний нация, в быстром, дух захватывающем темпе обучает своего сына. Его ожидает гигантская задача: пробудить национальное сознание простого народа — миллионов обездоленных людей, а нацию — отсталую, вернее, насильственно остановленную в своем развитии нацию, — ввести в круг народов мира. И совершить это единственно силою слова. Ему надлежит познать свой народ, а затем и нацию в целом. Увидеть же блаженный край будущего, направление к коему он будет указывать, обетованную землю всенародного братства, дано ему лишь в грезах. И еще — он должен обучиться языку богов.

В венгерской поэзии нет второго такого поэта, пред которым судьба столь щедро выкладывала бы все, для поэта необходимое. Каждый поворот его частной жизни, начиная с самого детства, — это урок, пользу из которого он извлечет, став поэтом. Или самые эти повороты и сделали его поэтом? Мы можем сколько угодно играть словами, но извечный вопрос — где та минута, когда кто-то из великого сонма обыкновенных смертных вдруг становится поэтом, — нам не разрешить все равно. Как не узнать и того, что же явилось причиной столь чудесного превращения. Да это и несущественно. Поэт, о котором начинаем мы рассказ, был избран на эту судьбу среди сотен и сотен тысяч; был избран, быть может, уже в материнском чреве. И события, с ним происходившие, необычайны потому, что происходили именно с ним. Я могу, если угодно, назвать все это закономерным и необходимым, а могу представить игрою случая и даже чудом.

В том географическом месте, где разворачиваются события нашего рассказа, и в ту эпоху нации доверяли своим певцам особую роль. Да он и сам, наш герой, уже зрелым поэтом, ровно двадцать четыре года спустя, скажет об этом так:

В пустыне знойной страждем мы,
Как Моисей с его народом, —
За божьим огненным столпом
Он шел по землям и по водам.
А ныне огненным столпом
Поэт людей ведет в пустыне....

(«Поэтам XIX века». Перевод В. Левика)¹

Но что она такое, эта нация, которую вел за собою «огненный столп» — несомненно один из величайших для своего века? И кто вел ее прежде? Откуда она взялась?

В то, время, когда появился на свет наш герой, происхождение венгров было покрыто густым туманом. Одни ученые называли венгров потомками шумеров — действительно, немногие сохранившиеся до нас шумерские слова поразительно естественно звучат для мадьярского уха; другие находили родство с басками, с японцами — ибо языки это агглютинативные, как и венгерский, они так же приращивают суффикс за суффиксом к корню слова. Крестьянство называло себя народом короля Аттилы, — впрочем, начиная со средневековья, той же точки зрения придерживались и книжники, пока западные их коллеги не дали им понять, что Аттила хотя и был, очевидно, достолавный король, но слава его на западе воспринимается несколько иначе, да и воины-гунны в глазах европейских народов — вовсе не те стройные красавцы и мужественные герои, какими жили они в воображении венгерского народа и венгерских поэтов.

Научное выяснение таинственных истоков происхождения венгерского народа стало, можно сказать, серьезной духовной потребностью нации примерно в школьные годы героя этой книги, оказав влияние на целое поколение и, конечно же, на него самого: вот почему об этом следует сказать подробнее. Начавшаяся тогда исследовательская работа полностью не завершена еще и

¹ Здесь и далее стихотворения Петефи цитируются по четырехтомному собранию сочинений поэта (Гослитиздат, М. 1952—1953), за исключением стихов в переводах Н. Стефановича, сделанных для настоящего издания.

пояныне. Достигнутые до сих пор результаты (вкратце) состоят в том, что, как англичане и французы, как многие другие жизнеспособные, сильные нации, венгры — мадьяры — также обязаны своим упорством и цельностью слиянию двух народов. Только их «галлы» и «франки» столкнулись, а затем слились воедино значительно дальше от нас, нынешних венгров, — как в пространстве, так и во времени.

Из китайских летописей мы знаем, что в течение пяти-шести столетий, примерно на середину которых приходится начало нашего летосчисления, на равнинных просторах, раскинувшихся западнее Великой стены, жил воинственный конный народ, который китайцы по-своему называли тинь-линь, то есть «беличьи шкурки», — потому ли, что они одевались в шкуры, или потому, что приходили торговать пушниной к сынам Дракона. Сам этот народ, имевший уже и государственное устройство, называл себя по-своему огурами, — так же именовались кстати и древние гунны. О культуре их свидетельствуют путешественники-арабы, а также собственные их верования, отражавшие довольно сложное представление о мире с элементами зороастризма.

На поросших травой равнинах белки не водятся; для них нужен лес. В более северных лесистых районах Европы и Азии и тогда уже обитали финские племена, почти не знавшие государственного устройства: в лесу не нужны ни короли, ни воины, защитой там служат деревья. Вероятно, у этих мирных обитателей леса и добывали беличьи шкурки огуры, легко одолевавшие пространство на быстроногих своих конях. Постепенно племена эти сошлись друг с другом так близко, что когда огуры поднялись однажды и, гоня все свои табуны, ураганом ринулись на запад, то вместе с ними ушло и большое финское племя в необычайный конный поход, который окончился лишь пять столетий спустя на придунайских просторах между Карпатами и Альпами, — после каких впечатлений, переживаний, приключений! Два народа смешали не только кровь, но и язык: кровь — в пользу огуров, язык — в пользу финнов. Первый народ был отец, второй — мать, и позднейшие их потомки представляли одних крупными, смуглыми, других же — невысокими и светловолосыми. Религия, восходящая к Заратустре, смешалась с верованиями героев Калевалы. И, как милый знак верного союза, они

соединили свои имена. На языке финского племени человек назывался «манси», на языке огузов — «эри». Отсюда вышло «манси-эри», затем «мадизри» и «мадьяр», как называет себя и сегодня народ, известный в европейских языках как ойгур, унгар, венгр, хунгарус, онгура.

Когда родился поэт, население Кишкёрёша в большинстве своем было словацким. В разоренной турецкими войнами и национальными восстаниями Венгрии австрийский императорский двор всюду, где только мог, поселял невенгерские нации, надеясь, вслед за оружием и кандалами, хоть этим сломить никак не желавших вымирать венгров. Работящие и отчаянно бедные словаки попали в Кишкёрёш каких-нибудь сто лет назад; мясник, что был даже их беднее, — Иштван Петрович, отец младенца, — обосновался здесь ровно за год до рождения своего великого первенца.

В лютеранской церкви, где крестили новорожденного, — крестили второпях, едва он явился на свет, так как повитуха боялась, что ему, такому хилому, не прожить и дня, — тянули псалом по-словацки. На этом же мягком, струящемся, как горная речка, языке рассказывали женщины друг дружке о новорожденном, который, на счастье, рос и креп от недели к неделе. Но недолго довелось им его лелеять. Малышу было двадцать два месяца от роду, когда пришлось кишкёрёшцам с ним расстаться. Петровичи покинули Кишкёрёш, перебрались в Фельдьхазу.

Это был зажиточный, чисто венгерский крестьянский город, жители которого любили похвастать своим происхождением. Венгры? Не просто венгры, а к тому же еще куны, куманы, половцы! — то есть более венгры, чем сами венгры. Да и среди кунов на особом счету: они ведь из племени малых кунов, смешавшихся с ясами, что несомненно делает их первым народом среди всех, населяющих землю! Очень любят они поминать о том, что испокон веков жили свободно как ветер, в седле словно родились, и не было конца-краю их владениям. Еще охотней поминают древнюю родину, достопамятного Аттилу. Не удивительно, ведь они прибыли на новую родину с добрым трехсотлетним опозданием; глаза их так и сверкают отвагой, смуглые лица тускло светятся под шапкой черных волос — родственники они гуннам или нет, дело десятое, а вот что красивы, это верно,

и сами они о том знают. Пусть же радуется удаче всякий, кого они приняли к себе, пусть чувствует, какая великая честь — поселиться здесь, в сердце мира.

Именно эту землю изначально ощутил под ногами первенец Петровичей, здесь сделал он свои первые шаги, здесь выговорил первые осмысленные слова. Он был прав, когда позднее, восставая против непреложности фактов, против обыденной бездушной истины, называл своей родиной Фельэдьхазу, а не Кишкёрёш. Это был его первый бунт, вылившийся в бунт против националистического узколобого панславизма. В те времена (и это правильно!) нацию можно было выбирать столь же свободно, как и возлюбленную. Ему, родившемуся, чтобы изменить действительность, ему ли было не восстать против действительности? Вернее — против ее видимости? Ведь истинная связь — не комя земли, даже не кровь, а связь душевная. Его душа родилась в Фельэдьхазе, и родилась венгерской.

Хотя бы потому, что и первые свои слова он произносит на венгерском языке. Его дорогая мать Мария Хруз, в юности — приветливая служаночка, совсем притихла в новом для нее, шумном и пестром окружении; теперь она даже говорила-то на людях лишь тогда, когда ее спрашивали; но сына своего она, мягко улыбаясь, старательно учит венгерским словам. И в мозгу ребенка образ пушистого зверька с длинным хвостом и мягкими подушечками лап, в которых спрятаны острые коготки, сливается в особенный набор звуков, в чмокающее слово: «мачка», а певучее слово «кенир»¹ сразу сообщает всему его существу, что пришла пора еды. Но Мария Хруз — мы знаем это от Араня — не всегда чисто выговаривала венгерские слова. Так кого же благодарить нам за то, что венгерский язык покорила поэтичнейшего среди поэтов девятнадцатого века?

Безвестного дядюшку Гергея Фазекаша, который выстругал для мальчугана дудочку; дядюшку Йожефа Тери, который иногда сажал его рядом с собой на скамейку; и, конечно, соседок Вицу или тетушку Мари, которые нет-нет да и сунут ему яблоко в руку, или дядю Бенедека Варгу, впервые похвалившего мальчика за сообразительность. Вот она, занятая детская «историчка», которая принесла ему первое общее одобрение.

¹ M a c s k a — кошка; k e n y é r — хлеб (венг.).

Мальчик сидел в доме у Варги, может быть, на свадьбе; собралось много народу, он тихо подремывал; когда же католические священники, посидев среди гостей, удалились, он сказал вдруг: «Ну и попы! Каждому жену дают, сами без жены живут». В словах этих слышался ритм, прозвучала и рифма. Первое озарение стихом, первый проблеск. Ему было шесть лет.

Он худощав, строен. Лицо тускло-смуглое, совсем как у кунов, волосы черны как смоль, глаза темные, глубокие — все это он унаследовал от матери. Но глаза Марии Хруз всегда мечтательно устремлены вдаль, тогда как у него полыхают вечным неутолимым огнем. Этот сверкающий взгляд у него от отца.

Иштван Петрович, в противоположность жене своей, человек многоречивый, живой и упрямый. Сорок лет спустя некий благодарный кун так пишет из города, удостоенного чести именоваться родиной поэта: «...и поныне еще многие помнят невысокого ростом, кряжистого краснощекого мясника, у которого были отличные лошади и овчарки; помнят и худощавую, малого роста и слабого сложения супругу его... а также смуглокожего мальчонку, частенько обходившего соседей своих и получавшего от них то кусок хлеба с маслом, то красное яблоко». Семья мясника пока довольно бедна. Однако глава ее, даром что в этих краях он пришлый, чувствует себя превосходно. Несмотря на славянскую фамилию, ни в облике, ни в характере его нет ничего, вызывающего традиционное представление о славянце. Он родился в Картале, чисто венгерской провинции, там же вырос и впитал в себя истинно венгерский гонор. Хорошо владел только венгерским языком и, кажется, даже гордился этим. Более поздние изыскания показали, что при желании Иштван Петрович мог бы похвалиться благородным, и притом именно венгерским, происхождением. Он ничем не отличался от сыновей Аттилы. Легко впадал в ярость и тогда был скор на расправу. Особенно, когда его попрекали тем, что он не мадьяр.

Таков же и сын его Шандор, быстрый и вспыльчивый, однако умеющий зачастую вовремя подавить взрывы ярости, словно подчиняясь какому-то внутреннему голосу — голосу мягкой по натуре бывшей служанки. Впрочем, подавленное раздражение не исчезает бесследно, упрямство рождает упорство.

Целыми днями он прыгает, кричит, болтает без умолку и бывает откровенно счастлив, когда ему удается рассмешить окружающих. Сияя, садится он к семейному столу, готовый и здесь продолжить веселую болтовню, но у Иштвана Петровича суровые взгляды, он не любит, чтобы в его присутствии попусту трепали языком. Среди взрослых ребенку положено молчать. Мальчик мрачнеет, получив выговор; пяти-шести таких замечаний ему довольно, чтобы долгие годы при отце умолкать мгновенно и сидеть со сдвинутыми на переносье бровями и , — он так близко принимает все к сердцу!

Он ловок и храбр в играх, мускулистые ноги быстро несут его легкое мальчишечье тело; в беге он опережает всех. Его длинные руки дальше всех бросают мяч. До тех пор, пока кто-то из детей вдруг заметит, что он бросает мяч левой рукой, и начнет смеяться над ним: «Левша, несправедная душа!» Больше Шандор в этой игре не участвует. Дети поют. Он радостно подпевает изо всех сил. Из горла вырывается нескладный вопль. Товарищи перестают петь и насмешливо на него смотрят: ишь куда его занесло, совсем нет слуха! С тех пор Шандор уже не поет. Никогда.

И становится все менее разговорчив. В чем причина такой чувствительности — другой бы и внимания не обратил на подобные пустяки, а он от малейшего замечания словно немеет? Или были к тому более веские причины? Едва начав учиться в школе, он ходит с затуманенным лицом, испытывая чувство постоянной оскорбленности, словно изгой. Ребенком, подростком он не «выплескивает» своих страстей и порывов, следовательно, они остаются в нем. Поэтому и нам следует обратить на них внимание.

«В отрочестве он был тихого нрава, но несколько упрям и самоволен, без особых на то поводов уходил в себя, со школьными товарищами был необщителен. Когда во время игр прочие дети самозабвенно играли, он, прислонясь к стене школы, без всякого интереса взирал на их веселую возню. Если же я понукал его: «Поди, Шандор, поиграй и ты», отвечал неизменно: «Не люблю играть...» Таким же он был и в отчем своем доме, на улице держался в стороне от соседских детей». Так писал о Шандоре один из его учителей.

Зато он подолгу простаивает перед кузнями. Вдыхает едкий запах дымящихся лошадиных копыт и

раскаленного в горне угля, смотрит на разлетающиеся от наковальни искры, на чумазых подмастерьев, кующих железо, — вот бы и ему стать кузнецом!

Об этом вспоминал один из соседей. Итак, он мечтает ковать железо, раздуть огонь. Психологи утверждают, что подобного рода характеры жаждут, собственно говоря, не огня, а веры; их жизненные силы то спят под пеплом, то, вырвавшись внезапно, полыхают высоким пламенем — особенно высоким тогда, когда они могут гореть не столько ради себя, сколько ради других... Но, конечно, и у Шандора были любимые игры, хотя несколько иные, чем у прочих детей. Один приятель его детства вспоминает: Шандор уговорил соседскую девочку Юлианну Эндре принести из дому красный платок ее сестры. Платок был старый-престарый, совсем изношенный — Юлианна принесла его. Да и мал был платок, однако его вполне хватило, чтобы стать огромным знаменем, под которым собралась детская ватага. Товарищ Шандора называет здесь Петровичей зажиточными — на том основании, что во дворе у них легко сыскалось подходящее древко для этого знамени. Сын мясника, босоногий, в желтой куртке и парусиновой шапчонке, сам прилаживал к древку это знамя, цвет которого тогда еще обозначал не революцию, но огонь кузнецов и Прометея. Сотворив знамя, Шандор «высоко его поднял, гордо сознавая себя предводителем, а вся пестрая ватага с восторженными воплями зашагала по площади за ним следом, и даже сам отец маленького вождя с улыбкой смотрел на возбужденную, радостно шумящую детвору» из дверей своей лавки.

Как видно, Иштван Петрович не так уж суров. И понемногу начинает гордиться старшим своим сыном. Воспоминания о великих людях ни в коем случае нельзя принимать с большим доверием, чем воспоминания о крупных пожарах или сражениях. О том, что «старый Петрович» то и дело одергивал сына, не позволяя ему болтать за столом, рассказывал тогдашний его подмастерье, но он же вспоминает и такую сценку, первое свидетельство артистических наклонностей мальчика: «Однажды, это было 19 августа 1827 года, в канун именин старого Петровича, четырехлетний Шандор прочитал стишок в честь отца. Старик очень растрогался». Это тот самый «старик» — тридцатилетний отец семейства, которого воспомянул, по таинственной

причине, до сих пор изо всех сил старался нарисовать чуть ли не детоубийцей, — впрочем, так поступают с отцами всех писателей даже историки литературы.

Иштван Петрович, как и все отцы в ту эпоху, строг к своим детям, но любит их даже более, чем принято. Он хочет сделать их «господами», хочет выучить обоих. К тому же и материальное его положение после множества попыток, удач и неудач в конце концов как будто изменилось к лучшему. Он в самом деле становится зажиточным, очень зажиточным. Ненадолго. Но все же настолько, чтобы успеть хотя бы одного из двух сыновей, старшего, приподнять над скудной крестьянской долей, дать ему вдохнуть хоть немного воздуха высоких наук. Судьба ведь озабочена именно им.

Фельдьхазе сажает Петровичей, вырвавшихся из бедного словацкого Кишкёрёша, к обильному столу. Арендатор мясной лавки между 1826 и 1830 годами покупает вокруг Сабадсаллаша на 5210 форинтов садов, виноградников и хуторских земель, где имеется не только колодец, сарай, конюшня, но даже дом. Он арендует городскую бойню, в эту аренду входит 85 хольдов¹ лугов и 25 хольдов пахотной земли. В городском стаде он может содержать до 120 волов и сколько угодно овец и баранов. Теперь Иштван Петрович крепко стоит на ногах, и он благодарен за то венгерской земле; это сознание начинает в нем укрепляться.

Пяти с половиной лет Шандор, нарядно одетый, с уверенностью, присущей детям зажиточных родителей, садится на школьную скамью — сперва в Фельдьхазе, затем (так как отца не удовлетворяет здешняя школа) в Кечкемете, а потом и в Сабадсаллаше, когда семья перебирается туда. В Сабадсаллаше мальчика учат даже латыни. Но отцу все мало. Он перебирает школы, на всем Алфельде не находит подходящей. Наконец отсылает сына за Дунай, в Шарсентлёринц комитата Толна: о тамошней евангелистской школе — *schola latina* — идет добрая слава. Обходится ему это недешево, только за квартиру и питание сына приходится выкладывать по 12 форинтов в месяц. Но — доходы позволяют.

Дела Петровича в Сабадсаллаше идут еще лучше, чем в Фельдьхазе. Его мясная лавка процветает и

¹ Хольд (венгерская мера земли) равен 0,53 га.

здесь. К прежним приобретениям добавляются новые — сады, виноградники, пахотные земли, даже ветряная мельница с прилежащим к ней домом. За одну лишь аренду Петрович платит две с половиной тысячи форинтов. Бывшего подручного мясника уже вполне можно назвать не просто зажиточным, но даже богатым человеком. Петрович не удовлетворяется достигнутым, натура у него предприимчивая: он становится крупным арендатором, арендует мясную лавку в Эрче, за которую ежегодно выплачивает 15 000 форинтов, вкладывает 5000 форинтов в покупку хутора. Его сын — будущий поэт народа и сын народа — знакомится с жизнью со стороны богатых; в селе и даже в провинциальном городке он ощущает себя в числе избранных. Он пьет кофе — в 1828 году, в Фельдьхазе! Но коль скоро мы перебрали столько второстепенных с виду деталей, не опустим еще одной, связанной с упоминанием о кофе. От деда Орлаи мы знаем, что Мария Хруз «жаловалась на особенный вкус ее сына, который пьет кофе без сахара, горьким, и даже пророчески предрекла ему (она, мать будущего великого человека), что и жизнь его будет столь же горька, как тот кофе, который он пил».

2

Шарсентлёринц наводнен приезжими школярами; живут они обыкновенно в крестьянских домах, зачастую в одной комнате с хозяевами. Сын Иштвана Петровича поселяется у нотариуса. Это лучший в селе дом, таким он оставался сто лет спустя, когда я последний раз посетил его, как величайшую достопримечательность родных мне мест. Длинное крыло здания, построенного в виде буквы «L», теряется в плодовом саду, вдоль него разбиты цветочные клумбы. С крытой, на столбиках, галереи видны виноградники, взбирающиеся по склонам гор; глазу открывается мягкий, волнистый толненский пейзаж, столь напоминающий холмы и доли лучших уголков Прованса. Шандор с двумя товарищами живет в просторной, с трех окон, комнате с дощатым полом; комната расположена в коротком крыле дома, окнами она выходит на широкую и красивую главную улицу. Один из двух его сожителей — лучший друг и сосед по парте — Иштван Шаш, дворянин, сын владельца сосед-

него села Борьяд. Шандор тоже выглядит барчуком, к тому же истинным баловнем семьи. Его щедро снабжают из дому всем необходимым, то и дело передают с оказией великолепные фрукты, печенья-соленья; по несколько раз в году навещается мать. На каждый сезон у него новое платье, повсюду он желанный гость, в том числе и в богатой дворянской усадьбе Шашей, хозяйка которой очень к нему ласкова. Когда он идет по улице Шарсентлёринца, люди оборачиваются ему вслед. «Словно и сейчас вижу его, — пишет позднее Шаш, на всю жизнь оставшийся верным и восторженным другом поэта, — в синем праздничном сатовом костюмчике, красиво облежавшем его стройную фигуру, подчеркивая благородную соразмерность плеч и бедер, помню даже пестрые плоские пуговицы. В таком наряде, в начищенных до блеска башмаках отправлялся он по воскресным дням в храм господень».

Почему все это важно? Потому что это был первый рай, откуда ему пришлось низвергнуться. А может быть, не только первый, но и самый прекрасный его рай. Не банальная «беспечная юность», но действительно единственный за всю жизнь неповторимый и столь краткий период — то счастливое детство, которое тринадцать лет спустя он пятикратно вспомнит в знаменитом стихотворении, оплачет его в пяти вариантах — увы, не беспричинно.

Какие врата распахнулись перед ним в Шарсентлёринце! Он получал там все, чего бы ни пожелал. Все было у него, все — обеспеченность, уважение, успехи и похвалы в школе, дружба на всю жизнь, даже любовь, счастливая детская любовь, да еще тут же, в доме, — к дочери нотариуса Амалии Хиттиг. В отчем доме его знают мрачным, чуждающимся всех. В Шарсентлёринце он весел, подвижен и во всем первый — не только в занятиях, но и в беге, в прыжках, в играх с мячом... Он даже поет иногда.

Характер его к этому времени начинает отчетливо складываться, ему уже десять лет. Иштван Шаш дает нам еще одну живую зарисовку: «Для своего возраста он был весьма серьезен, однако же среди сверстников и вообще во время развлечений становился живым и юрким, как ящерица. Жил он со всеми мирно, ни с кем не вступал в перебранки, но позднее лишь с немногими соединяли его узы задушевной дружбы; ему

больше нравилось общество старших, и если они принимали его к себе, несмотря на его малые годы, он заметно вырастал в собственных глазах и держался с забавной серьезностью. Он имел великую склонность и притом мужество участвовать в играх, явно для него непосильных, и был непременно участником всех наших состязаний по борьбе или прыжкам, за что мы его очень ценили. Играя в лапту, он, словно маленький Геракл, с огромной палицей на плече, мчался как одержимый, чтобы поспеть за старшими».

Впрочем, он, к счастью, не был похож на пай-мальчика. «Обладая большой меткостью, он был грозой бездомных уличных собак и гонял их нещадно, по обычаю деревенских школьников, — продолжает неподкупный Шаш. — Иной раз и воробьев сбивал с веток. Зимой ловко скользил по льду».

Вспоминая зимние развлечения, Шаш рассказывает чрезвычайно выразительный эпизод. Однажды школяры — коньков в тех местах еще не знали — гурьбой отправились покататься на льду. Дошли до речушки, однако лед здесь уже начал таять. Старшие перепрыгнули речку и объявили, что из младших возьмут с собой только тех, кто сумеет прыгнуть вслед за ними, не ища обходных путей. «Я поглядел, измерил на глаз ширину речки, хрупкость ледяной кромки и остался на месте». Не так поступает друг Шаша, обуреваемый жадной самопроявления. «Стоило ему услышать призыв, как он тут же отскочил и, разбежавшись, прыгнул. Бах! — лед проломился, и он оказался в самой середине русла, по пояс в воде. Наконец, весь мокрый, кое-как выбрался на ту сторону речки... И, словно уже тогда готовился к предстоящим ему суровым битвам, до самого вечера оставался в мокрой одежде без малейшего признака неудовольствия, без единой жалобы; более того, он даже не задумывался о возможных опасных последствиях и вновь и вновь со страстью бросался кататься по льду».

Какую могла быть эта гимназия — в маленьком, богом забытом поселении, насчитывавшем едва тысячу крепостных душ? Но прежде всего — кто были эти крепостные? Они принадлежали к довольно редкой среди венгров (в большинстве своем католиков или кальвинистов) секте евангелистов, решительных, готовых на все ради своей веры и права молиться на родном языке.

ке; во время религиозных гонений немногочисленные остатки венгерских евангелистов скрывались или бежали кто куда. Первые жители Шарсентлёринца объявились здесь едва сто лет назад, проделав путь в триста — четыреста километров, чтобы укрыться в удаленных от религиозных битв краях, затерянных между Балатоном и Дунаем. Нельзя без волнения думать о том, что они бережно принесли сюда и свою культуру. Весь учительский совет гимназии состоял, правда, из одного-единственного педагога — назовем его имя: это был Андраш Леер. «В одном помещении он обучал сразу четыре класса. Помимо всего прочего, мы узнали от него и основы латыни...» Основы? Дальнейший рассказ говорит о большем. «Между собой мы должны были изъясняться исключительно на этом языке...» Шашу и позднее доводилось близко общаться с поэтом; всякий раз он дивился не только таланту друга, но и широкой образованности: помимо прочего, он знал наизусть, например, чуть ли не всего Горация. «Именно эта школа проросла, выпестовала могучий дуб сей, ибо неоспоримо, что как раз латинское воспитание и стало той силою, коя не покидала его в години наитруднейших испытаний; классическое образование спасло его от упадка духа. Он много бедствовал, жил в нищете, голодал, холодал, но редко обходился без Горация, и стоило ему продекламировать одно из любимых стихотворений, скажем, «*Aequam mentem rebus in ardius servere mentem*»¹, как вновь возвращались к нему силы и бодрость, помогавшие выжить».

Здесь же выработан был и его удивительный по красоте почерк (в Шарсентлёринце этому уделяли особое внимание), а также умение моментально обратиться гусиное перо в идеальное орудие для письма.

Но Иштван Петрович по-прежнему не удовлетворен. В Шарсентлёринце сын не обучится немецкой речи! И отец решает после летних каникул везти Шандора в Пешт. Приостановимся на минутку, прежде чем отправиться в путь. Мальчик уже четыре года ходит в школу, он окончил четыре класса, сменив пять школ, побывал в пяти далеких друг от друга городах и селах. К десяти годам по воле отца или судьбы он побывал

¹ «Хранить старайся духа спокойствие во дни напасти». — Гораций, Оды, кн. вторая, 3. Перевод Семенова-Тяньшанского.

уже в стольких местах, познакомился с жизнью стольких краев и стольких слоев населения, что по тем временам едва ли доводилось и почтенным старцам.

Недолго остается Шандор и в пештской евангелической гимназии. В Пеште он живет отнюдь не в лучшем доме — обиталище его было самое скромное. Мальчика приютили небогатые родственники. Здесь все не так, как в Сентлёринце. Среди новых товарищей он уже не выделяется ни одеждой, ни ловкостью, — может быть, оттого и усердие его слабеет? В первом полугодии он занимает сто восьмое место среди 114-ти учащихся. Тогда отец — неустанная забота этого мясника о сыне поразительна! — забирает его домой и на следующий год записывает в пештскую же гимназию пиаристов, лучшее учебное заведение в стране. Ее преподаватели известны — причем и в тайной полиции — как «ожесточенные мадьяры». Мальчик преуспевает здесь в одном лишь венгерском языке. В городе, населенном по большей части немцами, заслуга невеликая. Правда, он старается гордиться тем, что он венгр. Но и это не так просто.

К конфирмации его готовит духовник пештских словаков-евангелистов панславист Ян Коллар, первый проповедник единения чехов и словаков, вдохновенный поэт, словацкий Вёрёшмарти. Он же обучает детей и закону божьему. Очевидно, Коллар считает своего ученика словаком и чем-то ранит национальное его чувство. Во всяком случае, этот его ученик несколько лет спустя решительно отвергает свою веру и провозглашает себя протестантом.

Как в вопросе о месте рождения, так и теперь в вопросе вероисповедания, он восстает против будничной бескрылой действительности. Он хочет сам творить эту действительность, причем не только завтрашнюю, но даже вчерашнюю — это уже чисто поэтическая черта.

Он опять становится мрачен и задумчив, общество детей из самых знатных семей его не развлекает. Или именно это окружение и заставляет его замыкаться в себе? Отчего не занят он свойственными его возрасту играми, отчего вновь надевает на себя столь не идущую к детской душе маску Кориолана? Мы понимаем, конечно: это не более чем роль, такая же игра подростка, как бабки, — но уже игра духа, алчущего

горьких духовных же радостей. Чего не хватает этому юноше, почему он хочет быть иным, не таким, как все? Почему и перед кем жаждет выделиться?

Целыми днями он бродит по улицам, засунув руки в карманы и вперив глаза в землю, словно потерял что-то или чего-то ищет. Сказать об этом двенадцатилетнем мечтателе, что он ищет самого себя? Не прозвучит ли такая фраза слишком громко? И тем не менее это так. Одни лишь дети с их неиспорченною душой способны томиться мечтами о героических деяниях, о потрясающих государства подвигах, о всемирной славе, о возмездии, обо всем том, ради чего единственно и стоит жить. Первый явный признак величия — известность. Как же ему не стремиться к ней! Правда, в ее слепящем свете он еще не умеет разглядеть разницу между миром искусственным и миром истинным, между героями на сцене и героями в жизни. Все вечера напролет он «бродил вокруг театра». В самом деле, пристало ль тому, кто готовит себя к великим свершениям, отвлекаться докучными будничными делами! Занятия совершенно заброшены. В конце года юный Кориолан привозит домой такое свидетельство об успехах, которое невозможно, не краснея, положить рядом с шарсентлёринцким.

Шандор уже прилично знает немецкий — да и как не овладеть этим языком в Пеште, стольном венгерском городе! Но заботливый отец боится, что обстановка здесь дурно влияет на сына. Поэтому он забирает его и отсюда, опять ищет новое место. Которое уже по счету? Будущего поэта, словно ткань, коей надлежит приобрести особую тонкость и белизну, окунают во все новые и новые воды, из горячей в холодную, из холодной в горячую...

Венгерский народ, как то и пристало истым наездникам, подчас бывает вспыльчив, но в иных делах — как раз там, где многие готовы даже на кровопролитие, — поразительно терпим, почти равнодушен. Не случайно женевский памятник Реформации витыми буквами сообщает, что первый на земном шаре закон о веротерпимости, о праве всех граждан страны исповедовать любую религию по своему усмотрению, был издан в Венгрии. Этнографическая карта Габсбургской империи — пестрое, разноцветное поле. Есть целые провинции, где что ни селение, то другая национальность.

Подогретые должным образом, они способны бывали буквально истреблять друг друга, что и отмечено в архивах венского двора. Однако в этих архивах нет ни единого сообщения о том, чтобы где-либо и когда-либо венгерские крестьяне, во всем прочем настроенные воинственно, напали на соседнюю деревню, ведомые чувством религиозной или национальной розни. Правда, венгры гордятся своим происхождением, отсутствием кровных родичей вокруг (что делать, каждая нация чем богата, тем и рада), но религиозной нетерпимости в них нет, как нет или почти нет нетерпимости национальной. Простой народ, заслышав чужую речь, исполняется только самого искреннего изумления и, пожалуй, сочувствия.

Для французов, итальянцев политическое пробуждение нации пришло вслед за расцветом национальной литературы и, в немалой степени, благодаря ему. Для малых же народов национальное возрождение началось с того, что им пришлось покинуть добрые и теплые колени их общей матери — латыни и латинской культуры. Иными словами, возрождение для них означало не подъем, а в некотором смысле спуск — ради того, чтобы стать на собственные ноги.

Нет ничего удивительного в том, что в Венгрии латинская культура была исключительно обширна и укоренилась особенно глубоко; именно венгерские политические деятели, венгерские ученые были наиболее отъединены от остального мира, заперты в родном своем, с другими несхожем, языке; ведь, пользуясь им, они не могли бы обмениваться мыслями даже с ближайшими соседями. По той же причине латинская культура в Венгрии удерживалась дольше, чем в других странах. На родном языке продолжал изъясняться только народ да поэты. Увлеченная делами общественными, венгерская молодежь даже якобинские песни французской революции распевала по-латыни.

Узнаете?

Ah, ibid hoc, ibid hoc, ibid hoc,
Aristocratae vobiscum ad laternam!
Ah, ibid hoc, ibid hoc, ibid hoc,
Aristocratae, vos pendibitis!¹

¹ Ах, дело пойдет, дело пойдет,
Аристократы, на фонарь!
Ах, дело пойдет, дело пойдет.
Аристократы, вас повесят! (*лат.*)

Так звучало «*Ça ira*»¹ в устах венгерских республиканцев, с которыми позорно расправилась Вена в 1796 году, казнив одних, другими до отказа набив свои тюрьмы — одновременно это было расправой и с национальной литературой, заговорившей, наконец, на венгерском языке: среди тех, кто пострадал за дело революции, было много писателей.

Не ведай мы о глубинных законах формирования личности и социальных идей, впору было бы вмешательством божественной воли объяснять тот факт, что сокровеннейшие чувства венгров предстоит выразить человеку, которому ценою немалых испытаний пришлось доказывать свою причастность к венгерской нации; быть может, именно этим и рождены его страстность и пылкая откровенность, каких не знала до той поры венгерская поэзия, в области чувств почти столь же сдержанная, как китайская.

Когда латинская «оболочка» спала с Европы, великие нации несколько обленились: занявшись собою, они перестали утруждать себя не только изучением еще одного языка, но и ознакомлением с окружающими их народами. Малые же народы с распадом этой оболочки начали приобретать закалку: вместо одного вспомогательного языка деятелям их духовной и культурной жизни пришлось теперь изучать и два и три, чтобы иметь возможность общаться с миром. Следовательно — и узнавать его, узнавать даже лучше, чем прежде. Таким образом, нет ничего из ряда вон выходящего в желании алфёльдского мясника добиться, чтобы его сыновья говорили, по крайней мере, на трех языках. Как нет ничего необыкновенного в том, что тринадцатичетырнадцатилетний венгерский мальчик стремится узнать как можно больше о делах и подвигах замечательных людей не только собственной родины, но и целого мира.

В Асод тринадцатилетний Шандор приезжает уже человеком, немало повидавшим в жизни, немало пережившим. Частая смена мест надежней фиксирует впечатления, да и обогащает ими несчетно; впечатления же ускоряют познание жизни, иными словами, ускоряют

¹ «Дело пойдет на лад!» (франц.)

самую жизнь. Шандор пересек не один комитат, а главное — пережил не один кризис; ему ведомы уже испытания и разочарования. Он созревает рано, на удивление рано. В возрасте, когда его сверстники хворают корью, он подхватывает легкую форму байронизма. Умом он взрослый, тогда как в крови все еще живет детство; впрочем, такая двойственность — удел большинства детей в этом возрасте.

Он весело взбирается на верхушку самого высокого дерева; захваченный врасплох сторожем, стойко переносит побои, но товарищей не выдает. То и дело ввязывается в драки со старшими учениками, одному верзиле в кровь разбивает нос. Когда приходит час держать ответ за проступок, начинает театрально декламировать: «Даже червь, если на него наступят ногой, взвизгивает, чтобы защитить себя...» Вместе с приятелями организует тайное общество, каждый получает романтическую кличку: одного из них зовут Ринальдо Ринальдини, — себя же он отождествляет с Бечкеречи, галантным бегляком-разбойником, героем стихотворения Вёрёшмарти. Он снова охотно участвует в играх, опять без усталости бродит по окрестным долинам; оказывается, и в метании камешков в цель он один из первых, хотя по-прежнему левша. Но вдруг, без всякой видимой причины, он оставляет развеселую компанию, а если товарищи зовут его, озирается хмуро, почти оскорбленно: сейчас он чувствует себя выше их, старше и даже стыдится, пожалуй, что всего лишь минуту назад бегал с ними взапуски. Ему еще не исполнилось четырнадцати лет, но он уже перелистывает «Erklärung der Logik und Metaphysik»¹, читает — в основном на немецком и по-латыни — книги по естественным наукам, географии, истории. Штудирует трактаты по естествознанию Теофраста и речи Цицерона, очевидно, под их влиянием воспитывает в себе «античный» характер — пока лишь затем, чтобы противостоять самодурству сторожей и торговков или не броситься наутек при виде приближающегося быка. Начинает изучать французский язык. Читает и — витает в мечтах. Мечты, естественно, о том, о чем он читает: о любви и о родине, то есть о героических свободолюбцах, которые на протяжении веков так самоотверженно и так безуспешно бились за сво-

¹ «Объяснение по логике и метафизике» (нем.).

боду своего отечества. Он ищет образцы для подражания. Живой объект для любви находится сразу, это ведь дело нехитрое. Участь в первом классе гимназии, он влюбляется в дочку вдовы священника Эмилию Цанцирини и, по собственному его утверждению, не безнадежно. Он влюблен, следовательно, пишет стихи. Что знает он о любви? Опасно много, как и все подростки, то есть более того, что есть в действительности. От предмета поклонения он получает лишь ответные томные взгляды, но с другом своим, Михаем Эстергайи, листает *atomum libri*¹ Овидия, способные научить кое-чему даже опытных сластолюбцев. За неимением порнографических открыток и книжонок, молодые люди в те времена из Овидия черпали познания, острые впечатления и пищу для мечтаний.

В учении он здесь преуспевает. Вскоре уже поправляет товарищам немецкие и латинские сочинения, по рисованию дает частные уроки, за два гроша в месяц. Пишет безукоризненно, превосходно декламирует, вот только с пением дела по-прежнему не идут на лад — не поет, а гнусавит, да и ухо все так же невосприимчиво к мелодии; тем не менее самоотверженная любовь отца дает ему возможность учиться даже игре на фортепьяно.

«Поведения порядочного, в учении отменно усерден», — отзывается о нем один из асодских учителей, славный Корен. Шандор, однако, и здесь сталкивается с фанатиками-панславистами. Их ожесточенность опять приводит к обратному результату: распаленный жарким спором, совершенно выйдя из себя, он кричит — скандал разразился во время уборки кукурузы: «Среди словаков нет ни одного порядочного человека!» Нам нетрудно понять, что в этой вспышке выразилось не отношение к словацкому народу, а лишь бунт против насилия, против того, что ему запрещали по собственному желанию, свободно избрать себе национальность. Вот откуда этот приступ «национальной ярости». Даже друзья поглядывают на него с недоумением.

Впрочем, они уже привыкают смотреть на Шандора как на существо особенное, считают его личностью. Он буквально бредит идеей чести, достоинства. Нрав у него довольно непостоянен, случаются минуты, когда он

¹ Книги о любви (лат.).

вдруг взрывается и, заупрямившись, очертя голову кидается навстречу опасности; говорить с ним «разумно» в такие минуты невозможно. В нем формируется характер. Он и внешне выделяется среди всех: зимой и летом упрямо ходит с отложным воротничком, с открытой шеей. Однако Шандор готов сразиться не только с природой. На втором году жизни в Асоде он вступает в серьезный спор со своим учителем и даже неоднократно идет на резкое с ним столкновение.

На третий год он уже полон мыслей о выборе жизненного пути, однако, не в пример сверстникам, строит лишь такие планы, осуществить которые можно было бы немедленно. Шандор нетерпелив. Теперь это высокий, очень худой подросток с длинной шеей и впалой грудью. Ходит он горбясь, — как знать, не начинался ли у него туберкулез? Быть может, именно она, затаившаяся внутри болезнь, ускоряет его созревание, как ускоряет созревание плода червь? Школа становится для него ярмом. Ему некогда ждать, он должен поскорее добиться славы.

Пятнадцатилетний Шандор является к директору бродячей театральной труппы, как раз остановившейся в Асоде, и заявляет, что хочет вступить в труппу. Директор удивленно слушает мальчика, который и сейчас — в жизни, а не на сцене, — говорит с актерскими интонациями, хотя и несколько в нос; очевидно, не желая прямо отказать ему, он просит представить документ из школы с разрешением ее покинуть. Другой на месте Шандора, если не одумался прежде, сейчас наверное отказался бы от своего замысла. Но он, созревший рано, обладает редким упорством. И таким останется на всю жизнь. Впрочем, несмотря на раннюю зрелость, он крайне доверчив и — будем помнить об этом, сопровождая его на жизненном пути, — поразительно наивен. Он пулей летит в школу и мужественно выкладывает там не план свой, а — решение. Корен хватается сперва за палку, затем за перо.

Загоняя лошадей, спешит в Асод «жестокосердый» отец. Задыхаясь, весь красный, влечет он свое громоздкое тело по улице — его ли вина, что тревога за сына вызывает не слова ласки, а, в соответствии с принципами тогдашней педагогики, зуд в ладонях!

Несколько лет спустя жертва отцовской любви так рассказывал о том, что произошло затем: «Завидев на-

катывающегося (собственное его выражение) на меня родителя, я поспешил ему навстречу и хотел поцеловать руку, но он заложил обе руки за спину со словами: «Э, нет, сперва я спрошу господина Корена, хорошо ли ты вел себя». И он отправился в школу, знаком повелев мне следовать за ним.

Повесивши голову, я зашагал с ним рядом, раздумывая о том, не лучше ли улизнуть не мешкая, но отец не спускал с меня г л а з, — пришлось оставить это намеренье и последовать за ним.

Корен с точностью изложил батюшке все происшедшее, он же с горестным ворчанием выслушал до конца про все, что натворил милый сын его Шандор.

Возвратясь в мою комнату, отец, неприметно для меня, запер дверь. Затем, мрачный и молчаливый, вновь вернулся к своей дорожной сумке, открыл, вынул из нее предмет, коим обычно загоняют коров, и жестоко исколотил меня, при каждом ударе приговаривая: «Ну как, нужна тебе Борча? Нужны комедианты?»

Ибо Шандор, в довершение всего, был влюблен, причем роковой любовью (который уж раз?) в некую Борчу — отчасти из-за нее и решил он податься в актеры.

Урок тяжелый, но временно идет на пользу. В Шандоре все еще достаточно той детскости, которая способна возместить урон, причиненный мужскому достоинству. Затрещины, отпущенные из добрых побуждений, как тому и положено быть, оказывают действие лишь позднее, когда отец уже не в состоянии помочь сыну иначе, как дружеским словом. Пока же Шандор продолжает блестяще учиться. К концу года успехи его таковы (особенно в венгерском языке и стихосложении), что к торжественному выпускному акту Корен поручает ему написать прощальное стихотворение, — обычно учитель писал его сам.

Стоит прочесть это стихотворение — и не только потому, что оно самое первое из тех, что дошли до нас: оно трогательно как первый поэтический опыт, но, помимо этого, трогательно и прекрасно само по себе. Оно написано пятнадцатилетним мальчиком на заданную тему. В нем он должен сказать что-то и о самом событии, и об учителе, и о пройденном материале, и о бароне Лайоше Подманицки, имеющем прибыть на торже-

ственный акт, и о попечителе церковной школы, а также о господах инспекторах. Юный поэт отлично справляется с задачей. Все и вся уместилось в его сочинении, каждый оказался на положенном месте; уже здесь становится явным то, что и впоследствии будет одним из главных его достоинств: он мастер композиции. Стихотворение читается легко. У поэтов того времени гекзаметры громяют и скрипят, как солдатские повозки, — у него же льются свободно и просто, как живая речь. Они торжественны, но и непосредственны: под «зеленым Пиндом» мы видим игры и шутки живых, из плоти и крови, школяров. Даже в нервноостях и неловких оборотах есть своя прелесть: так и видны за ними трогательные усилия мальчика совладать с инструментом взрослых мастеров. Если бы сейчас кто-либо положил такие стихи перед нами, сказав, что это произведение пятнадцатилетнего подростка, мы с чистой совестью предсказали бы их автору большое будущее — «если он будет продолжать в том же духе». Стихотворение раннее, однако нам придется относиться к автору его уже как к поэту — с той самой минуты, когда он, взойдя на сцену и поначалу волнуясь, а потом все спокойней и размеренней, с чуть заметным мягким алфёльдским акцентом, стал декламировать:

Десятимесячный труд завершился, — из лучших мечтаний
Наших незрелых умов мы венок наконец-то сплели.
Пинд укрывал нас зеленый, мы с Музами здесь подружились.
Мудрые наши отцы, совершили мы все, что могли.
Пусть незабвенны часы, проведенные с ласковой Музой,
Пусть ароматны цветы в лучезарном Паллады саду.
Пусть мы прекрасней цветов никогда и нигде не увидим, —
Все-таки нас утомил своенравными тропами Пинд.
Вот почему так влекут нас родимого дома уюты, —
Мы не хотим, утомясь, уподобиться вдруг беглецам.
Как ты в изгнание, Назон, прорываться учил к Геликону,
Не признавая преград, — эти жалобы, стоны твои
Хором теперь повторять мы не будем в училище нашем,
Храбрым героям хвалы мы не станем уже возносить,
Греции славить сынов, победителей петь Карфагена,
Подвиги их вспоминать, их паденья, победы и смерть...
Праздник сегодняшний наш от наук избавляет на время, —
Новые встречи с науками нас ожидают поздней...

О досточтимый барон, вы всему и глава, и начало,
Наши наставники мудрые, пастыри наши, отцы, —
Есть ли достойная жертва за щедрые ваши заботы?
С долготерпеньем внимательно лепет вы слушали наш...
Как же мы выразим чувства, которые нас наполняют?

Скромный венок преподносим, как дар благодарных сердец.
Долгие годы живите, не зная тревог и печалей,
Пусть под водительством вашим училище в славе цветет.
Добрый учитель, наставник, который к премудрости светлой
Нас приобщал и с науками нам породниться помог, —
В это мгновенье разлуки прими наше слово прощанья,
Мы, вероятно, надолго теперь расстаемся с тобой.
С вами, края дорогие, простимся, — где радость царила,
Играми пески сменялись, стремительно мяч пролетал,
Смех раздавался задорный, где шумно и весело было, —
Здесь воцарится отныне угрюмый покой, тишина:
Наши края дорогие, мы вас покидаем сегодня...

К вам, наконец, обращаюсь, к товарищам школьным моим, —
Вы по тропинкам науки бродили со мною охотно —
Ныне от вас удаляюсь, ведь час расставанья настал.
Мы разойдемся по свету своею дорогою каждый,
Ждет нас великая радость, желанный родительский кров.
Знаю, по воле судьбы мы друг друга потом потеряем,
Знаю, в родительском доме нам будет светло и легко,
Знаю, нам будет отрадно забыть о заботах минувших,
Будем лишь отдыха жаждать, устав от серьезных наук,
И об училище нашем, быть может, мы даже не вспомним,
Скажем себе, что довольно раздумий и трудных задач,
Десятимесячный путь позади наконец-то остался...
Но неужели ни разу не вспомним счастливых минут,
Но неужели забудем, как вместе мы шли неуклонно
По бесконечным тропинкам науки, познания, мечты?
Ну, а сегодня окончена трудная наша работа,
Десять томительных месяцев отданы только труду.
С богом! Оставим училище с радостным чувством победы
И устремимся скорей в благодатный родительский дом.

(«Прощание». Перевод Н. Стефановича)

3

Пятнадцатилетний Шандор спешит домой, к любящим родителям. Но дома привыкшего к обеспеченности, даже богатству мальчика ожидает нищета. Целый мир рухнул. Иштван Петрович разорился — все произошло за каких-нибудь два месяца, и вот человек, еще недавно щедро ссужавший деньги взаймы, остается без единого филлера, владелец нескольких домов не имеет даже крова над головой. Дом, хутор, стадо унес весенний разлив Дуная. Семью приютили соседи. Аренда в Эрче жульнически аннулирована, деньги, отданные в долг родственникам и добрым приятелям, не возвращены. Петрович был упорен и изобретателен в приоб-

ретении денег, но сохранять их не умел; доверчивый, всегда готовый прийти на помощь — душою он так и не превратился в богача.

Потрясение настигает мальчика в самом чувствительном возрасте. Покидая Асод, он взирает на будущее с уверенностью и надеждами, которые дает обеспеченность... А дома — полное уныние, ни малейшей возможности учиться дальше; теперь отец хочет его, как и младшего сына, приспособить к своему ремеслу. Однако Шандор уже вкусил отравы более полной свободной жизни, открывающей простор стремлениям, — он восстает против нужды. И произносит пышные тирады о театральном призвании, — если же ничего не выйдет, что ж, станет солдатом... Он получил то единственно ценное, что может дать истинному человеку богатство: сознание права своего избрать для себя дело великое, величайшее. А в школу бедности попадает в том возрасте, когда она воспитывает уже не в смирении, покорности и рабской приниженности, но учит упорству, подталкивает на борьбу, на отвоевание исконных, но лишь утерянных прав человеческих. И на бунт. Самые опасные враги правящих классов — те, у кого отняты все ранги и права.

Отец не проявляет ни понимания, ни терпимости по отношению к бурным порывам и неожиданным прожектам старшего сына. Старый доверчивый прожектер раздражается, слушая смелые фантазии прожектера молодого; сам обжегшись на том же, он отцовской суровостью старается подавить самоуверенные мечтания юности, не подозревая, что сын вместе с доверчивостью унаследовал от него и упрямство. На мирном семейном небе день ото дня сгущаются тучи, по временам сталкиваясь, раздражаясь громом и молниями.

Кое-как удается наскрести денег, чтобы еще на год оплатить учение в школе, естественно, опять в другой школе и в другом городе — на этот раз в Шелмце. На основании блестящего свидетельства из Асода Шандора принимают здесь на казенный кошт.

В Шелмце юноша приезжает с истерзанной душой. И таким незащищенным, таким болезненно ранимым, словно вместе с хорошим платьем с него содрали и немного кожи. Живет он у старого пьянчуги, в одной комнате с хозяином. Учиться начинает отлично. Но, увы, опять приходит в столкновение с панславистскими фа-

натиками. Его классный наставник — быть может, самый пылкий из них.

Собственно говоря, эти столкновения все более рокового свойства происходят из отцовской добросовестности. В ту эпоху люди непременно желали быть верными не только родине своей, но также и религии. Однако Иштван Петрович, судя по всему, даже не подозревает о том, что в Венгрии, как уже упоминалось, за небольшим исключением, лютеранами были либо немцы, либо словаки, причем самые образованные из них, люди европейской культуры, естественно, были адептами и новой европейской идеологии — национального возрождения. Ничего о том не подозревая, Петрович снова и снова отдает своего сына, остро сознающего себя венгром, в такие школы, таким учителям, что самое окружение это для него — то же, что лед для огня. За шипением и вспышками в конце концов должен был последовать роковой взрыв.

Любимые предметы Шандора — история Венгрии и римская история, вернее, рассказы о великих римлянах. Учитель венгерской истории Личард не знает по-венгерски ни слова — это в Венгрии! В начале каждого учебного года он усердно выискивает в классе пополнение для «Словацкого литературного круга», коего он является основателем, председателем и воинствующим руководителем. Новичок из Сабадсаллаша у него не вызывает сомнений: по фамилии словак, по вероисповеданию лютеранин — нечего и думать, где его место. Результат нам уже нетрудно угадать.

Среди учащихся очень мало венгров; в самообразовательный свой кружок — в «Благородное венгерское общество» — они приходят словно для того, чтобы погреться и подшлифовать родной язык. И не столько подшлифовать, сколько поупражняться, чтобы не забыть вовсе. Все усиливающаяся национальная грызня подбавляет им пылу. Можем представить себе чувства господина Личарда, когда он узнает от юных своих соратников, что новичок из Сабадсаллаша называет себя венгром и даже куном, друзьям же объявил, что непременно изменит и фамилию. Достойный воспитатель тотчас взял ренегата на заметку.

Мы склоняемся к тому, что за «несправедливостью» учителей прежде всего следует видеть несправедливость к ним учеников. Однако в случае с господином

Личардом можно смело сделать исключение, признать его плохим педагогом, плохим человеком и к тому же плохим словацким патриотом. Он быстро добивается того, что гениальный его ученик возненавидел любимый предмет свой — историю, а также школу и до какой-то степени саму жизнь. Как, впрочем, и священников! Ибо святой отец Личард, исповедник и доносчик по призванию, от служения господу перешел на службу образованию и австрийской тайной полиции. Это на его душе грех за то, что молодой поэт сбивается с торного пути, это он обрушивает на голову подростка ливень суровых испытаний. Здесь Шандор впервые по-настоящему страдает — и душою и телом. И только по милости господина Личарда. У этого наставника юношества есть одно-единственное оправдание, если в чьих-то глазах это может послужить оправданием, — его глупость. Что же, он не первый и не последний, о ком говорили: «Он не подозревал, с кем имеет дело».

Но ведь эта сочувственная фраза означает только, что с не-гениями — то есть когда нет опасности позднее быть призванным к ответу — мы можем позволить себе быть несправедливыми!

Товарищи любят Шандора, правда, только венгры, ибо — благодарение усердным вербовщикам душ — вне школы мальчик говорит исключительно по-венгерски. Против «Словацкого литературного круга» борется «Благородное венгерское общество», правда, без особых успехов: в начале года общество насчитывает сорок пять членов, в течение года его покидают «по серьезным причинам — три человека, без серьезных причин — двадцать человек», то есть более половины. Шандор, у которого предлогов для ухода хоть отбавляй, остается. Занятия венгерским языком, конечно, означали куда больше, чем просто занятия языком, по крайней мере, в глазах господина Личарда. Шандор — украшение кружка: он не только на словах, но и на деле — стихами — служит венгерскому языку; произведения, здесь им написанные, нужно мерить уже самую большой меркой.

Первые дебри, через которые надлежит пробиться поэту, чтобы выбраться на собственную территорию, это — уже существующая поэзия. Задача нелегкая и небезопасная, большинство начинает плутать здесь, а то и вовсе застревает, — у многих ли достанет чутья,

чтобы в нужном месте свернуть с протоптанной дороги, найти путь, более прямой и краткий? Детскую непосредственность, естественную интонацию подростка-поэта лишь один шаг отделяет от того, что станет величайшей силой его взрослой поэзии — от простоты. И все же он немало будет кружить, прежде чем придет к ней.

Мутации подвергается не только его голос, но и лира. То зазвучит она сладко и женственно, напоминая салонных поэтов того времени, то вдруг загудит баритоном Вёрёшмрти, Бержени.

Жестокий рок, как он отмерил скупое
Для нас мгновенья счастья и любви.

(«В альбом Л. Себерени». Перевод Н. Стефановича)

И потом:

Неверная, ты помнишь ли еще,
Как я молил упорно, горячо:
«Не отвергай!» — я повторял тебе...

(«Неверной». Перевод Н. Стефановича)

Перед влюбленным поэтом, перед «Музы преданным сыном» «открываются кущи эдема» — и тут же, рядом, «однообразный край пустынный» ожидает его на «севере мрачном, снегом укрытом». Между тем в реальной жизни испытания сыплются на него каждый день.

В город приезжают актеры, юноша каждый вечер бегаёт в театр. Воспитатели, призванные прививать любовь к литературе и искусству, по не совсем понятным причинам ознакомления с этого рода искусством не одобряют. Радетель душ Личард в полугодовом свидетельстве со скрипом выводит Шандору удовлетворительную оценку по закону божьему и римской истории, по венгерской же истории (!) выставляет двойку. За поведение оценка удовлетворительная, но лишь потому, что неудовлетворительная означает изгнание из учебного заведения. Впрочем, это только лишь начало лавины.

С таким свидетельством Шандор теряет право на бесплатные обеды. Он голодает. Ходит в потрепанной старенькой одежде. Кофейного цвета пальто давно уже не по нем, задирается чуть не на затылок, зато панталоны не достают даже до сапог. Мы знаем, как

подобное одяние, ослабляя и заставляя дрожать тело, в то же время закаляет душу. Сердце человеческое неутолимо в стремлении к величию, но, коль скоро приходится ему страдать, столь же неумно жаждет оно еще большего унижения, оскорбления и страдания. Сто раз должен обдумать каждое свое движение тот, кто решается коснуться такого сердца.

Мясник из Сабадсаллаша далек от подобных мыслей; получив свидетельство сына, предательски сочувственные послания учителей и гайдука-квартирохозяина, он также прислушивается лишь к гневу, лишь к встревоженному и возмущенному своему сердцу. Действительно ли Иштван Петрович написал сыну, что отныне оставляет всякое о нем попечение? А если и написал, это ли имел в виду? Все говорит о противном. К тому же Шандор уже и тогда вовсе не мятущаяся «артистическая» натура, какими принято рисовать поэтов. Это характер рассудительный, стойкий, ибо способен к великим решениям. Но в сложившейся ситуации даже слабого толчка с него довольно. Отцовская головомойка освобождает от последних уз, теперь он может на свой страх и риск потянуться с жизнью, стать лицом к лицу с нею, вступить в открытый бой, изменить ее — ибо в этом его призвание. Остается лишь выбрать средство — но тут он опять делает ошибочный шаг.

В последний вечер в Шелмеце он признается задумавшему своему другу Себерени, что чувствует в себе какие-то великие способности, к сцене или к поэзии — там будет видно. Ему шестнадцать лет.

Он решает бежать в Пешт в самый разгар зимы. Без единого крейцера в кармане.

— А как же дорожные расходы? — спрашивают друзья.

Он передергивает плечами. Внезапно в нем просыпается подросток:

— Пойду к папистскому священнику, скажу, что хочу ехать в Вац, к епископу, решил, мол, перейти в католичество.

И, как утверждал, наведаясь даже не к одному, а к двум католическим священникам; первый отвалил грош, второй не пожалел целого талера за его душу. На эти деньги Шандор закупил пирожных и ликеру. Свои книги, постельное белье он продал. После прощальной вечеринки прилег, но к полуночи проснулся, тотчас оделся

и без промедления вышел, прямо в метель, с белой холщовой сумою на шее.

Он, позднее столь незапятанный и (по отношению к себе) столь беспощадный рыцарь нравственности, человеческого достоинства, и в этом проходит сейчас период мутации. Он еще подросток, а ведь существует мнение, будто каждый подросток — потенциальный преступник. Это преувеличение. Но каждый подросток стоит на распутье, и горе тому обществу, которое не способно помочь своим подросткам-сыновьям. Он — один, и борется в одиночку. Тем больше его заслуга.

Шандор никогда не стыдится признаться в своих «проступках» — да они и на диво невинны, его проступки. Позднее он так расскажет другу об этих днях:

«Из Шелмеца я поплелся в Вац. Денег у меня было всего ничего: те несколько форинтов, что я сколотил, продав постельное белье, платье и книги, хотелось приберечь для жизни в Пеште; тогда я завернул к одному-другому приходскому католическому священнику, а чтобы сподвигнуть их на денежное вспомоществование, поразил сообщением, что направляюсь к вацкому епископу и желаю там обратиться в католическую веру, так как лютеран ненавижу.

Один заткнул мне рот несколькими грошами, да и те спросил у своей кухарки; второй же расщедрился на серебряный талер, наказав стойко держаться благо-решения».

Он отправился в путь 15 февраля и, по расчетам внимательного его биографа, достойнейшего Ференци, прибыл в Пешт 3-го или 4-го марта. Где он спал, где обогревался, где и что ел за эти две с половиной недели? Он не замерз в пути, не умер с голоду, счастливо выбрался, вывернулся. В одном месте удается переночевать бесплатно, в другом — получить даровой ужин; то там, то здесь какой-нибудь крестьянин подбирает на телегу одинокого путника. Видно, Шандор уже понимает язык народа, — если не понимал прежде, то выучился теперь. Море, в которое он доверчиво бросил-ся я, — простой народ, венгерская беднота, — приняло его в себя и увлекало все дальше, передавая с волны на волну.

В Пеште его приютили на несколько дней в «Красном быке», где останавливался обычно отец, — несколь-

ко дней, чтобы отдышаться, оглядеться. На что он жил потом, убежав и отсюда, после неожиданной встречи в харчевне с отцом, от которого сумел улизнуть? Ночи он проводит в ригах и конюшнях Ракошского поля¹. Иногда слоняется там и днем, сنداемый горькими мыслями, немного сродни стихам Кишфалуди.

Это те самые мысли, которые вообще имеют обыкновение посещать бездомных и голодных молодых поэтов, — как знать, не затем ли, чтобы они все же не протянули ноги, чтобы вообще забыли о голоде? Прислушаемся к голосу, завлекавшему в ловушку приходских священников:

Как в поле Ракоша рыдает ветер громко, —
Мадьяр, прислушайся, то стонет полубог,
Твоих великих предков скорбный дух —
Томит его убожество потомков...

(«Эпиграмма». Перевод Н. Стефановича)

Но вот достигнута заветная цель: он попадает в Национальный театр. Сперва лишь статистом, впрочем, к чему приукрашивать! — даже не статистом: во время представления он присматривает за лошадьми прибывших на спектакль господ, в антрактах приносит пиво и колбасу актерам, а после спектакля провожает их, неся впереди фонарь (как нес его позднее уже символически) в темной венгерской ночи. Но зато у него есть теперь артистический псевдоним — Ронаи. И нет-нет, удастся помочь при переноске кулис. Вознаграждением за все, помимо перепадающих изредка чаевых, служит ему возможность собственными глазами лицезреть Михая Вёрёшмрти, величайшего венгерского поэта эпохи, и Йожефа Байзу, крупнейшего тогдашнего критика. Для начала неплохо. Тем более что рано или поздно, но он, конечно же, станет знаменитым актером, если бессердечный отец, по крайней мере, на этот раз, согласится сыграть отведенную ему историей литературы роль.

Но нет. Старый Петрович после трагической пештской встречи, с тех самых пор, как узнал, что сын уже не в Шелмце, живет в непрестанной тревоге. Он боится, и не без причины, как бы в тамошнем окружении мальчик не скатился на дно. Едва узнав от недавно

¹ Место ярмарок и народных собраний, теперь находится в черте города.

забритого, но в Пеште все же выбракованного гусара о местонахождении Шандора, он сломя голову мчится за ним в Пешт. Однако, боясь неожиданным появлением еще больше ожесточить его, везет с собой и столь тяжелую на подъем мать. У стен театра она бросается сыну на шею, и сцена эта куда более трогательна, чем та, что разыгрывается в то же самое время внутри театра, перед будкой суфлера. Слезы, пролитые обеими сторонами, проникают Шандору в душу. Он возвращается домой.

И окунается в нищету, еще более жестокою, чем прошлогодняя. После неоконченного учебного года летние каникулы имеют горький привкус, будущее представляется и вовсе в мрачном свете. На продолжение учения нет никаких надежд. Впрочем, в мае что-то все же замаячило. Одного из родственников, Петера Шалковича, старшего брата того, кто также приложил руку к разорению Петровичей, вдруг посетили угрызения совести, и он, в виде покрытия присвоенных обманым путем пяти тысяч форинтов, забирает Шандора в свое имение Оштфи-Ассоньфа. Действительно ли он предполагал учить его? Или просто, занимаясь землеустройством, хотел использовать «выдающегося ума юношу», который «хорошо говорит по-немецки, латинских авторов разбирает не хуже венгерских, славно рисует и обладает прекрасным почерком, немного играет на фортепьяно и даже складывает стихи»?

В Оштфи-Ассоньфе течет истинно господская вакационная жизнь. Шалковичи здесь принадлежат к «лучшему обществу», и юный поэт для чувств своих и любовных стихотворений выбирает героиней дочь местного помещика, гусарского майора.

Его внешний вид в то время рисует нам с достаточной достоверностью Шома Орлаи, двоюродный брат поэта: «Когда карета наша вкатилась на длинный двор усадьбы и лай борзых возвестил о прибытии гостей, все многочисленное семейство Шалковичей высыпало нам навстречу; среди них был смуглолицый юноша среднего роста, худощавый, с короткой и жесткой, ежиком, шевелюрой; белки сверкающих черных глаз пересекались красными прожилками сосудов, над полными, упрямой складки, губами только начали пробиваться усы; обнаженная длинная шея тянулась от покатых плеч его...»

Двоюродные братья, почти одногодки, радостно окунаются в жизнь богатой усадьбы. Иногда даже охотятся. Они строят планы, мечтают: «смуглолицый», например, о том, что однажды выстроит замок, — он великодушно приглашает туда и Орлаи. В специальную тетрадку он выписывает названия шестидесяти венгерских крепостей-замков, к некоторым присовокупляет и краткую их историю. Как вообще поэты, он настолько человек минуты, что сразу же оттаивает, забывает и шелмецкую нищету, и пештские скитания; жизнь опять ему улыбается. Будущее кажется обеспеченным: семейство Шалковичей непременно поможет ему доучиться, ведь и остался-то всего год, от силы два, в конце концов, у него есть основания ожидать от них помощи.

Когда поэты — особенно шестнадцатилетние — в стихотворных строках изливают страдание, то беда, в сущности, уже не столь велика, уже переносима. Вот и в этом стихотворении мы без труда усмотрим почти светлый настрой:

Судьба, не уязвишь ты сердца моего —
Любимой отдал я и родине его.

(«Эпиграмма». Перевод Н. Стефановича)

Но тут опять почва уходит у него из-под ног: разыгрывается сцена с письмом в самых лучших традициях — удар палача прямо в юное сердце. Кому же и опуститься до этого, как не милой доброй тетушке!

Блудный школяр вместе с двоюродными своими братьями, Шомой Орлаи и Кароем Шалковичем, готовится к отъезду в гимназию, на сей раз в Шопрон; предусмотрено решительно все — к приезду в Шопрон его свидетельство из шелмецкой школы будет уже там.

Что изменило мнение Петера Шалковича о племяннике — любовные стихи его к Розе или попросту жадность? А может быть, и ему случилось раз-другой выслушать декламацию о великом предназначении, о грядущей славе? Во всяком случае, характерно, что инженер-землеустроитель не смеет сообщить о новом своем решении племяннику прямо в глаза. Он уезжает из дому и в письме отдает жене следующее распоряжение: «Шома и Карой пусть опять едут в Шопрон, Шандору же выдай пару форинтов, и пускай отправ-

ляется куда глаза глядят, все равно ничего, кроме комедианта, из него не получится». Но и у жены недостает смелости или бессердечия прямо выложить все мальчику. «Добрая женщина» с тонкой душой оставляет открытое письмо на фортепьяно, на котором Шандор играет по нескольку раз в день. Милосердие приносит желанные плоды. Шандор встает из-за фортепьяно «бледнее обычного» и, пошатываясь, выходит из рая. 5 сентября он покидает Оштфи-Ассоньфу вместе с Кароём и Шомой, «из которых что-то выйдет», а шестого уже надевает мундир сорок восьмого пехотного полка Голлнера.

Шаг своевольный, но не столь уж необдуманый, «Вольноопределяющийся», имеющий за спиной шесть классов, может дослужиться и до офицера; может даже повидать чужеземные страны, как Кишфалуди, — идет слух, что полк вскоре будет переведен в Тироль.

4

Подросток-солдат замкнут и углублен в себя. В свободные дни он навещает друзей: Пака и Орлаи, которые в нищенских школярских пансионах вряд ли живутся удобней, чем ему в казарме; Иштвана Шаша, который тоже перебрался из Шарсентлёринца и учится теперь в Шопроне.

Славный Шаш так описывает их первое свидание: «...Наконец, после долгого ожидания, встреча состоялась на квартире общего нашего приятеля в ясный осенний день. Мы тотчас поняли, сколь ложны были распространявшиеся на его счет слухи; в действительности ничего авантюристического в нем не было, напротив, он показался нам естественным и очень простым. Войдя в комнату, я увидел скромно сидевшего в углу на некрашеном школярском сундучке щуплого солдата, весьма неприятельной наружности, смуглолицего, с едва пробивающимися усиками; сняв с ремня свой байонет, он покачивал его, держа на коленях. На приветствие мое по-солдатски вскочил, приставив к боку оружие, затем пожал мне руку; его ладонь, в противоречии со всем обликом, оказалась крепкой, свидетельствуя о закалке. Мундир с желтыми пуговицами и зелеными отворотами, форменные штаны, лодки-сапоги — все бы-

ло словно чужое, все болталось на нем, явно не на него сшитое, и только воротник плотно облегал шею, заставляя выше держать голову; зато коротко остриженная щетинка волос — от нее в темноте летели искры, стоило ему провести по голове рукой, — худое со впалыми щеками лицо, смуглая кожа да живые темные глаза остались прежними. Зная его натуру, не склонную к добровольным излияниям, мы стали сочувственно его расспрашивать, и тогда он, коротко пробежавшись по событиям более отдаленным, поведал о неудачном своем учении, о днях, проведенных в Пеште, вблизи театральных знаменитостей, — достопамятных, по его словам, хотя и исполненных горьких бедствий дней, — затем о том, как отец поверил несправедливому доносу и даже письменно от него отказался; рассказал о безуспешном вмешательстве матери (лучшей матери на свете) и, наконец, о добровольном своем решении избрать военное поприще, чтобы, как он выразился, никому не быть в тягость. Все это он рассказывал сухо, не допускающим сочувствия тоном... Не желая, чтобы мы жалели его, он объяснял поворот судьбы, приведший его в солдатчину, не вынужденным стечением обстоятельств, а напротив, результатом его собственного свободного выбора. Однако ж, позднее, при более доверительных наших встречах, я многократно вглядывался в печальное его сердце и стал видеть в нем не свободно распорядившегося собой человека, но игрушку злой судьбы».

Но мальчик-солдат открывает сердце лишь старому верному другу. Со всеми прочими он разговаривает шутивно-задиристым тоном подростка. И в первую очередь вышучивает собственное положение — по примеру гордых сердец, изведавших страдания и невзгоды. Однако сверху, от баловней общества и судьбы, он более не выносит шуток. Однажды, записывает Шаш, «он зашел ко мне в то время, когда у меня сидел в гостях мой знакомый, довольно самоуверенный господин; Шандор таких не выносил; он тотчас замкнулся, стал молчалив. А тот, заметив это, решил посмеяться и снисходительно назвал его «печальным мадьярчиком»¹. «Печальный мадьярчик?! Да известно ли вам, сударь, кто

¹ Образ «печального мадьяра» — одинокого пастуха, бездомного путника — часто встречается в венгерском фольклоре.

они такие — печальные мадьяры?! — воскликнул Шандор. — А не то ведь я могу и объяснить. Чтобы знали впредь!» Наглый барчук едва нашел дверь, спасаясь от его ярости.

Действительно ли патриотическое чувство так его воспламенило? Или же — чувство классовое, постоянная готовность обездоленных вцепиться в тех, кто над ними? Несомненно, последнее: ведь Шандору достаточно любого повода, чтобы почувствовать боль и тотчас нанести ответный удар.

Солдаты спят на нарах попарно; недавнего богатого школяра, почитателя Горация и Шиллера, заботливая рука судьбы укладывает рядом с самым грязным солдатом роты, замарашкой-цыганом. Зачем? Пройдут годы, прежде чем это выяснится. Полновластным господином над ним она ставит тупицу-капрала, который не упускает случая показать свою власть. Пусть-ка знаменитый грамотей поработает метлой во дворе казармы, пусть промерзнет до костей, стоя на часах; жизненный опыт ему пригодится. Ночью он хочет почитать книгу, взятую из лицейской библиотеки, но сосед-солдат исподтишка задувает свечу — ничего, знакомься, чернильная душа, с душою народа. Сгоряча он замахивается на товарищеский байонетом; назавтра его на потеху солдатне заковывают в кандалы — разбирайся, что такое настроение толпы. Улучив минутку отдыха, он, облокотясь на подоконник, закуривает трубку; в этот миг из окна верхнего этажа казармы мимо него пролетает и шлепается на каменный казарменный двор тело самого робкого и безответного их солдата. Тоже урок, тоже — жизнь, как она есть. Вынести все это помогает только надежда в конце концов попасть в Тироль. Теперь он мечтает о Тироле уже лишь потому, что надеется оттуда перебежать в Швейцарию, «родину Вильгельма Телля и Свободы»!

Полк направляют в Грац. Через Нейштадт и Брук в чудовищных своих лодках-сапогах и подбитом ветром солдатском плаще отмеривает поэт двадцать две мили до места назначения, по слякотным мартовским дорогам. Наконец-то он видел иную страну.

Может быть, они идут в Италию? «Если это все же случится, — пишет он другу своему Имре Н а д ю , — я хоть как-нибудь забуду Тироль. Однако ж, это еще не точно... Что рассказать о себе? Лишь теперь я чувствую,

как низко пал, свернув со стези науки, в круг невоспитанных, бесчувственных людей, попав в когти грубого деспота»¹. (Последнее относится к капралу.)

Поэзия — условие честное — даже кожу сдирает с того, кто предается ей всерьез: пусть ощутит мир кончиками обнаженных нервов. Но, правда, в то же время она создает вокруг своей жертвы истинно улиточный домик.

«Только небесная, благодатная поэзия уносит меня иногда из этого ада. О, если б я не хранил ее в своей груди, меня убило бы отчаянье. Вот уж месяц я здесь, а написал еще очень мало. Да и как писать? Капрал, как только увидит перо в моей руке, начинает шуметь, браниться и тут же задает какую-нибудь работу...»

В подобной обстановке, и правда, нелегко рождаются «изящные» образы, вроде «радостной поросли жизни блаженной» или «девы кудрявой и смуглой, красавицы пылко влюбленной», — если же все-таки рождаются, то недоуменно глядят с листа бумаги на поэта, как, впрочем, и он на них. У автора и его творения друг с другом мало общего. Но в конце концов это вынуждает Музу спуститься с романтических горных лугов, усеянных искусственными цветами, на реальную грешную землю. И рождается стихотворение, посвященное не туманным картинам утерянного рая, а обыкновенной скамье, дощатым нарам, на которых молодой солдат в промежутках между вахтами может вытянуться, расправить заочневшие члены. Это великий поворот. Первый предвестник будущих жанровых его песен, той великой поэзии, которой именно соприкосновение с действительностью придавало силу и яркость электрического разряда; стихотворение строится еще в звучных Овидиевых ритмах, но в нем уже слышится — и эта двойственность придает ему особую прелесть — страстность певца венгерской действительности, более того — вызывающий упрямый голос «народного поэта».

Пусть до небес вознесет меня счастья коварного прихоть,
Пусть после бога по рангу стать первым лишь мне суждено,
Индия пусть умножает обилье несметных сокровищ,

¹ Здесь и далее цитаты из писем и дневников поэта даются по собранию сочинений Петефи в четырех томах, т. IV (Гослитиздат, М. 1953), в переводе Агнессы Кун.

Чтобы лишь мне одному их, как жертвенный дар, поднести, —
Память моя и тогда сохранит навсегда, как святыню,
Грубое ложе из досок, где мог я главу приклонить,
Где находил я покой, если сердце тоска разрывала,
Если невзгод и напастей душила кромешная тьма.
Юноша, скорбью убитый, отравленный ядом мучений, —
Здесь, на груди твоей жесткой, я видел волшебные сны...

(«Солдатским наркам». Перевод Н. Стефановича)

Италия тоже осталась сном.

Полк направляют в Хорватию. Молодой солдат вступает в строй прямо с больничной койки. Май и июнь 1840 года он пролежал в тифу.

Еще больной, ковыляет он в пешем строю. С помощью стихотворения той поры мы можем увидеть его, бредущего по дорогам в заветные «чужеземные страны»:

В края далекие направлен
Путь журавлей, —
Здесь стужа стала нестерпимой,
А там теплей.
Бреду и я, но нет, не к зною,
Не от з и м ы, —
От страсти жгучей в холод вечный
Могильной тьмы.

(«Песни скитальца». Перевод Н. Стефановича)

На первом же постое, в Загребе, он вновь заболевает; три месяца его лечат в военном госпитале «соответственно предписаниям». Все напрасно. Он кашляет кровью, тиф сменяется «предрасположенностью к чахотке и расширением сердца». И все же ему приходится принять участие в военных учениях. Сентябрь опять застает его на больничной койке. От этого периода стихов не осталось. Величайший сын века стоит, пошатываясь от слабости, у самого края могилы, и лишь один человек знает об этом, такой же как он, беглец-школяр, а теперь солдат, единственный друг поэта в годину тяжелых испытаний, достойный того, чтобы запомнить его имя: это Вильмош Купиш. В декабре Рёмер, полковой врач, гуманный человек, отлично говоривший по-венгерски, тревожно склоняется к койке поэта. 15 января 1841 года он пишет медицинское заключение о его болезни, утверждая, что «полная инвалидность поистине недалека». 23 февраля поэта освобождают от службы и переправляют — пешком — в Шопрон. «*Treu und redlich*

gedient»¹ — говорится в отпускном свидетельстве, врученном ему 28 февраля.

Шопронские друзья с ужасом принимают «совсем зачухшего, в потрепанном солдатском мундире» Шандора; они уверены, что он дезертировал. Даже имея, казалось бы, возможность задержаться, передохнуть, он словно не властен над своим стремлением продолжать бег по стране и несколько дней спустя опять трогается в путь. Март, идет дождь со снегом, а он пешком отправляется в Папу. Однако и здесь не находит себе места. «Словно предчувствуя свою судьбу, он был со всеми замкнут, в поведении резок», — пишет о нем Орлаи. «Зачем ты пришел в Папу, какова цель твоя, на что ты собираешься жить?» — спрашивают его товарищи. И слышат в ответ одно и то же: «Не знаю, не знаю». Слова эти звучат безразлично, подавленно. Он начинает посещать лекции в коллегии, однако чьего-то презрительного смеха, единственного оскорбительного взгляда профессора довольно, чтобы он, взбешенный, дрожащий от негодования, покинул аудиторию. Начинается та пора, когда поэт, словно преследуемый раненый зверь, мечется в клетке страны своей и судьбы. 18 марта он уходит из Папы, опять пешком, опять под дождем, смешанным со снегом; 25 марта прибывает в Пожонь². Когда «молодой человек в обтрепанных брюках и драном летнем доломане» предстает перед давними друзьями на берегу Дуная, они едва узнают его.

В Пожони поэт проводит десять дней — он потому так задержался, что болезнь свалила его с ног, пришлось отлеживаться в больнице. Но едва его отпускают, как он снова, борясь с одышкой и пошатываясь от слабости, без крейцера в кармане пускается в путь. Куда? Друзья провожают его, первый час пути шагают с ним вместе. На прощанье он просит Михая Эстергайи подарить ему изящный его кинжал. Верный друг старых добрых асодских времен со страхом отдаёт Шандору оружие: он боится, что тот, кого в Асоде называли баловнем судьбы, обратит клинок против себя.

Если бы скиталец-школяр, оставшийся вновь один на пустынном большаке, был героем вымышленного романа, то после такого нагромождения ударов судьбы он

¹ «Служил верой и правдой» (нем.).

² Венгерское название Братиславы.

и не мог бы поступить иначе, как покончить с собой. Или стал бы жертвой волков. Больших мук и страданий не выдерживает воображение. Однако бывший школяр, бывший солдат оказывается выносливей и вновь подымается на ноги; на душе тоже становится веселей; жадно, ненасытно вбирает он впечатления — сердцем, мозгом, каждым нервом. Не будем же удивляться, что, когда настанет время, он все это выплеснет из себя со взрывной силой, будет жить в постоянной насыщенности, в величайшем перенапряжении.

«На двух своих испытанных лошадках» он шагает из Пожони в Дёр, оттуда в Пешт, оттуда в Шелмец, словно забежав по соседству, чтобы забрать свидетельство, затем в Дунавече к родителям. Наконец-то он мог бы отдохнуть, но уже через две недели — как он пишет Себерени в исполненном горького юмора письме — ему становится скучно! Родителям он не в тягость: при корчме, мясной лавке дело всегда нашлось бы. В действительности он боится, задержавшись надолго, смириться с жалким этим жребием, а тогда уж веки не порвать цепей. После столь частой, вольной или невольной, перемены мест, душа его, словно крылья птицы, ежесекундно готова встрепенуться, унести его прочь. Он — не ведающий разочарованья Кандид, который, однако, после каждого приключения что-то наматывает себе на ус.

В начале июля Шандор оказывается в Пеште. Затем снова — скитания по стране, словно он решил лично узнать каждого ее обитателя. Да не пожалеет читатель труда — пусть достанет он карту Венгрии и, разыскав на ней упомянутые доселе названия, заставит потрудиться немного и свое воображение. Перечисленные города и села отстоят друг от друга на сотни и сотни километров. Расстояния еще увеличиваются условиями той далекой поры: ведь железных дорог пока нет, почтовая карета — невообразимо дорогое удовольствие, а в дождливую погоду да на разъезженных дорогах карета, телега по самые ступицы утопает в грязи, редкий возница решается сделать попытку добраться до ближайшего села, а уж доберется ли — бог весть! В такую пору отправиться в путь все равно, что бросить вызов богу. Однако нашему непоседе любой предлог хорош, чтобы тотчас сняться с места. Особенно летом. Сколько в стране поселений, где он еще не побывал? Из Пешта

он шагает в Балатонфюред, оттуда, через поросшие лесом горы Баконя, идет в комитат Шомодь, далее — в Толну. Как он жил, на что? — спросим мы вновь. На сей раз повод для скитаний — найти подходящую бродячую актерскую труппу. Теперь уже он хочет стать актером не только по призванию, но и ради куска хлеба. Родители все глубже скатываются к нищете. Даже если они снабдили сына чем-то в дорогу — надолго ли этого могло хватить? Скиталец бедствует. Но, исполненный юных сил, описывает этот период жизни лишь в светлых тонах; о горечи, жажде мести, обвинениях, которые, естественно, приходят в голову взрослому мужчине, нет и речи. Быть может, его поддерживали подаяния?

И не могу сказать, что было много
Поклажи в сумке за моей спиной, —
Не ноша тяготила, а нужда!
И только легкомыслие умело,
Как друг вернейший, как веселый спутник,
Брать на себя всю тяжесть этой ноши.
И вот пришел я в некий городок.

Это была Озора, в полудне ходьбы от Сентлёринца, от Борьяда, волшебной долины его счастливого детства. В трактире большого озорского постоянного двора он встречается с актерами, «группой» Кароя Шепши. Актеры приглашают его разделить с ними даровое угощение — оленью ногу, полученную от управляющего из замка, с тушеной капустой; после обеда он присоединяется к ним — вероятно, совсем не при таких веселых обстоятельствах, какие описывает в цитируемом выше и ниже стихотворении. Озора стала свидетельницей его первого выступления на театральных подмостках; перед крестьянами, заполнившими старую корчму (ту самую корчму, да позволено будет заметить, где пишутся эти строки), разыгрывалась популярная в те времена пьеса «Пелешкейский нотариус». Поэт с усмешкой вспоминает, что

...Действовал геройски
Там в трех ролях, поскольку в нашей труппе
Лишь шесть артистов было налицо.
...Мы по селеньям ездили... Бывали
Удачи, и бывали неудачи.

(«Письмо другу-актеру». Перевод Л. Мартынова)

Они побывали в Силашбалхаше, Шарбогарде, Шимонторне, во всех окрестных деревнях и селах — не были только в Борьяде. Почему он не навещает Шашей?

Конечно же, его встретили бы там с радостью, оставили бы погостить на все лето. Но нет. Он уживается с пестрой братией бродячих актеров, напоминающих в те времена не столько труппу, сколько передвижной бордель или ватагу нищих; он даже согласен обходить дома с «прощальным листом» и просьбами о вспомоществовании; в Сексарде с глубоким поклоном опускает в карман подачку — серебряную монетку в двадцать крейцеров, которую бросает ему помещик, к тому же заядлый реакционер... Но там, где он может явиться не в облике нищего!..

К концу лета Шандор покидает труппу, делает попытку продолжить учение, рассчитывая лишь на собственные силы. Он возвращается в Папу.

И здесь приходится ему, понунив голову, обивать пороги в поисках учеников или работы переписчика. Зато с теми, кому можно не быть слугой, — именно потому, что вынужден служить другим, — он резок и держится вызывающе, как человек, у которого накопилось немало причин для мести. Он не может в срок внести плату за обучение, и его имя вписывают на черную доску коллегии.

— А вас-то почему сюда записали? — спрашивает студент, рядом с ним читающий список: как видно, ему просто невдомек, что человека могут обеспокоить из-за денег.

Бывший солдат, сверкнув черными глазами, распахивает перед любопытствующим свой подбитый ветром короткий серый плащ, в котором дрогнет перед доской:

— Потому что у меня плащ без подкладки!

На грязных улицах Папы можно передвигаться лишь по узеньким, протоптанным прохожими, тропам. На одной из таких улиц дорогу Шандору преграждает хорошо одетый школяр.

— Откуда вы? — располагается он поговорить.

— Из-за моей спины, — резко обрывает его дрожащий от стужи поэт.

— Но куда собрались-то?

— Прямо вперед за собственным носом, если вы уступите мне наконец дорогу! — восклицает он гневно.

Тот, с кем он сходится близко, должен выдержать серьезные испытания на дружбу, на стойкость и не в последнюю очередь на терпение. В темно-сером своем

плаще со стоячим воротом и в солдатской, выдавшей виды шапке, какие выдаются увольняемым из армии по инвалидности, он мрачно сидит среди веселой школярской братии. Лицо его «некрасиво, но необычно; взгляду наблюдателя оно видится мрачным и впечатление производит до крайности грустное, удручающее, однако ж не отталкивает, не вызывает ненависти», — пишет Шандор Козма, один из тех, кто выдержал экзамен на дружбу.

Для подобного душевного склада поэзия, искусство, слава, все то, что дает ощущение собственной недюжинности, необходимо так же, как раненому — перевязка, как впавшему в отчаяние — сон или вино. Если бы его не ждали стихи, не ждало убежище грез, то уделом его стало бы падение — во всяком случае, духовное.

К счастью, стихи рождаются у него легко. Однокашники не слишком разбираются в искусстве, но в их глазах, как и в глазах профессоров, — да и всех, кто желал в те времена почитать себя человеком образованным, — творцы поэзии стояли очень высоко. Над неотесанными школярами, собравшимися в Папу из глухих сел подростками, главенствуют пять-шесть избранников муз. Помимо Орлаи и Козмы, это Шандор Лантаи, Карой Ач и Мориц Йокаи — последний собирается стать художником. Школяр-солдат и для них авторитет. 5 мая 1842 года, ничего не сказав друзьям, он посылает четыре стихотворения в самый влиятельный журнал страны, который редактируют Вёрёшмарти и Байза. «Если мои ничтожные стишки достойны опубликования... предлагаю и на будущее мои слабые силы...» — пишет он редактору, пред олимпийским величием которого даже этот неисправимый бунтарь испытывает робость, страх начинающего поэта.

Из четырех стихотворений три написаны трохеем, а Байзе принадлежит небольшое исследование о роли трохея в поэзии будущего. Два стихотворения из четырех — в соответствии с модой того времени — застольные песни. Та, что покороче, под названием «Пьющий», 22 мая была напечатана.

Если есть вино в стакане,
Значит, легким станет груз.
Если есть вино в стакане, —
Над тобой, Судьба, смеюсь...

(Перевод Н. Стефановича)

Жизнь была для поэта «Легким грузом» разве что несколько коротких мгновений — после опубликования этих по-чоконаевски ясных и свежих стихов.

Узкий кружок друзей устраивает настоящее празднество в жалком школярском жилище; они бы выпили и вина, если бы по случайности не были все к вину равнодушны. Теперь уже и формально посвященный в поэты, признанный перед лицом мира, Шандор Петрович ходит по улицам Папы с еще более неприступным и мрачным видом; однако это вовсе не означает, что и на сердце у него столь же мрачно, что в его пессимизм не проник ни единый теплый луч, что вся мировая скорбь не обернулась внезапно любовью к человечеству, великими надеждами.

А тут приспела и новая любовь, да к тому же к актрисе. Поэт служит кумиру своим дарованием. Козма, самый известный из их кружка писатель — он в Папе «собственный корреспондент» пештского журнала «Регелё» («Сказочник»), где печатается под псевдонимом Левелди, — великодушно доверяет другу свое имя и возможность выступить вместо себя на страницах журнала, чтобы достойно выразить восхищение актрисой Сатмари. После первого напечатанного стихотворения — первая проза. И все едва за три недели. Приведем здесь несколько строк хотя бы как живое свидетельство уровня театрального искусства в Папе на май 1842 года. Разбирая спектакль «Стакан воды» Скриба, рецензент пишет: «Прежде всего заслуживает упоминания актриса Сатмари; ее исполнение роли интриганки-герцогини вполне нас удовлетворило. Мы приветствуем г-жу Сатмари и ценим по достоинству в числе тех немногих наших соотечественников, для кого Муза открывает свои материнские объятия. Следует, однако же, обратить внимание, что декламация г-жи Сатмари несколько однообразна; когда же она желает выразить чувства более пылкие, ее речь переходит в скороговорку. В ролях герцогини Мальборо, Маргариты Бургундской или Фисбы г-жа Сатмари удовлетворила бы даже самых строгих судей».

Бедняжка Сатмари! Она готовилась стать жрицей Талии, чистосердечно мечтала о благородной славе; и вот, наконец-то, на нее направлен яркий луч, вот она, возможность вознестись высоко. Что луч, одинокий луч одного какого-либо вида искусства, — она попадает

сразу в сноп лучей, направленных историей целой нации! И как же она увековечивает себя? Влюбленный критик не удовлетворяется рецензией, он жаждет изустно выразить актрисе свое восхищение. Вместе с Козмой он отправляется в обиталище актеров, чтобы лично засвидетельствовать уважение г-же Сатмари. Орлаи так описывает эту сцену: «В гостинице «Гриф», где расположилась на постой актерская труппа, в широком коридоре второго этажа он сразу же увидел возлюбленную своего сердца, в одном нижнем белье, надетом весьма беспорядочно; она яростно перебранивалась с товаркою из-за куска хлеба с маслом. Два обожателя постеснялись быть свидетелями перепалки, отнюдь не прерванной их появлением, и поспешили прочь с намерением разыскать Комароми. Вскоре они нашли почтенного мужа, который успел, как видно, заглянуть на самое дно винного кувшина и как раз затеял жестокую драку с учеником по фамилии Бокор (впоследствии также актером), причем Бокор уже был поранен его стилетом; словом, увидя все, они удалились не прощаясь и более не делали попыток повторить визит. По воле случая возвращавшемуся позднее домой Шандору довелось услышать о связи бранчливого своего кумира с арендатором Ш., так что в скромную нашу комнатенку он вошел совершенно убитый и в этот же день написал стихотворение «Видимость и правда».

Во всей истории жалости достойна бедняжка Сатмари, а не разочаровавшийся влюбленный. Кто под влиянием сердечных потрясений способен в тот же день излиться стихами, у того и сердце обретает покой. Собственно, стихотворение это — всего лишь экспромт, но у школяров — которым тотчас его прочитают — оно имеет успех. Мрачный поэт радостно принимает поздравления; в его состоянии успех, по сути дела, лекарство. Значит, у него еще будет случай показать людям, кто он таков, и у людей будет случай и причина полюбить его, оценить, принять с открытой душой. Случай, и правда, не заставил себя ждать.

Праздник самообразовательного кружка стал для него, украшения и гордости этого кружка, еще и личным праздником. Не напрасно он без конца исправлял, вновь и вновь переписывал «Лехела», его труд достоин был поощрения.

В «Лехеле» бродит, ищет себе выхода истинно венгерская сила, которую позже высвободит Арань, и она мощно зазвучит в его поэме «Кевехаза».

Раздался рога грозный голос,
Казалось, небо расколосось,
И снова бой, и кровь, и дым.
Меч поднят Хадура сынами,
Звереют немцы, рев и пламя,
Пожар войны неудержим.

Сухие травы увлажняя,
Лилась потоком кровь густая.
Жестока смертная борьба,
Валялись трупы тут же, рядом,
И люди падали, как градом
Вдруг перебитые хлеба.

(«Лехел», II. Перевод Н. Стефановича)

Стихотворение «Видимость и правда» прочитал Козма, и с таким успехом, что аплодисментам не было конца. С еще большим успехом декламировал сам поэт. Стихотворение «Свинцовые палки» всем так понравилось, что присутствовавший на вечере граф Эстерхази к заранее объявленной награде — двум золотым — добавил еще один.

Герой дня безмерно счастлив; он поет, шутит, строит планы — сперва на вечеринке в корчме у еврея Фромма, потом, не сумев, видно, за один день и одну ночь полностью излить свою радость, еще и на прощальном пиршестве шомодьских школяров. Он забывает нищету, забывает прошлое, не думает и о том, что ждет его впереди. На нем чужое платье — великолепный темно-зеленый фрак с эмалевыми пуговицами, черные брюки, лакированные туфли, белый цилиндр и перчатки, в которых он собрал столько лавров и которые раздобыл для него Козма у знакомого студента-аристократа. Поэт позабыл сейчас и об этом, но «аристократ» не забыл. На рассвете увенчанный славою поэт, улыбаясь, глядел из угла на состоятельных шомодьских школяров, которые уже пустились в пляс на середине комнаты... В этот момент к нему подошел владелец костюма и таким тоном, так громко потребовал возвратить фрак и брюки (перчатки и цилиндр одолжены были у другого), так жаждал тут же, немедля разоблачить героя дня, что лишь замелькавшие в воздухе кулаки взбешенных товарищей смирили его, и он согласился ждать до утра. А поэт, опять «побледнев более обычного», вскочил и вместе

с Козмой бросился домой, спеша сорвать с себя чужое великолепие. Козма пытается утешить друга, обнимает его. Тщетно: «...горько рыдая от пережитого унижения, почти в полном отчаянии», он бросается к Козме на шею, плачет навзрыд; как знать, быть может, именно тогда, в объятиях будущего главного прокурора, — если этого не случилось ранее, — в сердце поэта дает первые ростки зерно того гнева, который заставил его позднее потребовать веревку и железные вилы для целого общественного класса.

Каков он, последний штрих, которым оканчивается тот или иной процесс, где та минута, с которой начинается новое состояние? Пора исканий миновала, молодой поэт чудесным образом, буквально в одночасье, становится поэтом зрелым. Весна ли довершила его созревание — или та горестная ночь? Все, что писал он прежде, выброшено; все, что пишет отныне, сам включает в сборник своих стихов. Может, он осознал вдруг, что, кроме поэзии, пути ему нет?

Из Папы он вместе с Орлаи отправляется в Комаром к Йокаи, из Комарома на корабле плывет в Пешт, оттуда идет к родителям, в Дунавече. Опять пешком. Но на сей раз мы не станем жалеть его: в этом путешествии рождается его первое истинно великое стихотворение, которым поэт позднее откроет собрание своих стихов. Это увертюра его поэзии, первый свободный вдох, первое прикосновение к новому миру, к миру самого венгерского народа. Будем совсем точными: лишь половину стихотворения можно назвать безукоризненной. Первая строфа искусно вбирает в свои четыре строки пейзаж, определенную ситуацию, душевный настрой; словно гулкий удар лихо раскрученного кнута, плывет в воздухе истинно величавый, не на пальцах вычисляемый ритм:

Степная даль в пшенице золотой,
Где марево колдует в летний зной
Игрой туманных призрачных картин!
Вглядись в меня! Узнала? Я — твой сын!

Когда-то из-под этих тополей
Смотрел я на летевших журавлей.
В полете строясь римской цифрой пять,
Они на юг летели зимовать.

(«На родине». Перевод Б. Пастернака)

Поэту девятнадцать лет.

Когда стихотворение папайского школяра появляется в печати, венгерская поэзия еще не делится на жанры более почтенные и менее почтенные. Романс, который полвека спустя будет изгнан из литературы и оттеснен в кабаре; насмешливая песня, омещанившееся чадо эпиграммы, которое вскоре обратится в сатирические вирши, разнообразящие рубрику газетных новостей, — все это в глазах редакторов и читателей сороковых годов есть поэзия не в меньшей мере, чем героическая поэма или народная песня. Перед молодым человеком из Папы, посвятившим себя поэзии, раскинулись богатые просторы. Он появился здесь в последний момент, но все-таки еще вовремя, чтобы, при некотором опыте, чуть не каждый день писать стихотворения самого высокого полета. Разделение труда, как и в промышленном производстве, здесь произойдет лишь несколько лет спустя. А пока — поэт, как и ученый, по типу своему полигистор, он волен пробовать свои силы на всем. Ему можно роскошествовать в материале, преспокойно браться за любую тему, и если даже первые две-три строфы выйдут не слишком удачны, то в третьей, в четвертой строфе — коль скоро автор действительно поэт — неизбежно сверкнет, будто перл, необыкновенный оборот или образ, полыхнет огнем поэтического дара и увлечет за собой все стихотворение. Ремесло это, как ни смотри, дело настроения, вдохновения, иначе говоря, случая.

Было ли так, чтобы поэт придвигал к себе лист бумаги с твердой уверенностью вот сейчас непременно создать нечто гениальное? Нигде так не трудно начало, как здесь!

В зарождающейся литературе свобода действий — слово живительный солнечный луч, она ускоряет созревание начинающего таланта. Его не принуждают к непосильным испытаниям, — он формируется постепенно, от ступени к ступени, каждая из которых точно соответствует его крепнущим силам. Молодой, легкомысленный, почти дитя, поэт уже может проявить себя личностью. У него есть возможность развития — кому ж и иметь ее, как не ему? Правда, чем выше он взбирается, тем более должен полагаться на собственные силы, и как раз то, что поначалу служило лесен-

кой — низкий уровень публики, — со временем станет величайшей преградой, не спасовать перед которой дано лишь феноменам. Но стоит ли уже сейчас думать о теневой стороне? Поэты девятнадцатого века в мундирах своих лицеев целыми отрядами маршем восходят на Олимп; поэзия первой половины века во всем мире принадлежит юношам с едва пробившимся на подбородке пушком, почти вундеркиндам. (Следующий век, который столько витийствует о молодежи — и в войну, и в мирное время, — почти не будет знать поэзии молодых. К своим величайшим прозрениям певцы станут приходить во все более зрелом возрасте, как будто эпоха, недавно еще молодая, и этим показывает, что стареет, набирается ума-разума, чувствует близость своего конца, — еще немного, и душевный мир ее, стоящей на краю могилы, будет под силу выразить лишь старцам.)

Поэт, бредущий пешком из Пешта в Дунавече, относит к искусству, творимому словом, также и театр — искусство слова произнесенного. Богатство выбора его не смущает. Его творческие и душевные силы еще долго проявляются на любом предмете, какой подвергается волею времени и случая. В поэзии, как и в любви, предмет вначале не столь уж важен, и лишь позднее наступает черед избрания Музы — или, выражаясь нынешним языком, темы и содержания творчества.

Из четырех присланных в редакцию журнала стихотворений хорошо ориентирующийся в литературе критик Байза выбирает для публикации «Пьющего». Выбор его не случаен. Уже добрых полвека читатели всей Средней Европы делят свои пристрастия между «кладбищенской» поэзией и застольной песней. В этом своеобразном, но понятном чередовании «тепло — холодно» сейчас вновь берут верх застольные песни. Жеманное господство женского вкуса сменяется лихим молодечеством. В большинстве случаев это означает, что на смену возвышенным интонациям приходят интонации «низменные». После кладбищенских пейзажей, осиянных светом луны, после сопутствующих им вздохов и стенаний — вся Европа, изображая легкое опьянение, мурлычет озорные песенки.

Для нашего поэта и то и другое словно бы равнозначно. Как будто сейчас ему и в самом деле неважно, что писать. Тот, кто ощущает в себе силы, понимает, что проявить их можно в любой форме. Хотите застоль-

ные песни, веселье? Хотите народную тему? Пожалуйста!

Здоровое, радостное созревание невозможно оставить даже с помощью такого гнета, какой довелось испытать ему. Подлинная нищета и унижения еще впереди, но сейчас он радуется, что может забыть о них. Он откладывает в сторону все свои обиды, не подозревая, что они будут лишь расти на досуге и при первом же случае предстанут уже гигантами. Ему помогает забывшаяся и его богатая, многокрасочная натура, вмещающая в себя все — от порывов ярости до светлого веселья. Уже в Асоде, Шелмече, Шопроне его друзья с удивлением замечают, как он, настигнутый каким-либо ударом, в первый миг — правда, лишь в самый первый миг — приходил в полнейшее отчаяние, но уже в следующее мгновение сам начинал себя высмеивать. Чтобы предупредить всех остальных? Чтобы никто не мог посмеяться над ним или пожалеть его? Столь гибка его душа или так потрясающе высокомерна?

Он пробует свои силы.

Дыхание современности — то, что начинающий журналист, едва обмакнув в чернила перо, с легкостью переносит на бумагу под нашептывания уличной своей Музы, — начинающим поэтам лишь чрезвычайными усилиями удается извлечь из струн лиры. Ведь беря в руки лиру, они получают ее уже настроенной, но настроенной предыдущей эпохой в согласии с ее слухом. Поэзия — древнейшее искусство. Она наиболее отягощена грузом традиций. Даже самое смелое новшество здесь приживается лишь с милостивого соизволения традиций. Но ни в какой другой области получившее признание новшество не становится таким деспотом, не жаждет так сильно утвердиться навеки. Как ни странно, но это так: труднее всего написать хорошее стихотворение о том, что слышится уже повсюду, знакомо любому подмастерью и кучеру, хотя бы по мелодии, насвистываемой без слов.

Редкая эпоха требовала от своих художников столько лжи, как та, что предшествовала революциям 1848 года. После грандиозного бунта и поражения романтизма наступает террор сладкой нежности и очарования, где художник приговорен не к колодкам и тюрьмам, а к жеманному любованию луной, закрученными в трубочки женскими локонами, изящно отведен-

ным мизинчиком держащей блюдечко прелестной руки. Юные обречены в литературе невинно улыбаться, нищие народные толпы — затевать радостные пляски, демонстрируя бескорыстную верность простолюдинов своим господам. Восточнее Рейна этот стиль простодушных сердец и круглых животиков называется бидермайеровским — он оставил после себя горы мебели гармоничнейших очертаний и память о сонмах гениев с расстроенной душой. Это эпоха буржуазного довольства и тщательно оберегаемой видимости, эпоха скрываемых добродетелей и точно так же скрываемых дурных болезней. В ее воздухе всему надлежит быть ласковым, мягким, тихим, подобно молодому музыкальному инструменту — арфе. Духу тесно здесь не менее, чем в эпоху инквизиции.

Известно, что железные законы моды проявляют себя наиболее жестоко на расстоянии тысяч километров от места зарождения. Самые совершенные, поистине идеальные экземпляры парижских шляпок или лондонских брюк встречаются лишь на скачках и в театрах Буэнос-Айреса или, скажем, Константинополя. Так и бидермайеровское благолепие с наивысшей неумолимостью диктует свои законы в самых отдаленных уголках городской цивилизации. Живи наш молодой поэт в Париже, мы и тогда имели бы основания с тревогой следить за его судьбой: хватит ли у него сил вырваться из железного кольца? В самом деле, многим ли талантливым сыновьям тогдашней Европы посчастливилось из него вырваться?

В Дунавече родительский дом печальнее, чем когда-либо. «Сердце мое с жалось, — пишет Орлаи, — при виде двух почтенных стариков в столь жалком положении. Отдельные предметы мебели и сохранившееся еще белье свидетельствовали о более счастливых временах, да и лица их со следами глубокой скорби, порожденной печальной судьбой, зывали о сочувствии. Особенно видно это было по доброму лицу его матушки; даже улыбка ее окрашена была горечью. Дом, который они сняли, был низенький, с маленькими окошками; две комнаты разделялись кухней. Переднее помещение служило корчмою... и лишь задняя комната предоставляла отдых их усталым телам. В этой же комнате расположились и мы».

Но — только на неделю: поэт и дома не находит покоя. Молодые люди возвращаются в Пешт, восполь-

зовавшись средством передвижения, еще более медлительным, чем их «испытанные лошадки», — едут на большом баркасе, который перевозит по Дунаю зелень и птицу; баркас медленно движется вверх по реке, влекомый не лошадьми даже, а чередой согнувшихся в три погибели мужиков. Азиатская картина, но на сей раз она приводит на память отнюдь не храбрых приволжских наездников; пассажиры барки (торговки, служанки, надеющиеся найти место в Пеште) и вконец выдохшиеся бурлаки раскладывают на берегу костер. Поэт, такой неприступный и заносчивый еще в Папе, в два счета смешивается с этими людьми; когда же служанки заводят песню, вместе с ними тянет печальный напев. Орлаи вспоминает: Шандор учил какую-то девушку двум-трем песням собственного сочинения. Но, по нашему мнению, куда важнее то, чему эти люди научили его.

Он прислушивается к ним с чуткостью истинного поэта... По всей Европе наступает эпоха приобщения к народу. Новый общественный класс, буржуазия, с середины пути своего к вершине, куда ей предстоит вскарабкаться, еще раз оглядывается назад, склоняется к народу, ждет от него на дальнюю дорогу пищи духовной. Как искала она союзников в ходе революционных битв, так теперь ищет предков, чтобы было что противопоставить традициям дворянской культуры, возместить их отсутствие. К народу имеют отношение все, ведь чьи угодно предки когда-то были земледельцами... На западе у буржуа не только деды, но даже отцы еще возделывали землю; если можно чем-то поживиться — почему бы и не признать это родство! Буржуазная литература в Англии начинается с переложений народного прошлого так же, как и в Германии, Финляндии или Болгарии.

И так же, как у нас. Чоконаи и Фазекаш указали венгерской литературе этот путь, причем не формально, не внешне, а самым существом своей поэзии, ее направлением. Жизнь поэта Бачани показывает, как оборвался этот путь: да, в габсбургской тюрьме, в Куфштейне. Однако сейчас словно бы опять занимается заря. Предчувствуя, откуда идет духовное обновление, легионы писателей стремятся проникнуть в секреты

очарования и силы народной песни. Она же непонятным образом им противится. Почему? Да потому, что они изучают лишь душу песни, но не душу народа, которую, кстати сказать, «изучением» познать все равно нельзя, а тем более нельзя сделать своей. Вскоре их усилия так же вольются и так же исчезнут в творчестве молодого поэта, как вливаются и исчезают тысячи ручейков в Дунае. Имя и направление великому движению даст он — тот, кто отправился в путь от самых истоков.

Сидя у бурлацкого костра в зарослях верб, он изучал, как и вообще в те годы, отнюдь не формальную сторону народной песни. Он не копировал их, как его предшественники. Сколько бы ни писал он потом стихотворений, независимо от жанра, он всегда чувствовал принадлежность свою к народу, как будто его голос был лишь одним из миллиона народных голосов, творящих песню, постепенно придающих ей совершенную форму. Смелое, ранее неведомое чувство! И пел он так же смело и непосредственно, как любой бурлак в ту ночь, после ужина. Он осуществил то, что было прежде невысказано: между молодым крестьянским парнем и им самим только и было различия, что парень волоком тащил баркас, сведущ был в пахоте, в уходе за скотом, знал тысячи всяких хитростей и уловок, он же рылся в книгах и вникал в тайны просодии. И оба, несмотря на это, равно осознавали себя сынами народа, разницу же между собой видели лишь в том, в чем она и была: в различии профессии, ремесла. Можно ли сейчас представить себе это, поверить, что так оно и было в действительности? Да, ибо даже помимо его стихов у нас имеется множество доказательств, что чувствовал он именно так. И в этом был один из его секретов.

Он следует самому ходу мысли народной, а не характерным приемам народной песни — зачинным строкам с описанием природы, подробности или стройности изложения, — из которых, кстати сказать, каждая эпоха выбирала характерные элементы по своему вкусу. Уже выделившись среди собратьев по перу, даже в их глазах став несравненным *poeta doctus*¹, он по-прежнему легко и естественно выводит народную мелодию и ни-

¹ Ученый поэт (лат.).

когда не фальшивит. Венгерскими размерами он пользуется так же уверенно, как гекзамером. Он не «спускается к народу». Его душа свила себе гнездо в самом народе. И он имел мужество сознавать, что, как бы высоко ни вознесла его судьба, оторваться от народа ему нельзя.

Орлаи не записал песен, которым обучал служанок молодой поэт. Сам поэт ни одну из написанных до тех пор песен не включил в собрание стихотворений. Первые дошедшие до нас стихи его, напоминающие народную песню, родились в Мезёберене, у Орлаи. Молодые люди добрались туда через Пешт; но прежде Шандор в пештском гетто покупает в лавке подержанных вещей — глаза Орлаи-художника запомнили все — «темно-зеленый фрак с желтыми пуговицами, который ему очень нравился, и белый котелок с высокой тульей; переодевшись, он выглядел совсем баринoм». Так что же пишет этот «барин» — теперь уже бесспорный обладатель зеленого фрака и белого цилиндра, из-за которых ему больше не грозит унижение? Вслушаемся в крестьянскую интонацию этих строк, родившихся в Мезёберене, в доме его дяди-сапожника:

Бродят люди по зеленой чаше,
Смотрят люди на закат горящий.
Кинул розы луч его последний
На деревья и на холм соседний.

(«Бродят люди...». Перевод В. Левика)

Это еще не народная песня, только прочистка горла перед репетицией. Как ухватил он этот тон, ритм? Перед ним раскинулись золотые россыпи. Стоило начать черпать из них, и разработка сама повела его вглубь, к подлинным своим сокровищам.

Странное противоречие: самый коллективный жанр — народная песня — всегда выражает самые индивидуальные чувства. И самые индивидуальные ситуации. Поэт часто скрывается за своим произведением, герой же народной песни почти зримо встает перед нами, двигается, говорит от первого лица, высказывает сугубо личные радости свои и печали, которые могут при этом стать радостями или печальями каждого, отчего и приобретают всеобщность. Для умного поэта это первый урок, какой он извлекает из народной песни. Бернс извлек его, как и вся английская школа, как Гете и Гейне; воспринял его и молодой венгерский поэт. Народная

поэзия сберегла и реализм, одарив им литературу. Уже Чоконаи инстинктивно черпал из этого источника.

Чоконаи да еще Гвадани — излюбленное чтение нашего поэта. Возвращаясь из Мезёбереня, он сворачивает в Дебрецен лишь затем, чтобы совершить паломничество на могилу Чоконаи. Но слишком уж романтически, не правда ли, звучало бы утверждение, что новая его поэзия берет начало от этой могилы. На заре прошлого века перед венгерской литературой открывалось два пути: один вел к будущему и славе через Сепхалом¹, другой — через Дебрецен. Подавляющее большинство поэтов, как мы знаем, избрало первый путь; среди них были Кишфалуди, Вёрёшмарти, по нему следовал некоторое время и молодой поэт. Конечно же, чистая случайность, что именно в Дебрецене он перешел на дебrecенский путь, уже порядком заросший травой и засоренный с тех пор, как был расчищен его первыми вдохновенными ревнителями, но и в таком виде явственно указывавший направление — к венгерскому народу. Странствующий, как некогда Чоконаи, школяр именно после Дебрецена становится уже не сочинителем народных песен, а поэтом народа.

На первом же привале, вместо былых «клятвопреступных дев» и тому подобных оборотов, рождаются совсем иные слова:

Хортобадская шинкарка, ангел мой,
Ставь бутылку, выпей, душенька, со мной!

(«Хортобадская шинкарка». Перевод В. Левика)

Стихотворение тотчас, с пылу, с жару, попадает к народу. Через год-другой первооткрыватель-фольклорист Янош Эрдейи, ничего не подозревая, включает его в свой знаменитый сборник народной поэзии. Хотя имел бы основания проявить недоверчивость: правда, стихотворение выглядит совершенным и как народная песня, однако его стройность, четкость развития сюжета выдает в нем литературное произведение большого мастера. То же вполне может быть отнесено к стихотворению «Что от этого бывает...».

¹ Имение Ференца Казинци, которое в течение десятилетий являлось важнейшим культурным центром Венгрии.

Что от этого бывает,
Если землю плуг взрыхляет,
Но не сеют ни зерна?
Лебеда взойдет одна!

(Перевод Л. Мартынова)

Стихотворение, как и многие другие, «гейневское», но лишь в том смысле, что и Гейне писал бы подобные, уродись он венгром. Оно написано было уже в Папе, куда поэт, как обычно, пешком пришел из Дунавече.

Обстоятельно все обдумав, с самым серьезным намерением учиться возвращается Шандор Петрович в папайскую коллегую: он будет адвокатом или педагогом... шагая километр за километром, поэт думает о том, что должен как можно скорее стать опорой родителям. Принимать помощь из дому он уже не вправе... С прошлого года у него есть два ученика, что ж, будет содержать себя уроками. Увы, в последнюю минуту обоих учеников уводит у него из-под носа состоятельный папайский юрист. Поэт мечется, бросается туда, сюда, но ничего не выходит, он не может обеспечить себе пропитание. Редко он падает духом, но на этот раз не выдерживает: «Меня страшно преследует судьба, — пишет он Себерени. — Я стою перед ужасной пропастью, которую мне надо перешагнуть, и от этого шага, быть может, разорвутся два сердца (моих родителей). И все-таки я не могу поступить иначе. Суди сам, мой друг! Я должен стать актером, иначе мне нет никакого спасения; родители не в силах мне помогать, а в Папе нет ни малейшей возможности раздобыть несчастные гроши, нужные для поддержания жизни».

Однако всякий раз, когда он уже в пучине, перед ним, словно в ободрение, начинает маячить высокая цель. «Посмотрим, что сулит рок, — пишет он несколько торжественно, как будто обращается не к такому же, как он, нищему студенту, а прямо к потомкам. — Нужно ли говорить, что я ищу не только хлеба насущного, — ведь я мог бы, нанявшись кучером или батраком, иметь более верный кусок хлеба; я же стремлюсь выше, и эта цель никогда не померкнет перед моими глазами. Артист и поэт! Вот, друг мой, что воодушевляет меня.

Но ведь давно решено, что я не буду заурядным человеком: *aut Caesar, aut nihil*¹. Конечно, это продиктовано скорее горечью: он вовсе не столь уж уверен в успехе. «Не смейся, друг мой, если я говорю глупости», — добавляет он и тут же почти робко просит высказать мнение о его стихах, — эта робость постоянно присутствует, на протяжении еще одного-двух лет, когда заходит речь о написанном им. Быть может, он чувствует, что стихам принадлежит решающая роль в его судьбе?

Едва окончив письмо, — он и тогда уже человек быстрых решений, — «я нахлобучил шапку и отправился, куда глаза глядят». На этот раз по ноябрьской грязи поэт бредет в Фехервар, где, по слухам, остановилась бродячая труппа. Он пересекает пешком комитат Веспрем, шагает по лесистым взгорьям Баконя. И, при всех атрибутах «народного» реквизита, пишет вовсе не подражательное стихотворение.

Сгустилась ночь в дремучей чаще.
За поворотом поворот, —
Мой путь извилистый запутан,
Меня вожатый не ведет.

Лишь звезды блещут надо мною,
Как указатели пути,
Но даже им к заветной цели
Теперь меня не привести...

(«В чаще». Перевод Н. Стефановича)

В Фехерваре с трудом, по рекомендации земляка Супера, удастся, наконец, попасть в более или менее серьезную труппу, состоящую из двадцати — двадцати пяти актеров; однако две недели спустя в отчаянном письме поэт просит папайских друзей не дать ему погибнуть, собрать для него десять пенгё-форинтов... Члены труппы получают вознаграждение в зависимости от общего дохода и исполняемых ролей; Шандор участвует в трехактном спектакле «Парижский бездельник» Баяра в роли второго подмастерья. По счастью, остался суфлерский экземпляр пьесы, и мы можем воспроизвести здесь полный текст его роли. Реплика первая: «Но я же сказал ему, что входить нельзя!» И вторая: «Ха-ха-ха!»

¹ Или Цезарем, или никем (*лат.*).

Мгновения отделяют нас от момента, когда та сила — мы сами затрудняемся, как назвать ее, — та энергия, которая исподволь накапливается в щуплом организме жестоко бедствующего, впавшего в крайнюю нищету бродячего актера, начнет щедро вливаться в еще менее поддающийся определению духовный или, если угодно, материальный организм, который именуется нацией, в данном случае — венгерской нацией; энергия эта наполняет и возбуждает не меньше, чем буйные пиры. Нет, много больше. Назвать это тайным причащением? Да еще с настоящей человеческой жертвой?

Теперь уже очевидно, что трудно определяемый организм — нация — стал другим, вобрав в себя накопленную в поэте энергию, что-то приобрел с его появлением. Вот почему имеет смысл уделить еще несколько мгновений жизни этой нации, понять, в каком она очутилась положении с тех пор, как мы ее покинули, иначе говоря, с тех пор, как обосновалась на нынешней своей родине, в сердце великой империи Аттилы (мы и сами уж не знаем, в шутку или всерьез говорим о ее праве жить здесь).

6

Один из наиболее жестоких ударов за всю их историю постиг венгров перед самым поселением на новой родине, еще на восточной стороне Карпат. Венгерские воины находились вдали от своих становищ, как всегда, верхом, они сражались где-то — возможно, как раз на Кипре против сарацинов, будучи наемниками христианской Византии, — когда печенег, чуть ли не родственник им народ, напали на беззащитный лагерь и разорили его; женщин, стариков, детей убили или увели с собой. Означает ли это, что прибывшие в Паннонию венгры все до единого были вдовцами или подростками? Существует нечто, противоречащее подобным утверждениям источников. Согласно тем же источникам, венгры на новом месте обзавелись новыми женами из числа дочерей и жен побежденных здесь различных индоевропейских народов. Но если дела обстояли так, то последующие поколения должны были бы говорить на языках ранее живших здесь народов — ведь как отдельная личность, так и народ в целом усваивает язык из уст матери, а не отца. Однако легенда гласит, что для

основной части местных жителей родным языком еще со времен Аттилы был именно венгерский язык; оказывается, после кровавой свадьбы с Кримхильдой и чудовищной братоубийственной войны не все гунны, оставшиеся в живых, ускакали домой, на Восток, по Дороге войн, как именуется в венгерских сказаниях Млечный Путь.

Как бы там ни было, но к имевшемуся уже смешению крови прибавилась третья струя. Этот третий элемент — кровь матерей индоевропейского происхождения — вступил в противоборство с двумя первыми элементами. Уже ранние западные наблюдатели находят, что по чертам лица венгры безупречно европейского типа. Правда, сами венгры еще тысячелетие спустя не без удовольствия обнаруживают у себя японский разрез глаз или черные, как смоль, и жесткие, как лошадиный хвост, волосы. Но это — пустое чванство. Такие великолепные гуннско-монгольские головы, как, например, голова Верлена или Унгаретти, среди них уже довольно редки. Несомненным свидетельством их происхождения остался лишь язык.

С историей народов дело обстоит так же, как с хорошими пьесами: самая суть выплывает на свет в тот момент, когда приходит черед выразить ее одной фразой. История восточного по происхождению, но ставшего западным венгерского народа есть ряд ужасающих ударов, обрушенных на него с Востока во имя защиты Запада; то ли положение, то ли призвание заставляло его бороться — как знать! И за что платили венгры — за верность ли свою? или за предательство? — морем пролитой крови, повторяющимися чуть ли не из столетия в столетие поражениями и новыми взлетами? Драма эта не написана и поныне. Но конец ее — самый неожиданный и потрясающий. Когда борьба против варваров была окончена, венгры вдруг получают удар кинжалом сзади, в спину: с запада.

Молодой актер и поэт, чуткий к трагическому, снова и снова переживал драматические события истории, глубоко потрясенный. Именно это и сделало его сперва пылким сторонником венгерского народа, затем — глашатаем свободы, и наконец — республиканцем-революционером. Удар из-за угла нанесли в спину венграм Габсбурги, которые с помощью династического брака утвердились, правда, на венгерском престоле,

но всегда оставались глухи к страданиям венгерского народа.

Очищенную от турок Венгрию восседавшие в Вене императоры считали своей собственностью и почти не принимали в расчет самих венгров — хотя права на венгерские земли давала им корона венгерских королей, а не австрийских императоров; каждое свое «распоряжение» почитая законным, они искренне негодовали всякий раз, когда горстка уцелевших венгров выражала хотя бы намек на самостоятельную волю.

Полувековая освободительная война против Габсбургов была еще мучительнее и горше, чем полуторавекковая освободительная война против турок. Теперь у борцов за свободу не было даже опорных крепостей, снесенных в свое время с лица земли. Перед исторически ведущим сословием — аристократией — был лишь один выбор: тюрьма в Вене или дворец в Вене. Тот, кто за героическую, освободительную войну, за подлинное свое «западничество» получил от Людовика XIV хотя бы лишь Hôtel de Transylvanie¹, уже имел все основания благословлять свою судьбу. С этой поры Венгрию вспоминают в мире лишь благодаря составителям географических карт. Изю всех ее поселений, включая сюда и столицу, знают одну только маленькую деревушку в Верхней Венгрии — Токай, да и то лишь ценители вина. В период открытия Америки Венгрия по населению не уступает Англии, последний истинно венгерский король — Матяш Хуняди — восседает на венском троне. А далее... стоит венгру подумать об этом, как на лоб его тотчас набегает морщина.

Лишь в начале века страна кое-как пришла в себя, «благодарение» военному гению Наполеона. Он отторг от сельских работ деревенскую молодежь чуть ли не всех стран Западной и даже Северной Европы и заставил ее — а вдруг да успели они все-таки кое-где засеять свои земли! — взаимно вытаптывать территорию друг друга, уничтожая то немного, что уродилось. Цена на пшеницу звилась, словно жаворонок. Тогда Наполеон ввел континентальную блокаду. Вскоре цены на пшени-

¹ Речь идет о вожде национально-освободительной борьбы против Габсбургов Ференце Ракоци II, эмигрировавшем после поражения своих отрядов и нашедшем поддержку во Франции, где ему был предоставлен упомянутый отель «Трансильвания».

цу и в Венгрии, и в других странах парили на высоте орлов. А поскольку Венгрия выпала как-то из войны, то здесь с фантастической быстротой, по сравнению с прошлым, осушают болота, распахивают земли; возрождаются из руин деревни, прокладываются дороги, возводятся дворцы. За пожоньскую меру пшеницы (венгерская мера сыпучих тел) в 1790 году платят 30 грошей; в 1800 году уже 45 грошей; в 1806-м — 143 и в 1814-м — 158 грошей. Крупные землевладельцы занимают под пшеницу все больше земли, не стесняясь при нужде отбирать наделы крестьян и мелкопоместных дворян. В 1816 году цена на пшеницу доходит до 514 грошей. И тут происходит катастрофа — величайшая катастрофа, какую только могли представить себе аристократы, на стороне Вены сражавшиеся против Наполеона: Наполеона побеждают, начинается инфляция. В 1818 году пшеница опять стоит 148 грошей; цена продолжает неудержимо падать: 120, 100, 90, 75, 60!.. Сколько вложено средств, какие возлагались надежды — теперь они оборачиваются долгами, приводят в отчаяние! А таможенная политика целиком в руках Вены! А венские еврей-банкиры, потеряв на герцоге Грассалковиче 800 000 форинтов, на графе Хадике — 1 500 000 форинтов, на графе Фештетиче — 3 500 000 форинтов, кредита больше не дают, даже под нерушимое слово магната! Конец счастливому времени «вне игры», продление которого принесет золотой век Швейцарии и Швеции. Венгрия, успев, правда, немного подняться по ступеням цивилизации, опять в нищете. В первую очередь народ.

И что ж тут удивительного! В Венгрии, по примеру восточных стран, вернее, их правителей, любящих пышность и блеск, все тяготы перекладывались на народ; народ должен был поддерживать пышность и блеск и теперь, когда они оказались под угрозой. Аристократы готовы на все для сохранения привычного образа жизни. Конец континентальной блокады, правда, лишил их Франции — основного покупателя пшеницы, но вернулся, причем фантастически разросшимся, английский рынок шерсти. Цены на шерсть поднимаются, следовательно, расширяются пастбища для овец. За счет пшеничных полей. Целые края — даже обетованная земля между Балатоном и Дунаем — превращаются в «пусты», бескрайние луговые просторы; на них остается

лишь столько людей, сколько нужно, чтобы пасти овечьи отары и угонять их затем за границу. Аристократия взирает на все это с таким равнодушием, с каким в старину турецкие паши в Буде смотрели на опустошенную Венгрию, на бесконечные вереницы уводимых в рабство людей. Теперь венгерская аристократия по большей части состоит из чужеземцев, она, во всяком случае, иноязычна. Впрочем, навряд ли именно иноязычность усиливала их жадность, которая обездолила нацию. Своеобразное национальное сознание в это время поддерживают и развивают духовные вожди деревни — главным образом, протестантского вероисповедания, мелкопоместные дворяне, а также горожане, вновь населившие опустевшие было города; при этом особой роли не играет, является ли венгерский язык им родным или нет.

Народ, который сохраняет и развивает язык свой, пробивается даже из-под земли — как ростки вокруг пня, оставшегося от срубленного плодового дерева; но произрастает поначалу дико, неухоженно, ожидая новых прививок. Мы сказали: плодое дерево. Остались документы, свидетельствующие, что в средние века западная часть Венгрии славилась гигантскими плодовыми садами; черенки и саженцы отсюда увозили даже за Рейн. А к началу прошлого века... Бержени, не только большой поэт, но и превосходный знаток этих мест, жалуется: венгерские крестьяне почти не применяют удобрения полей, не знают домашних ремесел. Расчеты у них примитивны, хозяйство неэкономично. На Алфёльде не употребляют в пищу не только фрукты и зелень, но даже капуста, репа, тыква. Мясо и хлеб — покуда хватает, затем голод. Но и то правда, оброк и барщина велики, как никогда. Государственная, комитатская администрация разрастается, и это ярмом ложится на крестьянские плечи. А как обращаются с крестьянством? До нашествия турок в Венгрии не знали наказания палками. Сейчас это альфа и омега административного управления. У чиновников и всех, кто облечен властью, при звуках крестьянской речи возникает единственная ассоциация: бить. Иностранный скототорговец записывает: во владениях Эстерхази они просматривали стада; прощаясь, пастухи сняли шапки, и вдруг графский управляющий ни с того ни с сего тростью огрел какого-то старика по обнаженной лысой голове...

Как узнаёт страна о своем положении? Да точно так же, как о положении других стран: по источникам печатным, а также изустным. Узнавание собственной страны при этом всегда идет труднее. Слепляет привычка, тщеславие делает глухими; оскорбить нацию еще легче, чем обидеть одного человека.

Венгры, с тех пор как существует писанная их история, в эти первые десятилетия века получили самого беспощадного своего просветителя — Иштвана Сечени. Осыпая соотечественников оскорблениями, он потрясал их так, как способен лишь человек, и сам оскорбленный прежде смертельно, а теперь в свою очередь готовый обрушиться на тех, из-за кого был оскорблен. Да так оно, собственно, и было.

Граф Иштван Сечени был воспитан высокомерным аристократом, и столь счастливо, что даже новоиспеченную родовитость семьи своей принял с гордостью; всего лишь за несколько поколений до него, легко пересчитываемых по пальцам одной руки, его предки были еще крестьянами. Воспитатели трудились усердно — граф уже почти не знал по-венгерски. Остроумный баловень австрийских и английских светских дам, завсегда их литературных салонов, он именно за границей вдруг почувствовал себя оскорбленным в национальном своем чувстве и даже больше — в том, что оставалось в нем от венгерского крестьянина. Он задумался над тем, как же живут дома его единокровные братья. И заговорил. Со времен речей крестьянского вождя Дёрдя Дожи не звучали в Венгрии столь обжигающе гневные слова в защиту крестьянства, какими загремел на всю страну этот граф. К сожалению, в действиях своих он не сумел быть столь же решительным. Корить его за это можно не более, чем любого другого писателя. Ибо, несмотря на страсть к обличениям, он все же не был политиком. Он был писатель-моралист, к тому же безусловный, по тогдашним понятиям, «западник»: кстати сказать, и писал-то он на языках Запада много лучше, чем на венгерском... до самого конца, покуда не прострелил свою седую голову.

Хотя самому себе граф Сечени объяснял собственную тревогу и борьбу за народ тем, что «несомненно происходит из древнейшего гуннского племени», он отнюдь не националист. Более того, он всячески старается

уберечь от этого соотечественников. Восточные корни своего народа он исследует и отстаивает лишь затем, чтобы тем основательнее утвердить его на западе, иначе говоря, ввести в общество цивилизованных европейских народов. Эмоционально это прямой путь, но Сечени проделал его и в сфере идейной. От Байрона он пришел к Шатобриану, от Шатобриана к неокатолицизму того времени, к адептам ревнителя веры Клементия Гоффбауэра;¹ последние, поддерживаемые идейными видениями Новалиса и Фридриха Шлегеля, создавали постепенно своеобразную теорию развития. По этой теории задача человека и всего мира, а одновременно и путь к спасению, — развивать в себе заложенные творцом возможности и дать им осуществиться. Эта же задача стоит и перед нациями.

Следовательно, «и у венгерского народа — единственного в Европе чужеродного отпрыска — нет иного призвания, чем представлять сокрытые в азиатской его колыбели, донныне нигде не получившие развития, нигде не достигшие зрелости свойства его расы; и хотя племена этой расы, как то уже многократно бывало, обрушивались, подобно приливу, на самые цивилизованные части нашего шара земного, повергая их в траур, и, разъярясь, словно бич господень, повсюду проходили с кровью, — нет сомнения все же, что в этой расе столь же много таится еще и совсем иного, а по силе ее судя, она столь же много доброго и благородного в себе сокрывает, как и любая вдохновенная сильная семья рода человеческого...».

Заметим, к слову, что венгерские летописцы и поэты, а затем и резчики по меди — в противовес несколько пристрастным своим западным коллегам — всегда рисовали гуннов высокими и ладными богатырями с красивыми чертами лица и даже с красивыми усами; точно так же изображали они и Аттилу, немного вспылчивым, но мудрым и добродушным князем, глубоко восприимчивым к этическим и эстетическим ценностям. Не он ли дал пощаду Парижу по первому слову некоей славной, но совершенно ему незнакомой девы по имени Женевьева? Не пощадил ли и Рим — по просьбе симпатичного старца? И не ему ли обязана Венеция

¹ Клементий Гоффбауэр (1751—1820) — немецкий религиозный деятель.

самим своим возникновением? Сечени, как позднее великий его противник Кошут, обладал обаятельной внешностью (и темпераментом), — поэтому, признавая себя потомком гуннов, он, сам того не желая, вступал в ряды романтиков, приукрашивавших прошлое. В действительности — и своими взглядами, и поступками — он служил лишь будущему. О прошлом же, которое, по иностранному образцу, и у нас начинали всячески расцвечивать, — о прошлом он способен говорить лишь с суровостью оскорбленного человека, как будто в глубине его сознания проснулись обиды его крестьянских предков.

Его знаменитый девиз — «Венгров не было, они будут!» — означает: нация есть форма, в которой и должно осуществляться все «истинно великое, благородное и прекрасное». Нация — это школа, в которой личность может и должна «развиваться, становясь доброй, мужественной, добродетельной». И самый язык не должен служить ничему иному, кроме как христианскому — то есть гуманистическому — совершенствованию. И хотя этой мыслью Сечени покорила ту, что на всю жизнь стала его великой любовью, лишь на немногих соотечественников и современников своих он имел тогда действительное влияние.

Он достиг влияния скорее опосредствованно, разъяснением своих посылок. Он славит венгерский язык, ибо в нем «заключена мужественная сила, коей, можно сказать, ни в одном языке и нет столько, а если есть, то уж никак не больше». Зачем он так хвалит его? Затем, что «эта сила языка нашего (а он корнями в Азию уходит, четырьмя реками омываемую, и утверждать сие вовсе не такая уж глупость, как почитают многие) поддерживала до сей поры существование наше». Мы видели, ради развития каких добродетелей считает Сечени необходимым наше национальное существование, — это отнюдь не националистические добродетели. Однако в борьбе против немецкого ученого Гердера, который проорочил скорую гибель венгерскому языку, его доводы все же стали оружием в руках националистов.

То же произошло и с прочими предложениями Сечени, которые он выдвигал ради укрепления нации — формы, призванной развивать «человеческие добродетели». Уничтожение дворянских привилегий, освобождение крепостного крестьянства, за которое он так отважно

и часто ратовал, лишь в первый миг есть задача национальная, ибо по существу она всечеловечна. Следовательно, служит высшей цели.

Молодая поросль страны — в том числе и наш поэт — усваивает из этих рассуждений прежде всего, что в униженном, задавленном иноземным деспотизмом их отечестве живет замечательный народ, обладающий славным прошлым и дивным великолепным языком... а по головам старейшин этого народа колотит тростью произвол! Молодому поэту за всю жизнь лишь один раз доводится предстать перед глазами глядящего в дальние дали графа. И в своем нетерпении поэт глубоко его оскорбляет. Он считает Иштвана Сечени плохим мадьяром — борясь за то, чему у него же научился. А граф, уже после смерти поэта, однажды, когда отчаяние временно помутило его разум, напишет о нем: он был мой сын, со мною зачала его мать, я ее соблазнил... Сечени отождествил мать поэта с нацией.

7

Первый литературный журнал страны не имеет редакционного помещения. Рукописи сперва валяются на столе в доме Байзы, среди рукоделья и кофейных чашек хозяйки дома, затем — на широком подоконнике, у которого, сгорбясь, сидит в соломенном кресле, возле резака для табачных листьев, прославленный по всей стране поэт, закоренелый холостяк Вёрёшмарти и пишет театральные рецензии, душераздирающие драмы и — все реже — стихи. «Атенеум» имеет лишь триста подписчиков, но и этого пока довольно, чтобы влиять на духовную жизнь нации. Подъем сельского хозяйства несколько пробудил и городскую жизнь, однако большая часть городского населения — даже столицы — немцы. Причина не только в том, что после изгнания турок Габсбургский дом сознательно желал онемечить Венгрию и потому окружил столицу километровым поясом немецких поселений; развитие торговли с соседними странами, идущая с запада промышленность также прибавляют иноземцев. Люди духа, те, кому дорога Венгрия, в собственной столице чувствуют себя чужими и бесправными. Два редактора «Атенеума», которые в карманах сюртуков носят друг другу присылаемые им

шедевры, знают этих людей наперечет. Они сразу приметили новое имя — теперь поэт подписывается Шандор Петефи под стихами, которые приходят то из Папы, то откуда-то с Алфёльда. Вёрёшмарти подозревает, что за новым именем скрывается какой-нибудь солидный поэт, ведь стихи зрелые, оригинальные; в противоречии с модой времени, в них нет никакой сентиментальности. Он был поражен, когда на рождество 1842 года познакомился с их автором. Девятнадцатилетний поэт явился к нему с тетрадкой стихов, представился вымышленным именем и, лишь выслушав благоприятное суждение редактора, открылся ему. Вёрёшмарти понравилась сдержанная скромность и серьезность юноши. Новое поколение он принимает не так, как приняли в свое время старики его самого, назвав, например, поэму «Две соседние крепости» каннибальской поэзией...

Вёрёшмарти вот уже несколько месяцев и сам на перепутье. Как будто справился с принятой на себя великой задачей и теперь опять может делать все, что ему угодно; национальные оды, истории про верных рыцарей и томных дев, тяжелое металлическое бряцание гексаметров — на некоторое время все это отходит на задний план, и вновь возникает другая, более легкая мелодия, уже звучавшая когда-то в его стихах: мелодия «Бечкереки», «Петике». Он пишет и любовные стихи, наконец-то от собственного имени. В октябре, гостя у друзей в Фоте во время сбора винограда, он вместо обещанной стихотворной здравницы создает шедевр, который рождается легко и непринужденно, без всяких усилий. Стихотворение облетает всю страну, его популярность поражает даже самого автора. Конечно, ему и в голову не приходит, что он опять написал стихи, творящие эпоху, не менее значительные, чем его «Бегство Залана» или «Призыв». Ему еще раз удастся, суммировав опыт прошлого, дать в то же время и образец для поэтов будущего.

Пузырьки в вине, как жемчуг,
Вверх летят,
Ну и п р а в ы, — жить в неволе
Не хотят!

В семнадцати строфах «Фотской песни» — настроения, заботы, темы десяти минувших и десяти последовавших затем лет; поэт славит вино, помогающее забывать горести любви и патриотической тоски, и тут

же дает урок тем, кто слишком громко вопит о родине; а дальше — готовность к великим деяниям, оптимистическая любовь к отчизне и тот гордый радостный взгляд, обращенный к будущему, который лучше слов передают хлесткие и звучные, истинно венгерские трохеи. Какое чудо может скрываться в стихотворении — это и сам Вёрёшмарти увидит лишь по произведенному им впечатлению:

Эй, голубка, белокурый
Мой бутон!
Что смеешься? Как три бога,
Я влюблен.

Главная тайна знаменитой «Фотской песни» — в свободном полете мысли:

Лишь вскипит в стаканах пена —
Горя нет.
Горевал мадьяр так много
Сотен лет,
Что пора ему очнуться
Навсегда.
Он сейчас воспрянет или
Никогда.

(Перевод Н. Чуковского)

В легком кружении слов развертывается перед нами значительное, совсем не легковесное содержание стихотворения: свет и тени смешиваются, но целое в этом смешении не тонет, напротив, с каждой следующей строфой оно как бы выявляется отчетливей из пестроты, подымается со ступени на ступень, и лишь в самом конце понимаешь, что был свидетелем не беспорядочного танца отдельных пар, но мастерски поставленного балета.

Ему подражают по всей стране. Вкус к народному, протест против риторики назревает уже с давних пор. Литературно-просветительское «Общество Кишфалуди»¹ в 1841 году назначает премию за лучшее сочинение на тему: «Что мы понимаем под «национальным» и «народным» в поэзии? Насколько и в чем именно проявилось влияние элементов «национального» и «народного» в венгерской поэзии?» (Победителем конкурса

¹ «Общество Кишфалуди», учрежденное в 1836 г. кружком друзей для увековечивания памяти К. Кишфалуди и издания полного собрания его сочинений, впоследствии поставило своей целью способствовать развитию венгерской литературы, выявлению новых талантливых писателей.

оказался некий Годофред Мюллер.) Дамы из общества начинают носить национальные наряды, в новеллах все чаще раздается свист пастушьего кнута и удалые возгласы бетяров. «Фотская песня» стала первым высоко вознесенным знаменем этого скрытого движения.

Вёрёшмарти раздражают эпигоны. Он не только хороший поэт, но и тонкий ценитель искусства. Тот юноша, который посетил его на рождество, а в наступившем новом году уже посылает стихи свои из Кечкемет а , — явно не подражатель, явно говорит своим голосом, и притом самую суть. Вёрёшмарти ободряет его, пророчит прекрасное будущее.

Петефи больше ничего и не нужно: он пишет, работает без устали. Конечно, завораживающего воздействия «Фотской песни» не избежал и он: три стихотворения, одно за другим, написаны в форме здравицы; того, кто будет декламировать их, поэт представляет себе стоящим с бокалом в руке, — как стоял их вдохновитель в фотском подвальчике. Однако стихотворение «На пиршестве по случаю убоя свиньи» создает все же особенное, характерное для этого народного праздника настроение, а следующее — «В Павлов день» — рисует картину столь вещественно зримую, что перед глазами моментально возникает окно, разрисованное снаружи ледяными узорами, усеянное изнутри капельками оседающего на нем жаркого воздуха комнаты. Третье стихотворение — «Пирушка» — построено уже совсем как «Фотская песня» — так же вибрирует, колышется от строфы к строфе, меняет направление мысль, и даже размер стиха, по существу, тот же, разве что после двух четырехсложных стоп последняя, трехсложная, не выделена в отдельную строку. Однако во всем прочем, в самих образах своих эти стихи — характерное порождение двадцатилетнего ума. Вёрёшмарти хотя и читает с улыбкой, сам никогда не написал бы таких строк:

Скорбь, как злая птица, в душу заглянув,
Кровь сосет, вонзая в сердце острый клюв.
Жадно душу гложет, хуже грызуна...
Чем ее прогонишь? Лишь струей вина.

(«Пирушка». Перевод Н. Стефановича)

Или таких:

Если же явится Смерть
Дерзкая
Праздновать тризну свою

Мерзкую —
Тесно набьемся мы
В мир иной.
Словно в кишку колбасы
Жир свиной!

*(«На пиршестве по случаю убоя свиньи».
Перевод Л. Мартынова)*

Байзе тоже нравится новый знакомец. В его поведении совсем нет самоуверенности, пренебрежительности, мании величия, по которым, как известно, вернее всего узнается посредственность и бездарность. Молодой поэт понимает инстинктом, что писание стихов — не детская игра. Как подлинно великие, он робок перед актом творчества, он страшится, как бы из-под его пера не вышло произведение слабое; он ждет, даже просит совета, ему важно самое произведение, то есть достижение поставленной перед собою цели, а не собственная персона. Кто узнает в этих строках забияку и «дикого гения» — образ, сотворенный позднейшими его биографами: «Из трех стихотворений, еще не напечатанных, стихи под названием «Мои слезы» и «Весть» прошу навсегда изъять из «Атенеума»: великая неприязнь появилась у меня к ним. Я не знаю, насколько хороша «Первая роль», но был бы рад, если бы она оказалась достойной печати; она напоминает мне о моем первом выступлении. А впрочем, во всем отдаю, милостивый государь, на Ваш суд». Знаменитое свое упорство и непреклонность он проявит совсем в другом.

Байза, покачивая головой, читает эти письма; они же — то ли под впечатлением от ответов, то ли оттого, что все содержащиеся в них просьбы неизменно выполняются? — звучат с каждым разом доверительней; молодой поэт все откровеннее рассказывает в них о себе. Жизнь фехерварской труппы идет по всем правилам: актеры перессорились, часть их отделилась и покатила в Кечкемет.

Один из актеров, Дёрдь Немети, рисует поразительно достоверную картину, вспоминая позднее эту поездку:

«Наш караван составлен был из восьми упряжек: впереди ехал директор с семьей в удобной коляске, за ними — примадонна, вся обложенная подушками; нельзя же ей было с насморком приступать к покорению кечкеметской публики!..» Молодые актеры и служители корчатся от резкого январского ветра, восседая на горе сундуков и ящиков. Поэт приотился на

козлах, рядом с возницей. Немети продолжает: «Шандор, хотя и сидел ниже, посматривал на нас все-таки свысока — ведь у него был плащ! Но какой? Господи боже мой! Это была коротенькая круглая пелерина, едва прикрывавшая его до пояса, — а так как под нее он надел модный тогда темно-синий фрак, с желтыми блестящими пуговицами, то из-под горе-плаща видны были не только обе полы, но даже пуговицы на хлястике.

Дунайский ветер в самом деле почему зря полосовал наши покрывшиеся гусиной кожей лица, поэтому в корчме у перевоза мы выпили подогретого вина с паприкой; вынужденное возлияние нас приободрило, а там и развеселило. Ехать приходилось по сплошным лужам, лошади разбрызгивали грязь, и Шандор перепачкался с ног до головы, даже лицо было в грязных пятнах, словно в веснушках. Как добрые друзья-одноклассники, мы предложили ему разделить с нами нашу тряскую верхотуру, но он пренебрег этим. Зная его упрямый нрав, мы не стали ему докучать, и, покуда он, по солдатскому обычаю, посылал проклятия, возвращая тем природе обрушенные на него потоки грязи, мы двое на своем петушином насесте вопили во всю мочь марш Ракоци на слова, взятые нами из «Пелешейского нотариуса»...»

Переправившись через Дунай, караван двинулся дальше; совсем рядом лежало Дунавече, но юноша — столько исходивший пешком — и не подумал заскочить в родительский дом, хотя бы на полчаса. Увидев дорогу, что вела к отцовской корчме, он, — «на радостях», как пишет Супер, — сперва затянул песню, а потом разразился такой отчаянной бранью, что суеверные актеры побаивались уже, как бы не перевернуться; так оно, впрочем, и вышло.

В Кечкемете стало лучше: зима вдруг помягчала, и тому, кто, как Шандор, делил постель с каким-нибудь напарником, почти не приходилось топить. Впрочем, порядки в труппе обычные, склоки и соперничество процветают по-прежнему, поэту никак не удастся вырвать близкую ему по характеру роль. Он хочет играть Гамлета и Кориолана, прежде всего — Кориолана, вот роль, которая ему подходит. Дома он декламирует ее часами, возбужденно бегая взад-вперед по маленькой, об одном окне, крестьянской комнатушке, где нет ничего, кроме кровати.

Однако случилась, в этом городе и радость. Здесь служит прокурором Йокаи, бывший однокашник поэта по папайской коллегии. Завязывать необычайные дружбы — волшебное свойство юности, но все же эта дружба, пусть временная, есть поистине чудо из чудес. Эти два человеческих типа, как вода и огонь, противоположны во всем: один белокурый, ласковый и тихий барчук, позднее знаменитый писатель, в романтической прозе своей заменявший действительность сном, другой же — смуглый, вспыльчивый непоседа, — тот, кто вскоре вознесет действительность даже на алтарь поэзии. Очевидно, именно здесь, запертые вместе в провинциальном городке (но неизменно провозглашая каждый свое), они так прикипели друг к другу, вернее, ухватились друг за друга. Йокаи вспоминает:

«Дождливым днем — стояла поздняя осень — ко мне вдруг кто-то явился. Знакомый плащ-пелерина... по этому плащу я узнал бы его даже со спины...

Шандор рассказал мне, что поступил актером в труппу некоего Сабо или что-то вроде того, за тридцать форинтов «в пропорции».

Сие означает, что если в кассе очень-очень много форинтов, из этой суммы ему причитается тридцать раз по форинту, если же в кассе нет ничего, так и ему выдадут тридцать раз ничего.

Костюм, в котором он посетил меня, выглядел неказисто. Плащ-пелерина напоминал о зиме, серый парусиновый сюртук — о лете. Признаться, я был несколько обескуражен, когда владелица дома госпожа Денеш, красивая дама с благородными, чисто венгерскими чертами лица, которой я представил моего друга, пригласила его на следующий день к обеду. Я тревожился, что у него не найдется достаточно нарядного платья для такого случая. И был приятно разочарован. На другой день он предстал передо мной одетый как настоящий денди. На нем был нарядный фиолетовый фрак с желтыми пуговицами, изображавшими головы различных животных, — первый и единственный в мире фрак, в который он когда-либо облачался; таким я и написал его. Много дал бы я сейчас за эту миниатюру, если бы кто-нибудь принес ее мне. Он забрал ее с собой в Дебрецен.

Во время трапезы обнаружилось, что в обществе дам он не только остроумный, но и обходительный

кавалер; обычно резкий и заносчивый с мужчинами, тут он совершенно меняется, превращаясь в любезного, жизнерадостного, сердечного молодого человека, умеющего тотчас всем понравиться.

Конечно, таким Шандора знали очень немногие; и стихи, и его обычная манера поведения рисовали его в ином обличье, но я, видевший его в женском обществе — у собственной моей матушки, а также у его матушки или с женами его друзей, — часто любовался мягкостью его манер, неизменной внимательностью, приветливым видом и готовностью по первой же просьбе читать свои стихи.

...Он грезил сценой, идеалом его был Шекспир. Однако ни голосом, ни фигурой не подходил для сцены.

Бледное, сухощавое лицо его всегда выражало неодолимое упорство, словно он не был способен придать ему иное выражение; густые непокорные волосы топорщились; у него был римский, с горбинкой нос, смелый и прямой взгляд, открытый лоб, красиво очерченные губы; лишь когда он смеялся — смех этот напоминал стоны мученика, — виден был острый клык, и это придавало его лицу какое-то демоническое выражение; если мне случалось рассердить его, он часто колол мне голову этим острым зубом. Как раз в бытность его актером в Кечкемете столичные литературные журналы опубликовали первые его стихи. Тогда и ему и мне было по восемнадцать лет. Все свободное время мы проводили вместе, строя воздушные замки. Я писал тогда драму в стихах, в надежде на большую премию от Академии, он из дружбы переписал ее. Мое первое произведение, «Еврейский юноша», ушло в Академию, переписанное его рукой. Может быть, и сейчас эта рукопись лежит где-то...»

По мнению товарищей своих по труппе, никуда не годных актеришек, он был плохой актер. Вероятно, так же как Арань, дерзнувший на сцене говорить с простонародным акцентом. Действительно ли Шандор был плохой актер? Декламируя свое стихотворение «Свинцовые палки» — тут-то никто не имел права ему указывать! — он неизменно пользуется успехом. Но вот и Йокаи, который в Кечкемете ежедневно — очевидно, и ежевечерне — с ним неразлучен, считает, что «у него были большие способности к сцене». Его бедою было, как утверждали, то, что говорил он несколько в нос. Но,

даже несмотря на это, он декламировал превосходно, в том числе и собственные стихи, что для поэта достоинство немалое. «К тому же он владел даром перевоплощения, — пишет Йокаи, — умел пародировать необыкновенно». Он презирал актерские приемы своего времени: неистовое вращение глазами, ходульный пафос, томные стоны, сотрясающие кулисы вопли. Но это свидетельствует лишь о его хорошем вкусе. Верно, что слух у него был плохой, почти до тугоухости, но ведь не пением же намеревался он послужить искусству. (Йокаи записывает: «Лишь единственную песню довелось мне слышать в его исполнении — «Марсельезу», да и ту он пел только до середины, и, надо признать, прескверно».) Очевидно, на сцене он стремился к тому же, что и в поэзии: к непосредственности и простоте. Счастье, что ему не удалось в этом преуспеть, что, ко всему прочему, и необходимость толкала его в другую область. В свой бенефис он так превосходно сыграл шута короля Лира, что «король» — Жигмонд Дежи — после представления расцеловал его. Материальное же вознаграждение выразилось в десяти форинтах. Их не хватило даже для уплаты долгов.

Чтобы раздобыть хоть немного денег, он, вместо прощального листка, с которым, по обычаю, обходил дома разносчик театральных программ, решил составить небольшую тетрадку собственных стихов, присовокупив к ним еще новеллу Йокаи. Однако цензор, кечкеметский священник-пиарист, едва прочитав первое стихотворение, с возмущением отбрасывает брошюрку: «Ах, вот как?! Значит, потусторонний мир, по-вашему, кишка, мы же набьемся туда, словно жир свиной?!» Мнение о молодом поэте у него сложилось раз и навсегда. Мнение поэта о цензоре, о священниках — тоже.

Что погнало его прочь из Кечкемета? Нищета, которую мы, обманывая себя, всегда представляем явлением чисто местным? Или — неизменные, везде одинаковые среди актеров свары и недоброжелательство? А может, нам следует принять предположение Немети? По мнению Немети, Шандор оставил Кечкемет ради Мими де Ко, получившей ангажемент в Пеште; Мими — единственная актриса в Кечкемете, которую Шандор время от времени навещал. Впрочем, поэт прибывает в Пешт значительно позже Мими. Не только потому, что у него и на этот раз нет денег на почтовую карету и дорожные

расходы: куда он брел по пустынным дорогам, его опять одолела болезнь, приходилось по нескольку дней отлеживаться в какой-нибудь придорожной корчме или в стоге соломы. Кто присматривал за ним в эти дни? Как получалось у него, такого ершистого, да еще без филлера за душой, что и тут непременно находился кто-то, кто заботился о нем? В Пеште Вёрешмарти вручает ему несколько форинтов, стыдливо спрятанных в конверт, как вошло уже в обычай вознаграждать поэтов с их чувствительной душой. Шандор собирается в Пожонь, но по дороге заглядывает еще и в Папу.

Здесь опять его принимает Орлаи, он и на этот раз поражен.

«У меня и посейчас живо в памяти то изумление, в какое он поверг неожиданным своим появлением нескольких друзей моих, находившихся в тот час у меня. Платье его, давно выцветшее, покрыто было дорожной пылью, из сильно стоптанных сапог выглядывали портянки, сумка же показалась нам очень легка, да и было-то в ней негусто. Однако Шандор радостно бросился обнимать нас, перецеловал всех и так весело шутил над нашим изумлением, словно ничего особенного не было в его приходе, — а ведь, право же, словно через трубу влетел! На радостях мы затребовали бутылку вина и, как ни мало досталось на долю каждого, с удовольствием чокнулись за встречу...

Я жил с приятелем в тесной комнатухе, так что устроить в ней ложе еще и для третьего не было никакой возможности; его пригласил к себе Эндре Домановски, снимавший вместе с учеником своим Дюлой Пуздором хорошую просторную комнату. За отсутствием лишней кровати, Шандор спал на полу, подстелив мой желтый бараний полушубок; подушку дал ему Домановски. В классы он не ходил, но библиотекой коллегии пользовался, и Домановски жаловался мне, что свеча горит у них до трех-четырех часов утра, если же он призывает товарища не портить себе глаза, поэт бранится и называет его лентяем. Нередко Шандор принимал участие в собраниях самообразовательного кружка. Соседка Домановски, супруга профессора Бочора, дама весьма восторженная, снабдила поэта новым платьем мужа».

Зачем он вновь отправился в Папу, если не сделал даже попытки учиться в коллегии? Возможно, что ему,

пообтрепавшемуся в пути, нужней всего и были обноски профессора, которыми его одарили, впрочем, от всей души. Но они-то, эти люди, за что его полюбили? Ботинки, увы, оказались настолько велики, что впору было хоть усесться в них. В этих клоунских опорках шлепает он в Пожонь, куда стекается весь цвет нации на объявленное наконец его величеством государственное собрание.

Нет, не государственное собрание и не «бурная» духовная жизнь влекут поэта в Пожонь. Поразительно: он, для кого позднее даже самое малое дело нации есть дело неотложное и сугубо личное, дело его чести, — как мало интереса проявляет он к бурным заседаниям «диетъ»¹, к великим порывам и еще более великим проволочкам! Мало? Вообще никакого интереса. Несмотря на то, что находится в самом центре событий и может черпать сведения из первых рук. В театральную труппу его не взяли, — «поскольку к моему приезду уже и без того были лишние актеры. Мне не оставалось ничего иного, как взяться за перо и перепиской обеспечить свое пребывание здесь, — сообщает он доброму Байзе в поневоле сатирическом тоне. — И вот я целыми днями переписываю «Ведомости государственного собрания», редактируемые Заборским». Мы знаем, что почерк у него был прекрасный, к тому же левой рукой он писал столь же легко, как и правой, — словом, мог использовать богом данные способности. Но это — всего лишь переписка; нищее воинство пера в жалкой комнатенке на Еврейской улице под диктовку нижез буквы одну за другой, заменяет ротационную машину, по 25 грошей за лист. Разрешается работать и дома — тем, у кого есть дом. У актера без места дома нет. Когда позднее город Пожонь пожелал мемориальной доской отметить жилище поэта, добросовестное исследование показало, что жилища, собственно, и не было; поэт, действительно, некоторое время пребывал в Пожони, но не *жил* там. На ночь он пристраивался подремать в парке, если не удавалось вовремя попроситься на ночлег куда-нибудь

¹ Ироническое название сословного собрания Венгрии до 1848 г., заседания которого редко и с большими ограничениями допускались Габсбургским домом.

в конюшню. Можем ли мы удивляться тому, что он не слишком внимателен к материалу, который переписывает, будь то вдохновенные речи Йожефа Этвёша и Ласло Салаи или премудрая болтовня консерваторов? Отцы отечества пускались в ужасающе долгие размышления, как только речь заходила о новшествах. Освобождение крепостных? Нет сомнения, что многие считали слишком поспешным даже осмотрительное предложение Эмиля Дешевфи, который считал необходимым отменить крепостное право ровно через семьдесят лет — то есть позволить ему «мирно» отмереть ни больше ни меньше, как к 1914 году. Как мог относиться к подобным рассуждениям молодой поэт, который знает истинное положение народа? Так ли уж важно для него в этой ситуации, что оппозицию задушили, центристов приструнили? Или, что наконец-то (в 1843 году!) возмутителям спокойствия удалось добиться признания венгерского языка официальным государственным языком? Как и народ, с которым поэт уже инстинктивно себя отождествляет, он считает, очевидно, все это делом господским, то ли обманом, то ли шулерством; бедному человеку среди краснобаев-господ делать нечего, разве что опрокинуть сперва стол на них всех. У него сейчас иные заботы... «оплата так ничтожна, — пишет он далее Байзе, перед которым все свободнее открывает свое сердце, — что только и хватает на хлеб насущный. К тому же глаза мои слабеют и грудь побаливает, а при столь унылых занятиях и муза меня обходит... Так, как сейчас, невозможно. Я нищий».

Нелегко ему было написать на бумаге это слово: он не привык жаловаться. «Простите, милостивый государь, что я докучаю вам жалобами на свою судьбу, но у меня нет никого на свете, кому бы я с доверием мог раскрыть свою душу».

Но, к счастью, есть у него забота еще важнее: «Посылаю Вам снова несколько стихотворений и возобновляю прежнюю мою просьбу: соблаговолите отнести к ним со всей строгостью, хотя бы только одно хорошее нашлось среди них или даже ни одного! Утешением мне будет, по крайней мере, то, что я не выступил перед миром с плохими стихами. Я последовал Вашему совету, милостивый государь, и попытался написать народную песню «Издалека» метрическим стихом; но едва ли достиг успеха».

Мы знаем, это одно из прекраснейших его стихотворений. Капризу добряка-редактора Петефи готов уступить, но талант его не идет на компромисс. Лирическое переживание и в чуждой форме находит подлинно поэтическое выражение. Это не народная песня даже по тогдашнему восприятию, согласно которому всякое стихотворение — причем не только для трудовых людей написанное, но просто повествующее о них, а не о дворянах — уже считалось народной песней. Две строфы стихотворения «Издалека» — первая и последняя — особенно характерны, не внешнею своей формой, но мастерским изъяснением чувства. В водовороте эпохи, в урагане, от которого стонут сердца, поэт умеет заставить говорить самое сердце, но так, что человеку не приходится потом стыдиться своей растроганности.

Скромный домик, домик у Дуная...

Исподволь, с первых строк, подготавливается святая ложь во спасение, и наконец — вот она, в торжестве своем:

Ей скажите: пусть она не плачет,
Сыну, мол, сопутствует удача...

(Перевод Л. Мартынова)

Следующее стихотворение выражает искреннее сочувствие грабителям, конокрадам, всем бездомным и неприкаянным. Оно — первое в этом роде, начало длинного ряда. Йозеф Этвёш, который как раз в это же время создает в романе «Сельский нотариус» образ Виолы, способен разве что понять разбойника-бетьяра; он жалеет его, но — со слезами на глазах — губит. А бездомный ночлежник пожоньского парка, ставя своего бетьяра лицом к лицу с жандармами, со всею страстью желает ему удачи, у него даже в мыслях нет при этом, что он — на стороне преступления. Но самое удивительное, что и публике такая мысль не приходит в голову (за исключением осторожного критика Шаламона, который и журит за это автора).

В сороковые годы бетьяра — фигура еще довольно живая; народная драма, как раз по следам пожоньского обитателя мостов, еще не обрядила его в маскарадный костюм свободолюбца; пока что он попросту грабит, уводит лошадей, а к бедноте имеет приблизительно такое же отношение, как нынешние «медвежатники»: он —

выходец из их среды, приобретенные деньги тратит среди них же, легко и довольно щедро, в согласии с извечным международным обычаем преступивших закон. Почтенный торговец, возвратясь из провинциального городка, еще держа руку на бумажнике и трепещущем своем сердце, с недоумением смотрит на дочь, склоненную над замысловатыми виньетками модных журналов¹ и погруженную в мечты об удалых молодцах. Ничего не подделаешь, такова литература! Литература, соприкоснувшаяся с народным духом, духом угнетенных, которые по-своему судят о преступлении, о законе, о его нарушителях и охранителях.

Душевные переживания бедняка-бетяра поэт угадывает, бродя не в чащобах Баконя, а в дебрях собственной души. Свою первую бетярскую песню, за которой последовало столько других, Петефи пишет, слоняясь меж желтых домов немецких бургеров:

Кто такой я? Не ждите ответа, —
Пусть никто не узнает про это.
Лишь проведают, кто я такой, —
Сразу шею мне стянут петлей.

Нет в руке у меня топора,
Значит, драться еще не пора.
Вольный конь мой скитается где-то, —
Ни пути мне, ни выхода нету.

Стихотворение начинается словно бы и не бетярская песня. Настроение любой жанровой картины или сюжетной зарисовки всегда некими тайными узами связано с душевным состоянием поэта; но первая строфа этого стихотворения как-то особенно откровенно заявляет о терзаниях бездомного пожоньского скитальца. С внезапной живостью и красотой выплескивающаяся строка «Вольный конь мой скитается где-то», словно для того и родилась, чтобы унести поэта в иные края, где он может говорить с полной свободой; не с ног коня, с его сердца спадают путы. Этот тайный порыв к свободе в той или иной форме мы обнаружим и в более поздних его песнях народной темы, если присмотримся не только к сюжету стихотворения, но и к одушевляющей его стра-

¹ Журналы мод того времени охотно печатали как стихи, так и прозу и нередко становились постепенно в основном литературными журналами.

сти. Современная психология не признает даже слова, оброненного «случайно», — что же говорить тогда о фразе или целом произведении!

На середине пути стихотворение вдруг резко сворачивает, уходит в воображаемый мир, хотя, согласившись с упомянутым утверждением современной психологии, впору задуматься и о том, существует ли вообще воображаемый мир. И, заглядывая в зеркало души, не обнаруживаем ли мы там отражение все той же твердой, реальной земли, не является ли воображаемое лишь небесным, идеальным двойником реальности? Цитируемое стихотворение последними двумя строфами подтверждает эту мысль, воспаряя в мир мечты:

Никуда не сбегу я, поверьте,
Ведь мое переполнено сердце
И в уме ничего не вместится, —
Там лишь хмель да моя озорница...

Вот дождусь, чтоб огни догорели,
С ней расстанусь, да выплюсь с похмелья,
И жандармам, под грохот оков,
Я поведаю, — кто я таков!..

(«Кто такой я?..» Перевод Н. Стефановича)

Стихотворение, написанное непосредственно вслед за «Кто такой я?..», напротив, из воображаемого мира «народной песни» как будто спускается на реальную почву. И выглядит ответом на предыдущее стихотворение или его продолжением:

Вся-то жизнь моя — превратность!
Что ни час, то неприятность!
Если б мне девичьи очи,
Прослезил бы все платочки.

Но за слезы мне не платят!
Пусть кто хочет, тот и плачет.
Я ж загну словцо такое,
Что и гнев им успокою.

(«Адский пламень, черт рогатый...». Перевод Л. Мартынова)

Это очень точное воспроизведение душевного склада поэта. Страдания его не сломили; стоит ему выбраться из трясины нищеты хотя бы до подбородка, как губы тотчас упрямо сжимаются, глаза мечут молнии — вверх, откуда сыплются на него все беды. Еще лишь двенадцать стихотворений побывали в типографском станке,

а поэт уже пишет гневный протест, называя «обманщиком» беднягу Гараи, который, переусердствовав невинно, напечатал два его стихотворения не под псевдонимом. («Атенеум» незамедлительно публикует этот протест, в пику журналу-конкуренту.)

Но и двенадцать стихотворений уже делают имя поэта известным, по крайней мере, прочим молодым поэтам. Когда среди избранной публики, ожидающей прибытия пештского корабля, Петефи представляется поэту Лисняи, почти сверстнику, последний восторженно кидается к нему, прижимает к груди, величает «творцом могучих произведений». Он, Лисняи, наконец-то освобождает своего нового друга от кошмарных, еще папайских лодок-башмаков — общность цели для этих молодых поэтов означала и общность имущества: Лисняи предлагает растроганному собрату весь свой гардероб, рубашку попросту дарит — Петефи уже несколько недель обходится без нее. А Лисняи, не без тщеславия счастливого, нашедшего драгоценный камень редкой красоты, уже спешит представить поэта пожоньской интеллигенции. С переменным успехом.

Молодой поэт настороженно озирается в светских гостиных. Не с неловкостью неотесанного провинциала, как полагают его друзья, — с заносчивостью гонимых. Удивительно ли, что он, бездомный бродяга, ждет и почти торопит момент, когда его вышвырнут прочь? Все приукрашивающая память детства расцветивает и утерянный рай. Поэтому, среди какого бы блеска он ни оказался, подспудно в нем живет чувство: и на это я имею право, и это отнято... Тот, кто утерял все, даже надежду, и королевский трон воспринимает как узурпацию своих прав. Если поэт и не бьет зеркал, то чинность блестящих салонов грубо нарушает.

— Рад, что имел счастье... — произносит, знакомясь, Помпери, модный сочинитель новелл.

— Счастье узреть такую бедную крысу? — парирует Петефи.

Помпери надо бы найтись, сказать несколько веселых дружеских слов, что-то умиротворяющее — в оправдание целого общественного слоя. Легкого смеха, приятельского хлопка по спине было бы довольно. Помпери молчит. Петефи покончил с ним навсегда.

Кути, светский лев, друг-приятель и постоянный со-трапезник многих аристократов, бросает визитеру несколько снисходительных, вежливых фраз, какие принято говорить собратям по перу, даже вот таким — без роду, без племени. Гость выжидает немного, но вдруг, когда разговор уже переходит на другую тему, невнятно бормочет что-то вроде благодарности и сломя голову убегает. Он никогда больше не переступит порога этого дома.

Вахот и Вахотт, два брата, поклонники Кошута, а вместе с ними и все гнездовье молодой оппозиции уже видят то, что Петефи лишь угадывает чутьем художника: родственность задач политики и поэзии. Они, благородный форпост демократии, сжимают в объятиях поэта за то же, из-за чего прислужники аристократии его отталкивают: все они видят в нем представителя народа. «Ты на добром пути!» — с воодушевлением говорит Шандор Вахотт, старший брат, и не нахвалится его стихами, теми двенадцатью, что уже появились в печати, и теми, которые Петефи показывает в рукописи, — как он счастлив, что кто-то наконец заинтересуется ими!

И материально помогает ему добрый друг Шандор: по секрету устраивает подписку в его пользу. Подписной лист везет с собою и в Пешт; результат — тридцать пенгё-форинтов. Поэт может принять их с легким сердцем: среди подписавших лист — Вёрёшмрти, его супруга... Пожертвования таких людей равносильны награде: все равно что премия по конкурсу. Ему достают не только деньги — пештские друзья находят для него и работу — перевод для известного издателя библиотеки «Иностранного романа» Игнаца Надя. Значит, все-таки начинает светать?

Петефи представляют великому множеству людей. Поскольку все они тоже собираются стать писателями, полагалось бы и нам их представить. Увы, это невозможно. Мы поражаемся ужасающей расточительности природы, рассеивающей беспечно цветочную пыльцу и сперму, покуда не попадут они на рыльце пестика или в яйцеклетку. Подобно этому разбрасывается природа и человеческими судьбами; сколько их, стремящихся к чему-то значительному, мечется и в тогдашнем Пеште, и в Пожони, пока не появятся одно-два ярких дарования, жизнеспособных и дееспособных. Остальные? Каждая судьба в отдельности — это поучительная трагедия

(как и всякое безуспешное стремление), но все вместе они отходят на задний план, выглядят статистами рядом с теми, кому доверена настоящая роль; они обречены на забвение почти так же, как, скажем, их современники-письмоноscopy, — как бы ни были они усердны, исполняя эпизодические поручения, даваемые им историей.

Пожоньские коллеги, молодые актеры и писатели, уговаривают директора театра дать возможность популярному поэту выступить со сцены: молодежь, уверяют они, заполнит театр до отказа. Директор склонен принять умный совет, наконец-то Петефи получает настоящую роль! Но, увы, «...некий молодой театрал из общества также пожелал сыграть эту роль, и, уповая извлечь из его выступления больше выгоды...» — да, угадать нетрудно, директор, знающий толк в искусстве, отбирает роль у поэта: спору нет, Петефи популярен, но можно ли предпочесть его местному богачу-дилетанту! Под этим впечатлением и собирается поэт в Пешт. Школа жизни, познания своей нации еще не окончена.

Несколько недель в Пожони все-таки — гигантский подъем на его жизненном пути. Именно здесь начинающий, только пробующий свои силы юноша впервые ощущает себя профессионалом — «коллегой» людей поэтического цеха. Говоря языком того времени, ученик выходит из-под опеки, становится свободным подмастерьем. Пусть он еще не член цеха, но ремесло уже у него в руках. В Пожони Петефи впервые попадает в «литературный мир»: в тот мир, где может свободно расправить плечи, иначе говоря, формировать свою индивидуальность.

Несомненно, велика честь сидеть в обществе седовласых князей от поэзии и первосвященников от литературы. Впрочем, молодых писателей наполняет радостью скорее самый факт, что они удостоены такой чести, — свое время они предпочитают проводить не в высоком обществе, а в кругу сверстников. Петефи тоже надеется найти в этой среде нечто важное для себя, как раз то, в чем успела уверить своего нового товарища пожоньская молодежь.

Уже самое обращение с ним пожоньцев делает для него очевидным факт, от которого захватывает дух: он — поэт, известный по всей стране. Когда речь идет о поэте, то «по всей стране» означает лишь тех, кто читает литературные журналы, а в журналах — прежде всего

стихи. Сколько таких людей могло быть в тогдашней Венгрии? Это важно, ведь у поэтов только они и идут в расчет.

После всех событий самое необычайное и поразительное заключается в том, что вновь прибывший — как вскоре мы увидим — использует гостеприимно распахнувшиеся перед ним врата судьбы не для того, чтобы возможно скорее стать признанным писателем.

8

Что можно сказать примечательного о его переводческой работе в Пеште? Он перевел роман Бернара «Сорокалетняя женщина» (цензор, по милосердию своему, предпочел название «Пожилая женщина»); за труд поэт получил в общей сложности пятьсот валто-форинтов; из них двести — авансом.

Правда, двести валто-форинтов это всего лишь семьдесят пенгё; но за десять пенгё нетрудно снять на месяц вполне приличную комнату, один обед стоит тридцать крейцеров, за два гроша можно посидеть вечер в кафе, — одним словом, и с восьмьюдесятью пенгё в кармане вечный скиталец может приостановить на минуту свой бег, вздохнуть свободно. Представим себе первый его вечер, когда, вымывшись, надев свежее белье, он в собственной, отдельной комнате ложится в свежую чистую постель — отдельную, ему одному предназначенную постель! Два окна его комнаты выходят на Музей. В комнате стоит кресло, стол, на столе — книга, которую надлежит перевести и которая на целые месяцы обеспечит ему этот покой... А может, и навсегда — ведь Игнац Надь обещает потом дать еще перевод! К тому же весь город полон его доброжелателей. Вёрёшмарти, крупнейший поэт, — что, по мнению Петефи, означает: величайший человек в мире, — поэт, один лишь взгляд которого остается незабываемым впечатлением на всю жизнь, — Вёрёшмарти сказал ему прямо в глаза, что ждет от него многого и охотно поможет всем, что в его силах... если нужно, даже в Национальный театр добьется ангажемента! Байза, добряк Байза относится совсем по-отечески, каждое стихотворение читает без сомедления и потом долго беседует, дает советы. Наконец, сколько вокруг друзей-приятелей: среди них

есть старые — Орлаи, Пишта Шаш, но есть уже и новые — Густав Лаука, Альберт Палфи, которые тоже намереваются стать писателями, а смотрят на него уже чуть ли не с почтением, умолкают, едва он начинает говорить; в их глазах он авторитет и, конечно же, величайший поэт. Маленький кружок — если смотреть со стороны, пожалуй, не больше точки, — но для молодого поэта он поистине архимедова точка опоры. В кругу Байзы он ученик; но среди своих сам задает тон. Друзья знают, что у него «свой голос», что он прокладывает в литературе новый путь. Он уже почти чувствует себя обязанным оправдать ожидания. Петефи превосходный товарищ, хотя и нетерпеливый, обидчивый; он руководит в кружке друзей. Мы можем уже не подчеркивать лишний раз, отчего ему так важно выделиться среди более или менее состоятельных товарищей, покорить их и взглядами своими, и упорством.

С самого утра он уже сидит в кафе, в прохладном зале «Пилвакса». У него есть квартира, но здесь, среди стука бильярдных шаров, в табачном дыму, пропитанном запахом кофе, как-то уютнее. Ему важна, по-видимому, близость людей? Он работает. Ремесло поэта все равно что ремесло музыканта: талант, естественно, прежде всего, но нужно еще и руку набить. Конечно, иной раз просто находит вдохновение, но поэтический огонь можно высекать и так, как высекают огонь из кремня: если не с первого, то с третьего, с четвертого удара непременно вырвется искра. И вот на бумагу ложатся знаменитые строки:

Раз на кухню залетел я,
Трубку прикурить хотел я...

(«Раз на кухню залетел я...». Перевод В. Левика)

Стихи-зарисовки. Лишь непосвященным они представляются экспромтом. На самом же деле они являются скорее точным воспроизведением какого-то конкретного впечатления. Приведенному здесь шутливому стихотворению, например, самонаправляемому веселыми попреками и благодаря им продвигающемуся вперед, особое очарование придает именно то, что оно появилось на свет в максимальном удалении от той деревенской «девчонки, что трудилась у заслонки», — за мраморным столиком, по соседству с чашечкой кофе. Четыре

полные жизни строфы, насыщенные, как четыре глотка ароматного кофе, не случаю обязаны своим существованием, а строгой художественной отделке. Позднее, благодаря неустанным упражнениям и развитию своего дара поэт сможет даже экспромтом создавать шедевры, но пока — о чем свидетельствуют все его стихи этого периода — он каждый раз основательно себя правит. Самое простое, самым естественным образом льющееся стихотворение говорит о величайшей и напряженной работе над ним. Скульпторы знают: из так называемого «легкого» материала труднее всего изваять совершенное произведение.

Я не дерево, расцветшее весной,
Я лишь ветка, что сломилась под грозой...

(«Эх, ничто мне утешенья не дает...».)
Перевод В. Левика)

Кто написал это, тому понятны подспудные законы песенного творчества народа не менее, чем ученым, разглядевшим их сто лет спустя.

Поэт красивым характерным почерком записывает стихотворение-песню, быть может, на обратной стороне того же листка он изольет в стихах свою душу с ее «модернистски» сложными переживаниями. Все его произведения связаны неразрывно и лишь друг подле друга становятся нам по-настоящему понятны. Есть поэты, чей путь характеризуют лишь удавшиеся стихотворения; но лирическая непосредственность, органически присутствующая Петефи, каждую написанную им строку делает неотъемлемой частью его собрания сочинений. Что ни вечер, поэт отправляется с друзьями в театр и, как положено, влюбляется в актрису — Анико Хиватал, играющую Офелию. Естественно, он посвящает ей любовное стихотворение, но какое? Актриса замужем, она — жена знаменитого, величавого актера Лендваи; свою первую великую страсть, невинность, которой молодые поэты и вообще молодые люди придают столь большое значение, она уже подарила другому. Что же, поэт закроет на это глаза хотя бы ради стихотворения? Петефи не способен на сделку. Он ни в чем не кривит душой и, точно выражая то, что живет в нем, создает самое лукавое по изощренности воображения и самое необычайное любовное стихотворение из всех, какие существовали до того в венгерской литературе.

Верни ей, господь всемогущий,
Тот светлый, таинственный миг,
Когда неожиданный пламень
Впервые к ней в сердце проник.

И девственность первых признаний
Невинным губам ниспошли,
Но первой любви поцелуи
Чтоб только меня обожгли.

Кстати, это первое любовное его стихотворение, которое он и сам считал стихотворением и включил в сборник. Уже здесь, как и во всей его лирике, речь идет только о нем, о самом поэте, что, впрочем, совершенно закономерно, — даме же достается роль лишь постольку, поскольку она имеет отношение к поэту, вернее, к его мимолетным чувствам. Лирический жар перехлестывает через край. Девы, облик которых столь подобострастно вырисовывают прочие поэты, не скупясь на лестные эпитеты, в его стихотворениях лишь предлог, повод глубже и подробнее рассказать о себе. Это первое великое доказательство лирической достоверности. Ибо о чем ином и говорить тому, чья главная забота — верное воспроизведение чувств? Из крохотного, будто заячий хвостик, первого любовного стихотворения Петефи мы узнаем, что поэту двадцать лет, что он сомневается в существовании рая, но готов целых сто лет этого сомнительного блаженства отдать ради мига с любимой; в сжатых, пружинящих строках он сообщает:

Душа моя видит в грядущем
Долину волшебных надежд... —

(«Г-же Л...»). Перевод Н. Стефановича)

но о его даме мы все еще не знаем ничего. Этот эгоизм разумен, ибо поэт пишет только о том, что знает досконально. Нельзя не подивиться верности его чутья.

Между кафе и театром остается не много времени для занятий переводом, а ведь он должен зарабатывать на хлеб. В Пеште деньги уплывают катастрофически. Перевести девятьсот страниц, даже очень вольно, задача нелегкая. Но Петефи испытывает необычайно острое отвращение к богеме, хотя почему-то считается, что к этому склонны все поэты.

Свои обязательства он всегда выполняет с предельной щепетильностью. Чтобы иметь возможность спокой-

но работать, поэт перебирается в Гёдёллэ¹. Работу заканчивает за три недели. Опять у него есть деньги: Игнац Надь к обещанному гонорару добавляет еще сто форинтов.

Поэт настолько чужд богемному образу жизни, что полученные деньги тотчас обращает в вещи. Он покупает черные брюки, фрак, атиллу², затем бороду, парик, два трико, грим — словом, все, что нужно порядочному актеру. Еще покупает книги и крепкий новый сундучок. И отправляется в дорогу.

Переводами, правда, кое-как просуществовать можно, но только просуществовать, то есть жить мешанской жизнью: «работать» — нельзя. За все время, проведенное в Гёдёллэ, он написал два стихотворения, не слишком значительные; одно из них, за отсутствием внутреннего огня, движется от строфы к строфе лишь благодаря звучным анапестам. Быть может, актерская жизнь даст больше возможностей, больше времени заняться собой, разобраться в своих способностях. Все это он и получит — но опять лишь ценой отказа от театра.

Скромность и критическое отношение к себе мешают ему воспользоваться помощью Вёрёшмарти для поступления на столичную сцену. Петефи отправляется в Дебрецен, в труппу Комлоши. Нужно ли рассказывать, как его приняли? В Эрдей³, как ему хотелось, он не попал. Присоединившись к маленькой безвестной труппе, он оказывается в Диосеге, оттуда прибывает в Секейхид. Здесь болезнь вновь сваливает его с ног, поэта трясет лихорадка — опять в углу какой-то захудалой корчмы. Он продает фрак, атиллу; даже единственный костюм свой обменивает на более дешевую «летнюю» одежку. Когда в конце ноября он из последних сил приплелся назад, в Дебрецен, Пак, возвращавшийся домой поздно ночью, едва узнал его, своего пештского друга, дрожащего у входа в белых летних штанах.

— Я пришел к тебе, друг. Если умру, хоть будет, кому похоронить.

¹ Пригород Пешта.

² Национальная венгерская одежда, украшенная на груди сужом.

³ Венгерское наименование Трансильвании.

Поэт не преувеличивает. Потрясенный Пак обнимает товарища: он так исхудал, что Пак одной рукой мог бы внести его в комнату. Пак находит для поэта жилье в жалкой лачуге. Топлива раздобыть, к сожалению, ему не удастся. Чтобы выглянуть из окна, поэту приходится ногтем сцарапывать морозные узоры. Окно выходит прямо на городскую виселицу.

Что, собственно, с ним происходило? О том имеется случайно сохранившийся трогательный документ, писанный его рукой, — письмо, которое он послал Байзе уже из Дебрецена и которое помечено датой: 28 ноября 1843 года.

«Пользуясь Вашим любезным соизволением, осмеливаюсь коротко изложить обстоятельства моей жизни, хотя в данное время они чернее моих бледных чернил; несмотря на это, я излагаю эти обстоятельства охотно, так как охвачен сладостной надеждой, что, быть может, Вы, милостивый государь, отнесетесь к моей судьбе не без сочувствия. Да будет мне позволено надеяться на это и да буду я столь счастлив, что надежда моя осуществится; ибо, милостивый государь, Ваши, хоть и не заслуженные мною, любезность и снисходительность вели меня к высшей цели, были моей гордостью, путеводной звездой на заброшенной жизненной стезе.

Покинув Пешт, я приехал в Дебрецен и отсюда намеревался поехать дальше в Эрдей. Но по настоянию знакомых актеров пошел к Комлоши, труппа которого в то время выступала здесь, и он сказал мне, что едет на зиму в Коложвар. Комлоши принял меня сносно, так что я неделю провел в Дебрецене уже в качестве актера его труппы. Но вот как-то Комлоши снова вызвал меня к себе на длительную беседу. К моему величайшему удивлению, на сей раз он запел уже совсем по-другому; между прочим, объявил, что в Коложваре мне придется выступать в операх. Это не понравилось мне больше всего. Выйдя от него, я повстречал по пути директора небольшой труппы. Тот пригласил меня к себе, посулив хорошие роли и хорошее жалованье. Именно поэтому я и нанялся к нему, а еще больше потому, что у меня вышли все деньги и я не мог продолжать поездку. Мы отправились в Диосег — степной городок Бихарского комитата — и играли там несколько недель. Мне дали недурные роли, например, Торнаи в «Выбо-

рах», Варнинга в «Тридцатилетнем игроке» и др., и положили пятьдесят форинтов жалованья в *пропорции*. Из Диосега мы покатали в Секейхид, там выступали три недели. 24-го числа сего месяца наша труппа распалась, ибо мы хотели поехать в Надькарой и Сатмар, а директор не соглашался на это. Таким образом, мне ничего более не оставалось, как вернуться в Дебрецен. Правда, развал труппы был вовсе не единственной причиной моего возвращения — ко всему я еще захворал, и болезнь моя с каждым днем становится тяжелее...»

По случайности именно в Дебрецене, и не так уж давно, Петефи — вслед за Чоконай — выбрал путь, что ведет к народу; в Дебрецене же, в жалкой нетопленной комнатухе, этот выбор становится окончательным. Как ни сурово испытание, выпавшее здесь ему на долю, оно все же переносимо: будто судьба лишь для того опустила поэта в эти бездны, чтобы теперь, размахнувшись в полную силу, тем выше его подбросить. Это последняя остановка, последнее препятствие перед полной победой.

Болезнь, по счастью, не затянулась надолго, самое трудное Петефи перенес еще в Секейхиде. Вскоре он может подниматься с постели, хотя еще очень слаб и едва держится на ногах. Очевидно, еще довольно долго ему нельзя будет заниматься поисками работы. «Я очень ослабел, — продолжает он в том же письме к Байзе, — понадобятся, должно быть, два-три месяца, чтобы силы вернулись ко мне. Я сущий скелет. Так прозябаю я в нужде, и мне придется перезимовать здесь, в Дебрецене. Пришлось прибегнуть даже к такой наглости: одолжить немного денег у господина Игнаца Надя. Мне очень совестно, но иначе я поступить не мог... Очень хотелось бы написать Шандору Вахотту, но не знаю, интересны ли будут ему мои письма. Есть еще люди, которых я уважаю и хотел бы просить их хоть изредка вспоминать обо мне, но я так ничтожен, что не осмеливаюсь...» Его квартирная хозяйка, вдова Фогаш, билетерша в театре, вспоминает о тарелках супа, которыми подкармливала его в кредит; Пак хотя и не мог обеспечить друга топливом для печки, по крайней мере, подбрасывает топлива ему в трубку — чтобы обогрелись деревянные от холода пальцы. Иногда к шатающемуся от слабости поэту заглядывают дебреценские студенты, приносят книги.

Болезнь — вынужденный отдых, единственно доступный беднякам, — дает ему возможность разобраться в самом себе. Из двух дорог, которые на протяжении стольких лет равно влекут его, по одной, театральной, он двигаться не может, хотя бы потому, что вообще не в силах двигаться. Остается другая. Поэт натягивает на себя всю одежду, какая только у него есть, и, придвинув мешок с соломой к холодной печке, склоняется над ней, словно над письменным столом. Три месяца он живет только поэзией, для пробы сил ему этого достаточно. Словно флаги, указующие путь к цели, — портреты Вёррешмарти и Виктора Гюго на стене (между делом поэт намерен совершенствоваться также во французском языке).

В стихах этого времени проявляется только сила его таланта — внутренний мир поэта остается в тени. О себе, о своей судьбе он почти не поминает, а если и поминает, то для него это лишь повод для новых стихов. Так атлет, тренируясь, подхватывает всякий тяжелый предмет, попавшийся на глаза, и мастерски работает с ним — для него это просто упражнения. Пак, верный друг, заботится о поэте в период выздоровления, но однажды невольно его обижает. Обижает? Всего-навсего просит вернуть ему ленту национальных цветов, которую поэт без спроса взял у него со стола и прикрепил себе на шляпу. Секундная стычка, только и всего, а на другой день Пак с вполне понятным ужасом читает положенное перед ним поэтом, ему адресованное «Последнее слово к...»:

Вероломство в сердце мне впилося, —
Так взбесившийся кусает пес...

(Перевод Н. Стефановича)

«Ранен я уже не в первый раз...», — говорит поэт во второй строфе, уже отвлекаясь от первопричины скорби; в третьей он спешит поведать, что «Опыт жизненный богаче шахты...», в четвертой поминает надежду: «Для чего расцвел цветок надежды?» Одним словом, стихотворение охватывает целую вселенную, весь мир, — кто же не поймет, что бедняга Пак послужил здесь лишь предлогом? В первую очередь это понимает сам Пак. Правда, поэт чересчур чувствителен, ну и пусть, особенно если только в стихах. «Взбесившийся пес», «вероломный друг» хлопает автора по плечу, поздравляет с удачей

и сам отправляет стихотворение по почте для журнала «Элеткепек» («Картины жизни»). Дружба вновь скреплена. О злополучном стихотворении нет и речи, обсуждается только, лучше ли оно того, что написано на прошлой неделе, — «Скользкий снег хрустит, сани вдаль бегут...»; а может, оба уступают третьему, начинающемуся словами: «Цветку нельзя запретить...», и еще одному — «С этой песнею хоронят...» (оно-то и есть самое лучшее).

Не меня хоронят, значит,
Раз кругом скорбят и плачут.

*(«С этой песнею хоронят...».)
Перевод Н. Стефановича)*

Итак, он здесь пишет, в основном, песни на народные темы. Между строк слышатся в них голоса чабанов; вот чабан лежит на траве, глядя в небо, или бредет за отарой, наигрывая на своей дудочке, которую сам вырезал из ивы, что растет над могилой его невесты... Но, быть может, и это лишь прием, позволяющий поэту говорить о себе? Точно так же как у символистов, которые вместо себя заставляют говорить пьяные корабли, сфинксов и хищных птиц?

Или все это — роли, роли: осуществление в стихах того, что не состоялось на сцене? Несомненно, в каждом его стихотворении есть что-то от непринужденности, уверенности в себе актера, взлетающего на подмостки. Стихотворение начинается на высоких тонах и плавно, хотя то и дело отклоняясь в сторону, льется неостановимой рекой. Декламационный строй и естественный, сверкающий всеми красками жизни язык создают впечатление подлинно живой речи. Молодой поэт пишет не роли; это его собственная душа, на которую он примеряет, быть может, разные костюмы, иными словами, записывает свои поэтические сны, — а сны в сфере поэзии не отличаются от действительности. Сцена, когда парень с обочины смотрит на свадебный кортеж своей милой, у Араня претворилась бы, вероятно, в балладу; Петефи в первой же строке отождествляет себя с этим парнем. Свойство, присущее актеру? Не менее присуще оно и поэту. Были поэты, которые душу свою уподобляли дубу или испанской дофине; его душа — крестьянин, изливающий горечь в песне.

А иногда это — девочка, поливающая цветы. Или туча. Поэт и сам понимает, как безудержна его фан-

тазия. Остановиться на одном сравнении он не в силах; он слишком богат, слишком нетерпелив для этого. А потому не чеканит, не отделяет рождающиеся в душе образы, как иные, более спокойного темперамента, более осторожные поэты, а бросает их щедро, один за другим, без счета. Каждый образ, метафора — всего один-два штриха, и тем не менее это не наброски: удачный эпитет, краткое, на полфразы, точное наблюдение, и образ становятся незабываемыми. Собственно говоря, подобные дополнения и придают, как правило, поэтичность стихотворению. Вот одно, написанное еще до поездки в Диосег:

Все, что мог, я делал,
Втайне мысль храня,
Что она полюбит
Наконец меня.
Удержу не знал я, —
Так, спалив амбар,
Рвется вдаль по крышам
Городской пожар.

Пожар — душа: этого сравнения было бы вполне довольно для заурядного виршеплета. Поэтичным, зримым оно становится благодаря живой картине: «Рвется вдаль по крышам...» — строке, родившейся, быть может, лишь для заполнения строфы. Пожар, огонь! Чего только не натворит он, коль скоро запылал в стихах! Однако молодой поэт пренебрегает этой возможностью, ему некогда.

А теперь я слабым
Огоньком костра
Пред шатром пастушьям
Тлею до утра.

Огонь вспыхнул ярко и тут же погас. Поэт спешит дальше:

Был я водопадом,
Рушился со скал...

(«Надоевшее рабство». Перевод Б. Пастернака)

Водопад изливается мирным ручейком, а поэт уже отождествляет себя с «горной высью», с «выступом скалы», чтобы тут же стать рощей с соловьями... Какое переселение души, какая неукротимость духа в стихотворении, которое и оканчивается-то без особого взрыва: развернутое вступление обрывается признанием, что поэт уже сбрасывает с себя оковы любви. Пред-

принимал ли кто-нибудь до него подобный бег? Во всяком случае, не было поэта, к духовному облику которого это так бы шло. Безудержность фантазии до самого конца останется характернейшей чертой его поэзии.

Говорят, что на сцене он всегда волновался (как всякий начинающий); в стихах же — ни малейшей неуверенности в голосе, ни единого лишнего жеста; публичность здесь ему не помеха, он легко справляется с самыми сложными задачами, ни разу не сбившись с тона, не сфальшивив даже в кратком придаточном предложении. Он свободно расхаживает перед нами взад и вперед; стихи его построены с великим мастерством — этому его научила народная песня, — но даже самые сложные из них звучат так, словно родились экспромтом. Стихотворение «Клин клином», которое он сочинил, еще бредя в Пожонь, и которое позже станет самым эффектным номером программы его друга, знаменитого актера Эгреси, начинается восклицанием крестьянского парнишки: «Ох, спина болит и ноет, // Ох, болит!» — и внешне — не более чем беспорядочные восклицания вперемежку с проклятиями; однако само построение стихотворения делает его живой жанровой сценкой, словно выхваченной из какой-нибудь пьесы. Каждое слово стоит на своем месте и обладает такой выразительностью и силой, что декламатору и не нужно ничего изображать. В стихотворении «Который стакан?», написанном в Дебрецене (все еще немного в духе «Фотской песни»), поэт точно скомпонованным сумбуром речи героя артистически изображает пьяного: ведь при действительно хорошей игре этот пьяный и должен быть как настоящий.

Да неужто это пятый
Был стакан?
Ты сегодня рановато,
Братец, пьян.
Вдвое больше ты стаканов выпивал,
А не помнится, чтоб пьяным ты бывал.

Целый час болтал я с вами... А про что?
Про колеса с жерновами? Нет, не то...

(Перевод С. Маршака)

В Дебрецене Петефи написал около двадцати стихотворений; среди них есть одно, которое пока мы затрудняемся характеризовать. Вот оно:

Его привязывают к лавке,
Спина до плеч заголена.
Он вор, грабитель — слов достойных
Не сыщешь, что за сатана!

А он артачится, и — в голос:
«Плетями? За какой провин?
Не прикасаться к благородным!
Я дворянин! Я дворянин!»

Слыхали, как он льет помой
На вас, отцы его отца?
Да ведь за это высечь мало! —
На виселицу молодца!

(«Дворянин». Перевод Б. Пастернака)

Тон резкий, суровый. Мы воспроизводим стихотворение полностью, чтобы легче было потом припомнить, какой грозы это был первый отдаленный отблеск.

Поэт покупает несколько листов зеленоватой толстой, венгерского производства, бумаги, складывает их тетрадкой. Красивым своим почерком переписывает в тетрадь двадцать новых стихотворений. Достает и более старые стихи, снова и снова их просматривает, отбирает около шестидесяти и тоже переписывает в тетрадь. Затем является к Паку. Он снова готов в путь.

— Ты безоговорочно мне доверяешь? — спрашивает он.

Пак уже знает этого человека.

— Безоговорочно, — отвечает он.

— Но настолько ли, что даже усомниться не посмеешь в том, что я скажу сейчас?

— Сам собой, — подтверждает Пак.

И по просьбе поэта пишет обязательство на 150 валто-форинтов, которые он, Пак, выплачивает госпоже Фогаш по истечении сорока пяти дней, если поэт до тех пор не заплатит ей своего долга сам. Сумма равняется полугодовому жалованью Пака — откуда возьмет ее бездомный скиталец в течение шести недель? «Взбесившийся пес» подписывает бумагу, даже вопросительного взгляда не бросив на друга. Насколько знает он поэта? Насколько же он дал узнать себя — поэту и нам. На прощанье Пак еще снабжает друга наличными: шесть серебряных двадцатикрейцеровиков — это все, что ему удалось раздобыть у какого-то родственника или земляка. Дебреценские студенты преподносят Петефи выдавшую

виды холщовую суму и чабанский посох, чуть не с него величиной, со свинцовым набалдашником; когда же за чертой города они распрощались, друзья вдруг запели ему вслед: «Ах, любовь, любовь упряма...» — его песню! — положенную на музыку господином Йожефом Ковачем, слушателем коллегии, который, кстати сказать, и сам принимал участие в исполнении своего опуса. Поэт, потрясенный, оборачивается, а затем окончательно устремляется вперед, к будущему, — из-за разлива Тисы не по обычной дороге, через Тиса-Фюред, а в сторону Токая. «Один-одинешенек шагал я здесь у Хедьайи; ни одна живая душа мне не повстречалась. Все люди искали крова — погода стояла ужасная. Снегом попережку с дождем осыпала меня завывающая буря. Она мчалась мне прямо навстречу. Слезы, выжатые холодом метели и нуждой, замерзали у меня на лице», — вспоминает он позднее; это единственное место в его дневниках, которое дает нам некоторое представление о том, как он путешествовал в те времена. Вся его надежда — на стихи. «Я думал: если продам свои стихи — хорошо, а не продам — тоже хорошо; тогда либо с голоду помру, либо замерзну, — по крайней мере, придет конец всем страданиям».

К написанным уже стихам по дороге добавляются еще четыре экспромпта. Первая песня, родившаяся в Токае, естественно, застольная; зная то плачевное состояние, в каком поэт прибыл к подножью знаменитых гор, — мы сможем вернее судить и в будущем, насколько его личные обстоятельства перекликаются с содержанием его застольных:

Ну, не знаю, что мне нынче делать?
Что за жажда мною овладела!
Выпил бы вино по всей стране я
И еще возжаждал бы сильнее.

Чудо сотвори, господь, такое:
Сделай Тису винною рекою, —
Я б в Дунай тогда бы превратился,
Чтоб влилась в меня вся эта Тиса!

*(«Ну, не знаю, что мне нынче делать?..».
Перевод Л. Мартынова)*

Два других стихотворения родились в Эгере, в доме поэта и священника Таркани; в них тоже — Эгер, «бычья кровь» — поэт славит вино и веселье. Вернее, описывает веселье с живостью, не померкшей и поныне:

Если б сеял я веселье,
Словно зерна, на мороз, —
Увенчал бы эту зиму
Целый лес цветущих роз.
Если бы закинул в небо
Сердце я, —
Им согрелась бы, как солнцем,
Вся земля!

(«Голоса Эгера». Перевод Л. Мартынова)

В прозе признания поэта звучат несколько иначе: «...Я перебрал в памяти все невзгоды, пока шел через Хедьайю. О, моя жизнь была очень богата невзгодами... Шесть лет я был скитальцем, покинутым богом и людьми; шесть лет ходили за мной две мрачные тени: нужда и душевная боль... И когда? В дни юности, в лучшую пору жизни, созданную только для радостей...»

В Мишкольце он пишет четвертое стихотворение:

Я на перекрестке,
Два пути —
На восток, на запад...
Как идти?

Сердцу безразличны
Все края, —
Всюду будет скорбной
Жизнь моя.

Где дадут навеки
Мне уснуть?
Знать бы, — я бы выбрал
Этот путь.

(«Я на перекрестке...». Перевод Н. Стефановича)

Ему двадцать два года.

9

После пяти с половиной удушливых, насыщенных унижениями лет следуют пять с половиной лет, напоенных торжеством победы, словно первый период был некоей мздой египетской за следующий — за оставшиеся поэту годы жизни... Победа, конечно, означает всего-навсего покорение читающей публики. Страданий не становится меньше, но поэт несет их уже на глазах всей страны. Смягчает ли это боль? Поначалу да. Позднее лишь усиливает ее... Кому, какому другому венгерскому художнику довелось испытать столько нечеловеческих

страдании, в сущности, еще до начала творческого пути? Не было и такого, кто, вступив однажды на этот путь, продвигался бы вперед с тою же феноменальной быстротой, как он. Нет еще и полутора лет, как он вышел из Дебрецена с нищенской сумой за плечами, — и вот уже навстречу ему движутся факельные шествия, портреты его раскупаются нарасхват, ему посвящают стихи, его, бродягу, избирают почетным членом комитатского апелляционного суда, и все это в знак признания его литературной деятельности. Еще не стряхнув с себя ядовитых капель невзгод, он уже самый популярный поэт Венгрии, причем во многом обязанный популярностью пережитым лишениям. Пестрая грязь проселочных дорог, обрызгавшая его платье, в лучах поэзии засверкала драгоценными камнями. Душою он до конца остался тем, кем был на дорогах своей страны, и в этом его величие. Как не погряз он в болоте питейных заведений, так не утонул и в трясине салонов. Всякий раз, когда ему представляется случай обращаться к простым людям, за личными своими ранами он ощущает раны этих миллионов. Однако этот единственно нравственный путь к освобождению и блаженству души означает в земной нашей юдоли не мир, а борьбу. Едва стремление это становится в поэте явным, восторженные поклонники мира и поэзии прогоняют его так же, как прежде гнали за его лохмотья.

Взглянем на него еще раз, перед предстоящим ему взлетом, глазами наблюдательного школьного товарища Иштвана Шаша, который к этому времени находится уже в Пеште и изучает медицину.

«Ранней весной года тысяча восемьсот сорок четвертого, когда на дворе стояла самая слякотная погода, я сидел за письменным столом моим, занятый изучением наук, как вдруг слышу, по дорожке, что вела ко мне, кто-то приближается твердой солдатской поступью и вскоре входит с таким громким стуком и так широко распахнув дверь, что я поначалу крайне удивился и решил про себя, что ко мне явился какой-нибудь незванный и докучливый проситель, тем более что к заносчивому сему появлению вошедший имел очень мало подходящую наружность: он был в потрепанной вылинявшей холщовой накидке, с необычайно длинной, обструганной гладко и достающей ему почти до подбородка кизиловою палкой в руке; не произнеся слов приветствия, вид имея

весьма опустившийся, он пошел прямо ко мне и, протянувши руку для пожатия, молча остановился передо мною и прямо взглянул мне в глаза; лицо его было очень бледно... я же пришел в полное замешательство, ибо кого угодно признал бы в нем скорее, нежели друга детских моих лет, ныне пользующегося славой поэта, которого я не видел с тех счастливых времен, когда он пришел ко мне отставным солдатом.

От изумления не зная, что делать при виде подобного посетителя, я до тех пор безмолвно и недвижно стоял перед ним, покуда он, видимо, следуя внутреннему порыву, не назвал себя и не заключил меня в свои объятия.

Радость свидания, сдобренная еще тем, что, идя из Дебрецена, он принес весточку и от Пака, скоро привела нас обоих в приятное расположение духа. Желанным следствием сего было то, что первое мое потрясение не остановило на себе его внимания. При известной его вспыльчивости, заметив что-либо подобное, он способен был так же молча, как явился, и покинуть меня, быть может, осердясь всерьез.

Когда же мы нарадовались счастливому свиданию и порасспросили друг друга о том, о сем, он с полной серьезностью приступил к рассказу о цели своего путешествия. Прежде всего сняв с себя потрепанный и кое-где порванный ветрами Матры кунтуш, он вынул из внутреннего кармана рукописный сверток и, раньше чем положить его передо мною на стол, рассказал, что это частию неизданные стихи его, которые он, собрав вместе, принес с собою ради того, чтобы издать их, то есть, вернее говоря, показать Вёрёшмарти и Байзе и спросить их суждения, — после долгих метаний и сомнений он затем и приехал в Пешт, чтобы успокоиться, наконец, на их решении. Слова эти, произнесенные с внутренним пылом, свидетельствовали о глубокой его убежденности. В свертке были все его стихотворения, подписанные псевдонимом Пал Киш Пёнёгеи, красиво перебеленные им собственноручно, с виньетками на полях: на первой странице красовались нарядные буквы названия. Зеленоватого цвета, блеклая и грубая бумага, сложенная вчетверо и сшитая тетрадкой в большой палец толщиной, выдавала скудные его обстоятельства. Как известно, он, будучи начинающим писателем, печатал стихотворения свои под различными псевдонимами, ко-

торые, быть может, в силу сценических своих склонностей, он любил менять вплоть до того, как окончательно принял постоянное поэтическое имя. Так и на сей раз он скрылся под никогда ранее не использовавшейся им фамилией, на происхождение которой я наткнулся, бродя по Алфёльду, и которая, по моему мнению, происходит от прежнего названия Фюлёпсаллаша — Пёнёге...

Расположившись у меня, он поведал мне историю своей исполненной превратностей жизни со времени последнего нашего свидания, рассказал о новых столкновениях с родителями, а главное, о горьких обвинениях неуомолимого отца за то, что он ни на чем не может остановиться, мечется по стране с актерскими труппами, словно перекасти-поле, не имеет серьезного занятия в жизни; потом рассказал с глубоким волнением, сколь много претерпела и терпит его матушка от двойственной борьбы, кою приходится ей вести с отцом из-за него, чтобы все же тайком нет-нет да и посылать сыну знаки своей любви к нему. С горечью упомянул он о пережитой зиме, о том, как всеми был заброшен, и вот, не в силах оставаться долее в суровой беспросветности, пришел, чтобы выяснить свое положение и для того выслушать суждение двух главных авторитетов — Вёрёшмарти и Байзы — о направлении его поэзии, ее предмете, образах и вообще о значении ее и ценности; в случае же доброго приема попросить их о поддержке, дабы положить, наконец, предел бесцельным метаниям. Чтобы укрепиться в своей надежде, он с жаром поминал о том, как приняли его в Эгере и какое впечатление производили там стихи его. Это была светлая точка на фоне мрачных его мыслей. Насколько вынослив и закален был он телом, настолько ж душою подвержен был любым впечатлениям минуты. Тут, будто слабая травинка, он содрогался от легчайшего дуновения.

Должен сказать для характеристики положения его, что бедняга сильно обносился, одна же часть его верхнего туалета пострадала настолько, что мне пришлось заменить ее своею. Очень уж протерлась сия часть от долгого сидения за работою в те зимние дни. Сменил он и галстук, повязав новый красивым бантом. Причуды Шандора тогда еще не изгнали галстук из его обихода.

Кое-как приведя себя в порядок, сунув тетрадь под мышку и запахнувшись в свою накидку, он двинулся в назначенный себе путь, пообещав о результатах при-

ема сообщить мне незамедлительно. Во время его посещения я не спросил его, где он остановился. Должно быть, пристроился у каких-нибудь старых знакомых или родственников, ибо к тому времени он еще не мог завести в Пеште знакомства со сверстниками».

Таков был внешний вид поэта. Но внимательный Шаш умел также заглянуть ему в душу. О чем и оставил великолепный отчет.

«Общеизвестно, что изменчивый, а по временам очень раздражительный и крайне ранимый нрав его делал весьма трудным совместное с ним существование; понять его настроение, положиться на него, ему довериться было еще опаснее. Так что единственным способом доброго с ним согласия было постоянное к нему приспособление, то есть умение ловко избегать его вспышек. Тот, кто умел это, мог жить с ним мирно, в противном же случае ссоры и примирения следовали друг за другом непрерывно. Особенно много ссорился он со своими коллегами-писателями и без стычек едва ли умел долго дружить с кем-либо. Но кто решился бы поставить ему это в вину, заклеить как человека трудного и неуживчивого, ежели он обладал поистине прекрасными благородными качествами, коих слабости его не могли затмить? И с другой стороны, коль скоро мы желаем быть справедливы, я спрашиваю: можно ли удивляться, ежели он выглядел иной раз угловатым, держался неприятно, вообще не умел приспособливаться? Можно ли винить его, прожившего столь трудную и полную невзгод жизнь, за то, что подчас он превратно, в дурную сторону толковал самые добрые побуждения, — ведь за всю жизнь ни душа, ни тело его не извели покоя?! Можем ли мы, наконец, требовать от человека, живущего в вечной тревоге и борьбе, чтобы он был покладист, внимателен, предупредителен, прислушивался к советам и им следовал, когда у него для этого не было не только случая и времени, но и душевное его состояние тому не соответствовало?»

Да послужит подтверждением сему отступлению, ради его характеристики сделанному, то, что и на этот раз, в разгар половодья, полубольной, истощенный, с пустым кошельком и без хорошего платья, он пускается в путь и, сделав большой крюк из-за разлива, появляется в Пеште, хотя, дожидсь он весны, не рисковал бы, по крайней мере, своим и без того надломленным здоровьем.

ем. Однако что ему непогода, что ему покой, дом, здоровье: стоит мечте подхватить его на свои крылья, и он неудержимо бросается вперед наперекор ветру и опасности.

После проведенной в лишениях зимы он с тяжелым сердцем покинул Дебрецен, не расплатившись по счету, унося горькое разочарование и иные печальные воспоминания; можно сказать, лишь с обломками дразнящей надежды направил он стопы свои к королю поэтов Вёрёшмарти, от него одного желая услышать приговор по делу души своей, дабы она, его душа, сомневающаяся и жаждущая самоутверждения, нашла покой. Это был самый критический момент в его жизни, с которого начался его путь к славе и поэтическим лаврам и который был значительней по своим последствиям, чем более поздний поход его за счастьем любви. Правда, он и прежде не знал недостатка в доброжелательных суждениях, благоприятных отзывах, даже восторженных восхвалениях его поэтических достоинств со стороны почтенных и глубоко мыслящих людей. И он принимал это с благодарностью, как лестное признание, но оно не способно было ни удовлетворить его, ни успокоить. Петефи нуждался во мнении одного Вёрёшмарти. Положение становилось еще более нестерпимым, поистине мучительным оттого, что пресловутое высокомерие Петефи, проявлявшееся в ту пору, когда он был только начинающим писателем, теперь как будто рассеивается, — однако, вместо обретения трезвости, он оказывается поколеблен в самой вере в себя. Можно ли удивляться тому, что под влиянием подобных запутанных обстоятельств все существо его, все силы, его поддерживавшие, казалось, были обречены?

Но вправе ли кто-либо сказать, что поэт движим теперь не заветными мечтами об известности и славе, а лишь сломлен скудостью и нищетой и, потерявши былую свою непреклонность, ищет выхода из стесненного своего положения, просит помощи у авторитета?! Не думаю, чтобы характер его или какой-либо, пусть даже мельчайший, эпизод его жизни давал основание для подобного заключения. В скупой отмеренной ему жизни он предпочитал сто раз терпеть, сто раз страдать, но никогда не свернул со своего пути — не изменял себе и не сдавался, для него это было совершенно невозможно. Прозрачную чистоту его «я» не могло замутить

никакое внутреннее или внешнее влияние... Более того, даже болезнь не сломила его окончательно. Насколько мне известно, он был болен трижды. Первый раз — еще будучи солдатом; но и тогда лишь по настоянию врача он явился в госпиталь на предмет списания из армии. Вторично он сильно расхворался в Пеште, когда холостяком жил в квартире на Хатванской улице, где, запершись от всех, работал без передышки; и наконец долго болел в Дебрецене — когда занимался отбором и приведением в порядок стихов своих. Можно представить себе, однако же, какого труда и самоотверженности требовало это от него, больного и голодного, в не-топленной комнате, — даром что все стихи свои он знал наизусть, слово в слово».

Поэт возвращается в Пешт с романтической решимостью — жить или умереть, с вызывающим упорством игрока, все поставившего на последнюю карту: однако некоторое время он еще проигрывает, вступив в единоборство с издателями. Издатель Гейбель не считает его стихи ценностью, то есть выгодным делом; такого же мнения придерживаются Хеккенаст, Альтенбургер, Ландерер, Хартлебен и прочие истинные заправилы венгерской литературы. Петефи ничего не остается, как еще раз обратиться к Вёрёшмарти; это последняя его надежда. Однако против власти денег и величайший поэт отчизны бессилён. Впрочем, Вёрёшмарти не сдаётся: разве его собственная поэма «Бегство Залана» не появилась в обход дельцов, благодаря добротству восьмидесяти восьми подписчиков из провинции? (Как, впрочем, и стихи Бержени, как позднее многие произведения других венгерских поэтов!) Вёрёшмарти обращается за поддержкой к «Национальному кругу», облюбовавшему для встреч и бесед пивной зал Ламача. Вёрёшмарти пускает по рукам стихи молодого своего собрата, однако и здесь ему приходится употребить весь свой авторитет, чтобы «Национальный круг» объявил подписку, то есть дал поручительство на предстоящие расходы. Большинство противится плану, даже «народники» — Имре Вахот и его родственник Эрдей, который «не желает быть для писателей нянькой». Наконец подымается никому не известной мастер-портной по имени Гашпар Тот и жестом Сечени обя-

зается внести шестьдесят форинтов, а затем — жестом самого Гашпара Тота — половину тут же и выкладывает на стол между пивных кружек. В прошлом за венгерским издательским цехом, увы, не числится золотого обеспечения. Слава появления первого сборника стихов Петефи, решившего судьбу поэта, принадлежит этому честному гражданину. 27 марта 1844 года по героическому почину безвестного портного открываются врата будущего и кошельки соотечественников: в тот же вечер отчаянно бедствовавшему поэту вручаются семьдесят пять пенгё-форинтов. Очень вовремя! В последний день поэт успевает все же выручить из придвинувшейся вплотную беды еще более отчаянно бедствующего Пака. «Национальный круг», конечно, подвергает критике приготовленные для издания стихи, пятнадцать из них присуждает изъять. Поэт, улыбаясь, кивает, в шутовском стихотворении прощается с осужденными на смерть застольными песнями, только за «Славный город Кечкемет» встает горой. Почему ему важно именно это стихотворение? Оно написано на народном крестьянском диалекте, и, как видно, это не случайно для Петефи, ибо подчеркивает сущность избранного им направления в поэзии. Или бунтующая его душа придает стихотворению тайную значимость?

Ремесла не з н а ю , — впрочем, не беда:
Денег раздобуду я везде, всегда.
Так бывало прежде, так же будет в пре д ь , —
Путника бы только в мраке разглядеть...

(«Славный город Кечкемет». Перевод Н. Стефановича)

Еще ни одного поэта не поддерживал так упорно и стойко Вёрёшмарти. «Национальный круг» (призвавший все сообщества и содружества в стране стать подписчиками сборника) еще ни разу не брался за издание стихов — необыкновенное событие скоро становится широко известно. «Литературное мнение», которое, как тогда, так и теперь, представляет лишь завсегдатаев нескольких столиков в кафе, возбужденно обсуждает необыкновенное событие. Старые добрые друзья рассказывают о молодом поэте с радостью, любители разносить слухи — хвастливо и с прибавлениями. Начинаются догадки и сплетни, — словом, творится легенда (мы можем смело сказать так: ведь нам известно, о ком идет речь!). Любопытные взгляды встречают молодого поэта,

когда он входит в кафе «Пилвакс»; теперь на нем платье Антала Вареди.

Удача не приходит в одиночку; успех в «Национальном круге» приносит свои плоды. Янош Эрдейи, собиратель народных песен и владелец журнала «Регелё», отстраняет медлительного и осторожного редактора Гараи и, подчиняясь голосу времени, передает журнал своему родственнику — молодому, ловкому Имре Вахоту.

Есть люди, умеющие даже такие понятия, как народность, демократия, голос времени, сделать источником выгоды. В «Национальном круге» Вахот голосует против издания стихов Петефи, когда же ему нужно найти среди молодых писателей подходящего помощника редактора, который при этом (ради сохранения его, Вахота, авторитета) был бы еще моложе самого редактора, выбор его падает на молодого поэта. Особенно после того, как и Вёрёшмарти просит обратить на него внимание.

Вахот лишь двумя годами старше поэта, но он давно уже ходит в «зрелых» — благодаря дурным своим пьесам, а еще более благодаря родству, знакомствам и неизменной готовности услужить. С писателями своего пошиба он не общается, зато постоянно вертится вокруг «стариков» — хоть и в конце стола, но из вечера в вечер сидит в обществе Вёрёшмарти, представляет там «дух» молодого поколения, но только так, чтобы сидящие во главе стола неизменно были от него в восхищении. Он предприимчив и переимчив, по-крестьянски прост и по-городскому обходителен, он не чужд порывов, хотя порывы эти всегда строго рассчитаны. Он пылает любовью к литературе, вскоре уже живет за ее счет, даже не умея толком писать. Он истинный предшественник сложившегося позднее типа газетчика и газетного издателя. В воспоминаниях своих он врет так гладко, словно читает по книге, а не пишет книгу сам (уступая в этом лишь жене брата, Шандора Вахотта, урожденной Марии Чапо). Его восторги по адресу Петефи сперва представляются восторгами «хлебодача», ожидающего благодарности, затем — антрепренера, а по временам — даже сводника и провокатора. Он не переходит на «ты» с поэтом, когда предлагает ему заключить договор, как это принято в Венгрии между социально равными сверстниками. «За ваш труд

(верстку, чтение, корректуру, ежедневные посещения типографии в Буде), я предоставляю вам жилье, хороший венгерский стол и пятнадцать валто-форинтов жалованья в месяц». Ровно столько же платят прислуге. Да и «жилье» в обеих квартирах Вахота — это комната для прислуги. К пятнадцати валто-форинтам в месяц поэт может, правда, прирабатывать и стихами. За каждое стихотворение ему будет выплачено два валто-форинта, то есть восемьдесят крейцеров. Поэт попадает в капкан — но что ему остается делать? Как-никак, но все же у него есть теперь кров и еда, почва под ногами, прочее же — дело будущего; музы обыкновенно не забывают о поэтах, готовых писать стихотворения даже по восемьдесят крейцеров за штуку. Повеселевший, подогреваемый надеждами, поэт на пасху едет в Дунавече к родителям, чтобы хоть немного окрепнуть; договор вступает в силу только с 1 июля. Он должен стать поэтом, хотя бы ради того, чтоб выжить.

Петефи примиряется с родителями. Рассказ стариков села об этих минутах журналисту удалось услышать даже столетие спустя, — так поразила их простые сердца верность народу великого человека, склонившегося с высоты своего величия, чтобы поцеловать руку беднякам-родителям. Поэт идет в Дунавече (конечно, и на этот раз пешком), совсем не уверенный в том, как его примут: сразу явиться в родительский дом он не смеет. Тот, кто уже спокойно переступает порог Вёрёшмарти, здесь по-прежнему чувствует себя непутевым сыном, которому, по тем временам да еще в крестьянской среде, положено без звука снести от отца одну-две оплеухи; получить же оплеуху от руки мясника, уж будем говорить все, как есть, — тут стоило и призадуматься. Итак, гордость и надежда новой поэзии для начала стучится к сельскому регенту и учителю, Яношу Сючу. Позднее Янош Сюч расскажет об этом посещении в письме, а Йокаи изложит его содержание; объяснения поэта звучали приблизительно так:

— Конечно, я мог бы подъехать прямо к родительскому дому на наемной телеге. Ведь я уже не оборванец и не бродяга. Но ехать через базар, где находится отцовская лавка... там в это время дня еще полно народу. А старик сердит на меня, и мне не хотелось бы, чтоб он на людях стал меня отчитывать. Так что позвольте

мне остаться у вас до вечера, а домой я пойду, когда уже никто меня не увидит.

Учитель усадил пришельца, сказав, что ему надобно отлучиться по важному делу, а чтобы гость не скучал, дал ему псалмы Святого Давида, которые вдоль и поперек исписали когда-то школяры озорными стишками и шутками.

«Важное дело», из-за которого учителю понадобилось срочно отлучиться, был визит к родителям поэта. Он вошел к доброму старому корчмарю с *ria fraus*¹ на устах: а не приехал ли домой, спросил он, ваш сын Шандор? Хотелось бы, мол, повидать славного юношу.

Добрый старик поглядел на учителя с удивлением.

— Выходит, сын мой Шандор таков, что о нем и господину учителю справиться не зазорно? А может, коли так, взяли бы вы его, господин учитель, в помощники?..

И тогда Янош Сюч поведал старику то, что подсказало ему сердце:

— Сын ваш и сейчас уже учитель, да только учитель всей нации, и все, от мала до велика, равно к его голосу прислушиваются; счастливы те родители, которые дали родине столь славного сына.

Подготовив тем добрый прием у стариков, учитель вернулся к себе.

А к вечеру вместе с гостем своим опять пошел к старым Петровичам.

Юный Антей не от земли черпает новые силы, а из французской книжечки, такой маленькой, что умещается в кармане жилета. Это стихи Беранже. Здесь, в Дунавече, Петефи знакомится с ним основательно. Он уже читает французские стихи в подлиннике.

Учиться у выдающегося мастера — искусство нехитрое; но подлинный ум возвышается даже с помощью уроков посредственных. Впрочем, Беранже — не такой уж слабый образец, каким считается у нас, особенно в сопоставлении с венгерским его поклонником. Или это — наша «благодарность» за то, что французский песенник, вернее, карманная его книжца подсказала нужные молодому венгерскому поэту слова? Конечно, тому, как

¹ Благая ложь (лат.).

стать хорошим поэтом, он не мог научить юношу, который уже к моменту их знакомства был несравненно выше своего учителя. Но Беранже тоже учился у народа, его поэтической школой были окраинные бистро, где в те времена буржуа еще пили за одним столиком с рабочим людом... Эта школа народна лишь в том смысле, что и она называет вещи своими именами. Молодому поэту более всего нравятся у Беранже его застольные песни. Что еще было в этом томике? Насмешки над старыми добрыми королями — их вполне могли принять на свой счет и живые короли; протivoборство властям, защита прав народа. При этом сборник пропитан резким юмором окраин, в нем целая серия историй о рогосцах, грубоватые философствования гурманов, — так и слышишь, как они рыгают при этом; словом, речь здесь идет обо всем на свете, даже о лысинах. Молодой поэт сперва двигается на ощупь, затем направляется туда, куда влечет его собственный вкус, куда он пришел бы и сам по себе. Томик стихов Беранже лишь показывает ему, сколь много способна вместить поэзия. И это укрепляет венгерского поэта в уверенности, что он и до сих пор следовал по правильному пути, что сделанное им — хорошо.

До этого времени значительную часть своих народных песен Петефи печатал под псевдонимами. Не хотел признаваться в авторстве? Думал, что вдруг да свернет на иную дорогу и тогда будет стыдиться их? Ведь и он до некоторых пор смотрит на народ так же, как его предшественники, которые, несмотря на самые добрые намерения, взирали на «простолюдинов» сверху вниз, а характерными народными персонажами считали достойных усмешки или жалости пьяных оборванцев — тех, кого встречали иногда на улицах.

Поворот наступает внезапно. Так же, как традиционные пастухи и беляры — фигуры условные — с определенного момента становятся в его стихах личностями, точно так высветляется теперь и лицо самого поэта, рельефно выступает его индивидуальность. Простота, которая до сих пор была только склонностью, становится вдруг его четкой позицией, мы чуть не сказали: программой.

В Дунавече он пишет стихотворение «Неудавшийся замысел» — шедевр альбомной лирики, поэтического его прошлого, оставленного уже позади:

Всю дорогу к дому думал:
«Что скажу я маме...»

Я вошел. Навстречу мама!
Не сказав ни слова,
Я повис, как плод на ветке
Дерева родного.

(Перевод Н. Чуковского)

Не самое, быть может, знаменитое, но первое великое, по сути революционное, стихотворение эпохи также родилось здесь, в Дунавече. После того как то или иное направление в искусстве одерживает победу, нам трудно уже определить, в чем, собственно, состоял поворот, — ведь как раз благодаря ему наши вкусы и развились в новом направлении. Однако у критиков и пиитов сороковых годов вся кровь, должно быть, застыла в жилах, когда в майском номере «Регелё» на глаза им попали строки:

С отцом мы выпивали,
В ударе был отец.
Храни его и дале,
Как до сих пор, творец!

Так и представляется суматошное хлопанье крыльев дочерей Мнемозины Полигимнии и Каллионы, когда они, заслышав эти кощунственные речи, с визгом вылетают из священных кущ.

Поговорили вволю,
Пред тем как спать залечь,
И об актерской доле
Зашла при этом речь...

«Спать залечь»?!. Значит, теперь уже позволительны и такие выражения в стихах?! Да какое нам дело до того, что думает в простоте своей и примитивности отец поэта, мясник, о театральном искусстве?! Что нам вообще за дело до этих сугубо личных и таких незначительных эпизодов из жизни поэта? — вопрошали, вероятно, тонкие ревнители салонной поэзии. — Подумать только, стихотворец, поэт, не поэтизирует слова народные, а сам заговорил так, как говорит народ! И даже явно гордится этим! Да он и есть самый народ! Дожили: в сапогах да прямо на стол, прибавили бы они, ежели бы столь простонародное выражение могло сорваться с их уст. Поэт, как известно, творит в состоянии божественного экстаза — но возможно ли, чтобы божественный экстаз

диктовал что-либо подобное? Поэту, как и вообще слушателям высших сил, не пристало являться пред людьми в одном исподнем; выдавая интимные тайны, поэт унижает тем себя, свое ремесло, компрометирует свою владычицу Музу. Можно ли поэту вещать без мантии на плечах, не взойдя на трибуну? — и т. д. и т. п. Таково было в те времена представление о поэзии. Лишь высокие помыслы пристало выражать поэту да те чувства, которые и «мы» — то есть самые взыскательные и утонченные ценители поэзии — способны разделить.

Потом, чтоб кончить споры,
Стихи я произнес.
Твердя мне: «Вот умора!» —
Он хохотал до слез.

(«Побывка у своих». Перевод Б. Пастернака)

Это «потом», непринужденное, чисто разговорное (позднее столь часто и естественно являвшееся у него даже в самых изысканных фразах), выглядит здесь, в начале строфы, так, что мы вправе подумать: поэт вполне сознательно, словно вызов, словно боевое знамя, укрепил его там. Стихотворение в целом написано так, что иначе не скажешь и в прозе. Тем оно и прекрасно. Ведь стихи не платье, в которое облакают содержание. Нам кажется, что впечатления от «Побывки у своих» из всех доступных человеку способов выражения можно передать только так, — и это наше ощущение есть вернейший признак настоящей поэзии и самое большое признание, которое выпадает на долю поэта. В литературе — как и в любой другой области — эпоха оканчивается тогда, когда наступает время перемен, даже переворота, когда привычная форма покрывается морщинами, как бы затвердевает на живом, современном содержании. Значит, пришла пора менять форму; в поэзии, конечно, речь идет не о внешней форме, форме стиха — игра не так-то легка, — но о форме лирического поведения, интонации, словом, всего того, что делает поэта поэтом.

Родительский дом поэта и во время «побывки» точно такой, каким его описывал Орлаи: в одной комнате — корчма, в другой, совсем тесной, — жилье. У поэта болит грудь, его одолевает кашель, поэтому он перебирается к Палу Надю, зажиточному крестьянину, и

прежде выручавшему обедневшее семейство корчмаря. В чистой, свежевыбеленной комнате поэт может отдыхать и трудиться, сколько ему вздумается. Его глаза неустанно рыщут в поисках «добычи», все увиденное претворяется в стихи. Диван, на котором он спит. Луна в окне. Милая девочка-подросток, дочь хозяев, давших ему пристанище, — да и была ли у кого-либо из бесчисленных его хозяев дочь, которую бы он не обессмертил? Та же участь достается Жужике Надь и — отдельно — стакану, который она ставит на стол поэта. И катание на лодке рождает стихи, и даже кашель... Поэт ходит по селу, как по полю девушка, собирающая цветы. Он буквально перекапывает все вокруг, добывая настоящие сокровища, да еще и сырье уносит с собой. Теперь уже он начинает собирать, накапливать впечатления.

Между тем не забывается и Пешт. Как лучшие песни из народного быта написаны им в Пеште, так здесь, в провинции, возникает небрежная интонация, адресованная городской публике. Он пишет — как будто на полях сборника Беранже — стихотворение «Одиночество» (о том, что сбежал в провинцию от городских кредиторов), затем «Мои экономические взгляды» с повторяющимися, под Беранже, рефреном (о том, что умный человек добывает деньги лишь затем, чтобы их растратить) — то есть такие два стихотворения, которые с реальной его жизнью связаны не более, чем его раннее, токайское: «Выпил бы вино во всей стране я // И еще возжаждал бы сильнее». Однако же, хотя он пишет еще несколько подобных стихотворений — и первой волне признания и популярности обязан именно им — главное направление его развития нам следует искать не здесь. Под влиянием народной песни слог поэта приобретает простоту, очищается от всего лишнего и, избегнув угрозы многословия, становится постепенно насыщенный, плотным. Бессознательно или сознательно — кто мог бы теперь установить это с точностью! — поэт уже во все свои стихи привносит известный по народной песне прием: вместо сопоставлений с помощью слова «как» и иных связующих слов — смело врезающееся уподобление. Вспомним, для примера: «Травинкой-сиротинкой зовут ковыль степной, // А девушка-сиротка — души моей левкой». Или другое — так он представляет нам своего друга-солдата:

Деревом тенистым
Ты в пустыне был
И дарил мне много
Бодрости и сил.

(«Моему другу-солдату». Перевод Н. Стефановича)

Даже в богатстве своем (и это чудо немалое) он не увязает. Побезденный край не ассимилирует победителя. Как независимым вступил он на территорию песни, так же независимо — хотя и нагруженный — двинулся дальше.

Сегодня мы уже не замечаем, что именно он перенес в литературу язык народа; однако лишь после Петефи стало возможно изучать живую венгерскую речь не только из непосредственного источника, но и по книгам.

10

Солидный литературный журнал «Атенеум» весной 1844 года прекратил существование из-за недостатка интереса к нему. Читателям не нужна литература? Нужна, но только в другой форме, — как мы сказали бы теперь, в другой упаковке. «Атенеум», издание чисто литературное, оказался слишком насыщенным. Оставшиеся и новые журналы подают литературу в разбавленном виде; бессмертные творения духа обрамляются здесь политическими новостями, театральными и светскими сплетнями, а главное — модными картинками. Это уже вполне современные издания. Они конкурируют друг с другом и взаимно поносят направление журнала-соперника и его сотрудников; публике нравится и это. По мнению стариков, литература превращается в болото; но, как всякое болото или запруженная река, она захватывает при этом все новые территории. И все большему числу направлений предоставляет слово.

В 1843 году (начнем уж «сверху») образуется «Хондерю» («Светоч отчизны»); как показывает и выпященное название, этот журнал ратует за изысканно утонченный строй души, эфирные вкусы и вполне земные интересы аристократии. Его редактор Лазар Хорват Петричевич предлагает «девам отчизны» принять новогодний номер журнала, как распускающийся бутон в «мягкие, словно бархат, снежно-белые» руки. «Лелейте же сей бутон,

дайте ему место среди вечнозеленых растений, украшающих ваши чудесные письменные столики; если же он придется вам по сердцу, дозвоьте ему расцвести, стать очаровательным цветком под сладостными лучами ваших прелестных глазок, в драгоценной услуге патриотического вашего дыхания».

От визгливого потока благоглупостей «Хондерю» у другого журнала — «Регелё» — буквально выворачивает нутро; этот журнал держит курс на народность, — кстати, полное название его также весьма характерно: «Регелё Пешти диватлап» («Сказочник, пештский модный журнал»). Впрочем, его тон не столь уж сильно отличен от «Хондерю». Оба издания разнятся скорее своими устремлениями, тем, в какой стороне они ищут путь. Став редактором, Имре Вахот заставляет свой журнал несколько более «по-простому» «сказывать» о новых линиях в венской и парижской политике, а также в покрое юбок; тем самым он заставляет «Пешти диватлап» служить «образованному национальному среднему сословию». Под «средним сословием» подразумеваются средние слои населения, «национальное» означает, что речь идет не исключительно о дворянстве, «образованное» — что сыновья этого сословия, вступая в жизнь, едва ли имеют что-либо за душой, кроме знаний, приобретенных в школах. Одним словом, это те самые слои — в большинстве своем дворянского происхождения¹, — относительно которых, именно ввиду их происхождения, даже прогрессивные историки, изучая нашу духовную жизнь, не смели утверждать, что в середине прошлого века им принадлежала у нас та же роль, какую на западе играла буржуазия. Тем не менее, в канун предстоящих им битв, эти слои уже открыто противопоставят главному злу, обездолившему их, препятствующему их развитию, — крупнопоместной владетельной аристократии; мнения расходятся лишь в том, позволительно ли, и до какого предела, искать союзников в низших народных слоях.

Третий журнал «Элеткепек» хочет одного — быть хорошим, добротным журналом. Его редактор, потомок

¹ В Венгрии, стране, чрезвычайно долго сохранявшей феодальный строй, каждый двадцатый был по происхождению дворянином; дворянские грамоты сплошь и рядом имели мастеровые и ремесленники — сапожники, портные, каменщики и т. д.

шопронских бургеров, Адольф Франкенбург, как и те слои, из которых он происходит, занимает выжидательную позицию; в начинающихся духовных, а потом и военных битвах он с точностью маятника склоняется всякий раз к той стороне, дела которой обстоят лучше; его интересует только «качество»; он покупает рукописи у лучших из лучших, направление же определяет тем, что оплачивает писателей щедрее всех.

Журналы выходят еженедельно, иногда и два-три раза в неделю. Молодые писатели поначалу сотрудничают во всех. Вахот первым сообразил, как много значит для журнала, если читатели полюбят какого-либо автора. Он подозревает уже, что популярность можно обратить в деньги. Опыт вразумляет его.

Ежедневная пресса в ту пору с искренним почтением взирает на литературу: газетчики еще не ощущают свое ремесло чем-то самостоятельным; они смотрят на себя как на кандидатов, из которых — они верят в это — в конце концов выйдут писатели. Политики учатся у поэтов построению фраз. Уже реализовано великое начинание Кошута — газета «Пешти хирлап» («Пештский вестник»), она имеет огромное влияние; нынче ее передовые статьи звучат несколько выпрепне, декламационно, но тогда они ежедневно облетали страну, превращая ее в зал всенародного собрания. Как раз в 1844 году редактирование переходит к Ласло Салаи и газета попадает под влияние центристов, но публика даже более спокойные речи, лившиеся теперь из этого рога, воспринимает как глас иерихонской трубы. Все ждут нового, а так как политика и литература сплетаются, то истинно новым будет то, что прозвучит значительно и в той и в другой областях. Политика демократизируется, она все чаще пользуется словом «народ». А литература?

Уже близок тот день, когда возвратившийся из Дунавече поэт, проснувшись, — как говорит Дюлаи, — обнаружит, что он самый популярный поэт Венгрии... «каждый вечер он засыпает под звуки собственных песен, которые распевает на улицах». Им созданных песен, ставших народными!

С образцовой пунктуальностью выполняет поэт всю редакционную работу. Читает и исправляет рукописи, переводит новеллы для журнала, вырезает и перераба-

тывает газетные новости. Он сразу оказывается в самом центре общественной жизни, хотя общается лишь с близкими друзьями. Редакционный дух захватывает его и оказывает влияние, в свою очередь, на его стихи. Вечерами, расхаживая по своей комнатушке, он и сочинение стихов уже считает чуть ли не ежедневной своей обязанностью: перерабатывает материал, привезенный еще из Дунавече, затем берется и за тот, что получает в Пеште, — словом, из бесчисленных впечатлений дня отбирает то, чего ждет от него публика.

Начало найдено удачно: поэт рассказывает о себе. Он пишет два шедевра в эпистолярном жанре: «Фридешу Керени» и «Моему брату Иштвану»:

Что слышно, брат? Уж, верно, обо мне
Давно забыли в нашей стороне.
Случалось ли вам, Пиштика, хоть раз
Подумать иль промолвить в поздний час,
Когда семья судачит вокруг стола:
«Как там идут у Шандора дела?»

(Перевод В. Левика)

В конце июля поэт сообщает, как о событии, достойном внимания страны, что, отказавшись, по крайней мере, временно, от театральных подмостков и поисков приключений, он стал помощником редактора. Подбрасывая и ловя в ладонь пресловутую (здесь — даже в некотором роде символическую) монетку, он один вечер пишет народные по содержанию стихи («В степи родился я...» или «На осле сидит пастух...»), а следующий — стихи чисто салонные («В театре», «Театральная критика»). Сегодня он — сын народа, завтра — завсегда-тай гостиных. Не знай мы его достаточно, сейчас самая пора была бы тревожиться: куда-то заведет его этот путь? Неужто он утерял свою великолепную способность ориентироваться? Он играет в высокомерие, ему словно бы все нипочем, высмеивает провинциалов и тут же — пештских жителей, и тех и других без воодушевления, явно ради красного словца. На счастье, к осени мертвому сезону в его творчестве приходит конец. Об этом лучше всего свидетельствуют родившиеся вскоре стихотворения, шедевры венгерской литературы.

Перед молодым помощником редактора на этот раз действительно открываются просторы литературы — бесконечные, ибо уходят в бессмертие; легендарный конь, блистательный, полный сил и готовый к стремительному

бегу, уже в нетерпении перебирает под ним копытами, но он — он и сейчас все-таки делает попытку повернуться спиной к обетованной земле и, соскочив с Пегаса, еще раз испробовать иной путь. Ради того, чтобы показать его необычайную силу воли, мы расскажем об этой последней его попытке осуществить заветную мечту, к счастью (для нас), и на сей раз окончившуюся неудачей.

Как помощник редактора, он пользуется правом бесплатно посещать театр. Наконец-то он может познакомиться с великими актерами своего времени! Величайший из них, Эгреша, — в глазах Петефи идеал актера — становится его задушевым другом. Можно угадать, что за этим последует.

Недаром Эгреша читал и разучивал на своем веку столько пьес, — даже воспоминаниям своим всюду, где только можно, он придает драматическую форму. Был октябрь 1844 года. Эгреша готовился к бенефису. Бенефис означает, что сбор от спектакля идет самому актеру, поэтому он заинтересован выступить в такой пьесе, которая соберет полный зал. Помощник редактора, друг Эгреша, спрашивает с любопытством, какую пьесу он выбрал. И вот — драматизированные воспоминания.

«Я: «Беглый солдат».

Он: Немыслимо! Кого ты там играешь?

Я: Портного.

Он: Немыслимо! Так, значит, тебе придется спеть «Три яблочка с половиной...»?

Я: Само собой разумеется. Ведь я певал и в операх.

Он: А как ты смотришь, если и я выступлю вместе с тобой?

Я: Превосходно. Да, а что бы ты хотел сыграть?

Он: Нотариуса. Если роль удастся, останусь актером.

Я: Конечно, удастся!

Репетиции прошли успешно. Наступил день спектакля. Шандор от начала и до конца играл смело, с подъемом и умело двигался по сцене, вот только голос был чуть-чуть глуховат от частого курения. Но в последней картине...»

Возьмем, однако, описание этой сцены у Кароя Зилахи: «...чем далее играл он, тем в большее смущение

приходил, и наконец... когда ему следовало представить влюбленную пару, произнес:

— Это господин Гергей, невеста.

На галерке раздался смех. Тогда он поправился:

— Это прелестная Юлча, жених».

Петефи навсегда отказался от сцены.

О молодом поэте говорят все больше, а Вахот, деловой человек, еще подливает масла в огонь. Он сам спешит навстречу всем чудачествам поэта: обряжает его, певца бетяров, в эффектный мадьярский костюм, какой надевают во время веселых празднеств на сборе винограда, — костюм отечественного производства: ведь девиз «поддержим национальную промышленность» носится в воздухе. Зачарованный миром народной песни, молодой человек с детски невинным желанием покрасоваться ходит в высокой пастушечьей меховой шапке, в бекеше, какую носил когда-то Чоконаи, в наброшенном на плечи ментике и с огромной палицей в руках. Господа в цилиндрах и тонких панталонах останавливаются на улице, завидев его, — еще бы, по мостовой стремительным шагом движется целая театральная бутафорская. Неделию спустя даже швабы-молочники знают, что *der ist der Dichter, der Ungar*¹, из «Пешта диватлап», который может сочинять стихи, только упившись допьяна, и помирает от жажды, когда нет вина. (В дружеском кругу поэт иногда, ради доброй славы, нет-нет да и пригубит вино; увы, уже второго бокала его желудок не выносит. А вместо «доброй мадьярской снеди» он предпочитает ужинать обжаренными в растительном масле улитками — это самое дешевое блюдо.) С помощью «Пешти диватлап» далеко небезопасная популярность распространяется на всю страну.

Лирическая непосредственность еще непривычна; удивительно ли, что читатели хотя и наслаждаются уже новым словом, но понимают его пока плохо. Как вообще все начинающие читатели, они хотят читать про «взаправдашное». Если в стихах не указано четко и ясно, о ком идет речь, читатели тотчас представляют их героем самого поэта. Да и как иначе? Вот, например, стихотворение, повествующее о том, сколько всякой вся-

¹ Это поэт, венгр (нем.).

чины случалось с автором во время службы в солдатах и скитаний с актерами; а рядом — другое стихотворение, и тоже от первого лица, о том, как герой его проходит-ся в лихом чардаше вдоль улицы, помахивая при этом винной флягой. Кто не смешает в одно этих двух героев?.. Еще и сегодня мы на мгновение колеблемся, читая:

Зачем ко мне пристали вы, дразня?
Нет, вы совсем не знаете меня:
Когда взорвусь я, бешенством о бь я т, —
Мгновенно ваши головы слетят.

Ты, девушка, боишься отчего?
Не ты причина гнева моего.
Иди с ю да, — о как прекрасна ты!
Такой нельзя обидеть красоты.

*(«Зачем ко мне пристали вы, дразня?..».
Перевод Н. Стефановича)*

Последняя строфа, правда, позволяет угадать, что поэт, пожалуй, говорит не от своего имени, хотя мог бы говорить точно так же.

Сочувственное внимание публики всегда обращено на личность великого человека, любовь всегда жаждет интимности; рано или поздно каждый великий человек в широких кругах становится известен не столько великими деяниями, сколько подробностями личной жизни. Даже для посвященных стихи Петефи как будто подтверждают ложные слухи о приключениях и разгульной жизни поэта. Приветственные вирши поклонников славят простого солдата в мундире с зелеными отворотами и желтыми пуговицами и все без исключения приглашают к пиршеству, достойному Гаргантюа. Популярность, способствуя прославлению поэта, может оказывать влияние и на его музу — здесь-то и заключается опасность. Однако поэт и на этот раз не поддается соблазну. К осени он сбрасывает с себя псевдонародную мишуру. Впрочем, сбросить костюм — дело недолгое; изменить же образ, который сложился в воображении читателей, не так-то просто; читатели не хотят расстаться со своим идолом. До конца жизни придется поэту пить из чаши, которую приготовил себе он сам — или приготовили для него другие — в эти несколько месяцев. Иногда, продолжим сравнение, он будет даже хмелеть от этого питья.

Из богатого урожая ловкий делец Вахот выбирает то, что наиболее отвечает его вкусу — иными словами, вкусу публики. Это стихи о том, как поэт сбегает от кредиторов (в действительности он выплачивает все свои долги с отчаянной скрупулезностью), или о желании «так промчаться по дороге жизни», чтобы дни и ночи проводить в разгуле. Произведенное ими впечатлительное скоро дает результаты: тираж журнала удваивается; «Пешти диватлап» имеет три тысячи подписчиков, что для венгерского литературного журнала редкость и в более поздние времена.

Но результаты сказываются и иначе. Редакторы курирующих журналов ревниво следят за возвышением «Пешти диватлап»; их злят не лавры, достающиеся поэту, а жатва Вахота, набивающего карман. Не без причины они относят неслыханный успех журнала за счет поднятой им шумихи. Они знают, что Вахот держит в руках дорогую птицу, и начинают понемногу выдергивать у нее перья. Самое сильное оружие печати — *conspiration du silence*, заговор молчания — им еще неизвестно, и таким образом своими нападкаими они тоже льют воду на мельницу противника. Вахот радуется поднимаемому шуму: свою птицу он заставляет не только петь, но и отбиваться, конечно, лишь сквозь прутья клетки.

Нападки начинаются в тот момент, когда поэт, собственно говоря, оставил тон, за который его упрекают. То есть когда он, поколебавшись и поблуждав в дебрях публичного успеха, уже нащупывает твердую почву и делает первые шаги в верном направлении. В своем духовном и поэтическом развитии он так же беспокойно мечется, с такими же зигзагами и невероятной быстротой шагает вперед, как шаггал еще недавно по дорогам Венгрии. Редко, совсем редко, словно воспоминанием, возникают у него прежние мотивы, но даже жанровые и описательные картинки-стихи теперь становятся глубже, тоньше; поэт не останавливается на месте, замороженный успехом, он становится лишь требовательнее к собственным произведениям. Правда, его любовным стихам еще некоторое время недостает глубоких личных переживаний, они, действительно, едва ли отличаются от стихотворений описательных. Но в богатый калейдоскоп внезапно со всех сторон врываются свежие краски, первые отблески совершенно нового мира чувств. В на-

чале августа появляется «Патриотическая песня» с ее счастливо найденным ритмом — такие находки свойственны истинно великим произведениям.

Я твой и телом и душой,
Страна родная.
Кого любить, как не тебя!
Люблю тебя я!

После восторженного этого признания мы наблюдаем вдруг поразительный поворот, который позднее обнаружим почти во всех его патриотических стихах.

Моя душа — высокий храм!
Но даже душу
Тебе, отчизна, я отдам
И храм разрушу.

Пусть из руин моей груди
Летит моление:
«Дай, боже, родине моей
Благословенье!»

Чем объяснить все возвращающуюся мысль о смерти, эту зловещую игру словами? Не будем говорить о пророческом даре поэта: пророчествовал он и о том, что однажды будет сидеть в кругу своих внуков. Быть может, так в пароксизме чувств он выражает невыразимое? Или это извечный инстинкт смерти во искупление? Там, где новейшая психология сочла бы уместными подобные мысли о смерти — в любовных стихах, — они почти не встречаются. Что нужно было ему от родины, от общества даже ценою собственной жизни?

Вслед за тобой я — тайный друг —
Иду не тенью:
Иду всегда — и в ясный день
И в черный день я!

Он меркнет, день; все гуще тень
И мгла ночная.
И по тебе растет печаль,
Страна родная.

(«Патриотическая песня». Перевод Л. Мартынова.)

Стихотворение здесь не заканчивается, в последних строфах оно сбивается на традиционный для того времени ура-патриотический тон; истинное свое русло мысль поэта найдет в более поздних стихах.

Почти одновременно с «Патриотической песней», с жадной мученичества, в ней прозвучавшей, рождается чистое, исполненное светлого жизнелюбия стихотворение, самое значительное из написанных поэтом до сих пор. Это «Алфёльд» с его безмерной любовью ко всему живому, где даже могила служит жизни (ибо это стихотворение также оканчивается мыслью о смерти, хотя и в ином контексте: «Стань мне в будущем моей могилой // У последней и конечной цели»). «Алфёльд» — это истинный шедевр по мастерству объемного поэтического рисунка, по умению поэта то сужать, то расширять изображаемое.

Мысленно парю под облаками
Над смеющимся, цветущим краем.
Колосятся нивы, версты пастбищ
Тянутся меж Тисой и Дунаем.

Табуны галопом мчатся. Ветер
Вбок относит топот лошадиный.
Гикают табунщики, пугая
Хлопаньем арапников равнину.

Утки залетают вечерами
Из окрестностей, кишаших птицей.
Сядут в заводь и взлетают в страхе,
Лишь тростник вдали зашевелится.

(Перевод Б. Пастернака)

Петефи одним махом оставил далеко позади Бернса, Байрона, Ленау, всех тех, у кого мог, в согласии с чересчур прагматическими изысканиями профессоров, учиться и в этой области. Стихотворение, в котором почти нет ни оригинальных сравнений, ни ярких поворотов, которое катится вперед на довольно слабеньких рифмах, — это стихотворение захватывает своим пафосом, оно есть гимн колодцу и стаду, и поросшим бурьяном пескам, и парящему в выси ястребу — самым непритязательным явлениям действительности. Чудесно осязаемым, зримым до галлюцинации его делает та неутолимая радость бытия, которая ощущается за каждым словом, обозначающим простейшие предметы и движения, — радость слегка притушенная, но именно поэтому до конца одинаково сильная. Здесь все слито воедино — земля и солнце, явления высокие и низкие. Назвать это стихотворение описательным? Но и как лирическое, оно столь же мощно. Свободно и ровно льется оно, на едином дыхании, от первой строфы до

последней, естественно приходя к завершению, когда легкие поэта и читателя выдыхают уже весь воздух. Быть может, это величайшее стихотворение венгерской литературы (если под венгерским подразумевать его *couleur locale*¹). Во всяком случае, оно относится к числу тех, среди которых глаз не в состоянии сделать выбор — так слепит их сияние.

11

Поэт в прекрасной форме, он создает великолепные стихи, даже мимоходом, на бегу: почти одновременно с «Алфёльдом», на той же неделе, написано, например, и стихотворение «Много с веточки мы вишен рвем». (Извечная шутка Муз: больше всего поэтических красот нашептывают они тем, у кого и помимо прекрасного, даже помимо самого искусства, хватает забот. И они, Музы, детям эстетики предпочитают детей жизни.)

Каждое литературное поколение отличается от предшествующего прежде всего интонацией, то есть внешним видом, чтобы не сказать — манерами. Это так же, как с модами: то, что носили в прошлом году, нехорошо уже потому, что носилось в прошлом году. У писателей просыпающегося народного направления еще нет своего словарного запаса, но «возвышенный стиль» — уродливые побегии «облагораживания» языка, предпринятого в свое время школой Казинци, которая на немецкий манер образовывала слова, шелестящие, как бумажные цветы, — для них невыносим. После опустошительного набега из усадьбы Сепхалом народный дебrecенский дух, дух Фазекаша и Чоконаи, лишь сейчас начинает оживать. Становится очевидным, что изящные, на немецкий образец, словесные завитушки душат литературу, и сколько уже задушили в ней до сих пор! Бедняга-писатель вынужден коверкать язык чудовищными словами-ублюдками даже тогда, когда у него по случайности заводятся кое-какие мысли.

Против этого засорения литературного языка «Пешта диватлап» поднял голос еще во времена Гараи. Следом за Гараи вступает в бой и Вахот: он сочиняет

¹ Местный колорит (*франц.*).

пародию, напичкав ее до отказа «обворожительными цветочками» и «сладостными чувствами». Вахот и своему помощнику советует написать что-либо в этом духе. Но когда несколько дней спустя Петефи кладет перед ним готовую поэму-пародию, Вахот теряет дар речи.

Пародия удалась, даже слишком, ее может принять на свой счет не только группа «Хондерю», но и кружок Вёрёшмарти, избави боже! Вахот так и не решается ее напечатать — поэт сбывает поэму издателю Гейбелю за 40 пенгё (которые тут же отсылает родителям).

«Сельский молот» — «героический эпос в четырех песнях» — бьет не только по определенному литературному стилю, но и по целой литературной эпохе. Хотя поэма высмеивает бездарных эпитогонов, но внутренний ее пафос направлен против тех, кто, обращаясь к прошлому Венгрии, удостаивает лавров и эпосов лишь вельмож, народ же никогда. (Характерно, что венгерский эпос и начинается пародией — венгерским вариантом «Войны мышей и лягушек» — и кончается ею, причем именно они, пародии, наиболее национальны по духу своему, наиболее глубоко выражают и душу народную, и саму действительность.) «Сельский молот» прекрасен уже тем, что его герой — «Преславный витязь Палко Чепю // Веселый конюх Палко Чепю, // Водитель двух гнедых поповских» — естественнее, непринужденнее носит пресловутую шкуру богатырей древнего князя Арпада, расшитую да к тому же еще разукрашенную романтическими эпитетами, чем те «великие», с чьего плеча она попала к нему. Короткая народная эпическая поэма поражает прежде всего не пародийностью своей, но истинной оригинальностью, народно-грубоватым юмором, неуклюжим и по-крестьянски заковыристым, достойным знаменитого Мати Лудаша¹. Описания же природы в поэме, самое видение окружающей действительности уже здесь приводят на память великих русских современников Петефи, насмешливый острый глаз Гоголя: «На живописнейшем пригорке, // Откуда можно ясно видеть // Всю пыль и грязь деревни этой... // Как я сказал — на этом самом // Холме средь зарослей крапивы // И прочих редкостных растений // Стоит прекраснейшая в мире // Корчма...» Лукавый юмор персо-

¹ Находчивый пастух, герой одноименной шутливой поэмы (1817) Михая Фазекаша.

нажей «Сельского молота», хитроумный ход их мысли заставляли меня хохотать от души еще в те времена, когда я не одолел и половины хотя бы одного подлинно-героического эпоса.

А коль придет нахалка Зависть,
Ловчась похитить лавры эти, —
Она не сможет дотянуться:
Они, как Марци Зельд, высоко
Висят над этою землею.

(Перевод Л. Мартынова)

Вёрёшмарти — слишком значительная личность, чтобы обидеться. Но и в восторге он не был. Критика с тех пор посматривает на этот маленький шедевр несколько свысока. Она не пожелала признать, что и здесь, пусть в юмористическом обличье, происходит то же самое, что в «Алфёльде»: вознесение самого «низкого» в самые высокие сферы. «Сельский молот» двумя неделями опередил выход в свет первого сборника стихотворений Петефи. Поэту только и было от этого пользы, что первую основательную взбучку он получил под видом критики его пародии.

Но в это время он работал уже над другим произведением. В середине ноября Вахоту вдруг бросилось в глаза, что его жилец, против обыкновения, «по вечерам стал оставаться дома; он хорошенько протапливал спую комнатку, надевал халат, то и дело раскуривал трубку с длинным мундштуком и, напустив вокруг себя целое облако дыма, отхлебывая изредка согревающего красного вина, беспокойно метался взад-вперед по тесному помещению, словно лев в клетке». Описание комнаты поэта довольно точное: это был жалкий чулан под лестницей, солнце, свежий воздух в него не проникали, единственное окно загоразживала лестница: здесь только и можно метаться, «словно лев в клетке».

«Понадобилось лишь несколько вечеров и ночей» (известно точно — шесть ночей и шесть дней), и вот Петефи уже читает Вёрёшмарти и его друзьям «Янчи Кукурузу» — венгерскую эпическую поэму, какой он ее себе представляет. Всеобщее восхищение. Героическая поэма в духе народной волшебной сказки тогда по сравнению с нынешним ее видом оканчивалась где-то посередине, вероятно, там, где Янчи, побывав при французском дворе, возвращается домой. Под впечатлением восторженных рукопожатий молодой поэт дописывает

и то, что еще бродит, невыраженное, в его душе: земные испытания героя он дополняет испытаниями сказочными; нарисовав картину его реального бытия, на другой стороне медали высекает образ живущей в мечтах народа страны, — создает, быть может, даже не ведая, что творит, самое цельное, чистейшего звучания сокровище народной по духу венгерской поэзии. 8 декабря «Пешти диватлап», сообщая о «последнем большом произведении» Петефи, называет поэму уже «Витязь Янош» — Петефи принял совет, данный первыми слушателями «Янчи Кукурузы». Вахот покупает поэму у автора за сто форинтов (которые поэт также немедля пересылает родителям).

Мощный размах истинно великого произведения придает «Витязю Яношу», в первую очередь, его свободный, легкий полет, обретенный, быть может, даже случайно. Торжествующе, круг за кругом, герой возносится все выше и выше и от будничной истинно венгерской действительности переходит в идеальный ее вариант, по существу столь же венгерский. Это первый случай, когда в нефольклорной, профессиональной поэзии великаны носят обтрепанные, затрапезные штаны. Вероятно, какое-то влияние оказал на поэта Янош Хари Гараи¹, но, в отличие от бравого солдата, витязь Янош перебирается в страну фей легко и гладко, нигде не спотыкаясь, без всякого хвастовства. В этом помогает и естественный, простой, чисто народный стих, — действительно, поэма написана так, словно поэт создавал ее в один прием, без единой поправки. Нигде, ни в чем не видно усилия, преднамеренности; даже в запинаящейся речи героя мы слышим естественные интонации.

Язык поэмы прост, но при этом в реалистической ее части богат яркими деталями в обрисовке предметов, движений души, какими позднее мы будем восхищаться у Яноша Араня; в части же волшебной поэма захватывает иным — свободной фантазией, простодушной смелостью народных сказок. Подкидыш Янчи Кукуруза точно такой же символ, как «младший сын» народных сказок: в его лице борется и побеждает земных и неземных злых властителей самый обездоленный слой общества.

¹ Имеется в виду герой поэмы Я. Гараи «Отставной солдат» (1843).

Молодой поэт, безусловно, имеет все основания испытывать благодарность и к Вёрёшмарти, которого сам же невольно выставил на осмеяние предыдущей своей поэмой. Аргирус из поэмы Вёрёшмарти «Волшебная долина» пробил тропу к народной сказке еще до нашего Янчи. По ней же прошагал и Чонгор¹, тоже под защитой верной любви, как то диктуют законы народной сказки. Почему же все-таки пальма первенства принадлежит Янчи? Потому, что он народен не по форме, а по самой своей сути. По той же причине Янчи победит позднее и Миклоша².

К «Витязю Яношу» не писалось столько препарирующих комментариев, как к «Толди» Араня, — мы и без примечаний понимаем поэму, и глубинное ее течение, и сверкающую игру поверхности. Это самое насыщенное, самое покоряющее произведение венгерской литературы. В нем не только беляры ощущаются обитателями Алфёльда, но и французский король, и моря, и горы, и звезды. Это произведение, в котором чуть ли не самого господя бога зовут попросту Янош. Почему это удается? Не в последнюю очередь потому, что мирное «омадьяривание» вселенной осуществляет художник европейского, более того — всемирного масштаба. Как много и как мастерски умеет он выразить в каких-нибудь двух строках!

Прижались, обнялись, рванулись друг от друга.
Заплакали. В сердцах у них завывала вьюга.

Вообще вся сцена прощания Яноша с Илушкой — пример того, на какую высоту может вознестись народная поэзия, как глубоко ощущает Петефи не только язык народа, но и ход его мысли:

«Ну, Илушка, пора, мой белый ангел в небе,
И думай иногда про мой несчастный жребий.
Когда зимой в буран слышишь веток стоны,
Пусть вспомнюсь я тебе, твой бедный нареченный».

«Ну, Янчи, в добрый путь, коль такова судьбина.
Господь с тобой, тебя я в мыслях не покину.
Найдешь в пути цветок с головкой отсеченной, —
Подумай о своей несчастной нареченной».

¹ Герой поэмы-сказки М. Вёрёшмарти «Чонгор и Тюнде» (1830).

² Имеется в виду Миклош Толди — герой трилогии Я. Араня «Толди» (первая часть трилогии написана была в 1846 г.).

Но и психологизм присущ поэту, причем самый современный. В конце четвертой главы Янчи, как и Толди, отправляется в путь.

Он брел все глубже в ночь. Его тулуп овечий
Сегодня тяжелил так непривычно плечи.
Как заблуждался он! Не шуба тяжелила,
А сердце у него надорванное нило.

Под конец он ложится отдохнуть, засыпает, во сне обнимает Илушку.

Но чуть ее хотел губами он коснуться,
Гром разбудил его, он должен был проснуться.

Гром привносится в стихи ощущением бессилия, естественным во сне, но, коль скоро этот гром прогремел в воображении спящего героя, поэт тотчас с легкостью использует его и в реальности. Он владеет миром настолько, что, какой бы ни выбрал путь, этот путь ведет его прямо к цели. Пятой главы, например, могло бы не быть вовсе, она ничем не развивает действия. Но всеми своими деталями, всеми красками она накрепко связана с произведением в целом, — легкими набросками, которые делают незабываемым то или иное лицо, картинку природы. Вот, например:

Ни кустика кругом взор Янчи не заметил,
Но вид травы уж был по-утреннему светел.
Лишь солнце поднялось, в его лучей потоке
Вдали сверкнул песок и озеро в осоке.

А вот — встреченные по дороге гусары:

Гусары едут в ряд пред ним по перелеску.
Глядь, сабли наголо, отточены до блеска.
Гарцуют лошади жеманно и красиво,
Небрежно в лад шагам помахивая гривой.

Действительно ли поэма «Витязь Янош» сродни тем побасенкам, какие рассказывают в деревне девушкам за прялками? Да, так могла бы звучать и она на посиделках; только и разницы, что ей придана как бы окончательная филигранная отделка, да не простым крестьянским парнем, а чутким большим поэтом, художнический инстинкт которого завершает работу поколений. Поэт не чинится, он подмигивает своим слушателям домашнему, запросто, и не теряет присущей народному произведению непринужденности даже в самых волнующих эпизодах. Если герои традиционных эпических

поэм поражали воображение ужасающими проклятиями, мчались в бой, потрясая копьями, — то его витязи воюют совсем иначе:

Мелькали там и сям бегущие фигурки,
И падали с седла зарубленные турки.
Но дрался все еще паша их толстопузый,
Пока не налетел на Янчи Кукурузу.

В другом месте, нимало не изменяя крестьянскому языковому строю, поэт вставляет зарисовку, показывающую уже мощь его собственного индивидуального воображения; так говорит он, например, о море (которого не видел никогда):

Плетьми вихрь хлестал валы нетерпеливо,
Валя их кувырком и им косматя гривы.

А вот другая картина, тончайшая, как след дыхания на стекле:

Хоть море замерло, не тронутое зыбью,
Местами косяки его рябили рыбы,
Когда они, плещась, выкидывались стаей,
На солнце чешуей алмазною блистая.

(Перевод Б. Пастернака)

«Если Миклош Толди — венгерский Геракл, — сказал позднее другой поэт, Костолани, — то Витязь Янош с присущими ему находчивостью и хитроумием — венгерский Одиссей, а Илушка — его Навсикая». Витязь Янош — это само крестьянство, воспетое, возведенное на пьедестал.

В новогоднюю, Сильвестрову, ночь 1844 года, оглядываясь назад (он оглядывался так — и в стихах подводил итоги минувшему — каждый раз в канун Нового года и своего дня рождения), поэт мог быть удовлетворен достигнутыми за прошедший год результатами. И не только внешним успехом, — хотя ни об одном поэте в газетах, в обществе не говорилось столько, сколько о нем; хотя следом за двумя появившимися в печати сборниками он мог бы в любую минуту составить еще два. Он мог быть удовлетворен также и развитием своего дарования. Превосходный ценитель искусства, он и сам видит, что вырос во всем; теперь его жанровые зарисовки почти столь же совершенны, как и народные

песни. Один за другим из-под пера выходят шедевры: шутливо озорные «Сударь Глотка», «Флакон с чернилами», «Чоконаи», «Дядюшка Пал» или язвительная «Легенда» (которую тогда, увы, невозможно было напечатать).

В эти спокойные полгода Петефи создает столько стихотворений, сколько не написал за такое время ни один венгерский поэт, и среди них уже почти нет посредственных. Он не покидает Пешта, но из любого зернышка, занесенного к нему ветром, — ветром истории или улицы, — умеет почти мгновенно наворожить цветок. Другой на его месте потерял бы голову от такого могущества — вроде ненасытного ученика волшебника. Он же, позволяя свободно изливаться рвущемуся из души потоку, в то же время его измеряет, подправляет его русло; не только с неожиданными гонорарами, но и с дарованием своим он обходится по-хозяйски. Он образован и остроумен; по любому вопросу суждение у него всегда наготове, но и юмор тоже: если нужно, прямой и грубый, если нужно, спрятанный между строк, только для тех, кто понимает. Он пишет, пишет, не щадит и самого себя: высмеивает даже то, что ценит превыше всего — поэтическое призвание, священное вдохновение. Пишет сидя, лежа, пишет, даже стремительно проносясь по улицам. Выдался унылый, бессмысленный вечер?

И тогда, среди отчаяннейших мук,
Обращаюсь я к чернилам и перу,
То есть лиру для бряцания беру.
И такая серафическая тут
Песнь рождается, что может добрый люд
Помереть от ужаса... Но мне
Все равно! И в полуночной тишине
Я творю, покуда сон с тоской
Не вступают в потасовку меж собой.
Что за битва! Сколько пламенности в ней!
Все же сон одолевает: он — сильней.
...По-иному будут ночи проходить,
Коль жену себе сумею раздобыть.

(«Мои ночи». Перевод Л. Мартынова)

Как видим, даже чувственности своей он не прячет, в нем нет ни крохи ложной стыдливости. Безобидный, ласковый, симпатичный юноша, которого действительно можно только любить, даже за его чудачества.

Его душевный настрой изменяется ежеминутно, то светлеет, то омрачается, как апрельское небо, как юность. Где тяготы и испытания прошлого? Перед ним все еще — будущее. С жадной радостью он устремляется вперед, шагает по дням, как победоносный полководец. Словно подросток, он неумен и в радости и в горе. Конечно, есть области, в которых другие поэты поднялись выше, но там, где он певец молодости, чуткий выразитель молодой души, — там его ныне не превзошел ни один поэт во всей мировой литературе. Примеры столь быстрого созревания гениальности мы находим лишь среди музыкантов. Жажда действия, повторяем, которая еще недавно составляла его, будто одержимого, бродить по стране, сейчас выплескивается стихами, погоней за переживаниями.

На первой неделе нового года маленькая свояченица Шандора Вахотта, уже по-девичьи статная пятнадцатилетняя Этелька Чапо, внезапно хватается за сердце и, вскрикнув, падает. Она умерла. Поэт пришел в тот момент, когда семейство Вахоттов еще не опомнилось от потрясения. Прелестное личико умершей в течение нескольких дней не теряет живых красок, и вся семья, а вместе с ней и поэт ежеминутно ждут, что девочка вот-вот придет в себя; они решаются похоронить ее лишь после того, как лучшие врачи города подтверждают, что она действительно умерла. Через неделю после похорон в «Пешти диватлап» появляются четыре стихотворения-эпитафии под общим заголовком «Кипарисовые ветви с могилы Этельки» и с таким примечанием: «Это стихотворения из моего нового цикла, который выйдет под тем же названием отдельным сборником». Вот так из песчинки, попавшей внутрь раковины, получается жемчужина. А тут их целая горсть.

К бесполезным «великим» проблемам нашей литературы относится вопрос, действительно ли поэт был влюблен в Этельку, сколько в его отношении к ней реального чувства и сколько простой чувствительности. Он не притворяется: его переживания искренни. Но это не любовь, это затаенная жажда любви, которая, между прочим, способна столь же глубоко перевернуть душу, как и сама любовь. Зерно его подлинных взаимоотношений с Этелькой слишком мало.

Когда я дом ваш посещал,
Ты сразу убежала,
Но зная, — ты сквозь дверь тайком
За мною наблюдала.

И эта дверь, и там, во мгле,
Мелькающее что-то
Мне были милы, как небес
Раскрытые ворота.

Когда я уходил — к окну
Кидалась ты поспешно,
Ты думала — не вижу я, —
Но видел я, конечно.

*(«Прийти не можешь наяву...».
Перевод Н. Чуковского)*

Вот и вся реальность, все, что он оплакивает. Этелька, умершая Этелька — первая красивая девушка, к которой юношески робкий поэт может беспрепятственно приблизиться, которой он может излить теперь вслух все то, чего не говорил еще ни одной девушке. Сейчас, как и всегда, самое важное для него — выговориться. Кто мог бы решить, чем более озабочены в подобные минуты бедные поэты — трауром своим или стихами? Петефи старательно оттачивает образы, из явлений жизни острым глазом художника извлекает поэтический материал; композиция стихотворений, по обыкновению, безупречна — боль не притупляет его художественного чутья. Каждую ночь он пешком идет по Вацкой дороге на кладбище, он хуеет, друзья серьезно им обеспокоены, кое-кто решается даже прямо задать ему вопрос, почему он так скорбит по этой девушке, ведь он почти не знал ее. Но увещеванья напрасны. Он и теперь рассказывает не об Этельке, о себе. Он, только он один знает, что накопело у него на сердце.

«Кипарисовые ветви» порождены не модной кладбищенской поэзией. Это боль молодого сердца, которое страдает от одиночества. Может ли смягчить его боль то, что и прежде оно было одиноко? Смягчить ее может лишь надежда. Из тридцати четырех стихотворений цикла прекрасней всего те, в которых поэт уже обретает понемногу утешение. Он утешает себя сам.

Та скорбь, что молнией теперь пронзает тучи,
Дождется тишины
И будет в озере моих воспоминаний
Сиять, как свет луны...

*(«Могучий врачеватель — время».
Перевод Н. Стефановича)*

Печаль была единственным сокровищем, которое досталось ему от этой любви.

Загадочность своего отношения к Этельке поэт отчетливо осознает и сам, а потому берет на себя также и труд комментаторов:

Хранится в сердце драгоценность.
(Не терпит пустоты оно,
А что его переполняет,
Печаль иль радость — все равно.)

Та драгоценность — всех сокровищ
Мне и дороже, и нужней, —
Ее в стихи переплавляю
Я в мастерской души моей.

*(«Друзья, одним лишь утешеньем...».
Перевод Н. Стефановича)*

Когда и последний кусочек сокровища переплавляется в песню, поэт с сознанием хорошо выполненной работы вешает на гвоздь лиру горестей и печалей. Дочери отчизны с заплаканными лицами еще хором жалеют бедного поэта, а он уже идет дальше. Глубокие переживания, вернее, работа над передачей чувства, то есть более благородного материала, навсегда отвращает его от поверхностности, от развязной поэзы, от снобов и фанфаронов, скопище которых на модных улицах он грубо называет теперь скотным базаром.

Он уже сыт по горло Пештом, литературной жизнью, где его обдают сейчас холодным душем за «мужицкую» лирику — именно сейчас, когда он показал себя и мастером возвышенной поэзии; видна ему также нечистая игра Вахота. Новое великое прозрение близится к нему, самое огромное прозрение его жизни: он до конца осмысливает собственное отношение к венгерскому народу, которое тотчас же и расширяет до понятия солидарности с народом, или, выражаясь современным языком, до понятия социальной ответственности. Ответственная позиция у поэта уже имеется — человек, можно сказать, рождается с ней, — но пережитое им лично лишь постепенно просачивается в поэзию. Вначале Петефи пропускает сквозь фильтр своего художественного вкуса лишь самое неотложное и интересное — впрочем, вполне вероятно, что лишь богатство и многообразие стихов на иные темы не позволяет достаточно отчетливо видеть уже здесь признаки темы социальной. Между тем большая часть их явственно существует

с той самой минуты, как поэт из рядового завсегда-тая кафе «Пилвакс» становится вожаком молодых. С той самой минуты, когда к его словам и в пештских кафе, и вне Пешта начинает прислушиваться новое поколение, которое уже в 1845 году было готово к событиям 1848 года.

Благодаря своим «мечтательным» чабанам, Венгрия в 1802 году экспортировала 125 000 центнеров шерсти, в 1825 — 170 000, а в 1844 — уже 261 000 центнеров. Это тоже один из путей развития. Период реформ сороковых годов полон поразительных событий и необыкновенных личностей — наше изумление лишь возрастает, когда мы освещаем ту почву и фундамент, на которых утверждались эти исключительные характеры. В 1840 году страна вывезла 2 327 469 центнеров зерновых; пять лет спустя, в 1845 году, почти в два раза больше — 4 497 557 центнеров. Конечно, основная часть выручки идет крупным землевладельцам, которые и стремятся «наладить» свои латифундии, то есть максимально их увеличить. С 1805 по 1847 год 25 000 крестьян было вытеснено с принадлежавших им наделов, а мелких дворян в одном только комитате Мошон, как жалуется Пал Надь Фелшёбюкский, — менее чем за сто лет — около трехсот. В первой половине века число лиц, владеющих капиталом, а также «живущих бесплатно» (по наивному выражению статистика Галгоци) составляет 18 580 «штук». Число бездомных батраков возрастает на сто пятьдесят тысяч.

Картина общества несколько меняется. Начинают оказывать воздействие призывы Сечени. Близится пора освобождения крестьян — самое славное событие, как утверждают исторические манускрипты, и в то же время самое таинственное событие нашей истории, когда правящий класс — земля не знала тому примера — по своей воле отказывается от привилегий, а аристократия призывает постоять за дело родины почти с таким же воодушевлением, как во времена девиза «*vitam et sanguinem*», хотя и на этот раз присовокупляет с ворчаньем для имеющих уши: «*sed avenam non*»¹ (с 1840 г.

по 1845 г. вывоз овса ведь также подскочил вдвое).

Развитие — становление торжествующего капитализма — и в Венгрии идет точно теми же темпами, что и в ставших на буржуазный путь странах Запада. Единственное отличие — в том, что процесс этот происходит не в промышленности, а в сельском хозяйстве. Но так ли принципиальна разница, если капитал, и тогда уже столь проклинаемый, вместо городских предприятий и сейфов сосредоточивается в крупных поместьях и оттуда держит под своим гнетом всю страну? От этого противоречия только обостряются, становятся более кричащими. Чабанский подпасок, проводящий жизнь на спине осла и оплачиваемый натурой, такой же пролетарий, как лионский ткач при ткацких машинах. Ремесленник, после распада цехов вынужденный стать «свободным гражданином», лишь воспоминаниями своими отличается от выгнанного из жалкой родовой вотчины бездомного дворянина; будущее и общественная роль того и другого мало в чем отличны.

Нация и в этот период делится на четко разграничиваемые классы, огонь дискуссий, а затем революции явственно освещает все зигзаги разделяющей их межи. Есть мгновения, когда общность интересов объединяет все слои, границы стираются и вся нация, как один, подымается по зову того, кто нашел верный тон. «Венгрия — это Индия Габсбургов!» — провозглашает миллионер Шина, когда из-за таможенной политики Габсбургов теряет на огромном количестве шерсти чуть ли не двойную прибыль, — и его возмущение в течение некоторого времени совершенно сплетается с мощными раскатами голоса Кошута, требующего гражданских прав, или позднее — с пощелкиванием бича Шандора Рожи. Завоевание национальной независимости одинаково желанно тем, кто озабочен развитием отечественной промышленности, и тем, кому важнее всего развитие родного языка. Постепенное разделение общих интересов определяет путь движения за реформы, а затем и путь освободительной борьбы, в которой уже на-

¹ Известный девиз феодалов «*Vitam et sanguinem pro rege nostro*» («Жизнь и кровь за нашего короля» — *лат.*) — с ироническим окончанием «*sed avenam non*» («но не овес» — *лат.*) — то есть не имущество.

ходится место и для бескорыстного героизма, служащего интересам извечного правого дела.

Лучше всех чувствуют ситуацию (хотя и не всегда представляют ее себе отчетливо), самый большой побудительный заряд несут в себе те слои, чье собственное положение наиболее неопределенно, которые в великом разделении уже не принадлежат ни к какому слою и могут еще примкнуть к любому из них в зависимости от убеждений. Это люди духа, получившие от прошлого, в виде окончательного расчета, только образование, с помощью которого они надеются покорить будущее. Ход развития, а также счастливый оборот судьбы делают их при этом борцами за дело венгерской нации, воителями за национальное самосознание и народ.

Они воспитываются в атмосфере высокой любви к родине. Что это означает? Современники Петефи, воспламененные музою Вёрёшмарти, ждут не дождутся, когда можно будет выхватить мечи, начать освобождение земель, завоеванных некогда Арпадом. Возрождение древней славы воспламеняет и тех, кто едва говорит по-венгерски, а то и не говорит вовсе. Днем и ночью они усердно изучают этот ни на что не похожий венгерский язык, которому некий важный немец пророчит к тому же близкую гибель. Молодой башмачник по фамилии Кристман при незаурядной своей поэтической одаренности, вероятно, достиг бы многого на родном немецком языке — однако же он отказывается от языка Гете, принимает имя Керени и пытается совершить невозможное — пишет стихи на языке, усвоенном из книг; за эту попытку он платится жизнью. Ленау называет свою родину венгерские степи; Карл Бек, немецкий писатель еврейского происхождения, пишет изумительные эпические поэмы о Янко, *dem ungarischen Roßhirt*¹. Ференц Лист в Париже садится за рояль с парадной венгерской шпагой на перевязи. Немецкие и сербские студенты, приезжающие из пограничных районов страны, в Пеште в мгновение ока превращаются в неукротимых скифов.

Крохотная венгерская нация не только во время освободительной войны, но и десятилетиями раньше, действительно светит, словно огненный столп, и, как магнит, притягивает к себе сыновей соседних народов.

¹ Венгерском пастухе (нем.).

Вероятно, никогда не было столь почетно быть венгром, как в те годы. Откуда эти чары?

Более всего привлекательности сообщает народу его духовная жизнь. Среди придунайских народов венгры были наиболее образованны. Австрия, рассматривая Венгрию как колонию, конкуренцией губит промышленные города Верхней Венгрии, но в то же время развитием сельского хозяйства — переправляемыми на Запад сотнями тысяч центнеров выращенной пшеницы, настриженной овечьей шерсти — она пробуждает жизнь на Алфёльде и в Задунайщине (самых венгерских областях страны), а тем самым ускоряет и общественное их развитие. Венгерские города, все еще похожие на табор, как бы набухают, немецкие начинают омадьяриваться; ярмарки Пешта и Дебрецена конкурируют с Нижним Новгородом. Венгры начинают шевелиться одновременно с трех-четырёх сторон. Вместе с деньгами, идущими с Запада, они первыми воспринимают западные идеи, для основательного восприятия которых и даже для дальнейшего развития уже давно подготовило почву все шире распространяющееся аристократическое и дворянское образование. Приходят в действие странные, до сих пор в полной мере не принимавшиеся во внимание силы...

Венгерский деревенский люд и сегодня с недоверчивым удивлением принял бы сообщение о том, что во всем мире не наберётся столько кальвинистов, сколько было их среди венгерского крестьянства. В представлении венгерских крестьян на земле существует лишь две великие религии — католическая и гельветского толка протестантская. Было бы долго перечислять все причины, побудившие почти половину венгероязычного населения Венгрии предпочесть обновление веры именно по Кальвину, чьи тезисы напоминают своим аскетизмом Савонаролу, а гениальной обоснованностью — Декарта. Одно очевидно: верность кальвинизму они сохранили в значительной мере потому, что для католиков Габсбургов это было все равно, что красная тряпка для быка. Следствия оказались важнее причины. Недворянские слои автохтонного населения, главным образом, обитатели равнин, во время и после турецких войн живут в страшных условиях, — однако и на похоронах и на крестинах, а также во время воскресных своих собраний они распевают псалмы Давида в стихотворных

переложениях Клемана Маро и Теодора Беза (венгерский перевод этих псалмов стал литературным памятником)¹. Венгерские священники-протестанты, поколение за поколением, воспитываются в Голландии и Швейцарии; наслушавшись пылких опоров в роскошно обставленных трапезных (или, сказали бы мы, гостиных) утрехтских, амстердамских и женевских граждан, под впечатлением царящих там просветительских настроений они, по собственной воле, следовательно — из героизма, возвращаются домой, в опустевшие, одичавшие степные края, где не в малой степени именно благодаря этой дикости и пустынности — то есть недоступности — имеют возможность провозглашать свободу вероисповедания, а позднее и то, что выросло из нее: свободу мысли.

Этим объясняется, что в начале XIX века и народные венгерские массы в общих чертах улавливают великие веяния эпохи. Начинается брожение во всех слоях нации, что, естественно, ведет к созиданию нового единства, новой общности. От окружающих народов венгры в этот период отличаются тем, что для них главным переживанием является открытие не национальной своей сущности — страна без малого тысячу лет числится самостоятельным христианским королевством, — а нечто совершенно иное: осознание права народа быть свободным; то же самое волнует в это время и западные нации. Люди пишущие и люди политического склада, естественно, и тут пылко ратуют за «свободу нации», но всякий раз, приближаясь к народу, получают мощное предупреждение. Низшие слои венгерского народа, хотя и поминают упорно «великого древнего короля нашего», не проявляют и следа национальной нетерпимости, они не националисты. Душой сыновья Аттилы вновь на Западе — благодаря Кальвину и иже с ним; в том числе и те, кого в католических университетах и монастырях ради оборонения кальвиновой ереси снабжают самым совершенным испокон веков оружием, оружием духовным.

Итак, венгерская нация — одновременно отсталая и передовая; струны натянуты до отказа, под свежими ветрами из Франции они рождают прекрасные напевы.

¹ Этот перевод был сделан Альбертом Молнаром Сенци (1574—1634) — выдающимся венгерским гуманистом и просветителем-реформатором.

Лучшие люди видят в Австрии уже не только источник бесправия родины, но и грабителя-колонизатора. Французское приложение к великому принципу национального расцвета — свобода, независимость — нигде не понималось так хорошо, как здесь. С чего начать? Прежде сделать нацию богатой и лишь потом дать свободу или наоборот? Оба лагеря спорят о самой сути проблемы. Крупные помещики производят на своих землях товар для рынка, грезят о вырастающих подле их усадеб заводах и фабриках, которые поставляли бы еще более ценную продукцию. Первое условие для этого, конечно, рабочие руки, то есть освобождение крепостного крестьянства. Яркое многокрасочное брожение — вернейший признак духовного подъема. Молодежь других национальностей, едва поднявшись над прежним феодальным ходом мысли, неудержимо попадала в волшебный круг свободолюбивых устремлений венгров. Новая литература, романтизм зачинающейся буржуазной эпохи воспевает романтику венгерского пробуждения. В доменной печи Карпат из венгерской руды выплавляется благороднейший материал.

Именно отсюда выходит наибольшее число людей, способных мыслить свободно, наименее опутанных всяческими узами. Наши энциклопедисты почти все без исключения дворянского происхождения, но общего с дворянством у них даже меньше, чем у тех выходцев из третьего сословия, которые подготовили французские события. Им нечего терять, у них нет даже меценатов.

В стране каждый двадцатый — дворянин, но какой бы веселый хохот поднялся в ответ, если бы молодых господ из «Пилвакса» спросили, сколько у них крепостных, коих они собираются освободить. Даже у их дедов не было уже ни единой крепостной души. С точки зрения общественного положения, подавляющее большинство их, как правило, отпрыски мелкой буржуазии и простонародья, такого же происхождения и те, кто присоединяется к ним позднее. У Михая Томпы отец сапожник, у Мора Йокаи и братьев Вахоттов — адвокаты, у Фридеша Керени — торговец, у Яноша Вайды — лесник, у Яноша Араня — крестьянин, у Альберта Пака — священник, у Геребена Ваша — управляющий имением. Примерно ту же картину представляет собой и предыдущее поколение. Чаще всего это дети служащих крупных имений, как Вёрёшмарти и Кути, или алфёльд-

ских ремесленников — как Катона и Часар; и земли, до куда хватает глаз, нет ни у кого ни хольда. Венгерский писатель духовно свободен, все его помыслы обращены на общие интересы, интересы родины и Европы — родины живущих в ней народов. Атмосфера «Пилвакса» та же, что и атмосфера знаменитого кафе «Пале-Рояль», в котором пописывали Дидро, потом Марат, потом Беранже и Луи Блан. Пожалуй, она здесь даже хуже — если на этот раз и мы посмотрим глазами тех, для кого нет ничего хуже атмосферы революции. Господа дворяне из «Пилвакса» сидят между двумя стульями: одряхлевший феодализм *уже*, а неразвитый отечественный капитализм *еще* не способны достойно обеспечить их хлебом насущным. Они могли бы служить обоим, иными словами, служить тому, у кого больше шансов, как поступил в свое время Демулен.

Мы не случайно с таким постоянством обращаемся за примерами к Парижу. Венгерская аристократия в этот период — сплошь англomаны, завсегдатаи же «Пилвакса», дворяне и недворяне — восторженные поклонники французов; незачем и говорить, что обе группировки выбрали свой идеал как нельзя лучше, в соответствии с интересами каждой. Большинство сторонников как английских, так и французских идеалов читают лишь по-немецки, хотя обжигающие умы западные идеи пробираются сквозь немецкие льды, так их нимало и не растопив; впрочем, содержание все-таки остается французским или английским. Венгерская литература раздраженно стряхнула с себя даже самые воспоминания о том, как однажды в минуту слабости один-единственный раз, в период усердной работы Казинци и его единомышленников, она попала под немецкое влияние. Язык нашей науки, политики, просвещения время от времени до отказа напитывается германскими соками, венгерская же литература с поразительной щепетильностью всегда уклонялась от этого воздействия и, над охватившим ее кольцом Шварцвальда, тянулась к общению с самыми западными краями. Инстинктивное ли это отталкивание от слишком близкого или в самом деле родственность духовного склада? Характерное и знаменитое французское просвещение, а также все то, что за ним последовало, как мы знаем, выросли, в конечном итоге, на вековых латинских традициях французского образования, на Плиниевой стилистике. С по-

добным жаром лишь у нас обучали латыни, а вместе с нею — и просветительским воззрениям. Поколение сороковых годов, как в свое время Бачани, обращает взгляды к Парижу и, ослепленное стремительностью увиденного там прогресса, оглядывается на отечественные условия, ищет аналогий. Молодежь «Пилвакса» знает все передовые течения эпохи, пылко требует утверждения новых идеалов времени, но ее взгляды на способы разрешения проблем скоро расходятся со взглядами отечественных вождей: пренебрегая различием, какое все же существует между Пештом и Парижем, молодежь ищет выхода, ориентируясь на западные образцы. Поэзия опережает политику. Новый поток народности на западе начался в Англии. Цели «озерной школы» осуществились: Вордсворт, Колридж ввели крестьянский язык в литературу. Байрон покоряет мир разговорной речью. Разговорная речь и, если можно так выразиться, разговорные — прежде почитавшиеся «низкими», «будничными» — предметы и чувства выражаются с наибольшим блеском в стихотворениях величайших поэтов — Лермонтова, Мицкевича, Ламартина. Диккенс, Гюго возносят бедняков в ангельский чин. От пасторально-идиллических хижин поэзия во всем мире направляет взгляды и думы молодых людей на реальные хижины. Последствия оказываются значительней, чем можно было предположить.

В патриотической лирике середины сороковых годов прежний одический тон сменяется более реалистическими интонациями.

На нынешнее ухо реализм их почти чрезмерен, чуть ли не рекламно-пропагандистского толка. Нынешний поэт вряд ли почерпнул бы вдохновение в развитии нашей прядильно-ткацкой промышленности или в проблеме экспорта. Поэты сороковых годов — и совершенно справедливо — рассматривают это как дело общественной значимости. Экономисты, требуя для Венгрии самостоятельных таможенных границ и самостоятельной промышленности, упрекают аристократов в том, что свои доходы они растрачивают за границей и даже на родине покупают не отечественные, а иностранные товары. Поэты подхватывают их обвинения и жалобы: эфирные уста муз изливают скорбь, вызванную печальным

состоянием коммерческих дел. Стихотворение Вёрёш-морти «К знатной даме» начинается словами: «В волосах твоих — все опасности морской ночи», — столь высоким слогом заводит поэт речь о том, что венгерские аристократки не желают знать об интересах отечества.

Арпада сын, просыпайся!
Солнце вернулось о пять, —
Значит, отчизне любимой
Время пришло расцветать.

(Перевод Н. Стефановича)

Этим громовым раскатом славит Байза «Общество поощрения промышленности», учрежденное Кошутом затем, чтобы каждый венгр носил платье, изготовленное только из венгерских тканей. До сих пор патриоты, собираясь на именины, пили за память Матяша Хуняди; теперь они восторженно осушают бокалы за нитки и пилю, производство которых в ближайшем будущем должно начаться на родине (и которые, увы, пока что поставляет та же проклятая Австрия). Не было еще народа, который бы так зажигался от обманчивых улыбок нового бога — юного Капитала.

В стихах Петефи, вожака завсегдатаев «Пилвакса», традиционная печаль о родине за стаканом вина также сменяется новой темой:

Мы спешим всему навстречу,
Как большой реки разлив,
Все разрозненные ветви
Мы сплетем, соединив.

Голоса собратьев многих
Станут голосом одним,
И на празднике великом
Мы тогда провозгласим:

«Даже самое простое
Любим мы в краю родном
И сокровищ чужеземных
Не хотим и не возьмем».

*(«Песня общества поощрения...»,
Перевод Н. Стефановича)*

Когда сестры Зичи, Антония и Каролина, первая — жена графа Баттяни, вторая — графа Дёрдя Каройи, решаются возглавить движение в защиту отечественных тканей и молодежь устраивает в их честь ночное

шествие с факелами и музыкой, Петефи, сын народа, забыв о своей антипатии к аристократии, выражает желание стать дыханьем на губах у этих дам, дабы их призывал, словно дневной свет, донести до каждого венгра, до каждого «объятого печалью» патриота.

Еще бы! Все они не сомневаются ни на миг, что создание самостоятельной промышленности, как и всякое, по их разумению, вложение капитала, имеет целью общее благо, то есть осуществляется в интересах народа... Патриоты убеждены, что король, который в Австрии оказывает покровительство буржуазии, всей душой на стороне их святого дела. Страну наводняют гимны в адрес короля, вместо выхваченных из ножен мечей к Фердинанду устремляются оды — все полны надежды, что он разрешит считать Венгрию самостоятельной таможенной территорией. Вначале из этого оркестра не выпадает и будущий республиканец. «Песня общества поощрения...» заканчивается так:

И король, как пастырь добрый,
Как заботливый отец,
Нам свое благословенье
Посылает наконец.

«Заботливый отец», увы, уступает не поэтическому внушению, а интересам австрийского капитала, да и среди знатных дам лишь очень немногие надевают предписанные патриотическими чувствами ситцевые, в горошек, платья. В «Пилваксе» Альберт Палфи, самый завзятый «француз», с презрительной усмешкой подымает глаза от парижских газет, от мемуаров великих революционеров. Не таким тоном следует разговаривать с аристократией, особенно с королями!

Пройдет всего несколько месяцев, и Петефи вскипит тоже: «Вы на теле родины — болячки!» — вот как пытается он теперь расшевелить «заграничных венгерцев»:

Вы — грабители! Что мы добыли
И как ценность бережем,
Вы божкам дарите чужеземным
В капищах за рубежом!

Вам не жалко родины, которой
Даже хлеба не дано!
Кровью плачет родина... Вы пьете
Заграничное вино!

Как себя вы с родины изгнали,
Так же именно, точь-в-точь,
Пусть земля извергнет ваши кости,
Небо душам скажет: «Прочь!»

(«Венгерцам за границей». Перевод Л. Мартынова)

В кафе и о бедняге Фердинанде говорится совсем не так, как в гостиных. Поначалу поэт лишь добродушно похлопывает короля по плечу. Когда же это стихотворение¹ цензура не пропускает, внезапно, будто гром среди ясного неба, вырывается его знаменитое:

Известно: ребятишкам все забава...
Народы тоже ведь детьми когда-то были, —
Их тешили блестящие игрушки,
Короны, троны, мантии манили.
Возьмут глупца, ведут, ликуя, к трону:
Вот и король! На короле — корона!

Вот королевства! Вот высоты власти!
Как кружат голову они. Похоже,
Что короли и в самом деле верят,
Что правят нами милостию божьей.
Нет, заблуждаетесь! Ошиблись, господа, вы!
Вы куклами лишь были для забавы!

Мир совершеннолетним стал отныне,
Мужчине не до кукол в самом деле!
Эй, короли, долой с пурпурных кресел!
Не ждите, чтобы головы слетели
Вслед за короной, если мы восстанем.
А вы дождетесь! Мы шутить не станем!

Так будет! Меч, что с плеч Луи Капета
Снес голову на рынке среди Парижа, —
Не первая ли молния грядущих
Великих гроз, которые я вижу
Над каждой кровлей царственного дома?
Не первый грохот этого я грома!

Земля сплошною делается чашей,
Все короли в зверьков там превратятся,
И будем мы в свирепом наслажденье,
Садя в них пули, как за дичью, гнаться
И кровью их писать в небесной сини:
«Мир не дитя! Он зрелый муж отныне!»

(«Против королей». Перевод Л. Мартынова)

Стихотворение дышит мощью, лишь последняя строфа спотыкается, уходит в сторону, в мир воображения

¹ Имеется в виду стихотворение Петефи «Фердинанду V».

двадцатидвухлетнего юноши. Естественно, это стихотворение тоже не может увидеть свет, но, оставаясь в ящичке стола поэта, четко обозначает свершившийся в нем поворот.

Как раз в это время страна подпадает под очарование великолепных, отточенных ораторских периодов Кошута; но молодые люди из «Пилвакса» ушли уже дальше самого Кошута. Насколько же далеко ушли они от осторожного, исповедующего безусловную верность правящему дому Сечени! «Величайший мадьяр» удостоивается кошачьего концерта: его, шествующего по улице в обществе жены, забрасывают грязью — за то, что он принял от императора официальное звание... Великое поколение, -первым призвавшее нацию искать новые пути, достигает неизбежная, вечная трагедия всех предвестников: всколыхнувшееся благодаря им новое племя сверху вниз смотрит на тех, кому обязано своими крыльями. Пусть себе центристы твердят об иностранных образцах! В «Пилваксе» не намерены остановиться на мирном обуржуазивании. Вольтер родил Руссо; Руссо родил Мирабо; Мирабо родил Дантона и его единомышленников...

Двадцатидвухлетний поэт с интересом подымает голову, чтобы поглядеть: а как же обстоит дело с собратьями его табунщиков и батраков за границей — в литературе и в реальной жизни; для начала он читает Сен-Жюста, «Дух революции», «Собрание прекраснейших речей из времен Французской революции». Обиды и унижения юности сейчас находят объяснение и лекарство. Он обнаруживает, что является жертвой определенного общественного строя; отсюда уже лишь шаг до того, чтобы стать представителем иного строя, борцом за него. Инстинктивная связь Петефи с народом наполняется духовным, более того, политическим содержанием. Так вот он, способ отблагодарить за кусок хлеба, за глоток воды, за доброе слово и бескорыстную заботу, которые проявляли к нему простые люди из придорожных крестьянских лачуг и трактиров!

Первые глаголы революции звучат среди юношески беспечных шуток и забав. Петефи обязан своей ведущей ролью в «Пилваксе» не только тому, что из всех здесь он самый известный поэт; он еще и остроумен среди своих, и по-студенчески весел. Поэт не выносит доктринер-

ских споров, охотно подшучивает над приятелями, но часто и сам становится жертвой собственных выходов. «За сколько ты прокатил бы по улице эту тележку?» — спрашивает он как-то Палфи на модной улице Ваца, в полдень, излюбленное время прогулок всех денди и снобов. «Даром, если ты в нее сядешь». Поэт в тот же миг оказывается в тачке: «Ну же, кати!» В подобном настроении, на пари, он просит у некоего несметно богатого банкира руки его дочери, с которой до этого не перемолвился и словом. Он ощущает себя уже не вне, но над обществом, над всеми его предрассудками. Удивительно ли, что и на друзей своих, выросших в холе и достатке, этот «дикий цветок природы», недавно еще изгой, стремится произвести впечатление оригинальностью взглядов, принципов? Он столько времени был в положении подневольного, что одна лишь мысль о прислужничестве, о лестии заставляет его ощетиниваться. Всегда, до последних дней, он готов понять и простить тех, кто стоит ниже его, — зато к вышестоящим с самого начала беспощаден, готов вступить с ними в бой. «Да приходилось ли тебе хоть раз обнимать женщину не за деньги?» — поддевает его как-то Кути. «А ты обнимал ли хоть раз женщину, от которой бы тебе не перепало денег?» — тотчас срезает обидчика Петефи к величайшему потрясению всего общества. Можно сказать, что и в личной жизни он остается сыном народа: собственной жизнью утверждает принципы своей поэзии.

К этому подталкивает его и критика. Мы не станем делать далеко идущие обобщения из того, что первыми напали на Петефи прихвостни аристократии, но самый факт, во всяком случае, заставляет задуматься. Против деятельности народного поэта горячее всего восстает не художественный вкус общества, но его вполне очевидные интересы. Истинный смысл народности верхушка общества с ее обостренным чутьем распознает раньше, чем сам народ. Но поэт от злобных нападок лишь закипает яростью.

Что вы лаетесь, собаки?
Не боюсь! Умерьте злость!
В глотку вам, чтоб подавились,
Суну крепкую я кость...

(«Дикий цветок». Перевод Л. Мартынова)

Эта ярость относится не только к литературе. Но она получает литературное выражение.

Не обязательно, чтобы великий художник был в то же время великим человеком. Эта своеобразная независимость творческой личности распространяется, увы, и на выдающихся моралистов. Не только во Франции (где все возможно) и не только во времена Вийона случилось, что крупного поэта казнили за уголовные преступления, — так случилось и у нас в XVII веке, когда Ласло Листи был казнен как фальшивомонетчик и отравитель.

Но, конечно, художнику и не возбраняется быть великим человеком — этого не отрицает даже та эстетическая школа, которая измеряет ценность искусства лишь красотой выражения авторской идеи, а не тем, хороша ли сама идея. «Тема» — извечная обетованная земля лицемеров. Лицемеры же в литературе обладают неким странным излучением: туда, где появляется хотя бы один из них, пусть даже с самым коротким визитом, истинный писатель долгие годы не решает даже ступить. Ужасный парадокс: ратовать за мораль писателям в большинстве случаев приходится лишь вопреки общепринятым сводам морали. Осуществление этого — сложнейшая задача для художника, и пытаться подглядеть здесь его приемы, профессиональные тайны — предприятие поистине рискованное: до таких глубин сознания, до таких корневых однозначностей того, что внешне противоречиво, пришлось бы нам докопаться. Приведем только один пример: кто во французской поэзии по своему влиянию является величайшим моралистом? Конечно, Вийон! Но и он лишь негативно. А мыслимо ли — иначе?

Да. Венгерский поэт, который в двадцать шесть лет уже погиб за свои идеалы, а точнее — за право оставаться верным самому себе, помимо всего прочего примечателен тем, что после него можно представить себе и позитивного лирика-моралиста.

Можно представить великого поэта, который и как человек исключительно велик. Более того, можно представить, что поэт способен воспитывать не только произведениями, но и непосредственно своим человеческим обликом.

Петефи это удалось. Правда, ужасной ценой: в двадцать шесть лет его тело пронзила пика. «На его счастье» — вставил бы здесь всезнающий цинизм, имея в

виду, что поэт избегал тем подведения итогов пережитому, которое ждет человека в зрелости и старости. Нет, этот человек выдержал бы все испытания, устоял бы и потом, до самой смерти. Он сознательно выбрал свой путь, или, если угодно, свой круг тем. Можно сказать, таким он себя воспитывал, на этом — будем и мы циниками — специализировался.

Правда, тут ему в некотором роде «повезло»: характер, который вообще считали «трудным», здесь был ему в помощь. Все, что зрело в нем чуть не с детских лет, начинает проявляться теперь, в двадцать два года, когда он выбрался наконец из нищеты и мог в какой-то мере жить по-своему. Пожалуй, это самые волнующие месяцы в духовном его развитии — когда внешне с ним почти ничего не происходит.

С давних пор в Петефи присутствовала здоровая форма эксгибиционизма, необходимая, чтобы с упорством противостоять общественному мнению. Возможно, именно это и толкало его вновь и вновь к театру, ибо что иное движет актером, как не претворенное в искусство присущее всем нам желание раскрыть себя, обнажить душу? Мы видели: Петефи и на улице не смущают обращенные на него взгляды. Что же до его одежды, то припомним хотя бы слова Палфи, одного из самых близких поэту людей: «Всякий раз, когда видишь этого Шандора, на нем что-нибудь такое надето, что потом из ума нейдет». В другом человеке, даже таком же ребенке душой, подобное оригинальничанье нас бы корбило. У него за этим оригинальничаньем кроется истинная, глубокая оригинальность, что вскоре и выявилось, когда он забросил национально-венгерские наряды, когда стал непохож на других не круглой шляпой, не заносчивой походкой и не постоянной готовностью по-крестьянски лихо отбрить любого.

К этому периоду относится и одна из самых озорных его выходок. Она так мила и по-юношески забавна, что стоит рассказать о ней подробнее. Мы уже вскользь упоминали о ней.

Жил в городе некий Каппель, весьма богатый немец-банкир; свою единственную красавицу дочь он воспитал как аристократку, проча ей высокую судьбу, — позднее она, действительно, стала графиней, женой одного из венгерских премьер-министров. Шаш, добрый приятель Петефи, проживал в доме этого банкира. Оче-

видно, как-нибудь в театре Шаш обратил внимание поэта на красивую девушку — так показывают художнику живописный пейзаж: ведь Петефи о каждой сколько-нибудь приметной девушке, которая попадалась ему на глаза, непременно писал стихотворение. Написал и о ней, хотя только один раз и видел тогда, в ложе. А несколько дней спустя... Но, чтобы лучше представить и всю ситуацию, и вообще окружение поэта, дадим опять слово доброму Шашу. Сквозь непритязательный его рассказ пробивается свет радости: ему приходилось писать столько мрачного о великом друге, что он откровенно счастлив сейчас, имея возможность, наконец, рассказать о нем что-то светлое.

«...Да перенесет себя читатель в те времена, когда достойный Гашпар Тот, портной, сшил нашему поэту костюм, словно взятый напрокат из «Пелешкейского нотариуса», и когда первый сборник стихов поэта увидел свет. Иными словами, Шандора только-только коснулись лучи восходящего солнца его славы. Песнями своими он вступил в соревнование с поднебесными жаворонками. Видел пред собою славное будущее. Забыл о горестном прошлом. Образно выражаясь, время несло его на своих ладонях. Он был счастлив, как, пожалуй, никогда прежде. Но и несколько сбит с толку, охмеленный успехом. Об этом свидетельствовала его полная несхожесть с другими в одежде, внешнем виде, манерах, во всем его существе. Нетрудно вообразить, как он выглядел в мире цилиндров, фраков и широких панталон, одетый в длинный, ниже пояса, отороченный мехом и расшитый сутажем темно-зеленый ментик, такой же жилет и узкие, в обтяжку, штаны; дополните этот вид сапогами, черным шейным платком с шелковой тесьмой и низенькой круглой шляпой с колышавшимся сбоку пером цапли. Небрежно накинув на плечи широкий свой плащ, он шел по улицам стремительным шагом, никого или почти никого не замечая и не узнавая. В таком виде явился он однажды утром, ранней весной, к Берци Паку, который в то время служил у адвоката К.р.ки. Там был и я; мы оба восседали на одной из гимнастических лестниц, которые, наряду с шестами и прочими гимнастическими снарядами, буквально заполнили эту просторную, с высоким потолком комнату. Сбросив накидку, Шандор немедленно взобрался к нам. Там, под потолком, мы стали обсуждать собы-

тия дня. Вдруг открывается дверь, и деревенская молодушка, черноволосая, премиленькая, с большой корзиною за спиной, предлагает нам купить мягкие булки».

Уже ради одной этой картины стоило обратиться к запискам Шаша, ради того, чтобы своими глазами увидеть беспечных студентов, и среди них — гения, обсуждающих «события дня» где-то под потолком. Завидев молодушку с булками, поэт, «словно белка», соскакивает с верхушки лестницы.

Молодушку он принимает по-своему, с темпераментом своих двадцати четырех лет — кидается обнимать, «всю ее расцеловав и затеяв шумную возню», — как пишет Шаш. Молодушка, конечно, чинится и противится, но тем временем и сама весело распускает язычок. Что она говорила? Шаш не находит нужных слов, — такие слова остаются лишь в памяти художника. Что-нибудь вроде: «Ишь чего выдумали! Вот я покажу вам любовь! Да вы и не знаете, что это такое!» А какой мог быть ответ? «Может, вы знаете? Ну-ка, что ж такое любовь?» — «А вот как в песне говорится, что у нас на селе поют нынче: «Ах, любовь... любовь упряма, // Глубока, темна, как яма...»

«Нетрудно вообразить, — вернем опять слово Шашу, — наше общее изумление и потрясение. «Душенька, да ведь это же я сочинил! — с одушевлением восклицает наш поэт. — А коли не верите, — тут он достает из верхнего кармана скатанный в трубку экземпляр, — так поглядите сами... да я дарю вам это, берите, наслаждайтесь! Да расскажите дома, с кем беседовали, от кого книжку получили...»

Крестьянка удалилась. Шандор восторженно и пылко стал говорить о том, что, вот, народ его понимает и прославляет. Значит, он идет верным путем, что бы ни говорили. Мы же, дабы успокоиться самим да и его восторги умерить, перевели разговор на то, как его слава могла бы отразиться на денежном нашем положении. «Видишь, тебе легко, — сказал я, — при твоей-то славе ты можешь хоть к Эмилии Каппель посвататься. Глядишь, и нам что-нибудь перепало бы». Он же, все еще под впечатлением необычайной сцены, возбужденно воскликнул: «А почему бы нет? Думаешь, не посмею просить руки ее? Тотчас же пойду и попрошу!» Так и сделал. Пылая от возбуждения, он набросил на себя плащ свой и словно на крыльях бросился в дом

банкира. При этом вид у него был такой, словно дело предстояло серьезное. На прощанье мы наказали ему только, чтоб, возвратясь, он произнес одно слово: «сено» или «солома». Он согласился. Минул примерно час, как вдруг он входит с самым веселым видом и улыбкой на лице; мы оглушительно захохотали, он же сказал: «Поверьте, друзья, пока ни сено, ни солома. Да послушайте же, как все было...»

Поэт говорил с банкиром, и тот, быть может, оценив шутку, пожелал лишь соблюдения принятых в обществе форм: тогда, мол, если дочь согласится, он даст окончательный ответ.

Вся сцена — сплошная игра, экспромт, чистое легкомыслие, более того, безответственность. Но тем отчетливей видны все движения души поэта. Не будем смотреть на то, за какие именно предприятия он берется (хотя и это достойно внимания, как свидетельство юношеской его наивности); посмотрим лучше, с каким пылом и искренностью он умеет за них браться. Точно так же он будет «отдавать» себя целиком и тогда, когда речь пойдет уже не об игре.

Или великие дела только и могут совершаться благодаря юношеской наивности, благодаря какому-то высшего порядка задору, внутренней способности к игре? Даже если за эти свершения платятся жизнью?

Как бы то ни было, на великие дела способен лишь тот, кто в любую минуту и любой ценой может быть тождествен своему лучшему «я».

«Наше лучшее «я» — самый маскирующий термин современного, идущего к шизофрении мышления. Начинаясь тогда эпоха знает лишь один тип лирического поэта — с разбитой, в лучшем случае — с раздвоенной душой. Это естественно: кто был способен верно следовать идеалам той эпохи и так же верно — ее действительности? Петефи же именно к этому предназначала судьба. Судьба? Нет. Та задача, которую он инстинктивно выбирает себе сам и сам же укрепляется в своем выборе уже сознательно.

Но не только его характер «удачно» ему в том помогает.

Собственная его поэзия также воспитывает в нем прямоту. Его исключительно сильное воображение находит по-шекспировски могучие слова для разбора, введливого и глубокого, самых разнообразных явле-

н и й , — но, чтобы эта работа началась, воображению его должна предстать непременно реальная явь.

Чтобы вести народное восстание к победе, обладание римскими добродетелями необязательно. Однако Петефи, в чисто народной своей оскорбленности, избирает в качестве идеалов таких народных вождей, которые постоянно зывали к римским добродетелям, клялись ими, за них жили и умирали, шли на бой и на плаху. Действительно ли предтечи и герои Французской революции обладали личной безупречностью Катона? Расстояние почти так же стирает черты характера, как и черты лица; а тут ведь еще какое расстояние — от Пешта до Парижа! Слова же, особенно слова, красиво звучащие, клятвенные, перелетают через все расстояния, и чем длиннее проделанный ими путь, тем они прекраснее.

Есть, наконец, еще один момент — на картине, нарисованной Шашем, его воплощает милая крестьяночка с ее свежими, похрустывающими булками. Крестьянка является из деревни, из руссоистской деревни (которая, не будем забывать, царство не только идиллии, но и справедливости), и знает наизусть стихотворение поэта — быть может, даже не одно! Этот образованный, мыслящий юноша привнес в венгерскую поэзию то же обновление, какое в американской поэзии осуществил Уитмен, также друг народа, а в английской — не менее тянувшийся к народу Шелли. Представим себе Шелли, который в год его вступления в поэзию слышит, как на улицах Лондона распевают сочиненные им стихи!

Для Петефи — верного сына своего времени — народ был идеалом; поэт веровал в него, перед ним преклонялся. И вот этот идеал отблагодарил поэта за его веру самым непосредственным и — позволим себе эту улыбку — самым осязаемым образом.

Отблагодарил за стихи его, за эстетические шедевры. Причем как раз в то время, когда сама Эстетика и все высшие сферы общества оказывают поэту совершенно иной прием.

Нападки, которые в конце 1844 года напоминали рассеянную стрельбу, в первой половине следующего года сливаются в ураганный огонь. Такой концентрированной и яростной атаки не доводилось вы-

держивать до сих пор ни одному венгерскому писателю, — да и позднее тоже, даже Ади. Значение этих нападок лишь в том, что, вынуждая поэта вновь и вновь излагать свои взгляды, они ускорили его развитие.

Впрочем, палка обрушивается каждый раз не на преследуемого зверя, а на его простывший след: как мы говорили, критики набрасываются на поэта за то, что для него уже пройденный этап — а значит, хотя бы только поэтому, бьют несправедливо; более всего они ставят ему в вину главное достоинство его поэзии — непосредственность и простоту. И, желая, правда, лишь высмеять, ударить, четко и верно определяют то, что обозначит целую эпоху в поэзии; говорят о реализме его лирики, индивидуализации переживаний, которые именно теперь, после легких жанровых картинок и песен, обретают у Петефи подлинную глубину.

«Он не мог подняться от собственной персоны к истинной субъективности, — болтает совершеннейший вздор Надашкаи, первый редактор «Хондерю», — ему не удалось обобщить свои чувства, придать им идеальную форму, и вообще, выражаясь обыденным языком, он более, чем следует, занимается собой... он не только не может, не желает прикрыть свое «я», но даже зачастую прямо выставляет его в произведениях своих напоказ, что простительно, конечно, ежели сделано со вкусом, в веселом тоне, и может в этом случае сойти за стишки, но более высокие критерии поэзии к сим виршам вряд ли применимы». Более «высокие критерии» поэзии «Хондерю» готов применять к Шуйански, пекущему традиционные легенды одну за другой, а главное к завсегда-таю гостиных Хиадору, домашнему поэту «Хондерю», труды коего, по мнению того же незадачливого редактора, стоят выше произведений автора «Витязя Яноша» настолько же, насколько «поэт европейски образованный выше такого пииты, который за пределами узкого духовного мирка собственной родины ничего толком не знает». В «Элеткепек» баловень пожоньских салонов Помпери под псевдонимом Дарданус выпускает несколько стрел в адрес «некоторых» молодых поэтов, которые «сквернословят и пользуются такими словесными красотами, которые еще могут как-то выскользнуть подле пастушеского костра, но в поэзии поистине скандалезны».

С этой поры не проходит недели, чтобы какая-нибудь газета или журнал не всадили нож в поэта. Литературные обозреватели журналов не обходят Петефи своим вниманием. Лазар Хорват называет поэта «маленьким кудлатым пареньком, на которого наговаривают, будто он великий человек». Ференц Часар поучает его: «Народ — не то же, что бетьяры-разбойники, отбросы нации»; «Сельский молот», по мнению Часара, «даже полуобразованный читатель с возмущением от себя отбросит... жаль терять время на подобную нелепицу»; а «Витязь Янош» — «недурная, но скучная народная сказочка, которую, впрочем, младенцы душою и телом будут слушать с превеликой радостью». В «Кипарисовых ветвях» он обнаруживает «пренебрежение внешней формой». Страна разделяется надвое: одни в стихотворении «На осле сидит пастух» жалеют чабана, другие во главе с эстетиком Грегусом и Хиадором — осла, «который по глазам понял горе своего хозяина». Самые подлые удары наносит Себерени, школьный товарищ по Шелмецу, которому когда-то поэт клялся в вечной, до последнего вздоха, дружбе, который еще полгода назад написал в адрес Петефи восторженное стихотворение и послал его в «Диватлап», полагая, очевидно, что его напечатают среди многих, ему подобных. К сожалению, даже как панегирик оно никуда не годилось. Отвергнутый не унижается: из пустынной провинциальной истории — спора, затеянного вокруг карманной книжицы самообразовательного папайского кружка, — он раздувает целый пожар, просто чтобы отомстить; он первый показал, какие возможности таятся в бесталанном поэте, когда он уже и сам осознает, что таланта у него нет. Себерени по праву может считаться основателем нашей пассивной литературы. Он «разоблачает»: в своих статьях после фамилии Петефи всякий раз в скобках указывает его настоящую фамилию; порицая за «трактирные» стихи, умудряется задеть, оскорбить и отца поэта; бродячего актера называет лесным бродягой, а под конец уже попросту бранится. Именует поэта крикуном, наглецом, лгуном и даже, демонстрируя свое остроумие, «мелким предметом редакционной мебели». Он создал огромную школу.

Петефи поначалу удивляется: никто из великих от литературы не выступает в его защиту! В двух крити-

ческих статьях Шенделя, позднее принявшего фамилию Толди, сколько похвал, столько и упреков. Устремления Петефи, по мнению критика, не так благородны, как у Керени, что же до народного направления вообще, то он полагает, что «за народом надобно следовать лишь в том, что у него красиво, а не за его слабостями». Все это только льет воду на мельницу врагов. А тут еще Гараи подает голос: рифма «bölcs — tölts»¹ представляется ему чавканьем. Господин Хазуха советует молодому поэту казнить свое каждое десятое стихотворение и в течение пяти лет не писать ни строчки прозы. Удивление поэта сменяется раздражением: он совершает ошибку — отвечает, но, раздавая направо и налево ответные удары, не принимает во внимание, что клевету в каждый данный момент может подмять лишь еще большая клевета; его же удары не такие уж крепкие, каких вполне заслуживали бы противники, а к тому же не всегда попадают по адресу. Двумя-тремя случайными оговорками он толкает во враждебный лагерь и нескольких друзей. Приступы откровенности и несдержанности на язык нападают на него всякий раз именно тогда, когда он вредит этим самому себе.

Однако Петефи не увязает в этих баталиях; он не отступает, но и не держит ту линию фронта, которую мог бы защищать с полным правом и убежденностью, а создает новую. Вместо того чтобы повернуться против критиков, он поворачивается против всего человечества — «обобщает»; не так, правда, как хотел бы Надашкай, но с тем размахом, какой свойствен крупным натурам.

О, человек, лишь жалость и презренья
Внушает мне обличье твое.
Я думаю, что ты — не царь природы,
А только раб и пасынок ее.
Ведь под конец, в последний день творенья,
Жизнь подарил тебе усталый бог:
Одна усталость у него осталась,
Творить добро и он уже не мог.

Коль ты в неволе, жалкое творенье,
Так думаешь, что стал рабом и я?
Ты думаешь, что мне не безразличны
Твоя хула и похвала твоя?

¹ «Мудрец — наливай» (венг.).

Ты думаешь, что может червь тревоги
Подтачивать душевный мой покой?
Мол, я творю, и все ж трепещет сердце:
«А что на это скажет род людской?»

Что ж! Думай так! Но помни, что нисколько
Зависеть от тебя не буду я.
Иду я прямо и по той дороге,
Которую нашла душа моя.
И если, будто идола, меня ты
Подымешь над своею головой —
Коль вознесешь меня ты столь высоко,
Твой рабий зуб я вышибу ногой!

(«Мир и я». Перевод Л. Мартынова)

Стихотворение грубо (этим правдиво, а значит, и хорошо); оно в резкой форме, непосредственно, прямо, передает то, что в более поздних творениях поэта подымается из бездны, из вновь переполнившегося его сердца.

Но я не плачу, плакать не люблю,
Я обещал не плакать никогда.
Прочь, слезы! В сердце пусто у меня,
Вот и пролейтеесь в пустоту, туда.

(«Сдерживая слезы». Перевод Н. Чуковского)

После прямолинейного названия всего и вся по имени стихотворение «Сдерживая слезы» словно пограничный камень. Поэт уже сознательно все внимательней всматривается не в окружающий мир, а в самого себя. Поначалу еще не так мрачно, как можно было бы предположить на основании процитированных выше строк, — напротив, с веселым добродушным любопытством; правда, проявляется оно больше в его изумительной прозе — как жаль, что он не обратился к ней пятью годами раньше! И стихи его светлы, но по ним нет-нет да и проскальзывают уже тени надвигающихся туч.

Происшедшие в нем внутренние перемены сопровождаются переменами и во внешней жизни. Первого апреля Петефи оставляет должность помощника редактора в журнале Вахота и по приглашению друзей-писателей, живущих в Верхней Венгрии, — Керени, Томпы, — отправляется в путешествие по Верхней Венгрии. Помимо неодолимой жажды свободы, есть

у него и другие причины расстаться с Вахотом. В каком-то примечании от редакции поэт случайно называет «Диватлап» «мой журнал» — в следующем номере от своего имени дает поправку: «Вместо ошибочно напечатанных слов «в моем журнале» следует читать «в этом журнале». Вахот чувствителен, когда речь идет о собственности. Все же Петефи совершает необдуманный поступок — заключает с Вахотом договор: отныне его стихотворения публикует исключительно «Пешти диватлап». Тем самым поэт отдает себя на расправу журналам-конкурентам. Да еще предоставляет им новый повод для нападок: пишет с дороги путевой дневник.

«Путевые записки» сорок пятого года показывают нам не Верхнюю Венгрию, но и на этот раз — самого поэта. Притом показывают запросто, по-домашнему, в полной откровенности чувств. Забранные в русло стиха, порывы этих чувств придают произведению стремительность, но в более свободном русле прозы иногда растекаются в стороны.

Эпистолярная форма с древних времен есть свидетельство потребности в обновлении стиля, предлог отказаться от устаревшей тяжеловесной манеры, от пышных ораторских приемов, ради непринужденной, с глазу на глаз, беседы. Писатели, все, без исключения, обращаются к жанру открытого письма лишь тогда, когда та или иная ветвь литературы начинает загнивать. Тут-то и появляются полные жизненных соков путевые заметки, предназначенные для публики «интимные» дневники и письма, причем появляются на самых свежих побегах литературного древа, на не потерявших еще гибкости новых ветвях, которые лишь позднее, со временем, обростут корой, приобретут силу и форму.

Собравшийся в Верхнюю Венгрию поэт, стихи которого по откровенности вполне могли бы лечь на страницы дневника, не имеет нужды искать предлога для доверительного разговора. Мы можем с совершенной точностью определить, что среди этих тонко, филигранно отточенных стилистически строк является материалом для стихов, что — для записной книжки, для позднейшей обработки и что действительно следовало бы сообщить лишь самым близким друзьям. «Специальность» доверительность приняли за фамильярничество, детскую непосредственность — за позу. Мы же растро-

ганно читаем признание поэта (вместо описания дороги на Римасомбат), что, несмотря на провал в «Беглом солдате», он считает себя хорошим актером; или его простодушный рассказ о том, как он потерпел фиаско в Аггтелеке, когда «большущими буквами» написал на скале свое имя, а оно оказалось никому не знакомо; или сетования его, что он безбожно плохой ботаник, никогда не знает, какое дерево как называется, что искупался было в реке Риме, да чуть не утонул, хотя плавать хорошо; или еще признание — в том, какая охватила его радость, когда в Ретшаге он пожелал представиться некоему молодому человеку, но тот перебил его: «Кто ж вас не знает!» А в одной деревне Дёмёра (в Весвереше) крестьяне не могли дать ему перекусить: «у несчастных не было даже хлеба». «Вообще — чем ближе я подъезжал к Карпатам, тем больше видел рабства. Тогда я расправлял крылья воображения, и душа моя спускалась к равнинам моей отчизны, где человеческое достоинство высоко держит свою гордую голову даже в самой низкой хижине». Видит ли он и социальную причину этого, понимает ли, что алфёльдцам есть, по крайней мере, что отнести на рынок, тогда как у жителей гор нет ничего? Угадывает ли, что в новую эпоху — о, ужас! — человек даже собственное достоинство приобретает за деньги?

Овладеть прозой много труднее, чем стихами: великое произведение поэзии может выйти из-под пера даже двадцатилетнего юноши, великая проза и у тридцатилетнего родится едва ли, для прозы человек созревает душой лет на десяток позднее. Живое, свободное, радостное низвержение фраз еще не означает, что они движутся в том направлении, какого мы желаем. Они сами увлекают дух творца за собой: толкают в одну сторону, в другую по своему произволу и не всегда удачно. Но, если дух этот интересуется нас уже изначально, мы с радостью наблюдаем его ничем не стесненные порывы, почти свободное ассоциативное движение мысли и чувства. Отрывки из «Путевых записок», расположенные в том порядке, который нам интересен, говорят больше, чем собственный их строй. Прочитаем же несколько из них наугад:

«...Даже в ту пору, когда я еще не видел своего имени в печати и кропал стихи только для себя, когда я еще служил статистом в Пештском национальном

театре, таскал стулья и кушетки на сцену и, по приказанию актеров, бегал в корчму за колбасой с хреном, пивом, вином и прочим, когда я еще стоял на карауле или варил кукурузные клецки для моих товарищей по солдатчине, мыл жестяные котелки в такую стужу, что тряпка примерзала к моим рукам; когда по окрику капрала: «Ну-ка, давай!» — мчался сгребать снег со двора казармы, — я и в ту пору всегда предчувствовал, что произойдет со мной. Так оно и случилось. На голых нарах караульни, где, как барону Манксу, подстилкой мне служил один мой бок, а укрывался я другим, уже там мне приснилось, что я приобрету себе имя, славное в двух странах, имя, которое не удастся уничтожить даже воюющей своре критиков всего мира. И сон мой потихоньку сбывается... нет, даже скорее, быстрее, чем я думал. Куда бы я ни приезжал, меня обнимали, ласкали... И это несмотря на то, что героикритики употребили все средства, чтобы опозорить меня. И только в одном я могу заверить свою нацию, удостоившую меня вниманием, что ее внимание не будет растрчено попусту!..

...Есть дома, в которые, стоит лишь войти — и сразу ощущаешь себя дома; а есть и такие, в которых я никак не могу расположиться по-домашнему. Так у меня и с городами. Эперьеш — один из тех городов, где я сразу почувствовал себя как дома. Бог его знает почему, но Эперьеш мне мил необычайно: опрятный, красивый, шумный, веселый, приветливый город. Совсем как жизнерадостная молодуха.

А его окрестности! Красивей едва ли сыщешь во всей Венгрии. По утрам, рано-рано, подымался я на гору Табор, возвышающуюся над восточной стороной городка. Оттуда в былые времена пушки Караффы рычали обреченному городу: «Страшись!»

...В часе ходьбы от Эперьеша грустят руины Шароша, бывшего гнездовья Ракоци. Я забрался туда. Уж коли мне довелось, разве могу я не полюбоваться развалинами. И как вольно дышалось там славным воздухом рыцарской поры! Ведь, по справедливости, я должен был бы родиться в те времена. Я прилично владею пером, но чувствую, что у меня больше призвания к мечу. Увы, для этого я родился слишком поздно...

Из Эперьеша я отправился в Лёче. Керени поехал вместе со мной. До самой границы Сепешского комитата

дорога почти непрерывно вьется в гору; и горы вырастают на глазах; у подножья зеленеют густые ельники; чем выше, тем лес все больше редееет, и вершины достигают всего лишь несколько деревьев... будто солдаты, штурмующие крепость.

...Одна из наших лошадей потеряла подкову. Пока лошадь перековывали, я не отводил глаз от Карпат, от этих миллионов набросанных друг на друга пирамид. Но душа моя, словно ребенок, избавившийся от няньки, незаметно ускользала далеко-далеко, туда, где нет гор, где даже холмов почти не видно, где Дунай катится величественно, как героические поэмы Вёрёш-марти, где равнины протянулись так далеко, будто ищут края света, где небосклон — словно огромный дворец, с купола которого свисает алмазная люстра солнца, а по стенам развешаны зеркала миражей, и в них радостно глядятся отары и табуны... Туда, туда перелетела с Карпат моя душа, на сладостную родину, на прекрасный Алфёльд!

Мы выехали утром и после обеда прибыли в Лёче. Собирались в тот же день ехать дальше, но все городские клячи — даже лошадь почтмейстера — были на пахоте...

На другое утро мы приехали в Кешмарк, к подножью Карпат. Стоял дождливый день...

С утра мы вместе с Керени навестили профессора Пала Хунфалви, любимого всеми его учениками. Я упоминаю об этом только потому, что сие встречается у нас столь же редко, как трезвые и честные критики. Мы осмотрели замок Тёкёли. В нем, пожалуй, лучше всего сохранилась часовня, однако и в ней валяются на земле упавшие святые и ангелы... Бедняжки!..

...Мы пустились в путь рано утром. Татра еще лежала, раскинувшись во всей своей красе, словно прекрасная спящая девушка, которая во сне сбросила с себя одеяло, прикрывавшее ее прелести. С восхищением смотрел я на нее некоторое время... ибо вскоре — должно быть, от громахания нашей повозки, — она очнулась и, словно застыдившись, укуталась в покрывало тумана... Татра... прекрасная девушка...

...Какой-то ученик-портной прицепился к задку нашей повозки. Мне вспомнилась пора, когда я шагал вот так пешком из Мохача в Пожонь и даже дальше, и как было приятно, когда меня кто-нибудь подвозил,

вернее, как было бы приятно, если б меня кто-нибудь подвез. И я посадил мальчишку к себе...»

Современники в «Путевых записках» удостоили вниманием лишь то, что имело отношение к ним самим. «Бахвальство, незрелость, безудержная самоуверенность!» — кипятится «Хондерю» и призывает лучших из лучших объединиться на защиту увенчанных лаврами великих Бадачони и Шуйански: «В чем причина долготерпения всей нашей журналистики, коя, сложа руки, смотрит, как попирается достоинство?!» Однако «журналистика» не долго терпит сложа руки. «Путевые записки» появились в «Элеткепек», но даже критик этого журнала в самодовольстве своем не стесняется лихо подставить ножку собственному коллеге, который-де не почитает корпоративного духа. Издатель еще не полновластный хозяин в журнале.

Первого апреля на большой товарищеской пирушке Петефи прощался со своими коллегами; возвратясь в конце июня в Пешт, он сразу же получает возможность насладиться ответным «угощением», которое они приготовили ему за время его отсутствия. Только что поэт радостно спешил в столицу, а через несколько дней уже ее покидает. Службы у него нет, верного дохода тоже; он едет к родителям, которые в это время арендуют корчму в Салксентмартоне. Здесь с феноменальной быстротой, в течение одной недели, пишет пьесу, которую жюри Национального театра столь же феноменально быстро отвергает. Корпорация — «журналистика» — приветствует этот акт такими торжествующими воплями, как будто выиграла битву, как будто она кровно заинтересована в посрамлении «высочки». Поэт остается в Пеште лишь столько времени, сколько нужно, чтобы получить назад отвергнутую рукопись «Марци Зёльда» (и затем в ярости разорвать ее); после этого он вновь поворачивается спиной ко всему шуму, к столице, и едет в Гёдёллэ, к старому своему другу Ференцу Эрдейи, протестантскому священнику: уж он-то не имеет никакого отношения к литературе.

Когда Эрдейи представляет поэта красивой, образованной и очень богатой Берте Меднянски, Петефи с пылом истомленного жаждой и наконец-то набредшего на реку скитальца бросается в новое переживание, хотя

уже в самом начале угадывает, что эта страсть не даст ему ничего, кроме стихов.

Меня не любишь ты! Пусть так и будет!
Тебя любить не запрещай мне все ж,
Иначе между мною и вселенной
Последние ты связи оборвешь.

Великие страсти не столь сдержанны, — особенно у него, которого ничто так не оскорбляло, как унижение, как роль отвергнутого. Название цикла — «Жемчужины любви» — заставило критику несколько поумолкнуть: доверяясь этому названию, она ждала от новых стихов Петефи одной любви. Но ее здесь меньше всего.

Люблю тебя, хоть знаю — что за ужас
Любовь неразделенная моя.
Но столько ужасов меня терзали,
Что даже с этим совладаю я.

Даже в этом всего-навсего втором стихотворении цикла поэт пугает свою возлюбленную не тем, что — если она не ответит на его чувства — между ними произойдет трагический разрыв, но тем, что трагический разрыв произойдет между ним и миром.

Стихи и этого цикла ничего не утаивают, поэт одержим искренностью: он четко выражает не только чувства свои, но и мысли. Едва ли был еще лирический поэт, который бы так подыгрывал критике, как он. Берта Меднянски, если она умела не только читать стихи, но и понимать их, вряд ли была в особенном восторге от таких строк:

Угрюмый край — души моей владенья,
Там ненависть царит — властитель злой.
И вот со всей вселенной я воюю,
Живу в согласье лишь с одной тобой.

(«В душе моей...»). Перевод Л. Мартынова)

Чистые, прозрачные стихотворения «Жемчужины любви» рождены в глубинных пластах души. Достаточно насладившись и даже пресытись собственной страстью к лицедейству, которая нашла выход в «Путевых записках» и злополучной пьесе, поэт сейчас, оставшись наедине с собой, всматривается в движения души и воспроизводит их с присущей ему простотой и откровенностью. У него хватает смелости не бояться величайших с виду противоречий, даже того, что читатели прощают всего менее: неверности чувству. Еще не утихли его прощальные рыдания, плач по Этельке, как

поэт уже меняет тон. Но это не актер, переодевшийся для новой роли, а великий лирический поэт, с присущей ему эгоцентричностью.

Да, я хотел бы полюбить опять...
Что стоит сад без роз?.. Твердят: живи!
Но что же стоит молодость моя,
Что стоит жизнь пустая, без любви?

Душа моя! Ища себе гнездо,
Бездомной птицею летаешь ты.
Найдется ль девушка, что приютить
Захочет в сердце все мои мечты?

(«Тоска любви». Перевод Н. Чуковского)

Все достаточно просто и ясно, однако отныне читательницы «Пешта диватлап» и все, кто только что углубился в песни, обращенные к Этельке, с возмущением вскидывают головы. Как? Уже?! Всего несколько месяцев, как похоронили бедняжку... Читатели по праву возмущены — но не психологи.

Первую подругу отняла могила, —
Скорь луной сияла в ночи, полной слез.
Но любовь другая мрак мой озарила,
И луна бледнеет, — солнце поднялось...

*(«Первую подругу отняла могила...».
Перевод Н. Стефановича)*

Тот, кто понижает душу человеческую и поэзию, с уважением отнесется к подобной смелости. Песни к Берте, хотя написанные в ином тоне, льются с тех же струн, что и прежние, адресованные Этельке; они насыщены еще более тонкими оттенками. И выражают чувство, которое сложнее, чем сама любовь, — жажду любви. Это предвестник песен к Юлии.

Душевное состояние поэта, даже самого откровенного, легче всего уловить по тем элементам стихотворения, которые внешне наименее связаны с содержанием — и лишь поясняют, как бы извне сопровождают его: по сравнениям, по наиболее свободно избираемому поэтическому материалу, раскрывающему самые затаенные склонности души.

С тех пор как Петефи свои светлые и мрачные настроения не переносит на персонажей жанровых зарисовок, а появляется с ними сам, его образы претерпевают очевидное изменение. Они становятся теплее, ярче, а в то же время, верно следуя за порывами души, по смелости и неожиданности своей не уступают поэти-

ческим образам тех поэтов, которые свободную ассоциативность мышления сделали важнейшей ценностью стиха. Воспоминание об Этельке возникает, например, в таком виде:

Былое — как море, мой челн — о гранит
Кончины твоей беспощадно разбит.
Но глыба гранита угрюмая эта
Сверкает теперь в бесконечности где-то...

(«Скитался вдали я...». Перевод Н. Стефановича)

А Берта Меднянски, новая любовь, является поэту «голубоглазым терновым деревцем». Правда, тернового дерева в природе не существует, терновник вообще никоим образом не напоминает стройную девичью фигурку, поскольку представляет собой раскидистый куст, но весь он, со своими синими плодами, под звездным высоким небом, вероятно, столь же привлекателен. В стихах Петефи непрестанно меняет свое обличье любовь: вот она — полное кошмарных чудищ море, которое смывает даже звезды, взбудораженное ураганом ревности... а вот (сравнение гораздо более достоверное, ибо оно прекрасно) она — плющ, робко взбирающийся по стене церкви, которая олицетворяет собою девушку. Именно через образную свою систему этот неудержимого темперамента поэт (и мужицкий и высокомерный) раскрывается как самый тонкий, изысканный поэтический дух своего времени. Он столь же мужествен, настойчив, сколь женственен, беззаветно предан, готов на любые жертвы. Лучшее стихотворение цикла — горстка чистых поэтических образов, мозаика, объединенная в целое организующим инстинктом поэта:

Если ты цветок — я буду стеблем,
Если ты роса — цветами ввысь
Потянусь, росинками колеблем, —
Только души наши бы слились.

(«Если ты цветок...». Перевод Б. Пастернака)

Даже стихотворения, не столь уж вдохновенные, вдруг словно озаряются светом, проникающим сквозь витражи сравнений.

Часто речь моя потоком льется,
Всяческими шутками богата,
Будто мчатся в лодке, веселятся
Лодочника резвые ребята.

(«Нечего судить по первой встрече...». Перевод Л. Мартынова)

В «Жемчужинах любви» они-то и есть истинные жемчужины, в них же заключено истинное содержание цикла. Предмет этих стихотворений — страсть, но их интонация — раздумье.

Смолкла грозовая арфа бури.
Вихрь улегся, затихает гром,
Так, намучившись в борьбе со смертью,
Засыпают непробудным сном.

Восхитителен осенний вечер.
В ясном небе только кое-где
Облака, следы недавней бури,
Сохраняют память о беде.

Крыши деревенских колоколен
Покрывает золотом закат.
Хутора в морях степных миражей
Кораблями зыбкими висят.

Беспредельна степь! Куда ни глянешь,
Вся она открыта и ровна.
Нет и сердцу ни конца, ни края,
И куда ни глянь, любовь одна.

И, под тяжестью любви сгибаясь,
Сердце может рухнуть невзначай,
Как надламывает ветки яблонь
Слишком небывалый урожай.

Сердце, полное любви, как кубок,
Пей, подруга, только не пролей,
Чтобы я не пожалел, что смерти
Не дал выпить этой чаши всей.

*(«Смолкла грозовая арфа бури...».
Перевод Б. Пастернака)*

Петефи точно так же подпадает под чары обрисованных им чувств, как и мы, замороженные совершенством их выражения. Стихотворения, лучшие из которых он пишет в Салксентмартоне, вдали от возлюбленной, не тревожимый ею, воздействуют, в свою очередь, на него самого, его же воспаляют. Он вновь появляется в Гёдёллэ и, как всегда скорый на решения, просит руки Берты. Но получает отказ. Лучшего случая для такой маленькой несчастной любви и не придумаешь! Но нет — отвергнутый влюбленный торопится в Пешт, там подбирает стихи в цикл, пишет еще и послесловие к ним, не слишком лестное для предмета обожания.

Или вновь любви я не узнаю?
И останусь брошен и забыт?
Пусть кругом лишь стужа ледяная —
Сердце не сдастся и горит.

(«Струн коснулся я...». Перевод Н. Стефановича)

Поэт тут же договаривается с Эмихом об издании, 20 октября сборник уже выходит из печати, по тридцати крейцеров за экземпляр. История с Бертой завершена. Многие называли Петефи характерно импрессионистическим поэтом: мол, он лишь отражает мир, запечатлевает отдельные его мгновения. А между тем сознание его не разорвано, он только молод, только — как мы уже сказали — смел и откровенен даже с самим собой. Поэт продолжает пестовать не любовь, а то, что обнаружил он между «жемчужинами любви»; необычайный сплав торжественно приподнятой интонации и углубленного чувства.

Интонация и построение стиха у Петефи по-прежнему просты и прозрачны. Очерченные им картины тотчас возникают перед нашими глазами. Поверхностным или мелководным его называют те, кто — по моде нашего уже времени — только в мутном способен предположить глубину, даже если это лишь мутная лужа, и, по странной неблагодарности, презирает то, что прозрачно до самого дна.

15

События жизни Петефи сейчас — его стихи.

Тоньше становятся его поэтические образы, а вместе с ними и его пейзажи, жанровые сценки. Стихотворение «Алфёльд» было все построено на интонации, на движении: в центре стихотворения находился сам поэт, который собственным темпераментом и лирическим накалом одушевлял природу. Теперь следует период комментирования, проникновения в глубь вещей. Поэт и мир в своем диалоге меняются местами. Прежде поэт лишь извне рисовал окружающий мир и самую жизнь, теперь он словно находится внутри и ощущает их кожей. Какое искусство выше? Последнее человечнее, глубже; мы можем сказать даже — социальнее, ибо окружающий мир, жизнь включают в себя и общество.

Переход к новому этапу виден как нельзя лучше на стихотворении «Зимнее время», шедевре, соревнующемся с зимними пейзажами голландских мастеров.

Поденщик со своей женою
Чурбаны пилит. В колыбели
Младенец плачет, заглушая
Истошным визгом вой метели.

(Перевод В. Левика)

В шести картинках из жизни — шести строфах — Петефи, чего никогда не случалось с ним до сих пор, не делает ни единого замечания от себя. Он мудро отступает на шаг назад от свойственной ему лирической непосредственности — отступает, чтобы взять новый разгон. Его «я» скрывается между превосходно выписанными жанровыми фигурами, проявляясь то горечью — в образе стоящего на часах солдата, то самоиронией — в образе бродячего актера. Прямая постановка вопроса в рефрене: «Кто счастлив нынче? // Тот, кто сыт // И в теплой комнате сидит» — также не выражает сугубо личного чувства и служит лишь смысловой связующей рамкой для сменяющихся друг друга картин.

Новая тональность в стихах Петефи наиболее заметна после первых крупных атак, обрушенных на него в Пеште. Прямая сталкивает поэта вниз в тот самый момент, когда он, освещенный огнями рампы, чувствует себя на взлете. Потом он опять вскочит на ноги, опять будет упрямо рваться ввысь, но сейчас — в который уже раз? — Петефи сброшен с гребня волны в пучину. В такие минуты поэтами владеет не страх перед глубиной, а нечто совсем иное: они осознают эту глубину.

В течение года Пешт был для Петефи ареною славы, теперь он — поистине чистилище. Страна на все голоса повторяет имя молодого поэта. А ему, в центре духовной жизни страны, не на что жить. Понимать это следует буквально: первый поэт Венгрии не может жить в Пеште, ибо не в состоянии прожить там. Он снимает жалкие каморки, одну страшнее другой, да и в тех селится не один, а еще с одним-двумя напарниками. Не будем приукрашивать: в провинцию его гонит именно нищета. Цеховой дух действует безотказно.

Перебравшиеся в Салксентмартон старики Петровичи и здесь арендуют корчму и мясную лавку; их по-

ложение даже тяжелее, чем в Дунавече. Поэт уже не может позволить себе роскошь устроиться отдельно. Ночью он спит в маленьком закутке «для гостей», днем пишет в пивном зале корчмы. Здесь созданы последние стихотворения цикла «Жемчужины любви», а следом за ними — первые произведения, свидетельствующие о решительных переменах в его мирозерцании.

Стихотворение «В деревне» воспроизводит, по существу, пейзаж «Алфёльда»:

Теперь кругом сияющая ночь.
Так тих и бездыханен небосвод,
Что различимо, кажется, о чем
Давида арфа на луне поет.

Однако насколько же здесь все иначе! Мы видим как бы негатив «Алфёльда», эмоционально противоположный ему полюс. В «Алфёльде» поэт легко возносится в выси: «Мысленно парю под облаками // Над смеющимся, цветущим краем...» — теперь же он бродит по земным дорогам и уже по-другому видит все окрест. Чем дальше, тем отчетливей картины природы окрашиваются настроением самого поэта. Наконец, примерно на середине, стихотворение искусным переходом из описательного становится чисто лирическим:

Над озером, покинув камыши,
Косяк гусей летит средь темноты.
Так улетают из моей души
Мои честолюбивые мечты.

(Перевод Б. Пастернака)

Под этим настроением, подсказанным последними штрихами пейзажа, поэт остается уже до конца стихотворения и говорит теперь лишь о себе. Как и в «Алфёльде», под конец является мысль о смерти. Но здесь и в помине нет счастливого пароксизма завершающей строфы «Алфёльда»; напротив, теперь смерть есть естественный предел безвестной, в трудах прожитой жизни, одаривающей щедро — и «красавицей женой, и искренне скорбящими» внуками... В стихотворении «В деревне» поэтического жара не меньше, чем в «Алфёльде», только теплоизлучение его устремлено внутрь. Однако наилучший пример того, какая поэтическая сила заключена в стихотворении, когда поэт не «парит» над краем, а «бродит» по нему, являет собой стихотворение «Старый добрый трактирщик».

Постоялый двор — мое жилье в деревне.
Утром тишина, лишь ночью шум в прихожей.
Старый добрый дед хозяйствует в харчевне, —
Будь ему во всем благословенье божье!

Век его заметно клонится к закату.
В старости мечтает каждый о покое,
А старик несчастный поглощен проклятой
Мыслью о насущном хлебе и тоскою.
Будни ль, праздник, сам он занят неустанно,
Раньше всех встает, ложится спать всех позже.
Бедствует трактирщик, жалко старикана, —
Будь ему во всем благословенье божье!

К старику на шею я бросаюсь с дрожью.
Это ведь отец мой, тот трактирщик старый...

(Перевод Б. Пастернака)

В стихотворении — никакого действия, ни одного сравнения, ни одной поэтической фигуры; оно все состоит из простых прозаических констатаций. Великим же его делает та затаенная ласковая теплота, которая в предпоследней строке: «Это ведь отец мой...» — вдруг обдает таким жаром, что на лице буквально проступает пот. В мировой литературе немного наберется стихотворений, которые бы столь удачно, без малейших признаков искусственности, влеклись прямо к цели с помощью чисто технического приема-пуанта («Будь ему во всем благословенье божье!»). Петефи приводит в действие внутренние пружины искусства.

Время от времени он наезжает в Пешт и всякий раз, возвращаясь оттуда, увозит домой, в провинцию, новые раны. Он, живой дух нации, словно воплощенная боль, бьется, мечется в огромном оцепенелом ее теле. Критика недостаточно оценила стихотворение «Последний человек», быть может, потому, что оно слишком уж внезапно вырвалось из потока прежних «поверхностных» стихов поэта, слишком несхоже с его привычной интонацией. Действительно, шекспировская грандиозность его образов ошеломительна: небосвод представляется здесь крышкою гроба, в котором покоится земля; солнце — тусклой лампою в склепе; шум, который только что казался песнями птиц или девушек, на самом деле — шуршание червей, разъедающих гроб. Закрылись, остекленели все глаза —

В которых некогда пылало
Любви и ненависти пламя
И из которых так похабно

Выглядывали чванство, зависть,
Как проститутки из окошек
Домов терпимости! Навек
Закрылись очи мертвецов!
И сердце — этот малый ад,
Который вечно был приютом
Для сотен дьяволов различных
И где пылал неистребимо
Костер злодеяний, — остыло сердце,
Всему конец! Бесчестье сдохло,
Измена родине и другу
И остальных чудовищ стадо,
Которое брело повсюду
По человеческому следу, —
Все, все исчезло навсегда!
И даже эти угрызенья
Нечистой совести — от них
И следу даже не осталось, —
Давным-давно они скончались,
И люди, что родились позже,
О них лишь понаслышке знали...

(Перевод Л. Мартынова)

Таков сейчас для него Пешт, таковы литературные друзья-приятели. Вот одна, притом не малой важности, причина пресловутой его страсти к бродяжничеству, причина новой волны скитаний. Кроме того — и это уже другая причина — он вообще с радостью хватается за любое предложение уехать, ибо для него это способ вырваться из бедственного своего положения, попасть в иную, более свободную атмосферу. Лучше всего он чувствует себя среди людей, далеких от его профессии. На третьей неделе сентября поэт едет к Шашам, туда, где протекали счастливейшие до сих пор годы его жизни — в Борьяд. А по дороге пишет самую популярную свою песню, которая очень скоро стала и для народа совершенно своей, настолько, что появились даже видоизменения ее, дополнения, варианты. Это лучшее доказательство органической близости авторского произведения фольклору и лучший вид критики — конструктивный.

«Глянь-ка, парень, сколько денег — не сочтешь!
У тебя куплю я бедность. Продаешь?
Я за бедность кошелек весь отдаю,
Но в придачу дай мне девушку свою».
«Если б это лишь задаток был от вас,
Да на выпивку б мне дали во сто раз,
Да весь мир еще в придачу за одно, —
Я бы девушку не отдал все равно!»

(«Торг». Перевод М. Исаковского)

В Борьяде, тотчас после приезда — достойный биограф поэта, упоминавшийся уже Ференци, определил это по положению в е з д, — Петефи создает прекраснейшую свою «жанровую» зарисовку.

«Мажара с четверкой волов», действительно, начинается так, словно это зарисовка, отрывок из дневника; впрочем, данные биографов ничуть не убавляют здесь поэтичности. Героиня стихотворения Эржике, дочь хозяина дома, где остановился Петефи, позднее подтверждала, что разговор на мажаре слово в слово шел так, как записал его поэт. Семья совершила прогулку в Узд, который находился в получасе езды от Борьяда, а на обратном пути все сели на мажару, запряженную волами.

В компании той присутствовал и я,
И был как раз соседом Эржике.
Пока другие тихо говорили
Или тихонько пели в уголке, —
«Не выбрать ли и нам себе звезду?» —
Я Эржике сказал, смотря вверх голов.
По большаку с мажарой
Так медленно четверка шла волов.

Что захватывает в этом стихотворении? Ведь на мажаре ничего не происходит; возникающее между молодыми людьми нежное чувство еще так затаенно, так призрачно, почти неосязаемо. Поэту приходится даже повторить свои слова:

«Не выбрать ли и нам себе звезду? —
Мечтательно сказала Эржике. —
Пускай звезда к счастливым дням прошедшим
Нас приведет, когда замрем в тоске,
Если судьба подарит нам разлуку...»
Мы выбрали себе звезду без слов.
По большаку с мажарой
Так медленно четверка шла волов.

(Перевод Н. Тихонова)

Стихотворение незабываемо благодаря заключенному в нем противопоставлению: в то время как «наверху», в начале стихотворных строф и на мажаре, вибрируют тончайшие чувства, «внизу», в конце строф, упрямо бредут волы, хлюпая по самой реальной и грубой венгерской действительности. В тесном соседстве с люшнями сидят люди, которые вот сейчас, на наших глазах, превращаются в волшебные существа. Словно происхо-

дит встреча земли и неба, даже более захватывающая, чем в «Витязе Яноше», ибо волшебство свершается не в сказке, а в реальной реальности — на борьядской проезжей дороге. Если сила «Старого доброго трактирщика» в пуанте, то здесь она в рефрене. Этим приемам Петефи научился у других, первому — у Гейне, второму — у Беранже. Оба они могли бы теперь поучиться и у него умению довести технический прием до совершенства, сделать его личным своим достоянием, — на незначительную деталь, валяющуюся на обочине поэзии, наращивать (словно на знаменитую ветку, брошенную Стендалем в соляной раствор) самые блистательные и самые своеобразные кристаллы воображения.

Тот же тонкий рисунок душевного состояния, внутреннего мира видим мы и в следующем стихотворении, по своему настроению борьядском, хотя и написанном в Пеште:

На горе сижу я, вниз с горы гляжу,
Как со стога сена аист на межу.
Под горою речка не спеша течет,
Словно дней моих нерадующий ход.

(«На горе сижу я...». Перевод Б. Пастернака)

От строфы к строфе стихотворение становится мягче и — в нарушение привычного порядка, когда Петефи от зачина (в манере народной песни) шел к собственному переживанию, — именно к концу переходит в народную песню, не пылом напоминая ее, а покоем. Две последние строфы написаны так, словно поэт по памяти восстанавливает слышанный когда-то милый его сердцу напев: «Мне бы стать хотелось деревом в бору...» Это стихотворение — возвращение в семью, в народ, всем знакомого мальчика из сказки, который уходил из дому, чтобы испытать себя и свою судьбу.

Петефи бродит среди воспоминаний, душа его уже накапливает те таинственные прикосновения, из которых родится затем «Волшебный сон», лучшая эпическая поэма о завоевании, вторичном обретении утраченного детства... У борьядского винного подвальчика поэт сталкивается с давно забытой Амалией Хиттиг... Первое стихотворение, вызванное встречей, — это лишь преддверие грядущей поэмы.

Вдруг в девушку ребенок превратился,
Стал юношей вчерашний мальчуган, —
Мы даже не успели оглядеться,
А время прочь умчало годы детства,
Как лепестки уносит ураган.

Когда черно и кажется могилой
Кромешной тьмы бесформенный провал,
Хранит меня одной звезды соседство —
Слезы моей: оплакивая детство,
Я слез таких потоки проливал...

(«Подруге моего детства». Перевод Н. Стефановича)

К сожалению, Петефи показал стихотворение той, которой оно посвящено. От соприкосновения жизни и поэзии — двух состязающихся между собой реальностей — произошло весьма поучительное короткое замыкание. Судя по всему, легкомысленная муза выказала столько готовности утешить поэта, что под конец при ее приближении последний спешил запереться у себя в комнате и, как пишет Шаш, «так ловко разыгрывал весь день, будто у него болят зубы, что моя матушка, испуганная его стонами, все готовила ему ромашку в мешочках — покуда Шандор, освободясь от вынужденного затворничества, не разразился громким хохотом».

Петефи как будто вновь становится подростком. Знаменитость, на которую пальцами показывали на пештских улицах, великий авторитет писательских сборищ в «Пилваксе» получает признание в Борьяде благодаря тому, что во время игр перед винным подвальчиком «удивительно стоял на голове и ходил колесом». Шаш, в заметках которого непременно присутствует медицинский налет, на этот раз отмечает: «Его костяк свидетельствовал о тренированности и возмужании. В борьбе он подминал гораздо более сильного на вид противника... вскакивал на неоседланную лошадь столь же уверенно, сколь и на оседланную, а вскочив, без узды умел направлять ее бег».

Владелица Борьяда почитает Шандора за родного сына, прелестные барышни называют его «маленьким дядюшкой». Отметим это. Ведь если бы на стороне народа его удерживала лишь бедность да память о личных обидах, он мог бы сейчас и удалиться постепенно от народа: его раны все чаще поливаются бальзамом, в душе набирается все больше примиряющих воспоми-

наний. К тому же усадьба Шашей (даже во времена моего детства народ все еще именовал борьядскую усадьбу «замком») — не первая, где поэт чувствует себя как дома. Вот сценка из тех времен, рассказанная младшим из братьев Шашей, Кароем, — улыбнемся и мы с ним вместе:

«Приведу лишь один случай, он характеризует тогдашнее наше житье-бытье. Как-то за обедом на стол был подан хворост. Сестры мои созорничали; тайком сунули в тесто древесную стружку, затем, уже за столом, пересмеиваясь, следили, как молодые люди, их гости, сперва тщательно старались разжевать стружку, а затем потихоньку, незаметно клали на край тарелки, полагая, что стружка попала в хворост случайно. Не избежал подвоха и Шандор — но потом матушка со смехом объяснила ему, в чем дело».

Однажды в усадьбе Шашей появился Лайош Киш Немешкерский, помощник нотариуса Шимонторненского уезда, и стал разглагольствовать о том, что порка есть самый правильный метод воспитания простонародья и управления им... Петефи, которого гость снисходительно называл «amice»¹, с возмущением отбросил ложку и, вне себя от ярости, убежал в излюбленный свой уголок, на пасеку. Под впечатлением этой сцены написан «Венгерский дворянин», — к тому времени Петефи уже настолько сложившийся поэт, что и под непосредственным впечатлением способен создать хорошее стихотворение.

Мне трудиться неохота.
Труд — презренная забота
Неотесанных дубин.
Я — венгерский дворянин!
.
Не пишу и не читаю... .
.
Ем и пью, как исполин.
.
Тьма долгов, а я один.
.
В замке древнем здесь помру я,
В рай войду как господин.
Я — венгерский дворянин!

(Перевод Л. Мартынова)

¹ Приятель (лат.).

Сейчас нам слышится в этом стихотворении просто задиристость. Но тогда оно еще обжигало, жалило — как о том свидетельствуют последовавшие несколько позднее ответные реплики.

(Случайно у меня есть некоторые сведения о дальнейшей судьбе «древнего замка» и рода Немешкерского, они относятся к тому времени, когда герой стихотворения и в самом деле уже «вошел в рай»; да будет дозволено мне здесь ими поделиться. Одним из памятных знакомцев моего детства был племянник — тогда уже и сам древний старец — упомянутого спесивого господина; единственной фамильной гордостью, реликвией долговязого, костлявого старика, семенившего по нашей деревне в бриджах и кепи, было это стихотворение, вернее, тот факт, что написано оно об одном из членов достойного сего семейства.)

Петефи провел в Борьяде две недели, ему довольно и этого, чтобы после пештских огорчений, вновь воспрянуть духом. Неудачное сватовство к героине «Жемчужин любви» тоже вылилось в стихотворение — «Проклятие любви»; произведение не слишком великое, как, впрочем, и сама неудача. Душа поэта обнажается перед нами опять в стихотворении описательного свойства. Это — «Развалины корчмы».

Именно с «Развалин корчмы» Алфёльд действительно становится в поэзии Петефи родиной свободы. Богатые, теснящиеся друг за другом описания отступают теперь перед потребностью поэта раскрыть свой собственный внутренний мир. Как и «Алфёльд», стихотворение начинается с уничижительных, почти программно звучащих слов в адрес горных ландшафтов, излюбленного места блужданий романтического воображения (защитники которого также успели уже обрушиться с нападениями на поэта). Весь лирический настрой стиха и здесь — просветленно-радостное парение, но на этот раз не над распростершимся внизу краем, а в выси чувств. Поэт почти хмелеет от чуть ли не случайно оброненной фразы: «Свободой веет здесь...» — и сразу же резко уходит в сторону от избранной темы, то есть в высоту. Позднее мы найдем великолепные примеры подобных взлетов в конце стихотворных его писем к Анталу Варади, а потом и Яношу Араню. Однако впервые свобода как символ появляется именно в «Развалинах корчмы».

Как жаль, что я наездами сюда,
А не в степи безвыездно всегда,
Один с собой, как может быть один
Аравии бескрайной бедуин.
Свободой веет здесь, в степной глуши,
Свобода ж — божество моей души!
Да и живу я только для того,
Чтоб умереть за это божество.
И я легко скажу «прости» годам,
Когда всю кровь по капле ей отдам.

(Перевод Б. Пастернака)

Петефи почти насильно заставляет себя вернуться к земному предмету своего повествования. Но он попросту не может оставаться внизу. Всем существом, всеми мыслями рвется он к своему «божеству», — если не может говорить о нем прямо, то хоть в скобках бросает многозначительный намек:

(О Венгрия, в течение веков
Сменилось сколько на тебе оков!) —

или обращается к нему же под предлогом воспоминаний о далеком прошлом.

Это параллельное, словно соревновательное изображение мира внешнего и внутреннего, тела и души, делает стихотворение до конца напряженным и очень живым. Но близится время, когда поэт целиком уйдет в мир внутренний. Об этом позаботился внешний мир: не природа, но общество.

В середине октября Петефи снова едет в Пешт, после «Жемчужин любви» у него опять уже накопилось стихов на целый сборник. Ему до зарезу нужны деньги, ведь надо еще помогать родителям! Гонорар он получает только от «Пешти диватлап», травля вытеснила его из всех прочих журналов. Он предлагает Вахоту новый договор — вместо прежних трех-четырёх форинтов за стихотворение просит пять-шесть форинтов. Вахот понимает, что поэт совершенно у него в руках, жадность соединяется в нем с глупостью. «...он заявил, что будет печатать мои стихи не в каждом номере «Пешти диватлап», а через номер; таким образом, за каждое стихотворение я получил чуть больше, но в целом за три месяца стал получать меньше прежнего. Тут Вахот заявил, что я могу печататься и в других журналах. Merci, monsieur! ¹ После того, как я поспорил с

¹ Благодарю вас, сударь! (*франц.*).

Остальными редакторами, я должен пойти к ним на поклон и сказать: «Господа, я пришел, примите меня!» И это посмел предложить тот, из-за кого я рассорился со всеми. Но я не сказал ни слова, а только молча бранился, метал про себя громы и молнии, покуда не забыл обо всем».

Забыть не удавалось долго. Враждебность окружила его неразрывным кольцом. В Пеште не только Вахот приготовил ему сюрприз. Прежний доброжелатель Игнац Надь удостаивает поэта специально ему посвященного пасквиля, пытается вышибить «поэзию тигра» из «цветущего сада Хадура»¹. Изданный в Лейпциге памфлет «Мадьярчики» именуется Петефи «одичалым талантом», «необъезженным жеребенком». О втором сборнике стихов в печати — ни звука, о «Жемчужинах любви» вспомнил лишь «Пешти диватлап», еще до разрыва поэта с Вахотом. Почему молчат благородные создатели патриотических гимнов, почему не поднимают голос Байза, Вёрёшмарти? У поэта уже нет денег даже на самую захудалую комнатушку.

Обращаясь к Мору Йокаи, которого он считает единственным своим верным другом («Меня не предал ты один»), Петефи пишет:

Темнеет небо надо мной,
Все ближе тьма, все день короче...
Настанет скоро ночь моя,
Но без боязни жду я ночи.
Ведь чем темнее ночь,
Тем пламень звезд светлей.

(«Мору Йокаи». Перевод Н. Чуковского)

Но и в этом холодном, неприкаянном мире, в нетопленной, сумрачной, окнами во двор, каморке, душа поэта устремляется высоко:

Погасло солнце. Мрак непроходимый.
Сегодня звезды не зажгутся вновь,
Но, как всегда, горит неугасимо
Свеча моя и к родине любовь.

(«О родине». Перевод Н. Стефановича)

(Нарушая торжественный лад, заметим ли, что и свеча эта в снятой на месяц каморке горела в кредит?)

¹ Хадур — языческий бог, которому, по преданию, поклонялись древние мадьяры; излюбленный персонаж романтической венгерской поэзии начала XIX в.

Широкий размах горького стихотворения Петефи о родине перекликается с пламенными строками патриотической «Песни Зрини» Кёлчеи¹; однако в грозном, застилаемом клубами дыма полыхании поэт опять как будто провидит свою собственную участь. Из рукописи стихотворения он сам изъял три строфы. Вторая из них заставляет задуматься над тем же, что уже прозвучало в заключительной строфе «Алфёльда». В душе этого молодого человека мысль об отчизне, о родной стране почти как навязчивой идеей сопровождается мыслью о смерти:

Отчизна, за тебя я жизнь отдам хоть дважды,
Судьба иная мне не по нутру, —
Я смерти за тебя, как счастья, жажду,
Живу мечтой, что только так умру.

(«О родине». Перевод Н. Стефановича)

Что это — стремление спастись от «патриотов» в объятиях родины? Спастись бегством к великой прама-тери — с жалобой, с почти детской жаждой скрыться, не быть? Мы едва можем понять это — тогда понимали еще меньше.

Против ожесточенной травли, против отлучения поэта протестует из всех прежних добрых друзей лишь один, да и то в личном письме. Теперь для Петефи все становится ясно: разоблачены не только «добрые друзья», но и все человечество. Последствия разочарования всегда больше, чем его причина. Первая же рожденная в его свете картина мира оцепеняюще ужасна:

Вот из канавы встал кладбищенской
Мертвец, грызя свой посох нищенский,
И зубы у него ломаются,
И кровью давится, и мается,
А все ж грызет в ожесточении...
Вот на скамейке для сечения
Лежит цыган... секут, дерут его,
Летит от истязанья лютото
С худого тела кожа клочьями,
Рычит он псом, молчать невмочь ему...
А там? Что это? Башня строится
Иль великан в могиле роется?
Нет, не в могиле он копается!

¹ «Песня Зрини» (1830) в форме диалога между героем венгерского народа Зрини и неким странником передает горькое разочарование Кёлчеи в нравственном и гражданском облике современного ему венгерского дворянства, опасения поэта за судьбу родины.

Колодец роет он. Валяется
Близ призрака ведро огромное,
Чтоб черпать крови влагу темную.
А вот мальчишка обезглавленный
Кричит судье: «Ты вор отъявленный!»
И голову он отсеченную
Швырнул судье в стекло оконное.
Вот виселица. А повешено —
Дитя! А мать хохочет бешено:
«Ой, дитятко, ты ноги свесило!»
Вцепилась в них и пляшет весело.
Вот девушку я вижу. Снится мне:
Спят жабы под ее ресницами,
И страшен нос ее, оседланный
Кровавой крысою ободранной,
А волосы — как черви длинные.
В объятия полужмеиные
Безрукий человек берет ее...

(«Я сплю...»). Перевод Л. Мартынова)

Социальный портрет не гиперболизирован, просто сгущен. Таким видится человеческое общество величайшему венгерскому поэту, когда, в конце ноября, он вновь перебирается в Салксентмартон. Денег у него ровно столько, чтобы хоть на этот раз проделать знакомый путь не пешком.

16

И снова он — преследуемый зверь, только теперь ему еще больнее: ведь его гонят из Пешта на глазах у всего света, загоняют назад в провинциальную берлогу. Стихи салксентмартонской зимы — непрерывное мучительное рычание благородного зверя, мечущегося между колочками за решеткой клетки.

Теперь внешние впечатления, едва коснувшись его души, тут же глубоко в нее погружаются, словно камень, брошенный в озеро; об их силе и весомости свидетельствуют лишь завитки волн. Боль тяжка, но она ни разу не подымает большой волны, может быть, оттого, что удары обрушиваются густо, словно град; чтобы устоять и отразить их, поэт называет причины боли в открытую, выхватывает то одну, то другую и показывает с мастерством и ловкостью жонглера. Единая большая боль, может быть, сбила бы его с ног; множество мук подстегивают к борьбе. Сегодня он элегичен, завтра насмешлив, на третий день — уже сыплет проклятиями. Он еще слишком молод, чтобы впасть в

отчаяние. Даже из глубины страдания слышится свежий, здоровый голос.

Цикл «Тучи», несколько стихотворений из которого позднее переложил на музыку восхищенный ими Ницше, выражает не отвращение к миру; это не клубящийся туман, но блеск молнии. Как известно, Петефи взялся за цикл «Тучи», когда зачитывался Шелли; по существу он увидел и воспринял у Шелли то, что жило в нем самом с давних пор: протест против всяческой людской подлости и самой великой подлости из всех — угнетения. В эту сторону и устремляется пресловутое его нетерпение и буйный нрав... «Тучи» кажутся песнями этакого славного Кориолана, который мстит за себя Риму тем, что искореняет в нем — не врагов своих — а самые грехи Рима, в том числе и первородные. Характерное состояние молодой души, метания, вызывающие лишь симпатию. Но эти метания выражает в стихах зрелый, сформировавшийся художник... И что ж из того, если возмущение, протест, непомерно громкие клятвы выглядят иногда слишком уж юношескими! Так и следует воспринимать их, только так мы сумеем их оценить по достоинству. Вспомним собственную юность, когда и мы понимали мучеников и Шопенгауэра, принимали мир всерьез и готовы были наказать его, покинув навсегда.

Хотел бы я покинуть мир блестящий —
Он в темных пятнах весь! Уйти бы в чашу.
И никого там, никого не встретить,
И слушать, как шумит в деревьях ветер.

Смотреть бы на рассветы и закаты
До той поры, когда и мне придется
Однажды закатиться, точно солнцу.

(«Хотел бы я...»). Перевод Л. Мартынова)

Молодые темпераменты распалются не от чувствительных романов для юношества, а от кардинальных великих задач человечества, от мысли, что не стоит так уж держаться за быстротечную эту жизнь. Они знают, как можно идти на смерть за такие отвлеченные понятия, как свобода, будущее и честь... но, к сожалению, способны только чувствовать, — когда же хотят выразить свои чувства вслух, то впадают в чувствительность, наговарят с три короба всякой всячины и, не найдя нужных слов, повторяют дурные банально-

сти: словом, еще не перебродив, лепечут на языке стариков. Перебродить же, увы, в большинстве случаев означает утратить как раз ту мощь, которая их столь завидно горячила.

Где голос, что заглох,
Где смех, и стон, и вздох,
Что отзвучали ране?
Где мысль, когда в сознание
Давно ее затерян след?
Куда девалась
Любовь и жалость,
Которых в сердце больше пет?

(«Где голос, что заглох...». Перевод Н. Стефановича)

В «Тучах» поэт уже «перебродил», однако в нем пылает тот же огонь.

О память —
Кораблекрушенья щепы!
Их вынес из пучины шторм свирепый,
Их выбросило на берег волнение!

(«Память». Перевод Л. Мартынова)

Самое существенное в этих стихах не философия, как ни поразительна временами и она; и даже не жизненный опыт.

Прекрасный синий лес былого давно остался за спиной.
Грядущего посев зеленый — во всей красе передо мной.
И все-таки с былым далеким я не расстанусь никогда,
А будущего не достигну, хотя вблизи оно всегда.
И вот бреду я по дороге, склонивши голову на грудь,
Здесь, в вечно длящемся сегодня...
Какой глухой, унылый путь!

(«Прекрасный синий лес былого...». Перевод Л. Мартынова)

Поэт обнаруживает, что вовсе не справедливость правит миром, что добрый друг, женщина способны изменить, что богач угнетает бедняка... чудовишно!

В тебе, о сердце, словно в подземелье,
Темным-темно.
Ты радостью бываешь еле-еле
Озарено.
Но праздничным лучам ты что готовишь?
Вдруг озарив твой пасмурный закут,
Лишь царство отвратительных чудовищ
Они в тебе найдут.

(«Мое сердце». Перевод Н. Стефановича)

Однако знакома ему и шутка:

Погост веселый! Вы слышали,
Что есть такой погост печали?
Но где ж его разыщем мы?
Погост — наш стол, где славно мы кутили,
Где крест стеклянный из пустых бутылей,
Бокалы, как могильные холмы.
Скорей туда уйдем,
Когда лишь скорбь кругом.

(«Погост веселый». Перевод Н. Стефановича)

Вряд ли найдем мы еще одно столь же достоверное изображение настроенности молодой души, как этот сверкающий каскад экспромтов, вершина которого и обобщенное выражение — стихотворение «Сумасшедший». Весь цикл — словно преддверие к этому произведению или прерывистое его продолжение. Ведь и в «Сумасшедшем» захватывает душу не только внешняя его сторона — то, чем, с мурашками по спине, восхищались два поколения и что с божественными воплями и вращением глаз играл Эгреш:

Вью бич пылающий из солнечных лучей,
Им размахнусь, вселенную бичуя.
Они застанут, но захохочу я...

Мне влили яду те, кто втихомолку
Мое до капли выпили вино.

(«Сумасшедший». Перевод Л. Мартынова)

Не рассудок, утративший контроль над собой, — то есть переодетая, жанровая фигура, шекспировский шут, — воздействует на нас сильнее всего, но отчетливо угадываемый за дикими гримасами ужас, написанный на молодом и славном лице: смотрите, вот он, ваш мир, от него впору сойти с ума или — или надо взорвать его целиком!

В воображении поэт совершенно справедливо избирает второй путь. Мы восхваляли до сих пор его последовательное устремление вглубь, поворот его внимания от внешних факторов к явлениям внутреннего мира. Но сейчас, когда он как будто полностью погружается в этот внутренний мир, нам следует все же остановиться, — во всяком случае, на территории искусства мы должны сохранить верность принципу золотой середины. Поэт же в двух произведениях отступает от этого принципа. Недостатки драмы «Тигр и гиена»

и романа «Вережка палача» в том, что автор полностью отходит от действительности, спешит поскорее излить свои взбудораженные чувства, даже не изобразить их, а просто выплеснуть из души накопившуюся там энергию. Нас не удивит, что чувства эти в обоих произведениях питаются местью. Персонажи драмы и романа ведут себя в жизни, то есть на бумаге, совершенно так же, как Эгреси — во время декламации «Сумасшедшего». Воздействие романтиков на сей раз не смогло дать толчка вдохновению, не повело за собой поэта. Да послужит ему извинением, что и драма и роман написаны в поразительно короткий срок и к тому же прозой, законами которой он владел еще недостаточно. Его подстегивала, помимо всего прочего, — как признавался он сам — крайняя нужда. Впрочем, в законах приобретения денег он и вовсе мало смыслил.

Драму «Тигр и гиена» Петефи предложил в Национальный театр 5 января 1846 года. Мы даем оценку этому произведению в сравнении со стихами поэта — жюри Национального театра сравнивало лишь с уровнем драмы того времени: пьеса выдержала испытание. Ее тотчас приняли, премьера была назначена на март. 16 января Петефи опять в Салксентмартоне. Денежные затруднения не уменьшаются. Тогда-то — за один месяц — он и создает свой роман, второе произведение, написанное с полным пренебрежением к действительности и оказавшееся столь же неудачным, как первое. Но в то же самое время — одновременно с романом — рождается поэма «Волшебный сон». Петефи и здесь уходит от реальности, но совсем иначе — и создает истинный шедевр. Это ощущается с первых же строк. И здесь неосознанно лейтмотивом звучит картинка детства, детская жалоба.

Я лодочник на бешеной реке.
Взлетает вверх и вниз моя лодочка,
Как колыбель, которую в тоске
Качает нянька в злобе на ребенка.
Ты — нянька злоющая моя, судьба!..

А я устал. Где берег? Далеко?

Тот самый безмерный гнев, то чувство, которое сделало атмосферу романа и драмы столь удушающей, а персонажи их — вялыми, здесь под покровом поэзии превращается в чудесную возвышающую силу: поэма

«Волшебный сон» парит над действительностью, будто сказочный воздушный корабль, и какие просторы, какие перспективы открываются с него! Это самое смелое произведение нашей поэзии: венгерский стих, пожалуй, никогда больше не взмывал в такие космические высоты вдохновения.

Действительность здесь нужна уже лишь для того, чтобы воображение, отталкиваясь, взлетало с нее, а потом тихо на нее же опускалось. Мир «Волшебного сна» выстроен не ведающей преград, достигшей полновластия мечтой, силой и вкусом гениального ума. Сверкающий и ажурный этот мир возводится, вырастает на наших глазах, словно под гипнотическим взглядом точного волшебника.

Стихотворение очень стройно и цельно, но, я уверен в этом, создавалось не по обдуманному заранее плану. Петефи живет в поэме и творит ее, строфу за строфой; он грезит прямо на наших глазах и позволяет увлечь себя парусам грез, сна наяву.

Фундамент поэмы — тот же душевный настрой, что и в «Тучах».

Ни берега, ни бездны. Даль небес
Да волны в лодку хлещут. Неужели
Нельзя ни в омут, ни на волнорез,
Ни умереть, ни твердо стать у цели?

Это — в точном виде отрочество, образ первой молодости. Тьма, утомительные, выматывающие душу метания в стремительном потоке событий и страстей; ни утешения, ни надежды — лишь вечная, бесполезная борьба.

Чей это голос? Что за дивный звук
Вплетается в привычный гул течения?
Чей дух, отбив весь круг геенских мук,
Уходит к небу, получив прощенье?
Ах, это лебедь тянет надо мной
И запекает гимн перед кончиной.
Воспомянь, задержись, стой,
Как замиранье песни лебединой!

Стихотворение здесь взвигается чудесным лётном сказочной птицы — к высотам чистой лирики Шелли. Поэма переходит в повествование, но то, о чем она рассказывает, настолько дивно пронизано, перевито волшебной-тихой поэзией, что мы и без оговорок понимаем: в жизни такого не было никогда; в поэме же

воплощается то, о чем грезил некогда влюбленный юноша, его мечта здесь обретает плоть и кровь и торжествует над действительностью. Никто не слышал песни лебедя, но красивая легенда все же живет неувыдаемо, более живая, чем некоторые вполне реальные явления действительности; и мы восприняли бы как нечто совершенно естественное, если бы в какой-нибудь осенний вечер над нами проплыла стая поющих лебедей. Такова же печальная и ободряющая поэзия «Волшебного сна».

Темнело. Солнце, тучи золотя,
Садилась за лиловые предгорья,
Вставал туман и подползал, пыхтя,
Лугами, как по высохшему морю.
В лучах зари утес горел огнем,
Подобно трону под багряной тканью.
Счастливые, стояли мы на нем
Четой венчанной в час коронованья.

(Перевод Б. Пастернака)

Как реальную действительность поет он то, что есть лишь мечта, и хотя умом мы это знаем, но, околдованные звучанием песни, и сами принимаем ее за нечто более реальное, нежели сама действительность. Не Амалия Хиттиг и не Роза Тоот, любовь из Чёнге, оживают здесь, а нечто гораздо более чудесное: сама первая любовь. Невозвратная юность возвращена волшебством поэзии. На пути Петефи от изображения внешней действительности к изображению тончайших движений души это — наивысшая точка.

Внезапно он обрушивается вниз, в мир будней. Перебелив два новых произведения в питейном зале салксентмартонской корчмы, он снова объявляется в Пеште. В первый миг леденящая атмосфера вокруг него как будто теплеет. Друзья-приятели слетаются вновь, да и журналы словно признают, что зашли слишком далеко.

Однако Петефи не из тех, кто способен закрыть глаза на человеческую подлость, вне зависимости от того, направлена она против него или нет. Сверхчувствительные души вообще испытывают отвращение к грязи. Обиды, нанесенные ему лично, поэт, пожалуй, и простил бы, но испытания лишь закалили его, и теперь он

из принципа не может отступить. Он меряет людей собственной меркой: однажды уличив человека в непорочном поступке, навсегда теряет к нему доверие. А разве французская революция среди римских добродетелей не ставила превыше всего строгую нравственность, *vertu*? И тотчас за тем — прямоту, мужество?.. Не будем забывать о том, что Петефи протестант: тогда это означало еще — пуританин... Но что, если из-за этой своей нравственной брезгливости поэт в конце концов останется один как перст? Пусть будет так, он и один устоит, не сдастся! Бесчисленные раны, полученные из-за праведной щепетильности, душа — так уж заведено — лечит гордостью.

В номере «Пешти диватлап» от 29 января содержится любопытное сообщение: «Общество Кишфалуди» намеревалось избрать Петефи своим членом; но так как стало известно частное его заявление, что честь эту он не примет, предложение даже не было поставлено на голосование». Мы можем представить себе горькую гримасу, с какой поэт там, в питейном зале салксент-мартонской корчмы, принял весть об уготованной ему награде. Награде? В январе удалось опубликовать всего лишь два стихотворения: его литературная деятельность в течение целого месяца публикой или обществом — если угодно, родиной — вознаграждена всего десятью форинтами. (В феврале — те же десять форинтов.)

А ведь уже в то время, проговорив хотя бы две минуты о литературе, невозможно было, нравилось это собеседникам или нет, обойтись без упоминания его имени. Даже одна только книга стихов Петефи расходуется в большем количестве экземпляров, чем сборники всех прочих поэтов, вместе взятых. Под этим впечатлением издатель Хартлебен покупает и «Веревку палача», к тому же сам Этвёш рекомендует ему поэта.

Первым высказывает свое мнение о романе цензор, старый Резета. Противозаконного он в нем ничего не находит, но антихудожественного — с избытком. Он пытается отговорить поэта от издания романа, а когда тот, самолюбиво вспыхнув, признается, что должен опубликовать его хотя бы из-за денег, предлагает сто пятьдесят форинтов в долг с рассрочкой на десять лет. Это сумма, обещанная Хартлебенем. Такие цензоры, такие люди губили тогда литературу... Поэт не принимает

трогательного предложения, роман выходит из печати, и в него буквально вцепляется — не публика, правда, но критика.

Зачем отрицать, поэту нужны деньги, именно деньги; да и старики в Салксентмартоне задолжали, их вскоре выкинут из корчмы, откажут в аренде. Свои суровые принципы — прямодушие, высокие нравственные обязательства человека — поэт применяет не только к окружающим; он считает своим долгом не оставить стариков в беде. Против уз (семейных уз) и против авторитета (отцовского авторитета) восставать следует в других случаях. Его бунт идет от мужественной прямолинейности, а не от того болезненного самолюбия, которое столь часто с нею смешивают.

Гонорар за роман целиком переправляется родителям — но там уже давно готово место и для тех денег, которые принесет драма. Увы, она не приносит ничего.

На сколько-нибудь приличное вознаграждение автор пьесы может надеяться лишь в том случае, если его произведение исполняется вне абонементов. Венгры наводняют Пешт и свой первый Национальный театр только во время ярмарки; таким образом, самое благоприятное время для премьеры — внеабонементный спектакль накануне ярмарки. Постановка «Тигра и гиены» назначена была как раз на это время. Но тут, как на грех, Сиглигети предложил театру свою пышную народную драму «Тайны шкафа», и дирекция предпочла перед ярмаркой дать ее, на следующие же внеабонементные дни назначила ряд концертов и бенефисов; драма Петефи отодвигалась все дальше. Наконец настала и ее очередь, но это был абонементный день, суббота. Поэт увидел в проволочках козни врагов и забрал из театра незадачливое свое детище. «Бойтесь провала», — громко перешептываются «доброжелатели». Откровенным заявлением Петефи отражает сплетни. Ему нечего скрывать: «Возможно, моя пьеса и провалилась бы, будь она поставлена; однако же из-за этого я не забрал бы ее назад, ибо, как ни больно, обстоятельства мои таковы, что ради нескольких сот форинтов вознаграждения я перенес бы провал моего произведения. Но неуважения не потерплю ни от кого, не только ради нескольких сот, но даже ради нескольких тысяч форинтов...» Демулен прочищает горло.

Его положение — как и положение всякого венгерского писателя, который желал прожить литературным трудом, но не намерен был перо свое сделать предметом торговли, — действительно отчаянное. В печати находятся еще две его книги, но и сейчас он не может позволить себе потратиться на телегу — переехать в Пешт, центр духовной жизни. Словно какой-нибудь агент по продаже или коробейник, он каждые две недели месит дорожную грязь между Пештом и Салксентмартоном, затем — Пештом и Дёмшёдом, куда этой весной перебрались его родители; их положение опять ухудшилось. Ему решительно не к кому обратиться.

Он предлагает Вахоту новое соглашение. Вахот с июля аннулирует даже прежний договор. Петефи, как и все его товарищи по ремеслу, полностью зависит от каприза издателей. Редакторы насмешливо выжидают, когда же он смирится, пойдет к ним на поклон.

Петефи мучат не только материальные заботы. Пока двери журналов перед ним закрыты, его популярность и поэтическая слава в опасности. От него требуется всего-навсего две-три умные улыбки, два-три примирительные рукопожатия, и все переменялось бы в мгновение ока — его осыпали бы деньгами и, что еще дороже, лаврами. Это диктуется, собственно, даже не только необходимостью, но и разумным эгоизмом художника. Кто смел бы обвинить его в приспособленчестве за то, что он делал все возможное для обнаружения своих произведений?

Мы не знаем с точностью, что он чувствовал в этот период, от которого не осталось ни одного письма. Но в стихах все еще трепещет смятение «Гуч», понемногу утихая. Вспомним здесь никогда и нигде обычно не цитирующийся шедевр — в доказательство того, что даже в наследии Петефи еще можно обнаружить малоизвестную жемчужину!

Как на летнем небе бродят
Облака в извечной смене,
Так приходят и уходят
Наши чувства и влеченья.

Что их гонит и откуда?
Время их пускает в ход,
Время двигает их грудю
Ветром вечности вперед.

Облака любви и страсти —
В громе, молниях и ливне.
Тучи дружбы — дней ненастья
Бесконечных заунывной.

Если ж к радости природы
Солнца луч на миг блеснет,
Вновь обложит непогода
Облаками небосвод.

Туча может быть и белой,
Но ложится черной тенью.
Доживу ль, чтоб поредело
В небе их нагроможденье?

Чтоб в нахлынувшем мгновенно
Блеске солнечных лучей
Стали облака, как стены
Сказочного замка фей?

Но когда-нибудь зардеют
Облака любви и дружбы,
Тут и время подоспеет
Сослужить одну мне службу.

В этот час к моей кровати
Кликните духовника:
Солнце только на закате
Зажигает облака.

(«Как на летнем небе...». Перевод Б. Пастернака)

Боль вызревает, и элегического настроения стихи рисуют не швыряющегося небесными телами Лира, а тихого и грустного юношу, сетующего, что никто его не любит... В следующем большом произведении Петефи, поэме «Пишта Силай», простодушный крестьянский парень топит наглого барчука, городского хлыща — соблазнителя в общем-то довольно падкой на соблазны его нареченной.

Но поэта занимают не только подобные пасторали. У нас имеются свидетельства, хотя и не из области поэзии, что в эти месяцы он имел возможность глубже понять устройство общества, игру сил, которые движут духовной и экономической жизнью — или, как выразился бы он, судьбами отчизны. В марте Петефи организует забастовку венгерских писателей. Первую и, увы, последнюю за все время существования литературы.

Он, бесспорный вожак поколения, осознает свое призвание. И не только во имя защиты общих мате-

риальных интересов сплачивает вокруг себя лучших из лучших. Именно сейчас подбирается та духовная гвардия, которая при первом же случае по собственному побуждению ринется на штурм, сомнет бастионы. И начнет ту битву, которая без такого штурма, быть может, и не началась бы вовсе.

Какую независимость — национальную или экономическую — нужно отстаивать сначала? Вот вечная дилемма народов, находящихся под колониальным гнетом. Вульгарные материалисты, а также угнетатели, которые по необходимости являются самыми низменными и вульгарными материалистами, утверждают: экономика, благосостояние, порядок — прежде всего. С точки зрения моралистов, подтверждаемой и историей, всякая свобода — мираж и туман, если она строится не на почве национальной свободы. Докладчиком по этому вопросу, и в философском смысле столь значительному для прошлого века, на кафедре мира стоило бы пригласить маленькую Венгрию: ведь сколько уже освободительных войн, вспыхивавших иногда по нескольку раз в столетие, она проиграла, избирая то один, то другой путь!

В четвертом десятилетии века эта драматическая, уже хорошо известная во всех возможных своих поворотах дилемма начинает вырисовываться вновь. Люди с тревожным и одновременно самоуспокоительным интересом, уже как посвященные, взирают на события, словно видят пьесу неизменно возвращающегося к одной теме автора: внешне она вроде бы и нова, но, когда список действующих лиц прочитан и место действия названо, кажется в чем-то давно знакомой.

Протагонисты обоих направлений — мужи классического образца, шекспировской силы. Интерес к ним усиливался тем, — это замечено было, вероятно, после первых же их столкновений, — что представителем партии постепенного прогресса, сторонником осторожности оказался человек экспансивный, поэтически, романтически настроенный революционер по натуре, в то время как его противник — глашатай моральной бескомпромиссности и революции — был в повседневной своей

деятельности человеком упорным, педантичным, осмот- рительным, словно какой-нибудь коммерсант. Первого, Иштвана Сечени, страна до какой-то степени уже зна- ла — вернее, по большей части лишь полагала, что знает. Второй, Лайош Кошут, лишь теперь начинает проявлять себя в полную силу. Не только нация, но и сами они чувствуют, что в ходе великих политических событий, о приближении которых говорили тысячи признаков, которые предрекались все чаще, сцена исто- рии Венгрии будет принадлежать им. Как в хороших пьесах, они буквально из уст друг друга перехваты- вают реплики, вежливо, но с такой страстью, в которой уже вибрирует напряжение великих столкновений. Оба — образованные, одаренные, зрелые люди. Достой- ные противники. Они с уважением относятся друг к другу, ведь оба ощущают каждым своим нервом: тот ли, другой ли — но один из них останется на подмост- ках истории. Как были бы они поражены, узнай каким- то чудом предвидения то, что знаем мы благодаря науке оглядываясь назад во времени: что великое действие с двумя персонажами станет действием с тремя персо- нажами; что этот странного нрава «народный поэт», который даже младшему из них — Кошуту — годится в сыновья, также выступит на исторической сцене, но совсем по-иному, на свой образец.

То, что в ряду свобод первое место по праву при- надлежит свободе национальной, редко можно прочув- ствовать так явственно, как на примере совместного опыта этих трех людей, трех жизней, трех разных ми- ровоззрений.

Всех троих именно исповедание догмата свободы сделало европейцами.

Этот догмат пленителен: все и вся, будучи свобод- но, тем самым уже и добродетельно, ибо изначально чело- век и мир исполнены добра. Следовательно, блаженст- ва на земле, как и на небе, нужно лишь по-настоящему пожелать.

Мы можем представить себе влияние этой мысли в стране, где государственная власть, орган, призван- ный защищать ее независимость, уже в течение веков дееспособна лишь время от времени, да и то на какой- нибудь десяток лет, в период той или иной освободи- тельной войны; где, в результате этой роковой отста- лости (роковой, ибо зависевшей от внешних причин),

свирепствовало множество видов национального и личного подавления. Хмелящее воздействие новых идей безмерно усиливалось вестями из западных стран о том, что некоторые из них где-то уже претворены в жизнь. Мы упоминали ранее об исключительно живых связях, которые Венгрия, через своих проповедников-протестантов, имела с Западной Европой — Швейцарией, Голландией, Англией — даже в самые жестокие периоды турецкого и габсбургского засилья. Фанатик-унитарий из секеев — Фаркаш Бёлёни — в 1834 году для вящего утверждения в вере добрался до Америки. В книге, где он рассказывает об этом путешествии, Бёлёни называет Америку счастливой страной, ибо там даже понаслышке не знают о дворянских привилегиях и обездоленном крепостном крестьянстве — «поскольку каждый человек там рождается равно свободным и независимым» и «у каждого человека, каждого гражданина в том обществе равные права». Но путешествуют и привозят домой новые речи, иной раз и против собственных намерений, не только протестанты. Если верно, что принципы Французской революции французские слуги усвоили от своих же остроловов-господ, то что-то подобное происходит и у возвращающихся домой с запада венгерских аристократов. Путешествуют теперь и буржуа. Как полагается побродить по свету подмастерьям ремесленников, точно так же будущие отечественные деятели должны теперь хоть немного поездить, повидать жизнь в иных краях. Чрезвычайно характерная деталь: осматривая достопримечательности больших городов, почти все они первым делом изучают тюрьмы, в полном убеждении, что желают изменить состояние отечественных темниц. В действительности они ощущают тюрьмой самое свое отечество.

Еще сильнее хмелят вести, что приходят из соседних порабощенных стран, вести даже не об осуществлении заветных идей, но о продолжении грез. Габсбургский дом так же деспотически попирает Северную Италию, как и Венгрию; итальянские патриоты так же чувствуют себя в тюрьме, как и венгры, но благодаря освободительному движению, благодаря «Молодой Италии», нация там уже на ногах. В движении «Молодая Германия» просыпается и немецкая свобода. Мадзини ратует за «Молодую Европу». Может ли остаться в стороне омолаживающаяся венгерская нация?

Организатором обуреваемых этими идеями венгров стал Кошут.

Идею Габсбургской империи подсказал дух истории, чуть ли не по учебнику Гегеля; все народы от Вероны до Кракова — главным же образом скученные в Придунайщине, вклинивающиеся друг в друга народы — связывает действительная идея содружества. Им нужны были бы только хорошие организаторы, настоящие правители. Но габсбургская династия всегда столь же отличалась ловкостью, сколь и бездарностью. Особенно в ту эпоху, которая знаменовала собою начало ее конца. Сегодня уже без колебаний можно установить, что империя Габсбургов погибла от двух ран, двух ударов: первого, нанесенного ею итальянскому народу, и второго, обрушенного на венгерский народ, — которыми она в конечном счете угодила в себя.

Она неспособна была омолодиться, хотя бы по примеру Англии или Франции Гизо. Это тем более странно, что ведь среди ее традиций была и такая: стоило аристократам национальных меньшинств проявить склонность к олигархии, как их тотчас ставили на место с помощью собственных крепостных и национальной буржуазии. В эпоху «Молодой Европы» Вена правит через своих олигархов, к тому же сплошь глубоких старцев. Государственный совет, который управляет империей вместо умственно неполноценного Фердинанда V, уже в начале сороковых годов состоит из нескольких самовлюбленных, маниакально-болтливых, раздражительных стариков; помимо ненависти к венграм, они сходятся лишь в одном — что монархия будет стоять до тех пор, пока держится абсолютизм, то есть их собственное, абсолютно косное деспотическое правление. Стоит поглядеть на личные подписи Меттерниха или Коловрата, двух главных распорядителей империи, ненавидящих даже друг друга: в целом — упрямство, в деталях — страх. Инстинкта у них нет, но есть нюх. Меттерних, хотя и разбирается в венгерских делах (его жена — венгерка), даже Иштвана Сечени считает подозрительным.

А Кошута, как будто шестым чувством угадав в нем будущего вождя «Молодой Венгрии», камарилья уже в 1837 году заключает в тюрьму. Три выстраданных в тюрьме года поднимают в глазах нации Кошута, ученика, над Сечени, учителем.

Первоначально оба они хотят лишь реформ, роста культуры, промышленности, благосостояния. Однако камарилья своими интригами окончательно убеждает не только народ и образованное мелкое дворянство, но и мыслящих представителей аристократии, что предпосылка ко всему этому — лишь полная национальная независимость. До сих пор Кошут, великолепно владеющий пером и ораторским даром, лишь взывал к императорскому двору, жалуясь на попрание конституции¹. По выходе из тюрьмы он становится символом всей национальной оппозиции. Собственно говоря, лишь сейчас он обращает свой взгляд на тех, кто вскоре сделает из него полубога: на миллионы крепостных крестьян.

Но в то время и Кошут еще не желает ничего иного, кроме как укрепления национальной экономики. Правда, Сечени уже в 1841 году обвиняет его в подготовке революции. Сечени не прав. Революцию классического образца «подготовить» невозможно, разве что сверху — то есть непроходимой глупостью власть имущих, поскольку революция всегда есть взрыв негодования, протест, то есть ответная реакция. Революцию подготовило то, что в Вене правил слабоумный государь — нам незачем избегать этого слова, ибо оно фигурировало даже в медицинском заключении, — и кучка упрямых маразматиков-министров, в связи с чем даже кое-кто из кронпринцев говаривал: дальше так идти не может, надо что-то делать! Это «надо что-то делать» — одно из самых счастливых душевных состояний, какие может переживать нация. Все бродит в такое время, все пенится. Люди начинают спорить, читать, пересыпать речи стихами и создавать всяческие общества. Два великих соперника в венгерской истории наперебой затевают и организуют различные товарищества: «Общество поощрения промышленности», «Промышленное общество», «Общество по урегулированию Тисы», «Общество фиумской железной дороги», «Общество балатонского судоходства», затевают строительство Цепного моста — одним словом, ставят перед согражданами конструктивные, рассчитанные на долгие сроки задачи. Эркель соз-

¹ Имеется в виду так называемая «тысячелетняя» венгерская конституция, основы которой в письменной форме впервые были изложены, с учетом исторически сложившихся правовых норм, в 1514 г.

дает оперу «Ласло Хуняди»¹, Этвёш — роман «Сельский нотариус», Ференц Лист колесит по родной стране, исполняя свои «Венгерские рапсодии».

Очевидно, под влиянием этих настроений у Петефи рождается план — создать независимый цех венгерских писателей. На первых порах даже он подступает к завоеванию свободы, если можно так выразиться, на почве экономики.

У писательской молодежи, решившей объединиться, задачи чисто литературные. Однако литературные задачи по всей Европе в это время почти не отличаются от задач политических, и молодежь, жарко споря об отвлеченных вопросах поэзии, по уши погружается в политику. Впрочем, не будем употреблять здесь этого слова, которое успело с тех пор обрести весьма сомнительную репутацию, и скажем так: желая послужить процветанию языка, поэзии, они видят в мечтах своих благополучие родины, или, как выражаются эти новые заговорщики, — счастье народа. Одно они не мыслят без другого, и тем правы: отдельно эти явления и в самом деле немислимы. Не потому, что без больших народных масс не может быть большой литературы, но потому, что ее не может быть без нравственного содержания.

Молодые писатели, которые собираются в «Комлокерте», «Пилваксе», в тесных меблированных каморках, их временных пристанищах, желают лишь одного: «возвысить язык народа венгерского до уровня литературы; в направлении и строе мыслей следовать национальным особенностям нашим». Для большинства из них, как и во всех странах Европы, первой и непреложной «национальной особенностью» является борьба за свободу и права для народа.

Короче говоря — нужен новый журнал. Ведь даже на чисто литературной территории они не имеют возможности по-настоящему отстаивать свои устремления. Из журналов, в которые они могут писать, один, «Хондерю», выслуживается перед аристократией; второй, «Элеткепек», хотя ориентироваться стал как будто на оппозицию, вертится флюгером, куда ветер дует; в третьем же, направление которого представляется молодежи наиболее близким (это — «Пешти диват-

¹ Первая патриотическая опера (1844) венгерского композитора Ференца Эркеля (1810—1893).

лап»), заправляет беспардонный рыцарь успеха... К тому же все три журнала публикуют литературные произведения в виде начинки: читателей своих они удерживают сплетнями да модными картинками. Следовательно, нужен такой журнал, который бы открыл путь новым дерзаниям, провел грань между журналистикой и литературой, а главное — даже случайно не опускался бы до выкровок. В довершение всего, журнал должен быть собственностью писателей, не только затем, чтобы они могли независимо ни от кого следовать своим целям, но и затем, чтобы не быть рабами предприимчивых деляг, которые кладут себе в карман тысячи, в то время как самим писателям не хватает на хлеб и даже на жилье в Пеште. Так и порешило «Общество десяти»¹.

Соглашение достигнуто было не просто. Поначалу с опаскою держались в стороне как раз те, на кого, казалось бы, более всего можно было рассчитывать, — Керени, Томпа... не показалось ли им, что общество уж очень прямолинейно следует тем ведущим принципам, за которые автор «Туч» получил столько похвал, а затем — упреков? Но в конце концов единство все же было достигнуто. Десять молодых писателей, самых одаренных и везде привечаемых, дали слово, по крайней мере, в течение года писать исключительно для нового журнала «Пешти фюзетек» («Пештские тетради»), который должен был выйти впервые 1 июля.

Теперь, когда они выступили, стало особенно явным, какие ключевые позиции завоевали эти молодые люди, почти юноши, в течение одного-двух лет и каким интересам они угрожали, сплотившись. Они представляли собою почти всю живую литературу. Их акция вызвала сперва праведное возмущение, а затем — форменный скандал. Редакторы, впрочем, будем называть их попросту работодателями, прекрасно понимали, кто там у них *spiritus rector*, то есть заводила. «Бунтари, — пишет «Хондерю», — наскучив, наконец, «грубым, нерыцарским, невежественным и прочая и прочая обращением, соединенным с деспотизмом», который якобы проявила журналистика, осмелившаяся неправильно

¹ Общество, созданное Петефи весной 1846 г., в которое вошли: Петефи, Палфи, Пак, Дегре, Оберник, Берци, Томпа, Керени, Лисняи, Йокаи.

понять новоявленного гения, прославляемого господами-конспираторами, а также не возносить до небес все без исключения порождения их умов и даже иной раз (о, ужас!) говорить им святую правду в глаза, — бунтари эти устроили заговор...» Вне себя от ярости, журнал в первую очередь обрушивается на неутомимого гения. Франкенбург¹ с вынужденной улыбкой ждет последствий.

Здесь во всей красе показывает истинную свою сущность Имре Вахот. Он перерывает все свои ящики и обнаруживает случайно залежавшиеся у него с прежних времен рукописи пяти писателей из «Общества десяти». Неизданные и, естественно, неоплаченные стихи и новеллы, о которых авторы успели забыть. Когда борьба достигает наивысшего накала, когда молодые пылко клянутся, что будут писать только и исключительно для «Пешти фюзетек», Вахот целый номер «Пешта диватлап» заполняет произведениями ведущих заговорщиков — просто так, чтобы «подшутить» над своими милыми, но неблагодарными мальчишками. Шутка едва не обернулась смертоубийством.

Петефи, дрожа от гнева, бросается к Вахоту и требует исправить содеянное: опубликовать признание, что поступить так не имел права. В противном случае писатели сами разоблачат его.

«Он же ответил, что если я всерьез посмею выступить, то он меня уничтожит... Я написал статью и в ней *simpliciter*² доказал, что напечатанное стихотворение Вахот украл у меня. Прочитав мою статью, он швырнул ее обратно, заявив, что печатать ее не станет, и назвал меня с глазу на глаз подлецом. На это я мог ответить только острием клинка или пулей. Я послал к нему секундантов, но он, после полутора суток оттяжки, наконец решительно заявил, что ни в коем случае не станет драться. Напоследок я ему сказал: «Оказывается, ты не только подлец, но и трус». Это — Вахот; возьмем на заметку рассказ о нем, нам еще придется встретиться с этим человеком. «Сперва он

¹ «Общество десяти» не получило разрешения выпускать собственный журнал; весной 1847 г. Адольф Франкенбург (1811—1884) пригласил участников распавшегося общества в свой журнал «Элет-кепек», с 1 июля редактором журнала стал Мор Йокаи.

² Попросту (*лат.*).

тебя восхваляет, возносит до небес (особенно если ты скромнен в своих денежных требованиях), а потом вытalkingивает пинком в зад и трезвонит на весь мир, что это он создал тебя».

Но, кажется, не одному Вахоту приходят в голову подобные шутки? Когда новый журнал уже в печати, после нескольких месяцев проволочек и задержек, выносит наконец постановление Королевский наместнический совет. Йокаи вспоминает: «Общество десяти» не получило разрешения открыть четвертый в стране литературный журнал. Тогда полагалось иметь патент на выпуск журнала, и кое-кто позаботился о том, чтобы более трех литературных журналов у нас не было». Ференци добавляет, что распространился слух, будто бы журнал, по крайней мере, между строк, намерен заниматься также и политической агитацией. Общество, как выяснилось позднее, к тому времени уже давно находилось под полицейским наблюдением. Забастовка писателей провалилась, но большой ее заслугой, как и всякой забастовки, было приобретение боевого опыта. Заговорщики, проявляя примерную дисциплинированность, остались вместе и тогда, когда их дело стало безнадежно. (Благодаря чему несколько месяцев спустя в надежде на лучшее будущее они могли вновь занять оставленные территории на вполне достойных условиях.)

Наместнический совет или его шпионы были правы: журнал наверное занимался бы не только литературой. Во всяком случае, их вожак, молодой поэт, готовится к этой акции более серьезно, чем требует просто выпуск нового журнала.

Судьба, простор мне дай! Так хочется
Хоть что-то сделать для людей,
Чтоб это пламя благородное
Не тлело зря в груди моей!

Огонь недаром в жилах мечется,
И сердце яростно стучит, —
Мольбой за счастье человечества
Любой удар его звучит.

*(«Судьба, простор мне дай!..»,
Перевод Л. Мартынова)*

Приближается завершение большого периода в поэзии Петефи. Как будто специально для историков литературы, он пишет стихотворение «Мои песни», давая

в нем самую точную, какая только возможна, характеристику своей и светлой и горестной лиры. Этот маленький, из шести строф, шедевр — словно квинтэссенция всего его предыдущего творчества. Всякий раз, когда поэта просят прочесть что-нибудь, он читает это стихотворение — даже спустя годы. (Годы! Ему остается жить всего три года!) Читает, вероятно, ради двух последних строф, в которых уже провидится новое направление его поэзии.

Вот в руках у нас сверкают чаши,
Но в цепях рука отчизны нашей.
И чем звон бокалов веселее,
Тем оковы эти тяжелее.
Песня-туча в этот миг родится,
Черная, в душе моей гнездится.

Что ж вы рабство терпите такое?
Цепи сбрось, народ, своей рукою!
Не спадут они по божьей воле!
Ржа сгрызет их — это ждете, что ли?
Песнь моя, что в этот миг родится,
В молнию готова превратиться!

(Перевод Л. Мартынова)

18

Даже в самые горячие дни организации журнала поэту приходится искать приют под родительской крышей; вполне возможно, что в то самое время, как его приверженцы спорили о видах на восстание, он, с головой, наполненной новыми идеями, помогал в Дёмшёде отцу уводить предназначенных на убой волов, а то и отвесить кому-нибудь фунт мяса. Отдельную комнату он снимает в деревне лишь на несколько недель, когда к нему приезжает его лучший друг Альберт Палфи. Палфи, главный «француз», и в одежде, и в мыслях ни на шаг не отстает от Парижа.

Сидя друг против друга в простой крестьянской комнате, молодые люди работают целые дни напролет. (Питаются они в корчме старого Петровича, но оба всякий раз платят за еду.) Петефи пишет поэму «Шалго»; Палфи, наблюдательный и острый на язык Палфи, будущий редактор якобинской газеты венгерской революции, учится; он явно готовится сыграть свою роль. Мы не случайно сказали — роль; Палфи пожирает книги по

истории французской революции и почти не в состоянии сделать выбор между множеством блистательных ее героев, найти образец для собственного поведения и деятельности в том великом перевороте, который рано или поздно непременно произойдет в истории каждой нации. Палфи хладнокровен и в то же время горяч. Он умеет проникнуть в суть вещей, за пылкими жестами увидеть человека и даже целый общественный слой. И притом со всем жаром юности верит, что мир можно спасти словом и разумом.

В селе Дёмшёд многие уже наслышаны, что у трактирщика сын — поэт, и любят поболтать с ним о том о сем. Это не так просто. Воспоминания свидетельствуют — позднее их дополняют все новые, — что тот, кого называли чудом природы, поющим легко, словно жаворонок, или диким гением, творящим в хмельном угаре, на самом деле был труженик, обладавший бесконечным усердием мастерового, железной волей и внутренней дисциплиной; он способен с утра до позднего вечера, не разгибаясь, сидеть над своими книгами и бумагами. То, что переносит он на бумагу, и правда свидетельствует о легкости его руки. Но мастеровые, ремесленные люди знают, какими усилиями и напряжением, каким долгим трудом обретается эта «легкость». Его работоспособность не менее удивительна, чем одаренность. Он «знает свое дело» в обоих смыслах этого выражения: старается каждую минуту использовать на выполнение своей задачи и выполняет ее хорошо. Его мозг так поглощен этим, что способен оттачивать сложившуюся строфу даже на ходу, даже на людях. Стихи свои, все без исключения, поэт знает наизусть.

Вечерами молодые люди, несомненно, обсуждали проделанное за день. Не самое направление мыслей Палфи могло оказывать влияние на Петефи — поэту давно уже не нужны доказательства преступности депотизма, необходимости и неизбежности возмездия. Достаточно было и того, что Палфи пересказывал ему прочитанное: «Histoire des Girondins»¹ Ламартина, революционные истории Мишле и Минье, «Histoire des dix ans»² Луи Блана и другие подобного рода издания, которыми, после Парижа, в течение многих уже лет более

¹ «История жирондистов» (франц.).

² «История десятилетия» (франц.).

всего зачитывались в Пеште. Рассказывал Палфи о полных проповеднического огня статьях аббата Ламенне, где справедливость зачисляется в святыни. Как свидетельствует Михай Хорват, «многие только ради этих идей осваивали французский язык».

Герои Французской революции захватывают чуткое сердце молодого поэта в первую очередь не подвигами своими, а, как мы уже упоминали, характерами, вернее, их проявлениями. Судьбу той или иной революции заранее можно предсказать, зная, в какой мере вожди ее — фанатики чести. Французская революция с этой точки зрения родилась в самый благоприятный момент. В противовес понятиям аристократии, жившей милостями короля, то есть крупным мошенничеством, буржуазия выдвигала некое спартанско-гугенотско-руссоистское пуританство. По вновь полюбившимся всему миру классикам недовольные слои общества изучали пресловутый римский характер, непоколебимость Муция Сцеволы, перенимали мечту о простой, но чистой жизни — словом, все то, о чем и современники Горация могли уже лишь мечтать на бархатных своих ложах. Люди действия принимали литературу всерьез: французское «patrie»¹ возводилось под указующим перстом Цицерона; за далью двух тысячелетий никто уже не различал в его филиппиках приемов подкупленного фискаля. Якобинцы вместо имен святых давали своим детям имена римских героев; на тайных собраниях выражение «honnête homme»² имело уже одно и вполне точное значение: «истинный революционер». Честь, самопожертвование стали самыми модными добродетелями. Большая опасность и не могла угрожать правившему классу, ибо «человек чести», ощущая честь свою незапятнанной, со спокойным сердцем совершал жестокости и никогда не пресыщался ими...

Патриот, новое слово эпохи, в Венгрии начинает угрожающе смыкаться с упомянутым «honnête homme». Молодые люди, подымая глаза от французских книг или рукописных переводов, видят свою страну в ином свете, чем ораторы «диеты», высказывающиеся за реформу гражданского права. Впрочем, они тоже видят очень многое, о чем не упоминают в речах своих, но что все же смутно грызет их души и впоследствии направит

¹ «Отечество» (франц.).

² «Порядочный человек» (франц.).

их действия по верному пути. Вопрос о крепостном крестьянстве еще не решен, но люди дальновидные уже понимают, что это лишь первый вопрос и, может быть, уже не самый важный. Свободные крестьяне деревень и сел Верхней Венгрии, которые в прошлом году не в состоянии были накормить поэта хотя бы куском хлеба, страдают не только оттого, что не имеют гражданских прав. Истинные патриоты, ратующие за народ, постепенно начинают понимать под словом народ не только крепостных.

В самом деле, кто из дворян, вернее, из имущих господ, забыл об ужасном крестьянском восстании 1831 года в северо-восточных комитатах страны? Ведь даже холера, преобладающая во утешение, как его причина, была лишь предлогом, лишь следствием истинной причины восстания — безмерной нищеты народа? Широкие массы венгров вовсе не столь «уравновешенны и рассудительны», какими их охотно рисовали тогда, да и позже. По словам Марцали, когда в 1809 году дворяне-повстанцы съехались в лагерь¹, их семьи в большинстве своем не посмели остаться дома, среди измученных ими же крепостных: боялись, что крепостные взбунтуются и выместят на них свой гнев. «Сейчас, — пишет Иштван Хорват, — наши господа сломя голову спешат укрыться в городах, спрошенные же о причинах отъезда, с дрожью признаются в страхе своем перед крестьянами». В сороковые годы настроения по всей Европе близки тому, что назревало еще в девяностые годы предшествующего века. Растет недовольство и во Франции среди тех, чье положение не изменили прошлые революции; на восток от Рейна к пробуждающимся революционерам — дворянам и разночинцам — также присоединяются новые слои. Грозные союзники.

В тот самый год, когда два молодых писателя в Дёмшёде рассуждают и спорят о революции, в Галиции восстает польское дворянство — подымается на защиту священной национальной свободы. Вена даже не шевельнула пальцем, только распространила хитрую ложь

¹ Имеется в виду дворянское ополчение, готовившееся в 1809 г. выступить против Наполеона, но возле г. Дёра позорно бежавшее от французов.

среди прикарпатских крестьян. И вдохновенные поляки обнаружили вдруг против себя не проклятых деспотов, а собственных крепостных, которые и уничтожили повстанцев с беспримерной жестокостью. А затем, по мановению венской камарильи, тотчас и утихли.

Потрясающие вести из Польши повергают в лихорадку и Венгрию. Крупнопоместное дворянство, ратующее за независимость, за *только* национальную свободу, внезапно осознает, что попало между двух огней, но, впрочем, не становится умнее, даже имея перед собой польский пример. Бескорыстные рыцари свободы несколько растеряны. Что это, уловка камарильи или слепота несчастного народа? Тем, кто серьезно относится к девизу «во имя народа», кому действительно есть дело до народа, самое время основательно заглянуть в себя. Пути расходятся, нужно выбирать между полусвободой и полной свободой, между политикой и идеалом. Но венгерским «*honnêtes hommes*» не в чем колебаться. Что говорили в подобных случаях римляне? «*Fiat justitia...*»¹ Вот конечный девиз революционеров того времени, всех истинных революционеров.

Молодой поэт относится к их числу. У нас лет сведений о том, когда именно свершился в душе Петефи поворот, — впрочем, это был даже не поворот, а лишь естественное развитие уже живших в нем настроений. В Дёмшёде, в доме супруги Яноша Ковача, он пишет длинную, предназначенную для печати поэму из рыцарских времен — «Шалго», в несколько мрачном байроническом духе (это мрачное мироненавистничество, как известно, не помешало и английскому поэту отдать жизнь за свободу); однако частное письмо Анталу Варради, теплое стихотворное послание, никогда не публиковавшееся Петефи при жизни, заканчивается иной мыслью:

И мира я уже не ненавижу,
А только гневаюсь я на него
За то, что столь труслив он, столь безгласен...
Украли счастье, держат под замком,
А мир не мстит тому, кто выкрал счастье...
Да! Мстить, как видно, и не хочет он
За все тысячелетние страданья!
Но начал верить я, что близок час,
Что славных дней рассвет блестящий близок.

¹ Начало латинской поговорки: «*Fiat justitia, pereat mundi*» — «Пусть свершится правосудие, хотя бы погиб мир».

Не нынче завтра, а они восстанут —
Народы мира, втоптаные в прах.
Да! Прогремят восставшие народы:
«В людей мы превратимся из рабов!»
Вот будет день прекрасный, но кровавый!
Таким и должен быть он, этот день!
Был водяной поток, придет кровавый,
Чтоб мир от грязи мог омыться весь,
От грязи, что на нем налипла густо...

(«Письмо Анталу Варади». Перевод Л. Мартынова)

Вот о чем сообщали тогда друг другу молодые люди, обмениваясь весточками о житье-бытье. Оправдание их кровожадности в том, что они не собирались жалеть и собственной крови.

Та же интонация звучит и в стихотворениях, написанных в Пеште, где Петефи, начиная с июня, задерживается сравнительно надолго. Его поэзия, добравшись до самых глубин души, вновь обращается к внешнему миру. Но теперь, под влиянием проделанного пути, поэт уже больше, чем природа, чем неодушевленный предметный мир, влечет к себе теплый мир живых чувств, человеческого общества. С поразительной быстротой овладевает он и его тайнами. После несколько галантного воспеваания богини свободы поэт с присущим ему верным инстинктом первое же стихотворение обращает к угнетенным, истинным охранителям свободы.

За плуг держась одной рукою,
Другой — он меч берет.
Народ наш бедный, добрый, — вот он!

Этот народ извечно проливает пот и кровь ради других. А между тем —

Ведь родина — лишь там, где право,
А прав лишен народ!

(«Народ». Перевод Л. Мартынова)

В стихотворении больше осознания истины, чем вдохновения, но именно так оно наилучшим образом говорит нам о духовном развитии поэта, о том, что понимает он под словом «родина», ради которой с такой легкостью относит к себе и слово «смерть». Даже после него никто не раскрыл лучше понятия родины — дома, оберегающего права и свободу всех, дома, в котором каждому есть место и дело, каждый имеет право голоса. *Каждый*, — следовательно, не только привилегированные

классы, но и народ. Родина это не крепостная стена, оберегающая от внешнего мира, напротив, она — ворота в мир, в его широкие просторы. Родина французов лишь красками забранной в раму картины отлична от родины венгров или итальянцев, — самая же рама изготовлена из одних и тех же идей. Самая совершенная родина та, в которой с наибольшей полнотой осуществляются эти всех равно обрамляющие идеи... Так обостренное национальное чувство смыкается здесь с противоположным полюсом — осознанием единства человечества. «Самое святое в мире — родина и человечество!» — так образуется единство из двойственного догмата поколения Вёрёшмарти. А что понимает эта молодежь под «свободными правами», детально выяснится в ходе бурных дискуссий. Для Петефи они уже и сейчас означают, наряду с правами гражданскими, право всех на хлеб, на землю, — то есть на самое насущное.

Необходимо недюжинное чувство собственного достоинства, чтобы в столь большом и разношерстном обществе взять на себя роль зачинателя движения, притом роль неблагодарную — обвинителя, исправителя нравов. Говорить от имени других — кто поручает такую роль человеку, или, выразимся проще, — кто дает ему веру в себя? Кто способен понять подлинный голос нации или народа? Как отличить больных зудом славы, маниаков-властолюбцев, охотников поудить рыбку в мутной воде от выразителей чаяний неизменно хранящего молчание народа?

Поэт уже довольно давно не пишет стихотворений в духе народных песен, но именно в этот период сильнее и отчетливее всего проявится его подлинная народность, такая, какой он понимает ее теперь сам и которая звучит по-настоящему не в лирических картинках вроде «То не в море — в небе месяц плыл», а в стихотворении «На виселицу королей!». Среди венгров не было еще никого, кто так абсолютно, каждым своим нервом и каждым движением души, был с народом, до такой степени слился бы с нацией, которую он, кстати, отождествляет с народом. А народ для Петефи — повторить это, полагаем, не будет лишним — те, кто трудится.

«Люблю я, как никто, пожалуй, // Еще на свете не любил...» — доверительно сообщает поэт; но растроганная

улыбка постепенно гаснет на лице привыкшего к такому зачину простодушного читателя: «Одну изгнанницу-богиню // Люблю, превозношу и чту». Эта богиня — не земная дева, но сама свобода. Опустясь на колени, поэт подносит ей цветы. И — вот она, все та же преследующая его мысль:

И тут палач ударил сзади,
Скатилась голова м о я , —
Взамен цветка своей отраде
Ее поднес с поклоном я .

(«Люблю я...». Перевод Б. Пастернака)

На сей раз за время пребывания поэта в Пеште в его жизни не происходит ничего необычного, лишь углубляются его взгляды... Жилье — опять тесную и сумрачную каморку, окнами во двор, — Петефи снимает вместе с Паком. Он уже не только читает, но и переводит Беранже. Вслед за французским языком изучает итальянский. Материальное положение все то же, разве что с проблемом надежды: Эмих берется издать полное собрание стихотворений Петефи с новыми гравюрами Барабаша. Общественная жизнь в застое; в «Пилваксе» недовольно, даже высокомерно отмахиваются от клятвенных заверений оппозиции добиться реформ: молодые люди, поэты, уже давно решили, что помочь делу может только революция. В сентябре открывается государственное собрание в Эрдее, оттуда еще может повеять чем-то стоящим, там люди потверже духом, вот бы с ними объединиться.

Эрдейцы действительно несколько опередили Пешт; на тесном пяточке, в великом смещении разных национальностей, вожакам венгров гораздо глубже видится существо проблем. В великолепной бычьей голове Вешелени уже возникает видение: «ангел-мститель», который вот-вот «начнет метаться» по стране.

Эрдей, весь из разрушенных замков и крепостей¹ — единственная часть страны, где еще не бродил молодой поэт. В Пеште его ничто не держит, разве только нищета. Где проводить время, ему решительно все равно; впрочем, прожить в провинции даже немного легче: там у него самые преданные приверженцы, повсюду он

¹ После окончания турецких войн (XV в.) принявшие венгерский королевский престол Габсбурги, боясь влияния крупных венгерских феодалов, повелели снести с лица земли все крепости, воздвигнутые в свое время на окраинах страны.

желанный гость. Петефи удается наскрести немного денегат, и в начале августа вместе с Оберником он отправляется в Коложвар¹. Первая остановка — Сатмар: поэты Эндре Пап и Игнац Ришко будут счастливы видеть его своим гостем.

Когда Петефи приезжает в комитат, там в самом разгаре великое событие — выборы на замещение различных комитатских должностей. Привычная, чисто венгерская атмосфера выборных шествий, шумихи и суеты, поднятой прислужниками невеж-дворян, приводят в язвительную ярость поэта — сына народа. Впечатления переплавляются в поэзию — путь прямой как стрела. С этого пути не сбивает Петефи даже второе величайшее впечатление, поворотное событие в жизни, которое ожидает его здесь, в Надькаро: настоящая, великая любовь. Оба впечатления сплетаются, одно тотчас приводит на память другое. Юлию Сендреи Петефи завоевывает славою поэта, всем своим поведением, якобинским духом, не ведающим ни святынь, ни авторитетов... Иными словами, он добывает себе невесту, явившись перед нею в облике гордого сына народа.

19

Атмосфера территориально небольших литератур напоминает атмосферу небольших городков: о живых — сплетни, о мертвых — или хорошо, или ничего. Кого подхватывает слава, тот ангел либо дьявол, переходных стадий нет, разве что — отмывание дьявола добела, воздаяние почестей; последнее, как правило, делается столь же пылко и предвзято, как прежде — развенчание, народное осуждение. Предатели обращаются в спасителей нации, блудницы — в великомучениц и наоборот. К каждому из них мы относимся сугубо лично.

Ныне Юлия Сендреи для нас — идеал чистоты. Но после поношений и хулы, возводимых на нее двумя поколениями, да не введет нас в заблуждение и новоявленное покаянное рыцарство. Не будем ставить ей в вину те роковые десять дней, остававшиеся от года траура, когда она во второй раз вышла замуж, — нация менее всего была склонна простить жене Петефи именно то, чему учил ее сам поэт: презрение к светским

¹ Ныне — г. Клуж.

условностям; однако же мы напрасно бы стали закрывать глаза на другое: Юлия все-таки слишком охотно общалась с палачами, которые хотя и не убили ее мужа собственными руками, но сделали бы это с наслаждением, представься им удобный случай. Никто не в праве бросить ей упрек в том, что она не осталась верна погибшему мужу, — но почему не осталась она верна его взглядам? И судьба их сына Золтана... Когда дочь Юлии Илона Хорват десятилетия спустя защищает ее память, она и сама признает «эксцентризм» матери — но разве не под влиянием поэта стала Юлия действительно эксцентричной, даже если у нее и ранее была к тому склонность? Взглянем же на все непредвзято.

Галантная кисть Барабаша смягчила и черты Юлии. По более поздним фотографиям мы можем без труда представить себе головку той юной девушки, которая восьмого сентября — между пятью и шестью часами полудни в саду Тереи, а затем вечером, на комитатском балу, пленила поэта. Под короною темных волос — свежий чистый лоб; слегка скуластое, слегка угловатое монголоидное лицо; карие миндалевидные глаза, не раскосые, но чуть заметно косящие; их ускользающий взгляд казался мечтательным, одухотворенным даже тогда, когда душа Юлии была погружена в самые будничные заботы. У Юлии также было тяжелое прошлое; ей довелось испытать немалые потрясения еще до того, как она попала под чары поэта.

Игнац Сендреи не любил свою жену. Когда Арпад Хеллебрандт, зять Дюлаи¹, восстанавливая позднее семейную хронику, расспрашивает отца Юлии, тогда уже глубокого старика, тот охотно вспоминает и рассказывает о молодых своих годах, но, сознательно или просто оговорясь (что тем более характерно), вместо имени жены без малейшей запинки называет имя той девушки, за которой пылко ухаживал в юности. Должно быть, примерно так же относились к несчастной Амалии Галович и при ее жизни. Образ этой женщины никак, даже самым бледным контуром, не вырисовывается перед нами по заметкам Юлии или воспоминаниям поэта. Из письма Мари Тереи, подруги Юлии, мы знаем, что в начале 1848 года Сендреи хотел развестись с нею. «...их примирили, но я этого не могу одобрить,

¹ Пал Дюлаи был женат на Марии Сендреи, сестре Юлии.

думаю, было бы лучше, если бы воля отца твоего свершилась». Почему? Во время бурных событий, разыгравшихся в эрдёдском «замке», лишь изредка слышны были рыдания этой «бледной, с густыми бровями женщины», как скупно описывает ее Жигмонд Пап; она ведет себя словно душевнобольная.

Всю любовь Сендреи обращает на Юлию. С той минуты, как Юлия возвращается из скромного пансиона фрау Тенцер, известной, впрочем, под более певучим именем Лиллы Лейтеи, все в эрдёдском замке, от которого остались в целости лишь амбары и квартира управляющего имением, вертится вокруг нее. В пансионе, помимо немецкого языка, рукоделия да игры на фортепьяно, Юлию обучали только чтению — чтению романов, иначе говоря, в соответствии со взглядами эпохи на воспитание девиц, мечтательности. Барышня? В Уймайоре, что близ Кестхея, и сейчас еще можно видеть дом, где она родилась. Двухкомнатная квартира управляющего, затерянная среди батрацких лачуг. Но в Эрдеде Юлия живет даже не в усадьбе — в замке! Хотя и здесь она лишь дочь служащего имения со средним достатком. Замок находится за тридевять земель от ближайшего более или менее заметного культурного центра; высится над бедной швабской деревушкой да считанными хибарами батраков, в забытом богом краю. У молодой девушки здесь вдвойне есть причины для грез, — иными словами для честолюбивых помыслов, для чувства неудовлетворенности. По-французски она, собственно, знает лишь столько, чтобы надписать адрес на конверте, но пользуется этими познаниями даже тогда, когда отправляет письмо всего-навсего в Grand-Карой¹, единственной своей подруге «Mademoiselle Marie de Tereu»², которая знает по-французски не более ее. Все желания, даже капризы Юлии, если в Эрдеде можно иметь капризы, исполняются свято. Когда она думает о замужестве, то в грезах ей, несомненно, является герой, способный осуществить ее главный каприз, столь естественную девичью мечту: забрать ее из этой пустыни с собой в тот мир, о котором она столько мечтала, столько читала в книгах и который — поспешим

¹ Имеется в виду ближайший от Эрдеда городок Надькарой (pau — по-венгерски, как и grand — по-французски, значит «большой»).

² Мадемуазель Мари де Терей (франц.).

заметить — существует лишь в скверных романах. Подобный подвиг, и правда, был бы под силу какому-нибудь исключительному герою, сошедшему прямо со страниц романа. Такого и ждала Юлия? В ее заметках конца пятидесятых годов есть страничка, где без обычной своей сентиментальности, а с самым искренним чувством и, вероятно, лишь для того, чтобы отвести душу, она пишет о «презреннейшем создании природы» — о трусливом мужчине. Бурное отвращение при одной мысли, что ее когда-либо поцелует трусливый мужчина, дает возможность представить, какое влечение она испытывала некогда к людям храбрым.

В памятный вечер восьмого сентября в танцевальном зале гостиницы Юлия, вероятно, с любопытством глядела на представленного ей очень смуглого молодого человека — и не только потому, что видела перед собою лицом к лицу того, чье имя шумело по всей стране, и кого она, к тому же, представляла себе иным, значительно старшим. Впечатление на нее произвело лишь самое имя поэта, а не стихи. Младший брат Иштвана Шаша, Карой, служивший помощником управляющего в Эрдеде, как-то дал ей почитать стихи Петефи. Юлии они не очень понравились: кое-какие из них — очевидно, еще под влиянием литературных воззрений пансионата фрау Тенцер — и она сочла непристойными. Но имя молодого человека в тот день поминали в Надькарое буквально все отнюдь не в связи с его стихами; при этом одни возмущенно качали головами, другие удивленно тарасили глаза, третьи одобрительно усмехались. Он вошел в этот город, как не доводилось до него ни одному представителю венгерского духа.

Приехав шестого сентября, поэт еще не знает, у кого из друзей ему остановиться; на первый день он берет номер в гостинице «Олень» и, свободный от забот, погружается в чтение воспоминаний Ракоци.

Читает он их по-французски, ибо произведения величайшего из тогда известных героев, сражавшихся за венгерскую свободу, все еще нет возможности читать на венгерском языке, хотя минуло уже столетие со дня его смерти.

По случайности центром консервативного лагеря в комитатских битвах оказался как раз «Олень». Когда

в полдень поэт в одиночестве спускается в общий зал пообедать, заполнившие до отказа огромное помещение господ, съехавшиеся со всего комитата, громогласно славят могущественнейшего вельможу здешних мест, который не побрезговал лично явиться на регистрацию кандидатов в губернаторы! Более того, он запросто пустился в разговоры с простыми дворянами! За соседними столиками добряки-выборщики, расчувствовавшись под влиянием вина, не находят слов для выражения своих восторгов и благодарности. Оказывается, граф взял даже кого-то под руку! Сиятельного графа, опять-таки по случайности, зовут Лайош Каройи¹. Каройи, Каройи — это имя, несчетно повторяемое восторженными сатмарцами, заставляет ожить в голове поэта только что прочитанные сцены — близлежащий Майтень², поверженные знамена куруцев³, обреченного с тех пор на скитания Ракоци и — переметнувшегося к императору полководца Шандора Каройи... Некоторое время поэт взволнованно вертит длинной открытой шей, а затем все это скопление случайностей, как тому и положено быть в силу закономерности, взрывает его изнутри. Он поворачивается к восторженным и таким забывчивым венграм.

— Право же, господа, что за удовольствие славить такого человека... ведь и его отец, и дед, и прадед — все были предатели.

Отлетают в стороны стулья, опрокидываются бутылки, восторженное возбуждение мгновенно переплавляется в ярость; вооруженные шпагами, а чаще свинцовыми дубинками господа бешено жестикулируют перед носом поэта. Счастливый случай показать на деле свою преданность и древнюю доблесть!

— Кто вы такой, сударь, что осмеливаетесь произносить подобные речи?

Сын мясника с силой бьет по столу бильярдным кием, твердо глядит господам в глаза; подсознательное чувство, что он, сын словачки-служанки, вершит здесь

¹ Один из военачальников повстанческой армии князя Ференца Ракоци II Шандор Каройи предал национально-освободительное движение, заключив в 1711 г. без ведома Ракоци «сатмарский мир» с Габсбургами.

² Майтень — место последнего сражения повстанцев Ракоци.

³ Куруцы — повстанцы времен Ракоци, участники национально-освободительных войн.

дело, нужное всему венгерскому народу, делает его героем.

При таких обстоятельствах прозвучало в Надькарое впервые тогда еще столь странное, но ставшее теперь таким привычным имя, которое поэт себе придумал. Господ-выборщиков остановило не имя, но поведение Петефи; они не забили его до смерти, хотя, для эпизода «смерть поэта», и это бы подошло. Убить не убили, но — истинно великие в клятвах — посулили сделать это непременно. И, счастливые собственной отвагой, бросились доложить о сражении графу, который — опять случайность — является и владельцем Эрдёда.

Такова была первая весть, которая, вероятно, достигла ушей Юлии. Она — вместе с большинством — еще могла найти сцену странной и даже несколько бесвкусной, недостаточно *bon ton*¹. Но следующую, происшедшую на другой же день, сочла, конечно, милой и прелестной: здесь тоже участвует граф, но уже другой, и он на стороне необыкновенного юноши.

В гостинице появляются друзья, поэт может перебраться хоть к троим сразу. Но он не съезжает. Выборщики угрожали, что вернуться, — что ж, он выйдет им навстречу, не сбежит! Его пламенная душа воспламеняется еще больше. Каждым нервом он готовится к бою. На следующий день идет на торжественную регистрацию губернатора, но посередине изысканнейшего ораторского периода демонстративно встает. «Пойдем прочь отсюда, — нетерпеливо говорит он приятелю своему, Ласло Ковачу Телегди. — Никогда еще не слыживал я столько глупостей в один присест!» Вечером он опять сидит в зале «Оленя»: все еще дожидается убийц своих? Его глаза сверкают вызывающе, гневно, словно он считает личным своим долгом не только из храма, но из целой вселенной изгнать все торгашеские, все низменные души до единой. Друзья только что не повизгивают от страха, когда представляют его другому графу, графу Шандору Телеки. Никаких «счастливого знакомства с вами», даже обычного «имею честь». Ничего.

— Вы первый живой граф, с которым я беседую, — сразу занимает боевую позицию поэт, как только оба назвали друг другу.

¹ Хорошего тона (франц.).

Положение Телеки не из легких. Но он выходит из него с честью и с первой же минуты выдерживает великое испытание на дружбу. Граф не только замечательный поборник дела свободы, увлеченный им почти до маниакальности, но и превосходный знаток человеческой души. Он знает, кто стоит перед ним. И отвечает на вызов задиристой улыбкой, сразу переходя на дружеское «ты»:

— Сдохлыми, выходит, беседовал?

Наступает черед представиться уже по-настоящему. Поэт не стесняется своего прошлого — и чем выше взлетает, тем менее.

— Дохлым графом мне и самому бывать приходилось, когда я был комедиантом!..

— Ну, дружище, знакомством со мной ты тоже немало выиграл, меня ведь диким графом прозвали.

Знаменитую сцену мы знаем из записок Телеки. Он наблюдателен и объективен, притом обладает хорошей памятью.

Позднее граф перевидал столько всяких чудес, пережил столько приключений — он был другом и товарищем по оружию Гарибальди в Марселе, Виктора Гюго на Джерси, — что в «Воспоминаниях» своих объективным, почти безразличным тоном рассказывает и о чуде рождения стихов, коего ему доводилось быть свидетелем. Последующая сценка лишней раз показывает, что Петефи относится к числу тех поэтов, которые могут писать стихи не только за столом, над бумагой, но, при необходимости, даже в дороге, запечатлевая их в памяти. Так родилось и стихотворение «Кандалы».

Телеки нужно было пойти в собрание; он пригласил с собой и нового знакомого. Петефи не хотелось идти.

«— Что я буду там делать? Груда бессмысленных слов, результатов же никаких; а мне и нагрубить никому нельзя, я ведь не член апелляционного суда. Покуда вы там переливаете из пустого в порожнее, я тут набросаю кое-что.

— Знаешь что? — пишет, вспоминая, Телеки. — Я забегу на минуту в собрание, покажусь чинам и сословиам — нынче там все равно ничего путного нет — и тотчас назад. Останемся вместе. Ну, подождешь?

— Пойдем, только заканчивай там поскорее.

Четверть часа спустя мы вновь встретились у подъезда комитатской управы.

— Куда пойдем? — спросил я его.

— Если для тебя сие не зазорно, зайдем ко мне на квартиру, у меня тут кое-что забрезжило, хотелось бы записать.

— Пойдем!

И вот мы в комнате Ришко. Поэт сел и стал писать на клочке бумаги, я же тем временем, взяв со стола, стал читать «Пала Ронто» Гвадани.

Немного погодя он встал, потер лоб и вдруг правую рукой резанул воздух; позднее я понял, что этот жест у него означал: стихотворение удалось.

— Пойдем, — сказал он, — на сегодня довольно.

— Хорошо ли вышло? — спросил я.

— Как будто. Да ты прочитай, если не скучно».

А вот каким видел этот дикий граф поэта, первое же знакомство с которым — несколько крепких, лихо закрученных фраз — сразу перешло в вечную дружбу.

«Росту он был, помнится, несколько выше среднего, строен и соразмерен в членах, движения имел неприужденные; у него были чрезвычайно густые, стоявшие торчком короткие черные волосы, кои он во время беседы часто приглаживал назад пальцами правой руки; посреди лба, между бровей пролегло несколько морщин, признак глубоких раздумий; брови были красивые, аккуратные, темные, а глаза словно светились и во время беседы поблескивали, когда же он говорил с особенным одушевлением или читал стихи свои, ярко сверкали; они-то и были самое красивое в лице его — оконца поэтической его души; нос слегка горбился у переносья, небольшой красивый рот открывал правильные белые зубы; цвет лица у него казался желтовато-коричневым, выделялось также несколько коричневых пятнышек потемнее, вроде родимых; губы были толще обычного, к ним очень шла улыбка, при проявлениях же гнева, возмущения, насмешки, презрения, ненависти и разочарования они принимали неприятное выражение; жидкие тонкие усики и бородака были светлее волос, бровей и ресниц, — от почти черного через редкий оттенок кирпичного цвет их переходил в каштановый; шея длинная.

Его костюм: тонкая, со шнуровкой, атилла, рубашка с пресловутым отложным воротом и темные, почти чернос-серые брюки».

С помощью других описаний мы дополним картину: его стройную фигуру делали еще соразмернее раздавшиеся к этому времени плечи; рот же принимал иногда неприятное выражение из-за выступающего вперед глазного зуба.

Под такую внешностью хотела Юлия найти особые свойства своего героя — знаменитого, а главное храброго мужчины. В первый миг их обнаружилось весьма немного. Поэт неловко толкается среди кружащихся пар, танцевать он не умеет, вести тонкую светскую беседу — тоже. Зато, когда трудности первого знакомства и собственная робость побеждены поэтом, на девушку обрушивается такой шквал страсти, внезапно нахлынувшей любви, что ей не опомниться уже никогда. Юлия не воспламеняется любовью с первой же минуты, но, поколебленная, навеки теряет равновесие. Она пытается хладнокровно разобраться — не в поэте, лишь в собственных чувствах. Бесплезно: на прелестное садовое деревце обрушился ураган и не дает передышки ни на секунду, даже издали. Юлия теряет голову.

Ее дальнейшая роль может вызвать у нас недовольство. Здесь, в Сатмаре и Эрдеде, это лишь милая и невинная провинциальная девушка; она, вполне естественно, играет с огнем и не виновна в том, что разожгла пожар, в котором, кстати, душевно погибла и сама. Представим себе почти детское, но уже претендующее на сознательность выражение ее глаз, очаровательных, но неумовимо косящих, когда она слушает первые комплименты и всеокрушающие речи поэта... Право же, мы должны почувствовать к ней симпатию. Ненужно забывать и о самом главном, что ее оправдывает: к моменту знакомства с Петефи ей исполнилось только семнадцать лет, а в двадцать лет она уже вдова... Бедняжка менее всего обладает тем, что она всячески старается выказать: самостоятельностью. Впрочем, под должным влиянием она способна на великие решения и на жертвы. В любую минуту Юлия может выйти замуж за какого-нибудь богатого барона, за богатого джентри¹, за улана — так полагают любители романизировать историю литера-

¹ Прижившееся в Венгрии английское слово, обозначающее среднепоместных дворян.

туры. Что правда, то правда, светские молодые люди охотно танцуют с нею. То, что Юлия и на паркете танцевального зала оказывает предпочтение началу духовному, говорит о ней немало.

Правда, то была эпоха торжества людей искусства. Шуты гороховые без роду, без племени прямо из-под носа у вельмож уводят самых блестящих женщин. Юные девы, прислушавшись к голосу сердца, по ночам выпрыгивают из окошек, чтобы умчаться куда глаза глядят с каким-нибудь лихим поляком, героем борьбы за свободу. И каждая из них, почти без исключения, боготворит Жорж Санд с ее артистической душой. В концертных залах женщины раздирают на клочки фрак Ференца Листа, чтобы иметь при себе драгоценную реликвию, — так что были все основания для знаменитой карикатуры, где дамы ложатся вдоль улицы под колеса кареты, когда Лист в конце концов решает покинуть город. Свет, в позднейших лучах которого будут греться скрипачи-цыгане, создает золотой ореол и вокруг поэтов. Литературная известность в те времена еще не теряет цены, и городская молодежь чувствует каждого сколько-нибудь именитого писателя факельным шествием и ужином.

К знаменитому имени, к чарам храброго героя, с которыми предстояло сразиться сердцу Юлии, добавим еще, что ее жаждал покорить самый страстный во всей Венгрии мужчина, который умел добиваться своего ураганном налетом и железным упорством, умел подчинять собственной воле других. На следующий день после памятного бала он уже сидел подле Юлии в саду у Террей — так было и на третий день, и на четвертый. Прибавим еще, что этот ураганного нрава поэт, как выяснилось во время бесед в саду, между прочим, милый славный юноша, невинный и доверчивый, как ребенок, олицетворение чести и порядочности, ради женщины готовый в любую минуту пожертвовать жизнью, — словом, рыцарь, какие бывают только в романах Дюма. А в довершение всего, несмотря на репутацию дикаря, поэта из народа, Петефи — человек редких познаний; он-то и вправду знает по-французски, по-немецки, понимает при некотором усилии английский и итальянский. Юлия, увлеченная и зачарованная образованностью Мари Террей, видит, что та в свою очередь зачарованно смотрит на поэта, который обо всем на свете знает, со всеми знаком. Это также достаточно весомо.

Юлия любила поэта. Поэта или человека? Напрасные догадки, кто мог бы разыскать и выбрать среди тысячи причин любви первую или самую важную? Красота, сила, характер, знания могут так же вызвать истинное большое чувство, как и власть, слабость, богатство, даже простоватость, даже бесхарактерность. Может быть, она любила его за славу, пожертвовала собою ради его поэзии? В этом случае мы действительно должны склониться перед нею. Но вряд ли это так. Вероятно, она просто влюбилась в этого восторженного, не знающего удержу двадцатитрехлетнего молодого человека — так подходил он к тому воображаемому миру, который жил в ее семнадцатилетней головке.

Юлия возвращается в Эрдёд, через несколько дней Петефи навещает ее и там — в замке! Шесть часов подряд он буквально не отходит от нее ни на шаг, и небезрезультатно. Не будь на свете института брака, имей возможность молодые влюбленные принадлежать друг другу на этой земле без дальних планов на жизнь и на смерть, Юлия скорее всего уже там, в Эрдёде, или при следующей встрече, два дня спустя, в Сатмаре, куда она едет только ради этой встречи, пала бы поэту в объятия, а через неделю-другую уступила бы необоримому натиску, и любовь сожгла бы собою все или сама сгорела бы в первом своем огне.

Но поэт сторонник брака, он жаждет мирного семейного очага, детей — в этой области он не революционер. Вернее... Как всякий здоровый революционер, он спешит как можно скорее привести в порядок свои личные дела, чтобы всей душой и сердцем жить для того дела (мы можем произнести эти слова, он сказал их сам), которое больше даже, чем сама любовь. Петефи сражается за свободу народа, а не собственных чувств. Он — революционер, но при этом революционер-идеалист, ибо верит, что существуют вечные нравственные законы, и беда мира лишь в том, что многие этих законов не соблюдают, но ежели станут соблюдать, все упорядочится. К этим законам относится и долг мужчины делить с женщиной последствия любви, заботиться о ней и о детях. Он начинает строить планы, делать расчеты. На некоторое время Юлия теряет от всего этого голову.

Судя по всему, ее смущает не то, что вместо возможного брака с отпрыском королевского советника она станет женой сына корчмаря. Поэт, которого атмосфера

Сатмара сделала более революционером, чем он был когда-либо ранее, и который не только сердце, но и раны свои, несомненно, раскрывал перед любимым существом, мог достаточно убедить ее в неизбежности уже столь близкого и столь заслуженного уничтожения всех привилегий. Юлию беспокоит другая почерпнутая из романов ложь: чувства у людей искусства менее стойки, чем у прочих смертных. По рекомендации деревенского *arg amandi*¹ она сама решает выказать непостоянство, чтобы испытать возлюбленного. Результат не заставил себя ждать. Возмущенный поэт выходит из себя, обвиняет девушку в тщеславии, в дешевом кокетстве и с великой горечью говорит в первый раз об окончательном разрыве — у него есть и другое дело в жизни, нежели быть игрушкой женских капризов. Юлию он обожает, но способен бросать на нее такие свирепые и ледяные взгляды, что у бедняжки кровь застывает в жилах. «Окончательный разрыв», естественно, кончается примирением уже на двенадцатый день, бедная Юлия попадает в ее же расставленную ловушку. Стоя у окна, она машет платком вслед навеки убегающему из замка поэту, а потом подстраивает новую встречу. Тогда-то, 23 октября, они и уговариваются, что весной Юлия даст окончательный ответ, а до тех пор... Но оставим эту милую игру с ее мелкими извилинами и ухабами, со светом ее и тенью. Проследим теперь и за тем, какие изменения свершаются за это время в более глубоких слоях души.

20

Если за Юлию и имеет смысл умереть, все же не одна она существует на свете.

О боже! Всем илотам этим
Ярмо на шею дай в награду,
Тирана ниспошли им злого.
Чтоб заковал он их в оковы
И бил нагайкой без пощады.

(«В Надькарое». Перевод Л. Мартынова)

Громыхающие проклятия обращены к тем погрязшим в подлости венграм, которые таяли от восторга на торжественной регистрации губернатора и совсем

¹ Искусства любви (лат.).

уже подобострастно славили графа Каройи; стихотворение поэт набросал в канун знакомства с Юлией. За ним следует длинный ряд любовных стихов. Слишком ли напряжена была душа, слишком не оформлено то, что он чувствовал? Как бы там ни было, но ни одна из песен Юлии этого периода не может стать ровень с тем стихотворением, которое им предшествовало. Или с тем, которым они, до поры до времени, прервались — стихотворением «Эрдей». Адресовано оно разбредаящимся по свету венграм, — венграм, у которых две родины.

Событий ветер ныне присмирел,
Покой пылинок он не нарушает,
Но если вдруг обрушится на нас,
Пока мы воедино не сплотились. —
Тогда разрознит всех и разбросает
Во все края вселенной необъятной,
И мы вовек друг друга не найдем.
К чему же медлить? Носит век во чреве
Грядущие божественные дни, —
Дни роковые жизни или смерти...

Прекрасное стихотворение прозвучало впервые как застольный экспромт на обеде оппозиционной партии. Возможно, не сразу получило оно ту совершенную форму, в какой мы читаем его сейчас. Йокаи впервые упоминает о нем, как о тосте. Был ли это и тогда уже белый стих? Недавний актер, — который столько стихотворных драм знал наизусть, который, как вспоминали многие, в добром расположении духа был способен часами декламировать роли героев Шекспира, — действительно мог и экспромтом говорить нерифмованным ямбическим стихом. Телеки описывает процесс рождения этого стихотворения еще интереснее, чем «Кандалов».

«Стояли чудные осенние дни, в наших краях это лучшее время года. Высокие горы и скалы, которые простираются пред нашим взором на многие мили, в это время надевают на себя пестрый убор, густая зелень леса играет разнообразнейшими оттенками; нежные каштаны желтеют, буки становятся красными, кроваво-пурпурными, и все вместе создает дивное гармоническое единство, укрывает весь край огромным персидским ковром.

Перед обедом мы устроили совет — по старинному нашему обычаю, с калачами и сильвориумом — прямо

во дворе, под большой шелковицей, окруженной увитыми вьюнком столбиками; вьюнок взбирался на самую вершину шелковицы, образуя над нами свод...

Где-то около часу объявили, что суп на столе; мы пошли в дом обедать. Во время обеда, *more patgio*¹, лились бесконечные здравицы и слышался звон бокалов; я поднялся со своего места».

Телеки подошел к поэту, который сидел в самом конце стола.

«— Друзе мой, ради нас обоих прошу: я ведь непривычен к речам, так скажи ты и за меня.

— Ну что ж, попробую! — С этими словами он опустил голову на руку, к кушаньям более не притрагивался — думал.

Когда же подали сладкое, он встал, глаза его сияли; он наморщил лоб и с вдохновением, резким звенящим голосом начал:

Бушует и гудит осенний ветер,
Звенит на ветках мертвая листва, —
Так на руках раба звенят оковы...

И, дойдя до главного, продолжил с еще большим жаром:

О ветер, замолчи, — дай мне сказать!
Не замолчишь, — перекричу тебя,
Как женский плач — небесная война...

(Перевод Н. Стефановича)

Здесь он остановился и сверкающими глазами оглядел нас всех. Мы были словно намагнетизированы и с восхищением взирали на гения, творящего у нас на глазах.

Он стал продолжать, когда же дошел до последних слов, мы вскочили и с бокалами в руках окружили осеннего высоким вдохновением поэта. Лацци Почи обнял его...

Я, положив руку ему на плечо, повел поэта в гостиную. Мои гости остались в столовой за кофеем.

— Шандор, оно у тебя записано? — спросил я, растроганный.

— То есть как это? Да разве ты не понял, что я сейчас его сочинил? — отозвался он почти с обидой.

¹ По обычаю отцов (*лат.*).

— Тогда прошу тебя, сядь и запиши, чтобы не пропало.

— Ну вот, так я и буду сейчас перемарывать его для тебя!

— Не для меня, друг мой, а для отечества.

— Ну, ладно, пошли сюда Виктора да кофе, я поддиктую.

И он продиктовал стихотворение Виктору Хараи; закончив, они вышли к нам и прочитали его вновь, однако получилось уже не так вдохновенно, как в первый раз, когда он читал экспромтом».

Такова история стихотворения «Эрдей».

Затем Телеки рассказывает о другом:

«Излюбленным нашим занятием и развлечением были прогулки верхом и на бричках. Верхом мы выезжали в окрестные леса, на бричках ездили в Надьбаню. Лошади стали истинной страстью поэта; я учил его ездить верхом, господин Ференц, мой кучер, — править упряжкой. С Ференцем он просто подружился, и они часто вдвоём ездили в Надьбаню за почтой или покупками». Поэт правил четверной упряжкой. «Господин Ференц показал ему, как должно править ею по всем законам науки».

Петефи гостит поочередно у своих приятелей, у знакомых должностных лиц Сатмарского комитата; в Беренце он бывал и раньше, у Лайоша Ковача; часто ездит верхом в Эрдей, полюбоваться хотя бы его окрестностями; гостит у Луби в Надьаре и Чеке, у Жигмонда Папа в Надьбане, затем снова возвращается к Телеки и живет здесь подолгу, тем более, что и Телеки собирается в Эрдей, как только позволят дела. Замок Телеки в Колто — центр оппозиции. Из заносчивости садясь неизменно в самом конце стола, поэт вместе с другими прогрессистами полон воодушевления; пыл, с каким он только что осаждал Юлию, направлен теперь на то, чтобы повлиять на историю. Нет ничего таинственного в способности души его почти ежеминутно менять свои пристрастия. И всегда — на самые полюсные. Отчизна, общее дело нации и даже просто писание стихов нет-нет да и отодвигают Юлию на задний план. Выйдет ли что-нибудь из этой любви? Поэт не выносит неясных, неопределенных положений. Он влюблен, но бывают минуты, когда его здоровая натура почти жаждет уже освободиться от безнадежной волокиты в сложных отношениях с Юлией.

Он влюблен, но непоколебимо искренен даже в своих чувствах. И следует естественным человеческим побуждениям; если он и не формулирует различие между плотской и душевной верностью, то в жизни совершает много такого, что смущает воображение историков литературы и провинциальных барышень — но не психологов.

Мораль его эпохи требует верности от супругов, жених еще свободен; его эскапады, донжуанские выходы, при условии, что это не затрагивает сердца, прощает даже невеста. Замок в Колто часто навещает красивая юная цыганочка по имени Анико Пила. Заглядывает она по ночам и в комнату поэта — ведь он не может еще считать себя даже обрученным. Это приводит к серии недоразумений и сплетен, из которых Юлия узнает, что чувство поэта к ней было лишь «мечтой, а не любовью», а поэт — что Юлия просто играла с ним; ведь уже целый рой обожателей — сплошь аристократов — вьется вокруг нее. После первого «окончательного» разрыва через месяц следует второй.

Есть одна частность в этой смене чувств, которая наводит на размышления. По сравнению с поздними стихами, обращенными к Юлии, эти начального периода стихи получают весьма средними. Означает ли это, что чувства слишком сильны и не укладываются в экспромт? Или — пока что — они, в сущности, еще поверхностны? Осенний дождик или Эрдей удостаиваются куда более удачных стихотворений, чем Юлия.

Я влюблен! Сказать, в кого?
Грежу я одною
Смуглой девочкой с большой,
Светлою душою.

(«Я влюблен!..»). Перевод Л. Мартынова)

Мы даже не надеемся на появление здесь возлюбленной, — но и поэт на сей раз не виден так, как мы могли ожидать, зная прежние его стихи. Самое большое по величине произведение этого периода — «Нет, было лишь мечтой, а не любовью // Все, что считал я прежде за любовь...» — в соизмерении с природным даром поэта немногим более, чем упражнение. Ни в одном из любовных стихотворений этого периода мы не отыщем той естественной и убеждающей силы, той певучести и поэтической первозданности, какие, между прочим, находим в родившихся одновременно с ними стихах на те-

мы общественной жизни — будем покуда называть их так, а не «революционными стихами».

Даже отношение поэта к Шандору Телеки видится из посвященного графу стихотворения более лично и явственно, чем отношение к Юлии.

Ты, изучая книгу рода,
Обильем предков утомлен, —
А я, по правде, и не знаю,
Кем был мой дед, что делал он.

.

Короче: ты — магнат, я — нищий!
Но говорю тебе — гордись,
Милейший граф, мой добрый тезка,
Что мы с тобою обнялись:
Не выпадет такого счастья
Салонному пустому льву,
Чтоб называл его я другом,
Вот как тебя сейчас зову!

*(«Графу Шандору Телеки».
Перевод Л. Мартынова)*

Поездка в Эрдей не удастся и с Телеки, примерно 10 ноября поэт выезжает из Колто в Пешт, через Дебрецен; здесь он проводит три-четыре дня.

Три-четыре дня и ночи, наполненные славой, здравицами, ожесточенными перепалками и торжественными ужинами... В течение этих дней поэт почти не смыкает глаз и в какой-то из них просит руки одной актрисы.

После сатмарских господ-консерваторов, которые хотели убить его, которые с ним не желали считаться и водили за нос, он снова оказывается среди писателей и актеров, в старом знакомом мире, где все его знают. Когда Петефи вошел в театр, шестьдесят глоток «громоподобно, с воодушевлением» прокричали ему «ура». На сцене актеры на минуту прекратили игру, и примадонна, Корнелия Приелль, добрая (пештская еще) знакомая, вместо вставного номера, который должна была исполнить, спела одну из его песен. Среди всех этих событий поэт узнает вдруг, что у Юлии есть не только воздыхатели, но и претенденты на ее руку, вернее, есть жених. И она уже обручилась.

А может быть, и этого не нужно было, чтобы положить конец бессмысленной томительной волоките и после единственной часовой беседы попросить руки прелестной Корнелии? Она актриса, то есть пара е м у , —

очевидно, эта мысль его подстегивала, когда он пожелал обвенчаться с нею в ту же ночь. Сендреи именно в эти дни привело в Дебрецен какое-то дело; город еще полон был отзвуками здравниц в честь поэта, его острых перепалок со священниками, цензорами. Бедной Юлии разрыв на самом деле представился окончательным; он-то и приковал ее к поэту. В душе своей она говорит решительное «да» в момент, когда слышит, что и Неллике сказала «да».

21

В канве чувств, что сплетается потом между Эрдедом и Пештом, дебреценский обрыв нити имеет не столь уж большое значение, он один среди многих. Тем значительнее он сам по себе как факт: с его помощью мы имеем возможность ближе приглядеться к одному характеру. Вернее, к двум.

То романтическое время предписывало истинному мужчине умение действовать моментально, решать все проблемы со скоростью выхватываемого из ножен меча: не только поэт, вообще каждый человек, идущий в ногу со временем, действует всегда по вдохновению; особенно кощунственно раздумывать в делах любви; сердце нашептывает свои веления еще более деспотично, чем Муза, и истинная любовь настигает человека не иначе как с первого взгляда, озаряет, словно блеск молнии.

Это не первый случай, когда Петефи в знак любви немедленно предлагает руку и сердце; мы видели, он просил уже руки девушки — которая ему нравилась — просто на спор. Счастливые избранницы, коим он писал любовные стихи, менялись с ошеломляющей быстротой. И все же мы не должны объяснять это неким легкомыслием поэта.

Рискнем шутки ради сослаться на частую перемену мест. Говорят, для любви нужен большой выбор, иными словами, чем больше выбор, тем вернее человек находит свою настоящую любовь. Это заблуждение. Случаи великой любви бывали и в маленьких поселениях, в конторах между коллегами, в деревне и даже на одной улице — вспомним Ромео и Джульетту. В каком-то смысле любви, чтобы разгореться, столь же необходимо постоянное место, как и очагу. Студенты и солдаты, прибывая на новые квартиры, первым делом присматрива-

ются к окрестным девушкам независимо от того, ждут ли их в других краях и даже — тоскуют ли они сами о ком-то. Один вид красивой женщины, подле которой мы охотно уснули бы, наполняет ощущением дома. Это — в оправдание плоти.

Впрочем, у него и тут все иначе. Не прошло месяца, как поэт хотел умыкнуть «барышню из замка», выхватить ее из рук сына королевского советника, исправника — картина в его глазах была именно такова, — и вот он уже просит руки другой девушки, которую знал к тому же давно и к которой до сих пор был безразличен. В течение двух дней Петефи переворачивает небо и землю, готов сделать все, чтобы жениться на ней. А потом расстается с нею, да так, что Корнелия — единственная среди всех его возлюбленных, о которой он не написал ни одного стихотворения, ни единой дошедшей до нас строчки. Что могло здесь произойти?

Прислушаемся на этот раз и мы к речам Муз и попробуем задним числом восстановить необычную историю, согласно всем законам знания жизни и искусства. Трудно представить себе более удачный материал для истинно драматического воплощения.

В театре шла пьеса Сиглигети «Два пистолета»; Корнелия Приелль должна была как раз исполнить песенку, вставной номер, в сопровождении арфы (сцена была столь мала, что полагавшийся по пьесе рояль на ней не уместился бы). Мысль исполнить песню Петефи в знак приветствия поэту, вошедшему в зрительный зал, принадлежала самой Корнелии. Результат не заставил себя ждать. Едва опустился занавес, поэт вбежал на сцену. Тридцать три года спустя Неллике так вспоминает об этом: «С теми нашими актерами, кого не знал прежде, он тотчас вступил в самые дружеские отношения, Фелеки, Дюлаи обнимал так, словно они были его лучшие друзья и знаменитости, тех, кто теснился скромно в уголке и приветствовал его молча (среди них и дрожащий от счастья Давид), он обошел, ободряя рукопожатиями:

— Друзья мои, мы братья во Христе: благодарю за столь любезный прием, поверьте, сегодня вечером именно вы доставили мне наисладчайшую радость. Но где же ваша Корнелия?

— Вот как? Значит, я больше не маленькая Нелли? А между тем, смотрите, у меня все те же короткие

волосы, зато под ними, уверяю вас, ума стало побольше: все ваши стихотворения я знаю на память».

Невообразимая, но милая ложь также оказала воздействие. На следующий день поэт явился в театр с утра. Труппа репетировала «Семь сыновей Лары», а так как у Нелли была в этой пьесе крохотная роль в самом начале, молодые люди молча просидели рядом в темном зрительном зале все утро.

Неллике, правда, этого не описывает, но из рассказа ее о дальнейших событиях, можно заключить, что лишь языки их молчали. Руки же явно беседовали и весьма красноречиво. Ибо к концу репетиции поэт вдруг с ходу признается ей в любви. Рядом с ним сидит интересная, одаренная и привлекательная женщина. Какие чувства может испытывать двадцатитрехлетний поэт к женщине, которая, он не сомневается, носит в головке своей — и даже в сердце — полное собрание его сочинений? Благодарность? А может быть, ощущение, что в каком-то смысле она уже принадлежит ему, коль скоро вобрала в душу самую суть его существа?

Корнелия обладала лишь литературной осведомленностью; ее литературная образованность — ниже нуля; вкус у нее был никудышный, что тотчас и выясняется из ее же собственных слов.

По отношению к второстепенным героям нашей истории мы находимся в выгодном положении: по тем или иным поступкам, совершавшимся на протяжении всей долгой жизни, мы можем судить также об их характерах и в интересующее нас время. Корнелия — до конца остававшаяся талантливой актрисой — умела лгать, притом не без психологического чутья; однако она лишь воображала себя столь хитроумной, как ей хотелось бы. Она была глубоко добросердечна, то есть невинна и эксплуатируема. Достоевский и другие обрисовывали в главных чертах, наш же Тершански выписал полностью бесчестную, ибо сохраняющую себя лишь из холодного расчета, девственницу и честную, ибо отдающую себя чуть ли не с назарейанской покорностью, шлюху¹.

Корнелия утверждает, что в это время ей было семнадцать лет. Даже биографы не имеют достаточных

¹ Имеется в виду повесть Тершански Йожки Енё (1888—1969) «Шлюха и девственница» (1925).

причин раскрывать тайну возраста женщины, особенно же — женщины, зарабатывающей хлеб своей молодостью. Сколько бы ни было ей лет, кое-что в ее жизни уже имело место. Расскажем лишь то, о чем сообщает она сама.

Вскоре после признания — во второй половине дня — поэт вновь ее посещает.

«К тому времени он уже виделся с нами не во дворе, не на сцене, а в наших комнатах — госпожи Фелеки и моей. Моим обиталищем была узенькая комнатка, без всяких претензий, обставленная совсем просто. Единственным ее украшением был полуувядший венок, который обрамлял портрет Лайоша Кути, что висел над моим столиком, — стол служил мне как письменный и швейный, а также был моей библиотекой».

Тот, кто обрамляет портрет салонного хлыща Кути венком, не может знать наизусть стихи автора «Витязя Яноша», стихи сына венгерского степного раздолья, — таков железный закон художественного вкуса. Этот портрет над бедным, сплошь заставленным столиком предназначался для дебrecенских коллег-актеров; простительное грустное щегольство. «Дикий цветок природы» пристально поглядел на баловня аристократических гостиных, помрачнел и сел. Надо отдать Корнелии справедливость: о важных моментах она рассказывает с мастерской безыскусственностью.

«Немного времени спустя он опять взглянул на портрет, потом на меня и, наконец, спросил:

— Итак, вы полагаете, остроумный автор «Отечественных тайн» достоин постоянно вашего венка?

Я покраснела, потому что он неодобрительно качал головой и изучающе смотрел мне в лицо.

— Для меня человек и писатель существуют отдельно, — сказала я. — А потом он ведь ничем передо мною не провинился; не его вина, если я не знала, что у него жена есть».

Как прекрасно и смело было это сказано! Поэт помрачнел еще более.

«— Ненавижу этого человека! — воскликнул он. — Эх, если бы я...

Не знаю, о чем он тут подумал», — добавляет Корнелия.

«Мы говорили, кажется, еще о всякой всячине, а потом вдруг пустились без удержу восхвалять друг дру-

га. Я от всего сердца воздавала ему хвалу, и это было нетрудно, ведь его имя гремело по всей стране, но в его ответных излияниях, думаю, уже участвовало и разгоревшееся сердце молодого человека...

Ловко повернув разговор, он стал просить меня доказать, что я так высоко чту его имя, выделяя из всех.

— Охотно, — сказала я, — всем, что в моих силах.

— Поскольку я не могу испросить себе ваше прелестное имя, возьмите мое и присоедините к своему.

Сердце у меня заколотилось, от неожиданности я не подумала ни о чем ином, как о простом соединении двух имен; но и тогда прекрасно понимала, что мое имя рядом с его — ничто.

— Да есть ли на свете имя, которое можно было бы по совести объединить с вашим?»

Итак, Корнелия делает вид, что думает лишь об общем артистическом имени.

Тогда поэт прямо просит ее стать его женой.

«— Но мы же не любим друг друга.

— Зато уже друг друга уважаем...»

Вряд ли они обменялись тогда именно этими словами. Да еще сразу после этого — как пишет (тридцать три года спустя) Корнелия — «оба, глядя друг на друга, задумались». Мы можем спокойно утверждать, что на свете еще не было случая, чтобы два столь молодых и пылких существа после подобного предложения впали в задумчивость. Когда Нелли описывала трогательную сцену, на площадях города уже стояли бронзовые памятники поэту. Обычно это мешает раскрытию интимных тайн: словно и они сразу же оказываются на пьедестале, выставленные на всеобщее обозрение. Зато последующие строки несут на себе печать достоверности.

«— Кор-не-ли-я! — раздался из соседней комнаты резкий и прерывистый голос госпожи Удвархейи.

— Что прикажете, мама? — И я встала.

— Вы опоздаете, пора одеваться».

Поэт поднялся.

«— Не правда ли, Корнелия, мы продолжим этот разговор?»

— Когда же? — со смехом спросила я. — Ведь завтра спозаранку вы уезжаете. Еще нынче утром говорили, что дело у вас неотложное.

— Ну, на сей раз я сам покажу глупой судьбе, чему быть и что неотложно! — пылко вскричал он и удалился...

Не без волнения одевалась я для вечернего спектакля, раздумывая о том, могла бы любить его или нет. И — была бы с ним счастлива? Ах, это просто шутка, подумала я, и опять стала искать что-то, сама не зная что... Словом, до тех пор не закончила одевания, покуда не сняла с портрета Кути венки».

В пьесе — «Семь сыновей Лары» — Нелли играла в белом платье, белой фате. Поэт разыскал ее за кулисами.

«— Ну, видите, вот моя невеста и готова.

— Жених т о ж е , — подхватила я, — только священника и не хватает.

— Священник тотчас будет здесь, лишь бы вы сказали «да».

— Что ж, да! Но, однако ж е , — поспешила я продолжить, — это означает только, что мы будем помолвлены, покуда вы опять ко мне не приедете; а уж тогда у нас будет торжественное обручение, и мы обсудим наше будущее житье-бытье».

Это, конечно, все до последней буквы невероятно: чтобы бедная, лишь недавно покинутая девушка и после второго «да» была так по-мещански церемонна с тем, кто предложил ей самое большое, самое заветное! А он, знаменитый на всю страну молодой человек, который и журнал редактирует, и критические рецензии пишет, после этого еще спрашивает ее: «Если бы вот сейчас здесь стоял священник, вложили бы вы свою руку в мою?»

Корнелия играла в провинции, ей хотелось бы вернуться в Пешт, очевидно, у нее промелькнула мысль о «долге своем перед искусством». Но вероятно и то, что предложение поэта она сочла лишь шуткой, милой эксцентричностью. Об этом говорит и форма ее согласия.

«— Наверное, — ответила я.

Он схватил мою руку.

— Корнелия! Если через час, скажем, через два часа... к этому времени вы уже и ваши «Семь стенаний Лары» закончите...

— «Семь сыновей», — поправила я его.

— Пусть сыновей, отцов, матерей, вы же видите, что я обезумел... Итак, через два часа, если мой друг

Михай Тот Кёнвеш примет нас с распростертыми объятиями — в чем я не сомневаюсь, — то мы поженимся, не правда ли?

— Поженимся.

— Честное слово?

— Честное слово! — Он поцеловал мне руку и бросился к выходу. В дверях столкнулся с Ференцем Дюлаи.

— Куда бежишь? — спросил тот.

— К моему другу, священнику. Поскорей заканчивайте ваше представление, сразу после него мы с Корнелией венчаемся. Да останьтесь все, кто любит меня и ее, увидите, такого счастливого свадебного пира не бывало ни у кого на свете!

...С минуту Дюлаи, словно окаменев, стоял неподвижно, затем подошел ко мне, также застывшей, будто изваяние.

— Это правда? — спросил он.

— Правда.

— Но ты-то подумала? Хорошо подумала?

— В меру сил моих, такова воля господа.

(Корнелия и здесь пишет талантливо — правдиво.)

— С твоей стороны это тщеславие, с его — дурацкая горячка, — сказал заgrimированный под мавра Дюлаи, сверкая глазами».

Мы и далее можем поверить Корнелии:

«Тут меня, и без того трепетавшую каждым нервом под магическим воздействием данного мною слова охватила такая лихорадка, что буквально застучали зубы, и я, вся дрожа, опустилась на деревянную скамью».

Девочка-актриса боялась, что окружающие «обратятся к ней с уничижительными словами»: прямо в глаза скажут, как скверно она поступает с этим пылким младенцем ради собственной карьеры.

«Я видела, что все вокруг перешептывались. Прослышала о чем-то даже госпожа Удвархейи и все ходила взад-вперед мимо меня с испытующим взглядом. Госпожа Фелеки, истинная моя подруга, просто сестра родная, услышав разговоры в театре, прибежала ко мне, но я не смотрела ей в глаза; тогда она опустилась передо мной на колени и голосом, полным любви, спросила:

— Не правда ли, Корнелия, это не так? Не сегодня?

Я же только прошептала в ответ:

— Все кончено, назад своего слова я не возьму ни за что». Что ж, и она до какой-то степени закалилась в мире Кути и ему подобных.

Поэт, который и теперь отнюдь не экзальтирован и даже не пьян, в самом деле побывал у священника. Он вытащил друга из постели и тотчас основательно с ним рассорился. По протестантскому обряду венчаться при свечах без особых на то причин не полагается. Необходимы также соответствующие документы и оглашение — или диспенсация. Поэт — в духе Руссо — аргументировал правами сердца.

Корнелия ждала его в театре.

Здесь она уже не обходится без грима. Спасибо и на том, что устояла до сих пор.

«Когда он вернулся ко мне в величайшем волнении и сказал, что венчать нас не будут, я безмолвно вознесла благодарность провидению, его же со слезами просила успокоиться и не подвергать испытанию только сейчас зарождающееся чувство симпатии — поверить, что даже лучшие наши друзья нас осудят; и пусть он назавтра уезжает с миром, а уж там в письмах наших яснее представится будущее наше счастье... Со своей же стороны я испытывала истинное облегчение от того, что дело так обернулось».

Мы не можем верить ни безмолвным благодарностям ее, ни просьбам со слезами на глазах. Молодые люди сейчас ближе друг другу, чем когда-либо, а Корнелия, вспоминая, именно сейчас наиболее скупа на слова. Оба они свободны, Корнелия, бедняжка, тоже; а ведь ей до сих пор ни разу в жизни не выпадало подобной чести: мужчины просили от нее многого, но руки — еще никогда.

Почти каждый день жизни Петефи известен и даже описан. И этот день вспоминают многие. Но о том, когда же он расстался с Корнелией и что делал после, — нигде ни слова.

Судя по всему, они в тот день и не расстались. По законам не только психологии, но и искусства — воображаемой драмы, — лишь сейчас должен был наступить черед главной сцены в их роковой встрече.

Мы должны склониться перед исконным благородством душевного облика Корнелии — но то, о чем она умалчивает, легко может быть восполнено воображением, если исходить из дальнейших событий.

Корнелия, как мы видим, охотно стала бы женою поэта, даже ценой общего осуждения. С помощью этого брака — даже одного только имени, известного всей стране, — она получила бы в руки ключ, который без промедления открыл бы перед нею все двери сказочного замка на курьих ножках — замка искусства. Однако, очевидно, и то, что ей искренне нравится настойчивый юноша, знакомый еще по Пешту, — нравится настолько, что она хочет сделать ему приятное: это была ее идея, чтобы «баронесса» из «Двух пистолетов» спела песню Петефи «Нельзя запретить цветку...».

Чуточку женской хитрости, выдержки — и Корнелия легко и быстро могла бы стать женою поэта.

Свадьба, пусть не в тот же день, но три-четыре дня спустя могла бы состояться: собственно, его преподобие Тот Кёнвеш возражал только против венчания при свечах: ведь он сам упомянул уже о диспенсации.

Все-таки для быстрого вступления в брак диспенсация поистине спасение; все устроилось бы в течение нескольких дней. Если бы Корнелия в течение двух, ну, скажем, трех суток сумела поддержать пламя, которое сама же и разожгла, то в его отсвете не Юлия Сендреи, а она, Корнелия, вошла бы в бессмертие.

Что же случилось в тот бесследно и беззвучно завершившийся вечер 19 ноября 1846 года, в ту темную для Дебрецена и для истории литературы ночь?

Поэт — до конца своих дней — был по-детски общителен: он простодушно показывал друзьям письма возлюбленных и даже жены; обиды свои и страдания скрывать не умел. Вероятно, в первые же интимные минуты с Корнелией он и ей рассказал, какую одержал победу и — какую все-таки потерпел неудачу в «аристократическом» кругу Сатмара. Корнелия, опытная, несмотря на молодость, могла думать лишь одно: значит, ко мне его привела обида, значит, меня в самом лучшем случае он любит как утешение или просто хочет любить. Далее мысли ее могли идти таким путем: он сам не ведает, что творит; на такой брак я не пойду; ну что ж, испытаем: охладим несколько этот пыл, а потом посмотрим, вернется ли он еще раз к тому, что предложил уже со своей милой непосредственностью. Но она чувствовала, должно быть: бедняге сейчас нужно лишь душевное тепло, бальзам для тщеславия, ему важно вернуть поколебленную веру в себя, все равно, с чьей

помощью. Я уважаю и люблю его настолько, что не воспользуюсь минутной слабостью и не стану ему обузой и гирей на шею, я дам ему только то — из товарищества, по дружбе, — в чем он сейчас нуждается.

Если Неллике поступила так, она уже заслужила высшую оценку. Впрочем, возможен и иной оборот.

Корнелию осведомили неправильно, сказав, что появившийся в театре поэт только что прибыл в город. К этому времени Петефи провел здесь, по крайней мере, десять дней. Правда, почти все время он ездил по окрестностям, в самом приятном обществе и самом приятном расположении духа. Эрдедская рана, следовательно, начинала заживать, что подтверждается и дальнейшим почти полным ее заживлением. В тот год обожателем и, как говорили, женихом Юлии был господин исправник Эндре Урай, «один из самых состоятельных молодых людей, обладатель двойной дворянской приставки перед родовой фамилией, покоряющей внешности и к тому же, как свидетельствуют записки Юлии, «хороший танцор и ловкий возница: сев на облучок, он умел легким вращением выписывать на песке необычайные восьмерки с совсем маленькими кругами»; однако поэт, хотя и не умел танцевать, вовсе не страдал тем, что нынче называют комплексом неполноценности. Некоторый комплекс в душе его образовался из прямо противоположных элементов. Он всегда и тотчас же готов был поверить, что женщины влюблялись в него и любили смертельно. Действительно ли его ушей достигла в то время какая-нибудь сплетня о Юлии и о необыкновенном вознице? Его поведение в Пеште показывает, что это не мешало заживлению ран, хотя сплетня провозжала его и туда.

Итак, у Корнелии была возможность поверить, что поэт, довольно часто меняющий предметы своей любви, воспылал к ней чувством ради нее самой. А значит, ключик, открывающий сказочные перспективы, в довершение всего из чистого золота. При этих условиях добиться счастья было уже детской игрой: следовало только поддерживать пламя — не давая удолетворения — до тех пор, пока будет готова диспенсация.

Мы не утверждаем, что в голову Неллике не приходил этот расчет, к тому же на сей раз опирающийся на буржуазную порядочность; напротив, утверждаем, что приходил. Результат от этого лишь прекраснее.

Случилось, вероятно, так, что, несмотря на все расчёты умной головки, Неллике послушалась своего сердца. Это сердце уже осаждали другие мужчины, и оно им уступало. Уступило даже скверному писателю, лживому завсегдатаю гостиных. Было бы бесчестно любить менее щедро именно этого чистосердечного юношу, причем как раз из-за его чистосердечия, — именно ему, достойному, отказать в том, чем она одаривала и иного, недостойного. Мы должны признать, что Корнелия полюбила поэта.

Порядочность не позволила ей идти по пути непорядочности, на который она уже было вступила.

Корнелия проиграла свое счастье — вероятно, именно это вертелось перед сном в умной ее головке, когда она, наконец, осталась одна. Впрочем, судьба тут же, на месте, вознаградила Неллике. Она обрела истинного рыцаря в этом ветреном с виду юноше. Напрасно она сделала все, чтобы его успокоить. Прекрасный, совершенно готовый сценарий становится все лучше.

«Однако он не уехал и на другой день. Они уговорились с Фелеки о какой-то декламации; но я лишь смутно припоминаю те события — помню, что они бежали в типографию, а потом декламацию запретили. Они то приходили, то уходили, и так без конца».

Петефи она увидела вновь лишь около полудня. И тут узнала, что он — Неллике была католичка — успел побывать у католического священника, настоятеля Молнара. Ради того, чтобы сочетаться с Неллике браком, поэт готов был сменить и веру. «Лихорадочное его состояние почти невозможно было утишить. Я уже вновь обрела способность размышлять спокойно, и теперь моей главной задачей было уговорить его, убедить. Мне никогда не по нраву была скандальная шумиха, не радовалась я и на этот раз, что город так взбудоражен нашей историей».

На следующий день поэту действительно нужно было уезжать. «До самой полуночи он оставался со своими друзьями, которые рассказывали, что был он то молчалив, то безудержно весел. После полуночи он привел под мое окно старого Боку (который тоже им восхищался, чувства же свои выражал превосходной игрою на скрипке), и все просил его снова и снова играть «Нельза запретить цветку...».

Ну, а потом? Что сделал поэт еще?

«Курьерская карета отправлялась в пять часов утра; прежде чем сесть в нее, он вырвал из записной книжки листок и стал писать мне — тесно, мелкими буквами, до тех пор, покада достало листка. Просил, чтобы я и без благословения священника приняла его имя, которое он полностью предоставляет в мое распоряжение; просил, чтобы в Коложваре, куда мы собирались через две недели, я выступала уже под его именем... он же придет ко мне, когда я пожелаю, и после свадьбы вновь удалится, если я того захочу. Он согласен, чтобы я призвала его к себе, как мужа, лишь удостоверяем сколь достоин он этого счастья... Это было его первое письмо ко мне; он доверил его Давиду Чёнгеи, который уже в шесть часов утра постучался в мое окошко и вручил письмо...»

Судьба этих отношений, следовательно, и сейчас полностью в руках Корнелии. У нее была и возможность, да и предлог самой заняться приобретением диспенсации или сбором необходимых документов. Она не делает ничего подобного. Волна сплетен доходит и до ее ушей. Тогда она обрывает переписку, возвращает поэту свободу. И очень жаль, можем сказать мы, зная, какова была судьба Петефи рядом с жаждущей известности и самостоятельной роли Юлией. Корнелия, на театральных подмостках удовлетворив живущую во всех нас страсть играть роль, быть может, уберегла бы мужа, по крайней мере, от ролей, которым сопутствует опасность для жизни, или, подобно Лаборфалви, смогла бы также выступить на сцене трагедии истории, чтобы спасти своего возлюбленного.

В том, что случилось иначе «повинен» отчасти и сам поэт. Он действительно подвластен минутным увлечениям, как почти всякий человек двадцати трех лет от роду, но при этом — весь во власти идей, что также отвечало духу времени. И как раз в этот период подходит к идее полностью отдать себя общему делу; его ждет священная задача, путешествие по провинции его многому научило. Юлия, Корнелия — да еще Анико — да сплетни — какая сумятица, и именно тогда, когда вырисовывается главное! «Ох, уж эти женщины!» — думал он, вероятно, с естественным высокомерием двадцатитрехлетнего, уже в Пеште, несколько смешав в памяти своей дебреценские, эрдёдские и даже колтовские волнения сердца.

Вряд ли Петефи приходилось так уж страдать без любви и вряд ли он был осужден лишь на томление, как полагали сердцееды-литераторы следующего века, которые роскошествовали, предаваясь изысканным истерикам, но завоевать сколько-нибудь стоящую женщину им удавалось с превеликим трудом. Множество девичьих сердец билось сильнее при упоминании имени Петефи, он мог выбирать. Если бы ему не претил так мир гостиных, он имел бы там успех не меньший, чем Кути... Однако поэта влекли не те женщины, которых довольно поманить пальцем. Что из того, если каждую приглянувшуюся ему девушку он тут же просил стать его женой? Ведь он был почти ребенок... К тому же, предложение и тогда было первым шагом для серьезной осады сколько-нибудь достойной женщины. Если не считать Эмилию Каппель, которая была предметом не любви, а просто дружеского пари, он сделал предложение всего-навсего трем женщинам, и две из трех с радостью отдали ему свою руку. Быть может, жизнь задалась бы ему лучше, женись он на домовитой, самоотверженной сиделке — Жужике Надь из Дунавече, которая без просьб и даже без ухаживаний кивком сказала «да». Возможно, он и выбрал бы себе такую женщину, если бы у него была возможность выбора, если бы сами женщины не искали его. Корнелия после полуторадневного приключения остановилась, не последовала за поэтом. Не то что Юлия, которая после полуторамесячного знакомства, несмотря на Колто, Дебрецен и мрачное «никогда», несмотря на ужасные и оскорбительные вести, приходящие из Пешта, и проклятия старого Сендреи, все упорнее держится за него. Этой любовью, тихое угасание которой сейчас зависит только от нее, она занята, даже в записках своих, неизмеримо больше, чем поэт, который по приезде в Пешт окунается в тысячу дел и забот: издание книги, сплочение писателей, наглые выходки наемного писаки по имени Зерфи и, наконец, нищета, более отчаянная, чем та, от которой он бежал в начале августа.

Двенадцатого декабря журнал «Элеткепек» публикует список своих новых сотрудников; среди них — Кошут; фамилия Петефи набрана несколько более крупным шрифтом, чем фамилии остальных... На другой день

Кошут, оскорбленный, забирает свою статью из редакции: он не желает, как вспоминает Франкенбург, «числиться после какого-то поэта»! Петефи охвачен гневом: пусть знаменитый поборник равенства почтет за честь возможность печататься вместе с ним в одном журнале.

Из великих сатмарских переживаний мало-помалу созревает стихотворение — значит, сами переживания бледнеют. В прекрасном поединке свободы и любви первое слово достается не Юлии.

Был я всюду, видел много,
Но одно познал в печали:
Что страна теряет силы,
Что стоим мы у могилы,
Что мадьяры измельчали.

А дальше мы слышим уже просто бичующий и скорбный голос Ади:

Горе сыновьям отчизны!
Горе тем, кто непослушны,
Кто свою отчизну любит
И не смотрит равнодушно,
Как страну родную губят.

(«Я домой вернулся...»). Перевод Л. Мартынова)

Свежее личико Юлии всплывает все реже. Первое любовное стихотворение, неповторимо тонкое и безыскусственное, навеяно воспоминаниями.

Куст задрожал оттого,
Что птичка задела листья.
Сердце дрожит оттого,
Что мне припомнилась ты.

Кончается стихотворение подспудной мыслью о вероятном разрыве.

Если не любишь меня —
Благослови тебя бог!
Если ты любишь — стократно
Благослови тебя бог!

(«Куст задрожал...»). Перевод В. Левика)

В жалкой меблированной комнатенке, под рождество, вновь возникает перед Петефи еще недавно казавшееся столь близким счастье семейной жизни — и происходит печальное с ним прощание. В последующие дни рождается стихотворение «Одно меня тревожит...» — потря-

сающей силы рапсодия, воспевшая великое горение во имя и семьи и человечества. Мы найдем здесь самый бурный взрыв чувств, любовный пыл. Не случайно в школьных учебниках оно постоянно приводится как пример рапсодии в нашей литературе. Сыщутся ли еще такие сорок строк, в которые вместилось бы столько различных оттенков чувства, настроения, мысли, неизменно в соответствующем ритме, уверенно (но не по сложившемуся заранее замыслу) направленных к точной цели. Образы теснятся, полнозвучные, взрывные, как в первых дебрецеских стихах; но никогда еще не были они так единонаправлены.

Пусть буду я, как дуб, а смерть — как молний пламя;
Пусть буря налетит и вывернет с корнями;
Пусть буду, как утес...

(Перевод Л. Мартынова)

Упомянем ли о том, что стихотворение, говорящее об обществе, о родине в самом обширном смысле этого слова, сейчас уже не только выливается в мысль о смерти, но прямо от нее отправляется? Упомянем, но не затем, чтобы понемногу обрядить поэта в одежды прорицателя, а потом, быть может, кивая, наблюдать, словно исполнившееся предсказание — его ужасный конец. Любая мечта проясняет не то, что будет, а то, что было, она расшифровывает что-то в душе. В первый день нового года увидело свет известное мотто «Любовь и свобода»; это даже не стихотворение, но объяснение и прежде всего — весточка.

Любовь и свобода —
Вот все, что мне надо!
Любовь ценою смерти я
Добыть готов,
За вольность я пожертвую
Тобой, любовь!

(Перевод Л. Мартынова)

Кому эта весточка? Юлии? Или Неллике? Или обемим? После этого Петефи долго не окунает перо в чернила ради выражения любовных чувств. Не то — у Юлии. Ее дневник становится все литературнее в самом дурном смысле слова. Она даже переписывает из него пространные куски и отправляет их подруге в виде приложения к письмам. Она занята своими воздыхателями, балами и

наряды, но «великий Он» все же не выходит из ее маленькой головки.

Ничто не затемняет суть лучше, чем плохая фраза. Нетрудно установить, где прячется ложь в выдаваемых за истину громких словах; гораздо труднее выяснить, сколько истинного в явно лживых или фальшивых чувствах. Из одного лишь расчета не лицемерят даже в чувствах. Петефи и для публики пишет так, словно отсылает частное письмо; Юлия не только в письмах, но и в дневнике самые сокровенные признания излагает пышно, как бы в расчете на публику, чем вводит в заблуждение не читателя, а в первую очередь, самое себя. Влюбись она в священника или в судью, рылась бы, вероятно, в Библии или «Трипартиуме» — теперь же терзает себя стилистическими красотами, раздумьями об особенностях и тайнах артистической души. Вновь и вновь плетет она достойные старинных романов простенькие, очаровательные интриги, в которых запутывается сама. Задыхаясь, с отчаянием старается она выкарабкаться из болота притворных и истинных страстей, страданий, цепляясь за действительность и, как за что-то верное, жизненное, — за удаляющегося от нее поэта.

О нем же — только одна деталь, относящаяся к этому времени. Йокаи, который, к сожалению, и воспоминания свои постоянно перетасовывает, перекраивает на романтический лад, здесь достоин полного доверия: это сказал бы любой психолог. Вот что пишет он о другом поэте, вспоминая бедную умершую героиню «Кипарисовых ветвей»:

«Помню, как два года спустя после смерти Этельки, возвращаясь с ее могилы, которую он посещал в день ее именин, поэт вошел ко мне с расстроеным видом.

— Видишь, как человек жалок! — проговорил он подавленно. — Я иду с кладбища, от могилы Этельки... рыдал там, как безумный. И вот, иду назад, а навстречу мне очень красивая девушка; и я, когда она миновала меня, я оглянулся ей вслед! А ведь шел с кладбища».

Это было точно 7 января 1847 года: на этот день приходится по венгерскому календарю именины Этельки — женского варианта имени великого Аттилы.

1847 год... Самый блистательный год в духовной жизни Венгрии. Замечательные события двух последующих лет в большой мере зависели от того, что происходило в других странах, эти события могли бы сформироваться иначе, могли отодвинуться, измельчать и даже, будь в противнике, то есть в габсбургской монархии, хоть на каплю больше ума и чести, вовсе не состояться. Именно 1847 год собрал воедино те взрывные силы, которые затем пришли в действие и все осветили, не потеряли способности светить даже сегодня. Другие нации имели десятилетия для подготовки энциклопедии переворота и сотворения новой эпохи. Страдная пора венгерского обновления продолжалась всего год, оружие и камни для баррикад были взяты из арсенала прошлого; все это создало такой духовный подъем, что Венгрия ни в чем не отставала от устремлений Запада и даже иногда порывалась идти дальше, привлекая к себе внимание всей Европы, словно маяк. Одно за другим вызревают эпохальные литературные произведения, в течение месяцев линии фронта распадаются и создаются опять уже на новых позициях. Литература — что случается так редко — вливается непосредственно в жизнь, становится в ней действенной силой... Становится одной из первопричин того бурления, которое охватывает всю Венгрию. Управление страной — что случается еще реже — ускользает от политиков и попадает в руки писателей; наступят дни, в самый разгар революции, когда они будут обладать почти всей полнотой власти. В такое время происходят великие события.

Это был великий год и для Европы. Теннисону видится приближение Золотого века; глазам Броунинга открывается заветное поле Битвы. Это год, когда даже молодой Бодлер готов выйти на баррикады. Семидесятипятилетнее духовное движение, со всеми своими оттенками, ощущает себя у врат действия и жаждет распахнуть эти врата.

В центре новой венгерской литературы стоит молодой поэт, проживающий в доме Янковича по улице Хатвани, в маленькой комнатухе, окнами во двор. Его идейные, политические воззрения выкристаллизовались с поразительной чистотой, в значительной мере, очевидно, под влиянием сатмарских впечатлений, где он в

непосредственной близости мог наблюдать образ правления прогнившего насквозь дворянства, на собственной шкуре испытал, что приходится выносить людям, не имеющим гербов, а главное — состояния. Существует весьма сомнительное мнение, что он-то мог бы раскопать права свои на дворянское звание, впрочем, не много стоящие. Патриотизм — Петефи это видит — понимают двояко: ведь и родина в старом понимании означает защиту лишь наиболее ничтожных, ибо наиболее эгоистических, интересов в ущерб миллионам; тогда как в новом, пришедшем с Запада понимании родина — это общий свободный дом для миллионов людей. В глазах Петефи верно последнее — то есть должно стать верно: разве мадьяры — не свободная нация?!

«Венгры свободная нация!» — дворянство в течение столетий кричало об этом единственно для защиты своих привилегий; теперь этот девиз обернулся именно против привилегий; и обернул его, направил против них Петефи, который, собственно, только в том и виноват, причем до конца жизни, что принимает всерьез слова, выученные еще в школе, и переносит их на венгров вообще, на крепостных, на безродных, ибо для него, мастерового слова, все, кто говорит на венгерском языке, одинаково венгры. Вернее, так должно быть. Насколько же они не одинаковы в реальной жизни, он имел случай убедиться лишний раз даже после Сатмара.

Ему нужны деньги, деньги, деньги. Не только для себя: старый добрый корчмарь снова пустился в коммерцию: еще в мае он запродавал пятьдесят одну коровью шкуру за 725 форинтов, но шкур поставить не смог, и теперь его ждет неоплаченный вексель, позорище суда, банкротства... Сын берется раздобыть деньги; он пишет богачу Пульски, который, как сообщалось в «Элеткепек», желает в новоприобретенном своем нogradском имении учредить *asylum*¹ Петефи. Меценат не удостоивает его даже ответом. Проглотив горькое унижение, поэт с помощью друзей устраивает случайную встречу с ним за ужином. Встретиться удастся, но деньги, увы, необходимы самому Пульски — на строительство, на то да на се... Тогда поэт пишет Телеки. Граф тоже не отзывается, он как раз в отъезде; ответ приходит лишь не-

¹ Святилище (греч.).

сколько месяцев спустя, вместе с нужной поэту суммой, которая — мы можем быть спокойны — позднее была возвращена до последнего крейсера.

Петефи по шею погружен в реальный мир. Насколько же это другой мир, даже с точки зрения роли в нем поэта, чем тот, который он видел вокруг себя в «Алфёльде»? Пейзаж нужно только описывать, уловить его настроение; с обществом надо спорить, надо наносить ответные удары, убеждать, изменять его. Но, как и прежде, стихи Петефи, нагруженные не меньшими поэтическими ценностями, взвиваются высоко, — и чем из большей глубины, тем выше.

Сейчас, когда он стоит перед эпохой действия, вероятно, имеет смысл еще раз подвести итог его душевному состоянию. Действительность Петефи знает из собственного опыта. Литература — пока мы можем еще назвать это даже литературной модой — сама подтолкнула его к тому, чтобы представлять в ней действительность. Но *верно* представлять эту действительность означает стремиться к революционным действиям. Молодой поэт еще не знал, или знал лишь в самых общих чертах, научные теории возможной перестройки общества. Не занимался он и политическими науками. Адвокатское мышление презирал. Но в чем же все-таки причина, что среди своих современников и соратников он видел лучше других — коль скоро время подтвердило его правоту? И в чем причина, что даже какой-нибудь знаток нынешних теорий не мог бы посоветовать ему избрать позицию лучше? Или он инстинктивно, из фактов и ситуаций, умел почерпнуть то, что сегодня научное исследование познает с помощью всех своих аксессуаров? Его пример доказывает, как много может достичь ясный ум, имеющий мужество последовательно мыслить. Петефи был гениальным творцом не только в поэзии, но и в общественной деятельности. Причем великий секрет его и здесь все тот же — естественность и простота. Как в поэзии, так и здесь он умел заставить говорить самую действительность. Только она в состоянии раскрыть то, что превыше ее самой: то, что предвдвряет следующую эпоху.

Петефи неведомы колебания более поздних времен (даже его современников) между художественным и политическим исповеданием веры, он одним ударом разрушает между ними перегородку, которая мешает раз-

виту как того, так и другого. Сверхшение немалое: помимо уверенности в себе как художнике, здесь необходима и большая сила характера, помимо смелости поэта — личная смелость. «...я такой человек, что ради правды даже красотой готов пожертвовать», — пишет он. Пока это выглядит еще противоречием. Он тут же поправляется: «Что правдиво — то естественно, что естественно — то и хорошо и, по-моему, красиво. Вот моя эстетика». Мы можем лишь поздравить поэта: определение столь же кратко, сколь и удачно, оно дружинисто, как аксиома. Но столь же и опасно. Кто это исповедует, тот становится рабом самых незаторженных своих душевных страстей, откровенности, высочайшей честности, с отвращением чурающейся малейшего пятнышка, пылинки; тот недолго удержится в нашем покоящемся на взаимной снисходительности обществе. Эта опасность просвечивает уже в следующей за исповеданием веры фразе: «Я считаю Дожу одним из самых славных героев венгерской истории...».

Свои принципы Петефи подробно излагает в предисловии к предстоящему изданию собрания его стихов, которое пишет в день тройного своего праздника — дня рождения, совершеннолетия¹, Нового года. Из предисловия выясняется, что неточная рифмовка, за которую его высмеивали критики, отнюдь не небрежность, а порождение определенной поэтической идеи: «Венгерские размеры и рифма еще не определились». Не определились, добавим, и поныне. Он не дает этого предисловия в свою книгу — слишком много внимания уделено в нем критикам. Поэт не желает первые страницы полного собрания своих сочинений — даже для того, чтобы пригвоздить к позорному столбу, — предоставить «тем грязным рокам» (выражение поистине мягкое), самая грязная из которых, напав на личину утонченной образованности, именно сейчас оплевывает всю венгерскую литературу, а в первую очередь его, «неотесанного грубияна», — да так усердно, словно за это платят. «Уродливая безнравственность, неестественность, мужицкие пороки, пастушечьи драки и низменные забавы», «пьяные спотыкания» — так выглядит под пером «критика» поэзия Петефи, который «как будто умышленно изыски-

¹ В Венгрии в те времена совершеннолетними считались лица, достигшие 24-х лет.

вают искаженные образы, лишь бы не пришлось ему склонить голову перед прекрасным и истинным, глубоким и божественным». «От подобной писанины поэтическая душа отворачивается с отвращением», и лишь «отечественные ослы» осмеливаются сравнивать «венгерского пииту» с Гейне или Беранже. Так расправляется с Петефи новоявленный критик, Густав Й. Хирш, пишущий под закрученным на французский лад литературным именем Зерфи; в европейской цивилизации он чувствует себя дома и то и дело жонглирует именами Гегеля и Фихте. Этот темный проходимец — мы вправе отнести к нему столь тривиальное слово, писательский иммунитет на него не распространяется — позднее, уже в пору своей свержеволюционности, полагал, будто отмыл себя признанием, что все подлости творил действительно из-за денег, писал по заказу аристократического журнала. Следовало бы ответить ему на это в полный голос. Мы сожалеем, что Петефи, хотя доказательства были у него в руках, не разоблачил «низменные побуждения, которые заставляют их выступать против меня», как писал он в упоминаном предисловии. Мы знаем, что унижения именно в этот период приносят ему гораздо больше горечи, чем он в том признается. Утешило ли его, что наконец-то он покорит и «образованные» слои, может быть, даже образованный Запад? В это время готовится к изданию первый сборник его стихов в немецком переводе, благодаря доброму участию Карла Бека, тогда же до него доходит слух, что Гейне в восторге от его стихотворений. Этого достаточно, чтобы одним движением плеч он стряхнул с себя брошенную в него грязь. Выругавшись разок, поэт прочищает горло для стихов новой тональности. Эпоху действий он открывает стихами, которые уже сами по себе равняются действию.

Первое вступительное стихотворение — это обет, клятва, достойная уст героев Рима и Гревской площади, в ответ на прошлые и еще подстерегающие поэта поношения; такая же подготовка души на пороге нового этапа, как некогда его знаменитое «Степная даль в пшенице золотой...».

Мужчина, будь мужчиной!
Не любит слов герой.
Дела красноречивей
Всех Демосфенов! Строй,

Круши, ломай и смело
Гони врагов своих,
А сделав свое дело,
Исчезни, словно вихрь!

.
Мужчина, будь мужчиной!
Ведь не мужчина тот,
Кто за богатства мира
Свободу отдает!

.
Будь словно дуб, который,
Попав под ураган,
Хоть выворочен с корнем,
А не согнул свой стан!
(«Мужчина, будь мужчиной!..».)
Перевод Л. Мартынова)

Стихотворение было бы лишь набором слов, если бы мы не знали человека, который стоит за ним. Петефи уже достиг того пьедестала, откуда собственно и начинается путь лирического поэта; наступила минута, после которой заслуживают внимания все — даже неудачные — его стихи: они вбирают в себя заряд, заключенный в стихотворениях, что стоят с ними рядом, и становятся частью его Творчества.

Поэт с уверенностью двигается по новой территории, и тот, кто, ошеломленный, нет-нет да и отстанет от него или следует за ним неохотно, должен пенять на себя, в себе самом искать причину: очевидно, не способ изображения, то есть художественное мастерство, но сам изображаемый предмет вызывает у него протест. Мы вступаем на территорию революции, где речь пойдет о серьезных и даже — куда уж больше! — о личных интересах и угрозе для них. Поэтому принять точку зрения заинтересованных лиц за эстетическую норму мы не можем. Это походило бы на воззрения тех ценителей, для которых картины Рембрандта, изображающие старух, менее ценны, нежели полотна с портретами молодых красавиц.

Память нации — ее литература. Следовательно, литература — самосознание наций. Как бы ни возвышалась та или иная эпоха, но если о ней ничего не осталось в литературе, то ее уже нет: она не передаст своего опыта, ничему не научит; на лестнице развития нации в этих местах остаются белые пятна. Наиболее остро недостающие нам ступеньки в нашей литературе — это произведения, которые должны были бы изобразить вен-

герское общество начала девятнадцатого века и его середины. Положим рядом с венгерскими романами середины прошлого века иностранные романы того же времени, и мы увидим, чего недостает — не только в венгерской литературе, но и в венгерской действительности, — и это уже невосполнимо. Где достоверные картины жизни венгерской усадьбы? Быть может, у Гончарова, у Гоголя... Эти два имени упомянуты не случайно. Уже созданы были «Мертвые души». «Обыкновенная история» появилась на свет в 1847 году. Тогда же написано Шандором Петефи большое стихотворение «Кутякапаро», столь близкое им по духу.

Чичиков, едуци из одной усадьбы в другую с немывым Петрушкой за спиной, в Кутякапаро почувствовал бы себя как дома. Это стихотворение — как отныне немало стихов Петефи — тайными нитями капиллярных сосудов соединяется с произведениями великих русских реалистов: недостающие нам ступеньки восполняются строками его стихов.

Бог весть, где шинок затерян.
Ошибется каждый,
Кто здесь утолить намерен
Голод или жажду.
Пить захочешь на ночлеге —
Проклянешь с досады
Ноя, спасшего в ковчеге
Ветку винограда.
Длинный узкий стол в трактире
Поперек каморки
Так и рухнет, растопыря
Хилые подпорки.
Вдоль стола по стенке криво
Лавка протянулась,
Но не от гостей наплыва,
А от лет согнулась.
.....
Здесь колоколов далекий
Отзвук умирает.
Залетевшая сорока
В страхе улетает.
Даже солнце дышит грустью
И глядит унылей
На корчму и залолустье
Из-за тучи пыли.

(Перевод Б. Пастернака)

Впрочем, «Кутякапаро» почти так же трудно почувствовать с помощью цитаты, как и роман. Вдруг появляется непривычная при оценке поэтических достоинств

криво протянувшаяся лавка, незастланная кровать, сгорбившаяся плита, зевающий корчмарь, его растрепанная, окно, заклеенное страницей из календаря, закопченные стены, заспанный волкодав, песчаные холмы вокруг, звук колоколов, долетающий сюда, чтобы умереть, и наконец, придорожная статуя святого, которому кто-то повесил холщовую суму через плечо: «Проходи-ка с богом!» Истинно обломовский мир. Картина запустения — венгерского запустения — обретает полноту лишь вкупе с непередаваемым, почти безличным юмором, понижающим произведение поэта. И тут уже неважен размер шедевра — страницу занимает он или целый том. В этих двенадцати строфах — как затем в стихотворении «Степь зимой» и неоконченной поэме «Судья» — начинается изображение подлинного положения Венгрии, словно бы бесстрастное, но с той объективностью, которая вполне четко выражает политическую позицию. Такова истинная основа политической борьбы — в ней выход для общества и для души поэта. Нет ничего удивительного, что эти стихи появляются в его творчестве вместе с широкой волной так называемых политических его стихотворений.

До сих пор Петефи с политическими стихами не велю. Между тем и в них он неизменно изображает действительность — действительность духовной жизни — и с неизменным мастерством. В наших настольных книгах и справочниках среди примеров литературных параллелей с «Замок и хижина» Этвёша никогда не соседствует «Дворец и хижина» Петефи, хотя в этом сопоставлении можно увидеть с редкой отчетливостью различие мировоззрений двух столь родственных в целом поэтов, увидеть новое понимание гуманизма — более объективное, если можно так выразиться.

Дворец и хижина — да, поэт действительно поучает их словно двух школьников, один из которых груб, другой же слишком смиренен. Но он учит их делу великому. Сперва учит дворец:

О замок, чем гордишься ты?
Ты чванен, как владелец твой,
Который всю свою ничтожность
Скрыл под алмазной мишурой.

• • • • •
А как возвысился ничтожный?
Как раздобыл он силу, власть?
О, так же, как и ястреб птичку,

Чьей кровью он напьется власть.

Дворец! Все то, чем ты богат,
Разбоем приобретено.
Но не гордись богатством э т и м, —
Дни сочтены твои давно!

Хижину он сперва легонько гладит по востряпанным,
но симпатичным вихрам:

А ты поблизости дворца,
О хижина, бедна ты столь,
Что прячешься среди деревьев
От скромности.

Но ласковая рука внезапно взвывается предупреждающе, в высоком порыве:

Свят небогатый сей очаг!
Я преступил через порог.
Не под соломенным ли кровом
Порой рождается пророк?
Спаситель вышел в мир из хижины,
Из хижин вышли мудрецы...

Они выходили не только оттуда. Но справедливость — действительно оттуда родом; если и не адепты ее, то самая идея, мысль о справедливости всегда ютится в хижинах, особенно в суровые времена, и оттуда распространяется, оттуда вырывается в мир. Народ, беднота, угнетенные всегда правы: не только потому, что несправедливость свершается над ними, но и потому, что у них никогда не было возможности осуществить величайшую из всех несправедливостей — угнетение и эксплуатацию себе подобных. Кто стал бы отрицать это? В торжественной последней строфе фигура с воздетой к небу рукой склоняется, напоминая Христа, нагибающегося к чаше Иоанна Крестителя.

Не бойся, бедный, добрый люд!
Все ближе он, счастливый час.
Страдали встарь вы, бьетесь ныне,
Зато грядущее — для вас!
Да! Преклоню свои колени я,
Вошедши в скромное жилие.
О, дайте мне благословение,
А я вам подарю — свое!

(Перевод Л. Мартынова)

Какова награда за бескорыстную борьбу? Следующие стихотворения дают на это ответ. В переключке «Песни собак» и «Песни волков» нет иного ответа, кро-

ме одного: свобода. Борьба ведется не ради награды, но по внутреннему приказу, по законам собственного темперамента или морали. Та же мысль выражена и в следующем стихотворении — «Поэтам XIX века»:

Не для пустой забавы пой
В угоду суетному миру!
Готовься к подвигу, поэт,
Когда берешь святую лиру.

.
Иди же, если ты поэт,
С народом, сквозь огонь и воду!
Проклятье всем, кто, кинув стяг,
Изменит своему народу!

Пророки лживые твердят,
Что мы пришли в предел желанный,
Что здесь окончен долгий путь
И мы — в земле обетованной.
Ложь! Говорю вам: это ложь!
Не миллионы ль страдают ныне
И терпят голод, жажду, зной,
Скитаясь в огненной пустыне?

В оригинале строфа оканчивается простым вопросом, но, читая ее, невольно хочется добавить и восклицательный знак, настолько захватывает осязаемый между строк жар и неизменная злободневность.

Когда любой сумеет брать
От счастья полными горстями,
Когда за стол закона все
Придут почетными гостями
И солнце мысли, воссияв,
Над каждым домом загорится,
Мы скажем: вот он, Ханаан,
Пришла пора остановиться!

(Перевод В. Левика)

Это не новое слово в поэзии той эпохи. Но чем же все-таки Петефи отличается от других народолюбцев и патриотов — предшественников и современников? Родина для него все менее означает оссиановское, вёрёшмартиевское прошлое; крутым поворотом он устремляется прямо к будущему. Шелли был революционер, ибо не принимал действительности. Но Петефи любит действительность, в его стихах осязаем каждый реальный предмет, все сущее; жажда действия, практического, немедленного претворения идеи в реальность живет у него в кончиках пальцев. Обожание крестьянского мира, как

разновидность народолюбия, ввела в моду на Западе известная светская дама, одевавшаяся в мужской костюм, курившая сигары и постоянно пребывавшая на грани истерики — Жорж Санд. Но Петефи привела к народу не ностальгия или неудовлетворенность бог весть какого происхождения. В нем бурлила неудовлетворенность самого народа; он не пришел к крестьянству, а вышел из него — хотя и не непосредственно.

Поэт и сам понимает это. Он пишет стихотворение, которому и поныне не уделяют должного внимания. Это «Грустная ночь» — вылившиеся в стихотворение ночные раздумья. Не лучше ли было бы, если бы вместо книг его приохотили в свое время к плугу? Иными словами, вечный руссоистский вопрос: *простая жизнь или образование?*

Чем склоняться к этим самым книгам,
Глянь на солнце, и ослепнешь мигом.
Ну, а книга, коль сидеть над нею,
Дальнозоркость сообщает оку:
Все на свете кажется крупнее
И милей... коль смотришь издалека.

Да, невежественный пастух, быть может, счастливее с традиционными своими колокольцем, шубой, свирелью... Но в самом стихотворении изображение теоретических познаний, «книжной культуры» пленительней, хотя и не безмятежней:

Фея книг прелестна, но жестока:
Глянешь в книгу — фея схватит душу,
И на звезды вознесет высоко,
И не спустит, а столкнет, обрушит!

(Перевод Л. Мартынова)

Поэт стремится к звездам — это явственно звучит в стихотворении.

Петефи словно угадал наперед, что всякую попытку улучшить судьбу угнетенных темные силы будут клеймить как «чуждую национальному духу», «беспочвенную», «предательскую»: свои новые идеи он прочно укрепляет в сугубо венгерской духовной почве. Романтическое возвеличение прошлого он использует для прославления подлинных битв за свободу. Первым среди венгерских писателей он восхищается Ракоци, и в этом

ему удастся увлечь за собой всю нацию. Поэт напоминает, внушает: мы всегда были свободолюбивым народом, наша победа всегда была победою права и гуманности... В стихотворении «Венгерец я!» он создает великолепный портрет нации, выделяя в нем как наиболее характерные черты — упорство бунтаря и вдохновенный взгляд гуманиста. Древняя слава, героические деяния Арпада Хуняди — для него повод призвать к завоеванию республики. Стихотворение производит впечатление не только содержанием. Оно начинается сильно и значительно, напоминая вступление второй скрипки.

Венгерец я! Мне дан суровый н р а в , —
Так на басах сурова наша скрипка,
Забыл я смех, от горьких дней устав,
И на губах — лишь редкий гость улыбка.
В веселый час я горько слезы лью,
Не веря в улыбнувшееся счастье,
Но смехом я скрываю скорбь мою,
Мне ненавистны жалость и участие.

Венгерец я! Но стыд лицо мне жжет,
Венгерцем быть мне тягостно и стыдно!
Для всех блистает солнцем небосвод,
И лишь у нас еще зари не видно.

(Перевод В. Левика)

Однако интонация стихотворения не переходит в лвиное рычание Бержени. Революционность, социальное мировоззрение, оплодотворенные патриотизмом, именно благодаря тому, что у них есть почва, пускают более цепкие и жизнеспособные побеги, чем революционность сама по себе. Любовь к родине поэт отождествляет с любовью к народу и после стихотворения «К дюлдейским юношам», отповеди молодым клерикалам, пишет «Венгерским юношам», бичуя всю венгерскую молодежь за равнодушие к отчизне. Вершина этого периода — стихотворение «От имени народа». Все то, что до сих пор звучало по отдельности, сливается в единую мощную симфонию: любовь к родине и к народу, оскорбительная насмешка и революционная нетерпимость, сменяя друг друга и взаимно усиливаясь, звучат в этом могучем стихотворении. Венгерский Гончаров сделал необходимые выводы:

Народ пока что просит... Просит вас!
Но страшен он, восставший на борьбу.
Тогда народ не просит, а берет!

Вы Дёрдя Дожи помните судьбу?
Его сожгли на раскаленном троне,
Но дух живет. Огонь огня не тронет!
И берегитесь пламень тот тревожить —
Он всех вас может уничтожить!

.....
Кто вы такие, чтоб иметь права,
Которых не имеет весь народ?
Отцы добыли родину для вас!
Не на нее ль народный льется пот?
Вы говорите: золотые копи!
Но что ж молчите вы о рудокопе,
Что роет землю и дробит породу?
Ведь это же — рука народа!

.....
Права народу! Дайте их скорей,
Во имя мира, если мир вам мил!
Поймите: рухнет родина моя,
Как без подпор, без новых, свежих сил!
Сорвали конституции вы розу,
А все шипы швырнули вы народу.
Хоть лепесток народу подарите,
А... часть шипов — себе возьмите!

(Перевод Л. Мартынова)

Мы уже сказали: Петефи смотрит на общество реалистически. В непосредственной оценке ошибок и задач он уже сейчас, двадцати четырех лет от роду, превосходит своих современников. Поэтический дух, за которым мы следим со вниманием, в следующем стихотворении — «Света!» — еще раз обращается к столь мучительному для поэта вопросу, существует ли вообще прогресс и не обстоит ли дело с развитием мира так, что он — как «...волна, которая встает // И рушится, // Иль, может быть, он — камень, // Который, брошен, наземь упадет? // Иль мир как путник, что взошел на гору, // Достиг вершины, // Снова вниз бредет». (Стихотворение можно от начала до конца цитировать как прозу, элементов философских в нем еще больше, чем элементов поэтических, на основании чего Мелтцль уподобил его монологу Гамлета и даже оценил еще выше.) «Придет ли этот день, // Который добрые стараются приблизить, // А злые — // Хотят, чтоб этот день и не пришел! // Дождемся ли всеобщего мы счастья, // И что такое счастье, наконец? // Ведь всяк в своем находит это счастье, // Иль не нашел его еще никто? // Быть может, // То, что мы считаем счастьем — // Миллионы интересов — // Это // Лишь масса лучиков отдельных // Светила нового, которое еще — // За горизонтом, но взой-

дет однажды!»¹ Поэт не отвечает на поставленный вопрос. Самому себе ему не нужно было отвечать на него. Смеем утверждать, что все эти сомнения просто нахлынули на него в дурную минуту.

Революционер никогда еще не оказывался в столь благоприятных обстоятельствах. Идеалы, в которые верил Петефи, еще не раскрылись достаточно даже там, где они родились, то есть были еще идеалами, девственно чистыми и даже не испытанными. А значит — лишь более истинными. К тому же от Венгрии их отделяло расстояние в полторы тысячи километров! Свободу, равенство, братство, которые, как выяснится впоследствии, могут быть лишь пустым звуком, поэт ощущал почти вещными — не менее реальными, чем уже строящийся Цепной мост или чем нищету народа, лекарство от которой он видел как раз в этих идеалах. Быть может, он недостаточно знал человечество? Или — чрезмерно любил и потому мыслил формулами? Он был убежден, что достаточно свернуть шею королю, и человеческое достоинство в тот же миг поселится в каждом сердце человеческом. Достаточно прогнать господ, чтобы люди стали свободны, в один день сменив и душу. Вслед за Французской революцией пришла романтическая школа, в писании истории тоже; Петефи узнал историю революций именно в этой романтизированной форме. Был ли еще человек, который с такою силой в них верил?

С радостью неудержимой
Вижу я бога войны. Вновь он доспехи надел,
Меч он сжимает в руке, и на коня он садится.
Мчится по миру всему, и на решительный бой
Он собирает людей... Знаю: возникнут два стана.
Будто бы нации две — нация добрых и злых.
Будут бороться они. Тот, кто терпел поражения —
Добрый — тогда победит, он победит наконец!
Эта победа его в море кровавом потонет,
Но — все равно! Этот суд и обещал нам господь
Через пророков своих... А вслед за судилищем этим
Станет вся жизнь на земле вечным блаженством полна.
Ради блаженства тогда в небо лететь не придется,
Ибо на землю сюда к нам низойдут небеса!

(«Суд». Перевод Л. Мартынова)

Так представлял он себе — и в скольких еще обликах! — революцию, преддверье новых времен. «Одновременно меня ужас и радость берут». Стоит ли

¹ Перевод Л. Мартынова.

разбирать, сколько в его мыслях от Апокалипсиса, от утопистов того времени и от верного исторического чутья?

Он верил в революцию, и позднейшие события также не могли разочаровать его, отчасти потому, что, помимо идеалов, у него был и темперамент революционера, отчасти же потому, что он до этих событий не дожил.

Его душа закалилась для той борьбы, ведущая роль в которой — как он твердо верил — тогда неизменно принадлежала литературе. Это же давало ему силу для борьбы вне литературы и для борьбы, задуманной писателями сообща.

Затея 1846 года — самостоятельный журнал — не могла осуществиться. Но результат сказался сейчас, в наступившем 1847 году. Благодаря «Обществу десяти» сложилось новое поколение писателей, и умному редактору «Элеткепек» удалось завоевать его для своего журнала. Молодежь пользовалась здесь полной свободой, она могла считать журнал своим, а вскоре и вовсе взяла его в свои руки. Приблизительно в то же время дёрский журнал «Фатерланд» переименовывается в «Хазанк» («Наша родина») и тоже распахивает двери перед молодыми литераторами.

Петефи даже в обществе прогрессистов, сплотившихся под его началом, чувствует себя одиноко. Все остальные так или иначе занимают позиции в соответствии с образом мыслей среднего класса — а он в это время начинает гордиться приклеенной ему во умаление кличкой «народный поэт» и повторяет эти слова все чаще. Он первым, в одиночку, чуть ли не на полстолетия опережая свое время, нарушает и разрушает классовую замкнутость дворянско-буржуазной литературы. (Когда мы читаем, что какой-либо поэт на полстолетия опередил свое время, это всегда следует понимать в том смысле, что время его отстало на полстолетия).

Другие писатели говорили о народе, иногда даже от имени народа, но обращались они всегда к своему классу. Петефи первым, быстро пройдя эти ступени, сумел обратиться непосредственно к народу и притом так, как и поныне не умеет никто; он сотворил чудо, оказавшись понятным даже самым «низшим» слоям, без всякой попытки до них «опуститься». Он говорит с народом страстно и пылко, ибо знает, что духовный уро-

вень «низших» слоев народа не столь низок, как их материальное положение. Петефи агитирует, будоражит, будит возмущение, не страшится обвинения даже в демагогии — самого двусмысленного обвинения со стороны правящих классов. Он ищет таких же соратников. В это время на пыльных равнинах Восточной Венгрии подымается в полный рост другой муж, тот, для кого Петефи стал вечным союзником и другом, вдохновителем его и его мукой — Янош Арань.

24

Истинное представление о пресловутой самоуверенности, о трудном характере поэта, в чем его столько раз упрекали при жизни и позже (и чему подражали), дает его дружба с Аранем. В непримиримости Петефи нет ни грана зависти или эгоизма. Он ни в чем не сходен с теми странными безумцами, которые всегда, без исключения, приносят вред лишь другим — и никогда себе. Не во имя личных интересов, но во имя своих принципов стучит он кулаком по столу, рвет самые дорогие ему дружеские отношения. Этот колосс с самым скрупулезным вниманием участвует в писательском содружестве, начатой ради общих целей работе и даже сам ее ищет. Соперников у него нет, есть только противники. Среди современников лишь Арань был тем единственным, кто, вырастая, мог бы угрожать его славе, но именно Араня Петефи поддерживает горячее всех не только на литературной арене, но и в личной жизни. Он обучает его секретам писательского ремесла, то есть секретам самовыражения, достижения успеха, дает ему советы, побуждает работать, поддерживает во всех случаях жизни, целыми днями бегаёт по городу, отыскивая для него издателя, денег и места.

Не будь перед Аранем этого образца — стал бы он тем, чем стал? Вопрос не праздный. Ведь сына стариков-крепостных из Салонты всякий раз приходится буквально силой вытаскивать из привычных условий существования. Он родился поэтом и был великим поэтом, но осторожная повадка закабаленного крестьянина, чувство неуверенности в мире власть имущих у него в крови; он лишь в том случае делает шаг-другой к этому миру и к своему призванию, если его поддерживают под руки

с обеих сторон. Конечно, добрый пример, образец для подражания — сила, даже более ободряющая, чем речи друзей. Погруженному в изучение греческого и английского языка сельскому нотариусу Араню истинный путь указывает родственная душа. Поэты обладают даром сообщаться между собой сквозь дальние дали, они ближе друг к другу, чем к членам собственных семей. Истинным ментором Араня был не Иштван Силади, поклонник недостижимой красоты, но Петефи, народный поэт, которого Арань знал пока лишь по стихам.

«Общество Кишфалуди» под впечатлением триумфа «Витязя Яноша» объявило конкурс на поэму, народную по теме, — редчайший случай, когда литературный конкурс породил истинно достойное произведение. Петефи не стал участвовать в соревновании поэтов; быть может, в глубине души он ожидал, что премию в конце концов присудят ему — за «Витязя Яноша». Откуда найтись в литературе чему-либо подобному?

Узнав, что все-таки нашлось, да еще такое, что жюри конкурса удвоило назначенную премию, Петефи добывает рукопись поэмы Араня «Толди».

— Сколько лет этому человеку? — интересуется он у знакомых.

— Тридцать, — отвечают ему.

— Тогда не страшно, — восклицает поэт. Он на шесть лет моложе. Даже если его оттеснили назад, сколько еще можно сделать за это время! Мы свидетели единственного мгновения, когда Петефи видит в Аране нечто вроде соперника. Но это чувство покидает его бесследно, едва он принимается за рукопись, которую прочитывает в один присест. Поэма народна только по тону и манере рассказа; Миклош Толди лишь в той мере сын народный, в какой и сам Арань: он крестьянин, но в конце концов все-таки надевает, или позволяет набросить на себя дворянский кафтан; единственный действительно народный образ в поэме — старый Бенце, идеал традиционного верного доброго слуги. Против такой роли, отведенной народу, не имеют возражений даже самые аристократические слои общества; «Толди» — обуржуазившийся «Витязь Янош» — покоряет всех. Самого Петефи завораживает, очевидно, реализм изображения и вознесение народного языка на вершины искусства. Под этим впечатлением и пишется его знаменитые стихотворное послание и письмо.

Петефи в приветственном послании рисует образ идеального народного поэта; в действительности это, конечно, не Янош Арань, а — не кто иной, как он сам:

Песнь твоя простая — как колокол степной,
Колокол, пленивший сердце чистотою.
Он звучит над степью, надо всей страной,
Не тревожим шумной суетой мирскою.

Только тот народный подлинный поэт,
Кто народ небесной насыщает манной.
Ведь народ не часто видит солнца свет
Сквозь густые тучи, сквозь покров туманный.

В поэме «Голди» ни слова не говорится о том, что народ видит солнца свет лишь сквозь тучи. И тем более нет в ней упоминания о главном:

И никто бедняге труд не облегчит,
Значит, нам, поэтам, петь народу надо.

(«Яношу Араню». Перевод Н. Чуковского)

Ничто на свете не могло бы принести Араню столько счастья, как это письмо. Пусть даже никто о том и не думал, но он-то не мог не чувствовать, сколь многим обязан его «Голди» «Витязю Яношу», а ироикомиическая поэма «Потерянная конституция» — «Сельскому молоту». Араню известна репутация «сердитого» народного поэта, он, конечно, читал стихи и отповеди Петефи армиям подражателей, ринувшимся за поэтом по пятам, невзирая на его яростные окрики: «Подите прочь!» Арань не эпигон, это несомненно, — но и родственность двух поэтов несомненна тоже. Они работают на одной территории — как же его примет собрат, этот сорвиголов, о задиристом и сварливом нраве которого даже в Надьсалонте рассказывают легенды? Вообразим же, какое чувство освобождения должен испытать этот погруженный в себя человек, подозрительный и готовый в каждом видеть врага, получив подобное приветствие. Так начинается самая прекрасная в истории венгерской литературы верная мужская дружба. Даже в романах не найти столько самоотверженности и бескорыстия, сколько изливается на нас из их переписки, из того, что писали они друг о друге. Эти прекраснейшие в мировой литературе письма — памятник бесконечной преданности двух мужчин друг другу.

Петефи делает первый шаг. Уже во втором письме он обращается к Араню на «ты». «Я такой человек, что

если в какой дом зайду, то люблю в нем сразу развалиться на рундуке...» Словно молния ударила в дом и в душу любящего покой сельского нотариуса. Его, неизлечимо недоверчивого, вечно колеблющегося, Петефи самой непринужденностью своей побуждает к доверию, к утверждению на революционных позициях, к борьбе. «Если народ будет господствовать в поэзии, он приблизится и к господству в политике, а в этом — задача века; осуществить ее — цель каждой благородной души, которой уже невтерпех стало видеть, как страдают миллионы ради того, чтобы несколько тысяч могли нежитья и наслаждаться жизнью. В небо — народ, в ад — аристократию!» — вот самое неотложное, что поэт спешит сообщить в первом же абзаце первого письма к Араню. Тон второго письма уже действительно — словно с «рундука», он исполнен самой доверительной безыскусности, словно эти два человека знакомы с детства. «...кое-кто обвиняет меня в том, будто я предвзято отношусь к поэтам... что я, кроме себя, никого не желаю признавать поэтом. А я как перед богом говорю: это самая гнусная клевета. Правда, неталантливых и полуталантливых пролаз я не люблю, не выношу и, если в силах, сметаю их с пути, но перед настоящим талантом я преклоняюсь и боготворю его!.. Да, убогое это ремесло — быть венгерским писателем. Какую-нибудь службу и я мог бы получить, но уж слишком отвратительно мне все это, а потому не остается ничего другого, как сказать словами поговорки: «Ешь, голубчик, было бы что!..» Потому я и не женюсь, ибо, может статься, — а этого я бы очень не хотел, — что мне пришлось бы оставить вдову и сирот». Поэт побуждает Араня поскорее браться за создание народного эпоса. «Только короля не выбирай героем, даже Матяша не надо. Он тоже был королем, а, знаешь, черный пес, белый пес — все одно собака. Если уж мы не вольны прививать народу идеи свободы, так, по крайней мере, не надо держать перед его глазами картины рабства, да к тому же картины рабства, расписанные заманчивыми, приятными красками поэзии. О таком эпосе я тоже давно думаю, герои его Чак Мате Тренченский и Ракоци. Но все мое несчастье в том, что и того и другого зарезала бы цензура, а я не могу писать для лучших времен, так как живу со дня на день и не в состоянии тратить время на создание таких произведений, за которые не платят сразу... Дала бы

мне нация семьсот — восемьсот пенгё-форинтов на год, и я бы ей показал, что она не зря потратилась. Разумеется, я взял бы только у нации, — от частного человека я и полмира не приму в подарок... Возможно, будущим летом я поеду в Эрдей и тогда, так и знай, не упущу случая навестить тебя. Мне так хочется наконец повидать, обнять тебя... Хоть я и никудышный сочинитель писем, но, если тебе не надоест, охотно нацарапаю изредка письмецо с разными глупостями. Мой адрес: улица Хатвани, дом Янковича, номер 585, третий этаж... а впрочем, если будешь писать, адресуй, пожалуй, лучше в кафе «Пилвакс», там я получу скорее, так как дома бываю редко. Собрание моих стихотворений выйдет к мартовской ярмарке...» Но и здесь, чуть ли не в самом начале письма, как одна из первых среди урагана идей — мысль об организации писателей, о начатом им движении! Вместе с Михаем Томпой их было бы теперь трое, народных писателей: у поклонника римских характеров уже готов план: «...Арань, Петефи, Томпа, ей-богу, прекрасный триумvirат! И если слава наша будет не столь же велика, как у римского триумvirата, зато заслуг будет не меньше, если не больше!»

У бедняги Араня голова идет кругом от подобных излишней дружеского сердца, растроганный, он падает в братские объятия и, захмелев, шаг за шагом движется туда, куда влекут его самые искренние и пылкие призывы. Он отвечает на письма пункт за пунктом, создавая своего рода письма-близнецы, следя, чтобы они не уступали и по длине. От обращений: «Приветствую Вас!» и «Примите мои ответные приветствия!» — они в два счета переходят к иному: «Душа моя», «Мое золотишко»¹, «Милый дружище мой Шандор», а вскоре и того более: «Мой обожаемый Янко», «Предель моя Янко», «Венценосный Янко», «My dear Janko»² и «Братец Шандор», «Божественный Шандри», «Мой Шандорка», — а то и совсем уже с простонародной интимностью: «Mylord»³. Невозможно без восхищения читать эти письма, веселую переключку двух гигантов. Арань, вторя, постепен-

¹ Арань (arany) — по-венгерски «золото».

² «Мой дорогой Янко» (англ.).

³ «Милорд» (англ.).

но втягивается в игру и не однажды подымается до примы. Не зная, как выразить свою благодарность, из чистой преданности он пробует силы в народном жанре и даже пишет боевой марш с эпиграфом из народной песни («Музыка играет, вербовщики идут»); ворчит по адресу аристократов, дворян, священников; по одному лишь знаку отказывается от мысли посвятить поэму «Осада Мураня» барону Вешелени, восторженно приветствует триумvirат, хотя догадывается, что одного из троих всегда ждет роль пристяжного. И — работает, работает; в тепле дружеского участия он создает столько, сколько не создавал лотом в течение десятилетий. Он первым произносит о своем младшем друге символические слова: «...словно комета ударила в скромное мое жилье». Петефи подхватывает Араня и увлекает тихого, не претендующего на величие хорошего стихотворца к призванию его, к поэтическим вершинам.

Они взаимно поддерживают друг друга. Тепло, струящееся в Салонту, умноженным возвращается в Пешт. Эхо приносит назад последние слова самого же Петефи, но прибывают они все-таки издалека, и ухо воспринимает их как что-то новое. Теперь, обретя спутника, молодой поэт еще увереннее движется вперед по избранному пути. Араню ли следует приписать то, что его друг именно в этот период творит с наибольшим успехом? Арань не критикует его, но для Петефи, даже больше чем критика, важно то, какие из его сочинений хвалит именно этот человек. Арань его заслон, его тыл, на нем он проверяет себя.

Из них двоих Арань действительно дитя народа. Право на любовь к народу, на борьбу во имя народа и за народность вообще глупо было бы связывать с тем, кто у кого родители, — но во всем этом поколении, воодушевленном желанием помочь простым земледельцам и пастухам, включая даже Танчича, Арань единственный, чей отец собственными руками возделывал землю. К тому же Арань — чисто венгерского рода. Впрочем, сам венгерский народ не вмешивается в начавшуюся за него борьбу. Сейчас мы уже знаем, что у Петефи, бывшего бродячего актера, — который в самом восприимчивом возрасте провел так много времени под матицами придорожных корчмушек и крестьянских лачуг, который душою и телом пребывал в самой тесной близости с народом, — больше общего с народом, а значит,

именно с венгерским народом, чем даже у Араня, всегда сторонившегося людей. Однако сам Петефи — если подобные мысли вообще приходили ему в голову — вероятно, почитал в Аране превосходящего его мастера народного языка, а значит (как он полагал), и лучше знающего народ поэта. Новому своему другу, горячему поклоннику Гомера и Шекспира, изучению которых так самозабвенно отдавался Арань, самому образованному венгерскому писателю того времени, Петефи радовался вдвойне потому, что это был сын венгерского крестьянства; он мог обмениваться с ним самыми высокими своими мыслями.

Дружба, как и супружество, хороша тогда, когда, помимо самого себя, служит чему-то еще. Эта дружба, дружба двух «сынов народа», проясняет для них обоих такие идеи, которые без этого, быть может, и не прояснились бы. Лучший пример тому — отрывок из письма, третьего письма, отправленного в Салонту. Дружеская перепалка, душевные признания, замыслы, переплетаясь между собой, вдруг рождают яркую вспышку, будто огонек чиркнувшей о коробку спички, складываясь в эстетический и политический тезис.

«Но милый, дорогой мой братец! Оставь ты эти похвалы! Когда я читаю их, то пламенею, как подожженный город, и, загляни я в такую минуту в зеркало, решил бы, право, что вижу нос Игнаца Надя. А потом я краснею уже оттого, что покраснел. Чрезмерной скромностью я не отличаюсь, в этом не обвинят меня даже самые заклятые мои враги; я искренне признаю, что достоин похвал; но когда меня хвалят в глаза, то, черт его знает, я как-то странно себя чувствую; будто на меня напала чесотка, а почесаться нельзя. Сравнение, что и говорить, далеко не эстетичное, зато очень правильное, а я такой человек, что ради правды готов даже красотой пожертвовать. Многие были недовольны мной за это, но пусть еще больше будут недовольны, мне и это нипочем. Что правдиво — то естественно, что естественно — то и хорошо и, по-моему, красиво. Вот моя эстетика. Тебя еще многие оплюют за то, что у твоего спящего Голди из рта слюна течет, я же за это тебя расцелую. Кстати, пес тебя дери, как смеешь ты думать, что я о Доже иного мнения, нежели ты? Я считаю Дожу одним из самых славных героев венгерской истории и свято верю, что настанет время (если венгерская нация

будет жива), когда Доже поставят великолепный памятник и, быть может, рядом с ним будет... и мой».

В этом, собственно, и заключалось влияние Араня: он не «сдерживал» своего друга — скорее, окрылял его тем, что стоял рядом и одобрительно отзывался о стихах. Не очень влиял он и на направление работы, не подталкивал к более тщательной отделке стиха. Разве что напоминал о прежнем характере народности его поэзии — о жанровых картинках, воспевании венгерских просторов? Или умел иногда от высоких революционных порывов обратить его взгляд вниз, на землю, на существующую венгерскую действительность?

Хлынувший внезапно, хотя и не неожиданно поток «политических» стихотворений Петефи расцветивают народные песни и жанровые зарисовки. Стихотворение «Тиса» показывает душевное состояние поэта даже лучше, нежели саму реку. В «Кутякапаро» все личное отсутствовало совершенно: поэт только рисовал картину, и ее цвета говорили сами за себя. Здесь же он сам — часть создаваемой картины. Нет другого венгерского стихотворения, в котором небосвод был бы столь бескрайним, а тишина такой, что слышно жужжание пчелы. Вот перед нами мастерски выписанная река:

Средь размытых берегов река
Катится прозрачна, широка,
Не сломает солнца луч волною,
Не рассеет пеной кружевною.

И дальше незабываемое:

И лучи на рдяной глади вод
Завели, как феи, хоровод,
И звенят невидимые хоры,
И бряцают крохотные шпоры.

Это — тоже кусочек венгерской действительности. Не думаем, чтобы и на сей раз было так уж необходимо разгадывать психологическую загадку: почему эта эфирная тишина в конце вдруг рушится и почему столь мирная на вид Тиса начинает с бешенством рвать на себе цепи, готовая поглотить весь мир. Поэт и против воли оказывается внутри нарисованной им картины. Современники считали лишними последние четыре строфы; эстетствующий Ференц Шаламон имел все основания сожалеть, что из-за них картина теряет свою «волшебность», а произведение в целом — «единство».

Есть у этого произведения еще одна загадка, на этот раз чисто художественная (если, правда, существуют по отдельности художественные и психологические загадки). Читатель даже не замечает, что читает с виду самое небрежное по форме стихотворение нашей литературы, вполне заслуживающее того, чтобы чувствительный на ухо Зерфи получил небольшое нервное потрясение.

И ковром по самый край земли
Золотые травы залегли.
А поля просторны и широки,
И на них снопы — что в книге строки.

Ритм, того и гляди, споткнется, нарушится. Ибо это стихотворение по сути своей есть проза; какой-нибудь конюх сказал бы точно так же, не выпуская трубку изо рта:

Я добрался к ночи в хутора,
Ужинал плодами у костра.
«Но скажите, — молвил я друзьям, —
Чем же Тиса досадила вам...
Почему всегда она в ответе?
Ведь покорней нет реки на свете!»

(«Тиса». Перевод В. Левика)

Именно в этой прозаичности и заключено высокое искусство. Рифмы и ритм в стихах — лишь вспомогательные средства. Чем крупнее художник, тем вернее умеет он наполнять стихотворение музыкой, придавать ему стройность и полет без каких бы то ни было внешних приемов. Мастер формы не тот, кто жонглирует этими приемами, устраивает из них зрелище, спектакль, а тот, кто с предельной точностью находит наиболее подходящую для его замысла форму и на каждом повороте прилаживает ее к своему предмету. Безукоризненный ритм, пожалуй, разбил бы зеркальную гладь реки; изысканная рифма стерла бы пыльцу нетронутости с пейзажа; шеголяющий своим мастерством художник вместо Алфёльда воссоздал бы лишь атмосферу литературного салона. Одна из сильных сторон «Тисы» — инстинктивное, ничем не нарушенное чувство меры; поэт опять полностью отождествляется с предметом изображения...

Это стихотворение, с воздушной легкостью льющееся по нарочито брошенным на пути преградам-рифмам, — прекрасный урок тем, кто упрекал молодого поэта в

небрежности, кто форму стиха путал с внешним его видом. «Тиса» — блестящий пример того, что в подлинно поэтичном стихотворении не замечаешь формальных элементов. Никогда прежде Петефи не владел с такою полнотой всеми приемами поэтического мастерства, как сейчас, когда по видимости менее всего ими озабочен. Именно по таким стихам и определяется поворотный момент в поэзии.

Успех «Толди», обмен мыслями о задачах поэзии народного направления лишь ускоряют процесс, который, несомненно, начался бы и без того. Из мира «Туч» и первых песен к Юлии молодой поэт, возмужав и перебродив, вновь вступает в мир народной жизни, вступает на венгерскую почву. По его нынешним жанровым картинкам видно, что глаз, их приметивший, проник тем самым в глубь вещей. В его песнях все больше места занимает прямое авторское самовысказывание. Возрастает выразительность лирических стихотворений. Почти одновременно с «Тисой» написанное и родственное ей стихотворение «Ветер» лишь внешним контуром напоминает о явлении, упомянутом в названии, под контуром же вырисовываются самые противоречивые и тонкие движения души.

Сегодня кроток я. Подобно светлой речке,
По воздуху плыву я в тишине немой.

.

Но завтра поутру ревушим ураганом
На диком жеребце промчусь я по волнам
И, гневно океан схватив за чуб зеленый,
Ему, как шалуну учитель, взбучку дам.

(Перевод М. Замаховской)

Поэт в расцвете сил стоит перед новой — мы чуть не сказали: педагогической, воспитательной — задачей. В это время вновь появляется Юлия.

Вся эта подготовка, весь запас чувств вливается и в новые любовные стихи, но не ограничивается любовью и не растворяется в ней. Вторую группу песен к Юлии в первый ряд мировой любовной лирики возносит именно эта живая игра многообразных сил. В потоке стихов, струящихся вокруг восемнадцатилетней девочки, находит выражение не только любовь; здесь сверкают молнии гнева сына народного, слышится горечь и отчаян-

ная храбрость революционера-патриота, темной тенью ложится меланхолия мужа, готового во имя великого дела и себя самого принести в жертву. Стихи, в которых звенит одна лишь любовь, которые, в виде исключения, обращены только к Юлии или повествуют о превратностях романтических отношений, — эти стихи наименее удачны. Истинной мощью веет по-прежнему от тех, где поэт говорит о себе. В сетях, в ухищрениях восемнадцатилетней девушки мучится влюбленный двадцатичетырехлетний мальчик; любовь, естественно, делает его еще более доверчивым, совсем ребенком; но чувства этого мальчика увековечивает подлинно великий поэт.

Мельчайшие события трогательного, вполне подходящего для юношеского чтения романа знаменуются гениальными стихами; даже против воли мы проследим по ним все перипетии отношений влюбленных. В феврале в «Элеткепек» появляется стихотворение «Куст задрожал...».

Самым известным в мире венгерским стихотворением, лишь в прошлом веке переведенным на иностранные языки пятьдесят раз, его сделали первые четыре строчки. Поэтический образ так тонко, естественно и просто выражает мысль, что, вероятно, даже в прозаическом переводе можно почувствовать то, что для нас, венгров, есть сама поэзия. Мы уже читали его. Прочитаем еще раз:

Куст задрожал оттого,
Что птичка задела листы.
Сердце дрожит оттого,
Что мне припомнилась ты.

Эфирное, неуловимое скольжение стиха несет с собою — как мы видели уже столько раз — точную реальность, и несет так естественно, просто, что, кажется, стихотворение вот-вот станет прозой, — но тут-то и выходит самая достоверная поэзия: ибо это речь сердца.

Прежде — счастливое время! —
Прежде меня ты любила.
То было теплой весной,
Нынче зима наступила.
Если не любишь меня —
Благослови тебя бог!
Если ты любишь — стократно
Благослови тебя бог!

(Перевод В. Левика)

Это «стократно» напоминает напряженный, долго сдерживаемый вздох. Запомним его — скоро мы услышим и отзвук. Стихотворение попадает к терзающейся Юлии, которая с простодушием монастырских воспитанниц использует две последние его строки, чтобы связать оборвавшуюся нить, которую затем она потянет к себе уверенной рукой метателя лассо. Карой Шаш переписывается с поэтом, влюбленная девушка приписывает к одному из писем Шаша: «100-кратно Юлия». Поэт изумленно вскидывает голову, словно шею его кольцами обвил кнут, и устремляет вопросительный взгляд в сторону Сатмара. Много ли недель прошло с тех пор, как он написал другу: «потому и не женюсь!» Вместо ответа, заговорщики из Эрдеда призывают его в Надькарой: 2 марта состоится комитатское собрание, которое и само по себе, конечно, событие мирового значения, достойное того, чтобы его не упустили некоторые молодые люди, пусть без гроша в кармане, — а кроме того, как знать, но вполне возможно, что собрание посетит и Юлия...

У поэта, увы, есть заботы поважнее любовных: он правит корректуру «Полного собрания стихотворений», исправляет типографские ошибки, — сборник, который «В знак уважения и любви» он посвящает Вёрёшмарту, непременно должен выйти в свет к мартовской пештской ярмарке. Провинциальные девочки этого не понимают; написать поэту письмо Юлия не может — запрет отца, однако она опять пускает в ход слух, будто выходит замуж. Поэт отвечает стихотворением: у него, мол, возлюбленных не счесть, не знает даже, какую выбрать. Тут уж бедняжка Юлия чувствует, что может «наконец сбросить с себя ледяной панцирь вечных мудрствований», и тотчас находит способ подать весть поэту. Она знает, что рядом с ним ей, вероятно, придется терпеть лишения. Ее тревожит и это, но еще больше — другое, и тут мы должны преклониться перед нею: не окажется ли она помехой на пути поэта? Однако страсть заставляет умолкнуть все тревоги. Сама она стесняется сделать ему любовное признание и просит Мари Терей быть посредницей.

Между тем выходит собрание стихотворений Петефи, причем с его портретом. Один экземпляр приходит в адрес Мари Терей с просьбой переслать его мадемуазель Юлии С. «Прошу милость Вашу соблагovolить передать это ей и одновременно пожелать от моего имени очень,

очень счастливой семейной жизни, ибо я слышал, что она выходит замуж...» Мари передает Юлии послание, а также стихи, среди которых немало тех, что рассказывают о прекрасных днях минувшего года и о некоей эрдёдской девушке. Что произвело действительное впечатление на Юлию: вызывающего тона записка или прославление в стихах? Или совсем свежая сплетня — уже от Мари, — что поэт тоже собирается жениться? Вернее, собирается присмотреть себе подходящую крестьянскую девушку, чтоб была ему пара. Мари спрашивает, как ответить поэту. Любовь иной раз прячется в человеке, будто болезнь: стоит коснуться там, где нужно, и она пронзит болью, даст о себе знать. Невозможно без участия читать, как сдаётся Юлия. «Разрешаю тебе поступать так, как считаешь нужным, только сделай, чтобы я увидела его». Она уже внемлет лишь собственному сердцу, ибо отлично знает, что это вовсе еще не означает согласия на брак: ее отец даже слышать не желает о поэте. Судя по всему, Юлия «приняла решение» именно потому, что знала: это еще не решение. В подобном положении люди часто доверяются судьбе: будь что будет.

Позже было много догадок, много споров о том, кто же из них первым возобновил отношения. Мы имеем возможность процитировать главного свидетеля. Карой Шаш, который в это время служит при Сендреи, как и старший его брат, обладает способностью писать с бесхитростной простотой, без преувеличений и важничания. Самые горячие мгновения он описывает с той же сухостью — то есть достоверностью, — какую мы наблюдали в записках Иштвана Шаша. Поэтому имеет смысл даже вернуться на минуту вспять.

«...Весною 1847 года по окончании присутственных часов я отправился однажды погулять в нижний замковый сад, тот самый, который столько раз был воспет поэтом. Дочь моего принцепала отправилась со мною, и мы, прогуливаясь там, болтали о разных пустяках, куда я не предложил Юлии подняться в замок, так как мне еще следовало приготовить несколько деловых писем к отправлению почты; кроме того, сказал я, мне надобно написать и частное письмо. Юлия спросила, кому я пишу».

Шаш чувствует, что лучше бы ему не произносить имени поэта, но даже из жалости он не способен со-

врать. И он признается Юлии, что пишет бывшему претенденту на ее руку.

«Юлия стала задумчива, затем спросила с сомнением:

— Вот как? А могли бы вы оказать мне услугу?

Я с полной охотой воскликнул, что припишу все, что бы она ни пожелала, однако на мой вопрос, что же передать от нее поэту, Юлия смущенно умолкла.

Наконец, я предложил, что вручу ей мое письмо, она же пусть припишет в конце все, что хочет, если же она не желает, чтоб я знал об этом, пусть вернет мне письмо запечатанным, и я тотчас отнесу его на почту.

Так и случилось. Я передал ей письмо свое, она же несколько минут спустя вернула мне его, не запечатав. В конце письма Юлия приписала всего два слова».

Мы уже знаем, какие именно. Шаш пишет далее буквально следующее: «Это было первое сближение двух влюбленных, и первый шаг сделала Юлия».

Продолжение последовало.

«...Немного времени спустя на мое письмо пришел ответ, а в нем находилось запечатанное письмецо для Юлии, которое я всепреданнейше и вручил адресату.

На следующий день поутру я повстречался с Юлией и спросил, что пишет Шандор.

— Что пишет? Странные вещи, — сказала Юлия и добавила, что попозже, как спустимся в сад, она покажет мне письмо.

Вскоре мы, и в самом деле, спустились вниз. Юлия пожелала покататься по озеру, и мы сели в лодку. Я тихо греб, Юлия же, стоя в лодке, начала читать письмо громким голосом, чтобы я разобрал слова за плеском воды.

Письмо начиналось так:

Я тебя старался
Навсегда забыть...

Тут Юлия прервала чтение и со значительным видом поглядела на меня. Я с глубоким возмущением воскликнул:

— Шандор сошел с ума!

Однако Юлия засмеялась и продолжила чтение письма, которое после первых двух строчек приняло совсем иное направление, чем я мог думать».

В стихотворении-письме есть проблеск надежды, готовность начать все сначала. Но есть и неверие, что они могут принадлежать друг другу. Есть и жестокий удар прямо в сердце:

В чашу безотрадную
Мрачных дум войдя
И из чаши выхода
Так и не найдя,
Крылья легкомыслия
Я надел тайком,
Легким и неверным
Стал я мотыльком...

Быть может, и в самом деле верен совет, который дают великие романы того времени и более поздние бездарные пьесы, твердящие, что подобные речи действуют на женщин? Что пробуждением ревности легче всего пробудить даже совсем угасающую любовь?

Если эти строки писались с целью, бедная Юлия не великая личность; поэт же действительно имел опыт.

В его ветренность мы не верим. По крайней мере, не настолько, чтобы он и в самом деле

Отдался веселой
Солнечной судьбе...

(Перевод Н. Чуковского)

Написал он письмо и в прозе. Не Юлии, а Сендреи, напрямик испросив у него руки дочери. Сендреи, как и следовало ожидать, отказывает. Тогда поэт решает одержать победу на месте; он вновь едет в Эрдёд.

Петефи еще в Пеште подготовился к борьбе, сейчас у него есть на это время и силы. Прекрасный, внушительный, 38-листный сборник его стихотворений имел успех. Три тысячи экземпляров первого издания разошлись в книжной лавке Эмиха моментально. «Национальный круг» дает ужин в честь сограждан, съехавшихся на ярмарку из провинции; собравшиеся желают слышать «возвышенной души поэта народного», когда же он читает «От имени народа» и «Мои песни», ураганные аплодисменты сотрясают зал — таких оваций не досталось даже Вёрёшмарти и Эгрешу; все наперебой спешили приветствовать поэта, поздравляли, обнимали, говорили восторженные слова. 9 мая появляется неглубокая, но апологетическая рецензия Пульски, четырнадцатого же, на другой день после отъезда поэта в Эрдёд, в самой популярной газете страны «Пешта хир-

лап» — рецензия Этвёша; знаменитый писатель уже не только стихи Петефи серьезно и вдумчиво берет под защиту, но и личность самого поэта. «Нет решительно никого, кто, завоевав литературную славу, менее его знал бы толк в могущественном искусстве приятельства». Стихи поэта он разбирает с тою основательностью и уважением, какие пристали при разборе истинно великих произведений.

Об этих днях, проведенных в Эрдеде, также сохранились свидетельства, но, к сожалению, не служащего имени, привыкшего к точности деловой переписки, а некоего писаки, обожающего словесные завитушки. Впрочем, и отсюда можно извлечь истину, только придется расчесать хорошенько всяческие завитки. Густав Лаука, хоть и приукрашивает, но приукрашивает истину, и это нетрудно почувствовать. Строки, написанные им сорок один год спустя, нам следует читать с мыслью, что все могло обернуться иначе и Юлия могла бы стать женою этого самого Лауки.

«В четверг накануне пасхи 1847 года в Эрдеде открылась всевенгерская ярмарка. Я вместе со своими знакомыми, служащими имения, кои собрались в этот день в Эрдеде, прогуливался между ярмарочными палатками, когда перед постоянным двором остановились две тягловые лошади майтеньского управляющего и с брички соскочил какой-то господин в шапокляке».

Нам нетрудно догадаться, кто это был.

«С дорожной сумкой в руке он приблизился ко мне, но не успел я представить его стоявшим вокруг знакомым, как он тотчас отвел меня в сторону и попросил немедля отвести его ко мне на квартиру. Было около половины одиннадцатого. Оглядев переминавшихся перед постоянным двором лошадей его, я легко рассчитал, что он выехал из Надь-Майтенья, по-видимому, в половине девятого, после завтрака. Моя квартира находилась в двухстах шагах от ярмарочной площади и состояла всего лишь из одной просторной, но скромно обставленной комнаты. Едва мы вошли, как он, отбросив в угол дорожную сумку, с серьезным выражением лица и не без волнения сказал:

— Узнай же, что в сей день решается моя судьба; но даже если родители ее не согласятся, то, крепко веря в слово, данное Юлией в письме ее, я знаю: мы будем принадлежать друг другу неразделимо и навеки.

— Мой милый Шандор! Не будь столь малодушен! Для спокойствия твоего и некоторого утешения я могу уже сейчас поведать тебе, что мать Юлии, правда, держится твердо, но отца ты можешь надеяться как-то улететь.

— Все это известно и мне. Скажи что-нибудь поновее да поумнее.

— Ну что ж! В воскресенье, после обедни, я встретился с Юлией перед церковью. Я не обнаружил в ней никаких признаков волнения или стеснительности, ни в поведении ее, ни в выражении лица, она даже улыбнулась и шепнула мне на ухо: «Через несколько дней я увижу Шандора». В церкви она была с отцом одна, и старик, увидев меня, стал бросать в мою сторону такие свирепые взгляды, словно я был главою или агентом какой-нибудь фирмы по бракосочетаниям.

— Я нахожу вполне натуральным, что он тебя не выносит, и сам не понимаю, по какому праву ты вмешиваешься в наши дела, — отозвался Шандор в крайне грубой манере.

— По мне, делайте, что хотите, но столько-то ты мог бы мне позволить, чтобы в рамках, предписываемых скромностью, я радовался вашему счастью, нежели испытывал боль, если какой-либо случай вам помешает.

— Благодарю. Но теперь скажи: где мы будем обедать? В Майтене я выпил лишь кофе, и мой мужицкий желудок после этой сладко-горькой бурды охотно вкусил бы чего-нибудь вроде окорока или сала.

— Ровно в двенадцать мы обедаем у моей матушки. На сей раз и матушка моя примет тебя с большей предупредительностью и любезностью, чем ранее, ибо она знает, кто ты и что ты; ведь имя твое столь же известно в стране, как имя Виктора Гюго в Париже.

— А теперь оставь меня одного, чтобы я закончил свои заметки, — прервал он меня. — Отправляйся к своим родителям и скажи, что у них будет такой гость, чье имя на память потомкам пусть кармином впишут в свой календарь.

Обед, пожалуй, прошел тише обычного; однако во время обеда, чего я никогда еще от него не слышал, он расспрашивал об имущественном положении семейства Сендреи. Отец мой поведал ему, что Сендреи человек богатый, после чего Шандор, не выказав ни малейшего признака радости или удовольствия, более не расспра-

шивал. С той минуты он беседовал только с сестрой моей Янкой, после обеда же попросил бумагу и карандаш и, прогуливаясь взад-вперед по нашему довольно длинному и просторному саду, писал, по всей вероятности, стихи или делал наброски...»

Двумя краткими замечаниями прервем самоуверенные разглагольствования Густава Лауки. С пылающим сердцем, в решительный день своей жизни, поэт, едва прибыв в Эрдёд, используя каждую паузу между событиями, после дорожной тряски, после обеда тотчас просит письменные принадлежности, добросовестно работает: он знает, что для него важно. И второе замечание: Сендреи «богат». По сравнению с Лаукой. В лучшем случае — состоятелен. Имена у него нет. Дом Сендреи приобретет позднее, одноэтажный дом, принадлежавший ремесленнику. Но послушаем далее любопытную все же — из-за предмета ее — болтовню:

«Было пять часов пополудни, когда он поспешил к замку. Я знал почти наверное, где именно он встретится с Юлией.

К востоку от замка находился огород управляющего. В нем было несколько плодовых деревьев, грядки с овощами, пасака и большое, почти четыре квадратных холда, озеро, питавшееся водою от речушки Хомород».

Поэт вернулся к вечеру.

«— По радостному выражению лица твоего и сиянию глаз я вижу, что ты не потерял день даром. Да, может быть, тебя оставили в замке поужинать?

Он насмешливо расхохотался.

— Я был у вашего здешнего судьи, у Йожефа Пака, превосходного, достойного всяческой любви и уважения человека, ибо в скромной его библиотеке можно увидеть не только Вёршмарти, обоих Кишфалуди и еще несколько, с бору по сосенке, произведений разных писателей, но, представь себе мое изумление, там есть даже мои стихи в дорогом переплете. У него я и ужинал. Но оставим это и скажи мне: кого ты считаешь счастливым человеком?

— Человеку верующему ответить нетрудно, — ответил я. — Счастливым я считаю человека, который верит, надеется и любит и три эти сокровища сохраняет до смерти.

— Остановимся лишь на любви, а теперь услышь наконец, что, начиная с нынешнего дня, счастливее меня

нет человека на всем земном шаре, ибо сегодня мы с Юлией поклялись друг другу в вечной верности, да не просто так, на какой-нибудь торжественной церемонии, но обручились друг с другом пред ликом господним. Узнай же, несчастный бездельник, что с нынешнего заката я — *жених!*

Я не посмел даже радоваться громко, чтобы не обеспокоить его ни на минуту в его счастья.

Утром в восемь часов он, опять на четверке Йожефа Пака, укатил в Надькарой. Кто повез его оттуда дальше, до Пешта, мне неизвестно.

В следующее воскресенье Юлия, по обыкновению, опять появилась в церкви вместе с отцом. Придя несколько позже, когда они разместились в оратории, я занял место неподалеку от исповедален и оттуда мог хорошо видеть выражения лиц как отца, так и дочери. Я не заметил в них никаких перемен. Юлия, завидев меня, с улыбкой на устах обменялась со мной долгим взглядом, затем вновь погрузилась в молитвенник. Я, зная уже все, взирал на нее с ясным лицом. С давнего времени я знал ее как милое дитя, достойное любви и за упрямство свое, но и за послушание. Несколько ранее их выйдя из церкви, я стал ждать возле церковных дверей. Вскоре они появились. Юлия обратилась ко мне с улыбкой, сопровождавшею такие слова:

— Вы уже и прежде доказали мне, что всем сердцем делите и радости мои, и печали. Итак, узнайте же, что со вчерашнего дня я — невеста.

Тут же они поспешили к коляске своей и уехали. Немного времени спустя я, собравшись также покинуть Эрдёд, около полудня отправился в замок, чтобы проститься с нею. Через Агнеш Семенес, дочь лесничего, я передал ей, что она может увидеть меня на скамье подле площадки для кеглей. Юлия, я был в том уверен, не заставит себя долго ждать. Около полудня она и впрямь явилась и, протянув мне руку, простилась со мною в таких выражениях:

— Желаю от всего сердца, чтобы вы всю жизнь свою были счастливы так, как сейчас я!

— Значит, вы так сильно любите Шандора? — спросил я тоном, исключаящим всякие сомнения, и не без любопытства стал ждать ответа.

— Вы всегда были мне слишком верны, чтобы я пожелала обмануть вас. Поэтому доверюсь вам: да, я

люблю Шандора, как книгу, богатую возвышенными душевными и духовными свойствами, но переплет которой, однако же, не соответствует по ценности своей ее содержанию.

— А что бы вы сделали, если бы книгу эту украли или вы потеряли бы ее?

— С болью сердца я вспоминала бы о моей потере; если же было бы уже невозможно надеяться, что я вновь обрету ее, я постаралась бы раздобыть другую, столь же богатую содержанием книгу».

На что он намекает, вернее, что старается скрыть утомительно сложным своим сравнением с книгой и ее переплетом? Как знать, не послужит ли наградой нам за усилия ума догадка, что если переплет — то есть Шандора — все-таки невозможно будет взять в руки, то заменой ему может служить столь же богатый по содержанию Густав?

Серьезное признание серьезных умов даже в глазах «посвященных» возвращает поэту место, его достойное. К народному направлению и в авторитетных кругах относятся с уважением. У нас есть свидетельства, что даже сдержанный Деак уже в это время знает наизусть множество стихов Петефи и читает их друзьям по пятнадцать — двадцать штук подряд.

В этих доспехах и отправляется молодой поэт в бой за свою возлюбленную. В дополнение он призывает на помощь печатное слово: ведет в форме открытых писем другу дневник о своей поездке в Сатмар — даже самое личное выносит на суд публики. Эрдёдский замок со всеми его обитателями попадает на сцену, открытую всем. Юлия знает, что за каждым ее движением следят теперь тысячи глаз. В огнях рампы влюбленная девочка становится героиней. Увы, в театральном значении слова.

Поэт ведет себя гораздо естественнее и естественнее о том пишет, чем почуявшие уже веяние истории и оттого застывшие в исторических позах свидетели. Петефи тоже чувствует, что приближается к великому событию своей жизни. И вооружается против него. Мы упоминали, что, уже отправляясь в путь, он решает писать о всех перипетиях своего путешествия дневник, вернее, открытые письма. Он сознательно разрушает всякую торжественность, тем стараясь прогнать умиленность.

Взволнованное биение сердца он выдает тем же, чем выдают его обычно подростки, — удалой лихостью. Первою фразой, написанной с места действия, он обрушивается на своего литературного противника, автора дрянных романов, — так он спокоен!

«О друг мой, я не проводил еще столь унылого дня с тех самых пор, как читал «Разочарованную душу»¹. Дорога между Дебреценом и Надькароем невероятно тосклива. Пески и пески. Ни гор, ни долин; край этот — не конь, не осел, а суший мул, что хуже всего. Одно и то же с утра и до вечера. Часы растянулись взад и вперед, как слоеное тесто, и если мне, наконец, удастся страхнуть с себя один час, следующей уже стоит передо мной с такой же нравоучительной физиономией, — и каждый скучнее предыдущего.

Наконец, когда я уже начал отчаиваться, прибыл в Надькарой. Унылый прозаический город, к тому же в прошлом году вербовщики голосов благородной консервативной партии пытались меня тут избить, — и все-таки я ощущаю наслаждение, ибо здесь познакомился я с моей Юлишкой, самой славной девушкой в мире. Быть может, каждый влюбленный такого же мнения о своей милой, но каждому, кто посмел бы при мне так говорить о своей любимой, я сказал бы в глаза: «Врешь, как Фальстаф!..» Друг мой, я описал бы ее тебе, но, чтобы изобразить эту душу во всем ее блеске и пламени, я должен был бы обмакнуть перо в солнце.

Там, напротив гостиницы, в саду под деревом, увидел я ее впервые в прошлом году, 8 сентября, между шестью и семью часами вечера. С этой минуты считаю я, что живу, что существует мир... а до того не было меня, не было мира, не было ничего. Лишь тогда возникли миллионы миров в бесконечном пространстве и любовь родилась в моем сердце... все это сотворил один взгляд моей Юлишки. В сладостных грезах смотрю я на деревья этого сада и благословляю не только их, но и того человека, который их посадил. Уж близится полночь, а сон не идет ко мне. Да и как может спать тот, кто завтра увидит девушку, которую любит, которая любит его и которую он не видал полгода. Что это были за полгода! Извели ли моря столько бурь за это время, сколько их извела моя душа?

¹ Роман Хазухи.

Хотел бы я, друг мой, еще много и долго говорить тебе о своей любви, но так как эти письма я собираюсь издавать, то умолкаю...»

Он пишет о своей любви стихи — наконец-то. Все, что происходило, мы знаем из них с достоверностью. Началось с того, что будущий тесть воспротивился и на этот раз. За что и удостоился трех стихотворений.

К красавице невесте и упрямцу отцу прибыл упорный и усердный поэт-труженик, прекрасно сознающий свой долг; их смущает в нем только одно — то, что он гений.

25

К Сендреи столь же мало относится определение «суровый отец», как и к старому Петровичу. Можно понять, что в женихах дочери он искал не поэтические дарования, а достоинства добропорядочного мужчины, то есть в первую очередь состоятельность. Он и сам был не из тех, кто лезет за словом в карман, но — как вообще люди такого рода — с трудом терпел это качество в других. Его сбил с толку и поныне живущий предрассудок, будто бы поэты потребляют несколько больше вина и женщин, нежели обычные смертные, и что заветное их желание — ложиться спать голодными и непременно на чердаке. Сендреи был уверен, что это в полной мере относится к мечущемуся перед ним юноше, вещающему о свободе, о правах человека или правах влюбленных, тем более что поэт и сам твердит ему о «свободе от предрассудков», если и не осуществляет того на практике. Мы знаем, тогдашние читатели считали Петефи виртуозом не только по части легкости воображения, но и по легкомыслию. Сендреи боялся за свою беспредельно избалованную любимицу-дочь, боялся этого заносчивого юнца, который при первом же серьезном разговоре смертельно оскорбил его, угрожая какими-то французскими идеями, близким концом господского сословия, революцией. Думаю, что старик почитал его заурядным охотником за приданым.

Да и как он мог угадать, что этот стоящий перед ним, то бледнеющий, то вдруг вспыхивающий, молодой человек — быть может, в целой Европе самый надежный и серьезный кандидат в мужья? Сендреи неизвестно, что истинные и наиболее опасные разрушители мира обык-

новенно переворачивают его, уютно сидя подле семейного очага, в ночном колпаке и домашних туфлях. Право же, старику не по силам было уразуметь, что изо всех бывших и будущих притязателей на руку Юлии самый бескорыстный именно этот бездомный поэт, который действительно грезит «одною // Смуглой девочкой // С большой, светлою душою», — как пропел он еще в минувшем году, — а не форинтами ее отца.

А поэт всякий раз, как подумает о своей любимой, тотчас видит ее душу, которую, с вполне понятной восторженностью влюбленного, почитает превыше собственной. Семнадцатилетняя Юлия, благодаря поэту, видится нам не только со стереотипными алыми щечками, пунцовыми губами и темными глазами, но в первую очередь со своей «светлою душою». В ту минуту, когда Юлия кивком говорит поэту «да», она, словно от прикосновения волшебной палочки, превращается в идеал. Чуть ли не все последующие беды проистекают из-за этого.

Мы любим светлой, огненной любовью,
И оба мы равно чисты сердцами, —
Ты от рожденья, у меня ж на сердце
Все пятна выжгло страсти пламя.
Зачем же нам огонь любви священный,
Достойный даже алтаря, тушить?
Навек связал всевышний наши души,
И человеку их не разлучить.

(«Лишь ты одна...». Перевод Н. Чуковского)

Против такой любви бесполезны все интриги, каверзы и разумные доводы. Бесполезна и тактика Сендреи — кстати сказать, в самом существенном неизменно уступчивая. 17 мая он выговаривает себе неделю на размышление и просит Петефи на это время покинуть Эрдё. Поэт, обладающий железной волей и упорством, в ответ хочет похитить девушку, что было бы поистине достойно их любви. Однако Юлия еще надеется покончить дело миром. Поэт удаляется один, и в каком состоянии!

Унесу тебя, как солнце — пар росистый,
И как ветер — розы лепесток душистый.
Я и уношу тебя с собой в разлуку,
Словно лев стрелу, попавшую из лука.

(«Пыль столбом...». Перевод Б. Пастернака)

Не сейчас ли он вспыхнул истинным пламенем? Именно с этих пор его любовные стихи полыхают огнем, питающимся из самой глубины души.

Деспотизм отца Юлии, надругательство над правами любви делают Петефи еще более нетерпимым ко всякого рода деспотизму и угнетению; вероятно, он и сам отчетливо видит эту вполне очевидную связь. 23 мая он уезжает из Эрдеда в Зелеште; там на стеклодувных фабриках «он сразу же увидел в рабочих-стеклодувах бледных, измученных телесно рабов, которые изготовляли те самые бокалы и бутылки, с помощью коих мы совершаем возлияния богам веселия и разгула. Тут же, без всякой подготовки, он произнес истинно социалистическо-коммунистическую речь на манер Луизы Мишель, так что хозяин дома был счастлив, что его рабочие понимают лишь по-валашски и в цепочку своих идей не могут включить те принципы, которые, не скажу — рабочие, но социалисты двух частей света столь мощно провозгласили в день 1 Мая», — пишет уже в 90-е годы Лаука, когда даже замечательная парижанка Луиза Мишель видит деспотизм всюду, где есть эксплуатация. Свои мятежные идеи Петефи излагает и сам. На третий день, 25 мая, он присматривается к жизни рабочих на рудниках в Надьбане. «Роятся, роятся эти бледные кроты, вдали от солнечного света, вдали от зелени, от природы, и так до самой смерти. А для чего? Чтобы дети и жены их жили впроголодь, прозябали, чтобы роскошествовали чужие жены и дети...» Это переживание выливается и в стихотворение — в нем же значительней всего заключительная строфа; в суммарном разделении мира на два лагеря поэт присоединяется не к тем, подле которых его ждали бы успех и деньги.

Нет, мое не продается сердце —
Не торгуйся, брось трудиться!
Сердце то в сокровищнице сильных
Не вместится.

А раздам я сердце по дорогам
Да по бедным хижинам убогим —
Просто так его раздам я, даром!

(«В руднике». Перевод Л. Мартынова)

Сендреи, который по роду своих занятий находится на другой стороне, словно отвечает на эти строки, увлеченные телепатически: не дожидаясь истечения недельного срока, он письмом извещает поэта о том, что все-таки не отдаст ему Юлию. Тогда и Петефи не соблюдает назначенного срока; на следующий день он снова в Эрдеде и — опять цилиндр, черные брюки —

вновь просит руки Юлии. Сендреи говорит ему о социальных противоречиях, то есть о деньгах, столь же четко, как три дня назад говорил о том же в Зелеште сам поэт. Сендреи не даст ни копейки, даже приданого Юлии не отдаст. Тотчас же они и договариваются, ведь поэту нужны не деньги. А Юлия? Ей предоставляется свободный выбор между поэтом и обеспеченностью. Она не колеблется.

Назначается день свадьбы; итак, Сендреи отступает, хотя и не примиряется с будущим зятем. Он все еще надеется, что, пока суд да дело, двое одержимых одумаются и рассорятся друг с другом. Он ставит условие, чтобы до дня свадьбы они общались лишь в письмах; иными словами, лишает их возможности, если и существуют между ними противоречия, почувствовать это вовремя. Каждый остается в своей роли: Сендреи, хотя он и уступил, остается по-прежнему деспотом и самодуром; поэт — хотя и достиг своей цели — все тот же простолюдин, вломившийся в замок и укравший невесту; только Юлия возносится еще выше в идеальном своем облике, попадает прямо в святые, с фригийским колпаком на голове.

«О, в этой девушке живет божество, которое умеет заглянуть в глубь человеческого сердца, которое видит чистые жемчужины под замутненной поверхностью моря! Да будет имя ее благословенно так же, как она благословила меня!» Это ощущение и увозит поэт из Эрдеда вместе с маленькой перчаткой, которую по вечерам прижимает к груди. Три месяца ему нужно жить вдали от невесты. Он поэт счастливой любви; так можно ли представить более благоприятные условия для любовных стихов?

Вспомню Юлишку, — и вижу
Блеск ее огня,
Очи вижу, что светлее
Делают меня.
Две звезды горят, сверкая,
Как внезапный отблеск рая...

(«Ты моя, я твой...».)
Перевод Н. Стефановича

Та же одержимость и в прозе. Он, умеющий каждым чувством переполняться до краев, сейчас испытывает совершенную удовлетворенность. Запомним день, перевернувший его судьбу, — 26 мая. В этот день отправлено

из Эррёда письмо, которое мы уже цитировали. Протируем же и начало его.

«Друг мой, вчера, а может быть, столетие назад, написал я тебе письмо из Надьбани? За этот день свершилась огромная перемена; я и не думал, что такое может произойти даже за целое столетие.

Господи, господи!

«Королевство за коня!» — кричит Ричард III. «Пол-будущности за один спокойный час!» — кричу я, иначе не описать мне все события, любовь моей милой, любовь, равной которой еще не было до сих пор.

Я счастлив! Навеки!

Ночь, лунная, звездная, тихая ночь. Ни звука, ни шороха... Только соловей поет... это сердце мое!

Славная, славная девушка! Тебя искал я с самой юности моей. Приближаясь к каждой женщине, я склонялся ниц и боготворил ее, думая, что это ты. И, только стоя уже на коленях, замечал, что это не ты, что вместо истинного божества я боготворил идола... Тогда я подымался, шел дальше. И наконец нашел тебя. Ты — сладостная капля, исцелившая мою душу, которую так долго жгла и сушила своим зельем судьба-отравительница. Слава богу, противоядие пришло не слишком поздно.

Славная, славная девушка!

Ей предстояло выбрать между родителями и мной.

Она избрала меня.

Она, кого родители берегли как зеницу ока, с самого детства предупреждая и исполняя все ее желания, никогда не сказав ей дурного слова... А кто был я? Неведомый пришелец, которого забрызгали грязью пред-рассудки и стрелами исколола клевета... Я даже не успел сказать ей: «Я не такой, каким кажусь, каким мир хочет меня видеть!» И все-таки она избрала меня!..

В сентябре я женюсь, мой друг, женюсь! Дорого приобретенную независимость свою продаю за еще более дорогую цену. Что может быть дороже для меня, чем Юлишка?

Смотри-ка, опять я о ней написал, все о ней. Ничего не поделаешь, сердце мое так переполнено ею, что я должен излить мои чувства, иначе оно разорвется. Понимаешь ли ты что-нибудь из этого письма или нет? Могу себе представить, какое оно запутанное. Радость

мечется у меня в голове, в груди, как пьяный по комнате: натывается на мебель, опрокидывает стол, ломает стулья, разбивает окно и всячески бесчинствует. Безумный, неистовый паренек — этот нечаянный восторг. Даже наставника моего, ум мой, и то радость чуть не положила на обе лопатки».

Это он писал для публики. Но и в частных его письмах — тот же восторг: «О невесте моей скажу лишь, — пишет он Габору Казинци, — что она будет украшением среди жен всех венгерских писателей. Ум Жорж Санд и сердце Шекспировой Джульетты соединились в моей Юлишке».

Струны взволнованной души — они же натянутые струны лиры — от каждого прикосновения издают чистый верный звук. Поэт собирается на три месяца уехать за границу, он готов бежать куда глаза глядят со своим счастьем. «Увижу море... Увижу родину Шекспира, Шелли, Байрона, темную Англию, увижу родину Беранже, лучезарную Францию, и самого Беранже, величайшего апостола свободы — новой спасительницы мира».

Все сложилось иначе. Но зато ему довелось пожать руку замечательному венгерскому художнику слова — Яношу Араню.

Наконец-то они встретились.

Петефи сам описывает эту встречу в путевом письме, отправленном прямо из Салонты:

«Первого числа сего месяца через Сатмар, Надькарой, Эрмеллек и Надьварад я приехал в Салонту. Об этой поездке вспомнить почти нечего... Между Сатмаром и Кароем лежит маленькая деревушка Майтень, но окрестности ее знамениты: здесь произошло последнее сражение Ракоци. На былом поле битвы я написал стихотворение; конец его звучит так: «Слезу я уронил и клятву страшную сурово произнес». Так оно и было. Я проклинал и плакал. Эрмеллек — приятная тихая долина. На склоне горы растет знаменитый виноград, а у подножья ее раскинулись тучные пашни. В Секейхиде мы покормили лошадей, как раз в том самом постоялом дворе, где в 1843 году, будучи актером, выступал я с шестью своими товарищами. Я заглянул в трактирный зал, где некогда стояла наша сцена. Меня окружили бледные, безрадостные, сухопарые, туманные привидения — призраки проведенных мною здесь дней. Я долго

беседовал с ними; беседа наша была очень серьезной, вдумчивой, только изредка улыбался я устало и печально. Мы беседовали о грустных, очень грустных временах...

Знаешь ли ты, почему я торопился сюда и почему обитаю здесь уже почти целую неделю? Потому что в Салонте живет один великий человек, и этот великий человек мой добрый друг, и этот мой добрый друг — Янош Арань, автор «Толди». Ежели ты еще не читал упомянутой книги, то я напрасно стал бы тебе рассказывать о нем; если же ты прочел, то все слова излишни. И поэму сию написал простой деревенский нотариус в маленькой комнатушке, длиною в пять, шириною в два шага. В сущности, так и должно быть. Ведь музы вовсе не консервативные барышни — они идут в ногу со временем, а так как лозунг века: «Да здравствует народ!» — то и музы спустились с аристократического Геликона и поселились в хижинах. Счастлив я, что тоже родился в хижине!

Неделю, проведенную в семейном кругу моего нового друга, я отношу к прекраснейшим дням своей жизни. С одной стороны, степенно веселый отец семейства, с другой стороны, весело степенная мать семейства, и перед ними двое лепечущих ребятишек — белокурая девочка и черноволосый мальчуган... таким венком обвито мое сердце, и я счастлив; больно только одно, что на днях я расстанусь, мне придется расстаться с теми, кого люблю так, будто они мои близнецы...»

Они не обманулись друг в друге, не разочаровались и после личного знакомства. Два сына народа, словно желая возместить себе потерянное общее детство, радостно обнимаются: они становятся настоящими братьями. Между ними нет никаких противоречий, вернее — как можно себе представить — старший брат ни в чем не противоречит младшему, хотя по всем возникающим темам последний говорит либо с пламенным восторгом, либо с пеною ярости. И как поэт он сейчас в расцвете. За восемь дней, проведенных в Салонте, Петефи написал шесть стихотворений, среди них (как будто он хочет со всех сторон показать себя) — совершенная жанровая зарисовка «Тетя Шари», превосходное описательное стихотворение «Аист» и одно из самых ярких свидетельств его кипучего воображения — «Стал бы я те-ченьем...».

Мы уже говорили о том, что проникнуть в душевный строй поэта — как мы сказали бы нынче: в его подсознание — легче всего через используемые им сравнения:

Стал бы я теченьем
Горного потока,
Что спадает бурно
Со скалы высокой.
Только пусть любимая
Рыбкой серебристой
Вольно плещется в струе,
Трепетной и чистой.

Сомнению нет места, поэт жаждет счастья любви. К тому же устойчивой и отнюдь не беспорядочной. И воображение его предметно.

Стал бы я лачугой,
Спрятанной в ущелье,
Чтоб дожди струились
По стенам сквозь щели.
Только пусть любимая
В уголке заветном
День и ночь пылает ярко
Очагом приветным.

(«Стал бы я теченьем...».)
Перевод М. Замаховской)

Иными словами, теперь огонь его не перебрасывался бы пожаром с крыши на крышу.

Здесь же Петефи пишет стихотворение «Искалеченная башня», в котором древнюю славу соединяет с мечтой о свободе; создает шедевры веселой артистической игры ума — стихотворения «Как жизнь хороша!» и «Лаци Араню». Неторопливо и рассудительно работающий Арань был, вероятно, поражен плодовитостью своего молодого друга: какого бы предмета ни коснулся Петефи, как тотчас начинает бить чистый и освежающий родник поэзии.

Даже живя в Салонте, Петефи еще мечтает о Париже. Однако добирается только до Пешта; растянувшись наподобие пастушеских овчарок в крытой телеге, по самые ступицы увязавшей в грязи, он пишет и здесь. Денег у него хватает только до Пешта, только на телегу с навесом. Но поэт весел.

Да, нечего сказать, поездка!
Навис и давит небосвод,
За шляпу туча задевает,
Как из ведра за шею льет.

Чтоб шубы не мочить, я отдал
Ее за четверть табака.
Я вымок до последней нитки
И превращаюсь в судака.

*(«Путешествие по Алфёльду».)
Перевод Б. Пастернака)*

Или то же самое — в прозе, чтобы мы и с другой, действительно «прозаической», стороны узнали тот Алфёльд, который под воздействием его же стихов живет в нашем воображении, как некий волшебный край:

«...За четыре дня поездки по Алфёльду меня растрясло так, будто я совершил кругосветное путешествие. Я всегда утверждал, что Алфёльд — самая достойная уважения местность на свете, но, при всем моем пристрастии, я не могу хвалить ее дороги, — от этого я с полной торжественностью воздержусь и на сей раз. Ведь иначе я должен был покривить душой и опровергнуть с таким трудом приобретенный опыт. О, это допустить я никак, никак не могу!

Мало того, что я ехал по Алфёльду, дело еще и в том, что мое путешествие предварил десятидневный дождь, да к тому же он два дня хлестал меня в дороге. Теперь ты можешь себе представить, как мне было весело; а впрочем, не представишь! Телега моя была защищена навесом, но на колеса налипало столько грязи, что буквально каждые сто шагов мы были вынуждены останавливаться и сковыривать железными вилами прилипшее к ободьям черное масло...»

В Пеште он проводит только две недели; пишет за это время десять стихотворений и — первые в «Путевых записках» энергичные фразы, которыми отодвигает Кароя Кишфалуди на подобающее ему место: «...Он был второстепенным писателем, не проложившим путей ни в одной области литературы. Его драмы — невыносимая, нудная немецкая сентиментальщина, его лирика — пустая напыщенность, лишенная чувств и мыслей...» Суровый приговор имеет некоторые основания, но направлен он в первую очередь не на Кишфалуди, а на современников и друзей Кишфалуди, которые «навязали его нации». Неужто у молодого поэта недостаточно врагов, что он еще натравливает на себя и приверженцев Кишфалуди? Но Петефи думает не о врагах: в пылу битвы его искренность проявляется всегда еще от-

четливей, чем обычно, — он раздает удары по всем направлениям с одинаковой горячностью. Но теперь уже вполне сознательно.

Эй, что за гвалт? Несется он откуда?

Взвод критиков готовится к сраженью!

Вы ж знаете: я грубоват бываю!
Таков я есть! И что поделать тут:
На вызов мужа саблей отвечаю,
А на собаку подымаю кнут!

(«Эй, что за гвалт?». Перевод Л. Мартынова)

Старый Сендреи удивился бы, увидев, чем, помимо стихов, занимает свое время его легкомысленный будущий зять. Петефи бегаёт по издательствам, организует, обсуждает, подписывает договоры с «Элеткепек» и дёрским журналом «Хазанк»: начиная с января, оба журнала покупают у него по шесть стихотворений за пятьдесят форинтов каждый; за тысячу пятьсот форинтов он продает Эмиху навечно право на издание его стихотворений, договаривается с ним и об издании в будущем еще не написанных стихов. Он выплачивает все долги — одним словом, готовится к свадьбе не хуже какого-нибудь образцового буржуа.

Но от радости поэт не в состоянии усидеть на одном месте. Первого июля он уже снова в пути. В своей нетерпимости на основании случайно прихваченной в дорожку книжечки, он обрушивается на Гете; для нас очевидно, что его протест на самом деле вызван не тем, будто бы у Гете «сердце из глины», а тем, что он принял сан министра, то есть согласился быть слугою!

Через Лошонц и Римасомбат Петефи спешит в Бейе, к Томпе; мрачному и унылому хозяину дома пришлось немало претерпеть от приступов горячей откровенности Петефи, вернее, от того, что Сендреи не подпускал влюбленных друг к другу.

Через день Петефи уже катит в телеге к Мишкольцу.

«Дорога вьется сквозь ущелье Шайо, среди невысоких зеленых и синих гор и среди холмов, которые ласково приветствуют путника, потом прощаются с ним один за другим. Нет ничего прекраснее, чем непрерывно ехать такими чудесными краями. Радуетесь каждому новому виду и даже не успеваешь печалиться, покидая его, —

лишь только он остается позади, как сразу же предстает новый вид: все время только и приходится любоваться.

Со мной ехал один юный влюбленный друг. Он всю дорогу занимал меня повестью своей любви. Если сам слушатель не влюблен, слушать такие истории скучнее скучного. А если влюблен, тогда совсем другое дело. К нам больше всего подошли бы слова поговорки: «Два сапога — пара». А потому я проводил время превосходно, и даже больше того — обильные речи о любви действовали на меня, словно гомеопатическое средство. Они помогли перенести жару, которая мучила нас, когда мы в полдень подъезжали к Мишкольцу».

На следующий день Петефи уже в Шарошпатаке; одиннадцатого — в Сепхаломе; здесь нация опять получает в свой адрес несколько резких слов лишь за то, что в комнате, где когда-то обитал Казинци, теперь живет какой-то еврей-арендатор, а в Мункаче — за то, что в крепости, некогда принадлежавшей Илоне Зрини, теперь — тюрьма. Наконец мотылек, кружащийся вокруг огня, возвращается туда, откуда ему следовало удалиться и куда он вернулся бы несомненно даже в том случае, если бы у него, паче чаяния, оказались вдруг деньги на поездку в Париж.

«Друг мой, края, которые я проезжаю, один лучше другого; нынче я любовался Хедьайей. Виды там лучше всего у Серенча. К югу до самой Тисы тянется бескрайняя равнина; на востоке, словно полководец перед армией, стоит Токайская гора, бывшая когда-то вулканом. Она стоит суровая, величественная в синем своем плаще, гордо закинув голову. У подножья ее город Тарцал. К северу длинными грядами тянутся другие горы Хедьайи, под ними — Тая и Мад. В этих городах и на этих горах живут боги радости, отсюда рассылают они в мир своих апостолов — замкнутые в бутылки золотые языки пламени, — дабы те проповедовали народу, что земля вовсе не юдоль печали, как это утверждает религия. Восторженно смотрел я направо, налево, вперед, назад и пришел в такое воодушевление, будто выпил самого красноречивого апостола. Да и погода стояла превосходная — сияющее, безоблачное, ясное летнее утро... Эх, бывал я здесь уже и в дурную погоду. В феврале 1844 года я шел из Дебрецена в Пешт пешком, в потертой одежде, с несколькими грошами в кармане и с тетрадью стихов...

Все это я вспоминал, перебирая в памяти свои жизненные невзгоды, пока проезжал через Хедьайю. О, моя жизнь была очень богата невзгодами, и свое теперешнее счастье я заслужил. Шесть лет я был скитальцем, покинутым богом и людьми; шесть лет за мною ходили две мрачные тени: нужда и душевная боль. И когда? В дни юности, в лучшую пору жизни, созданную только для радостей, — с шестнадцати до двадцати двух лет. Но хорошо, что это так случилось: кто беды не знал, не может оценить своего счастья. И хорошо, что я сразу изведal все страдания, — ведь другие мыкают горе понемногу всю жизнь. Чем больше бурь пронеслось весной, тем больше у меня надежд на ясные лето и осень.

После полудня я приехал в Патак. Священная земля! Этот город был львиным логовом венгерских революций. Здесь жили некогда львы вольности. Поначалу я осмотрел замок, принадлежавший некогда Ракоци, а теперь... какому-то Пренцхейму. Из замка я прошел в коллегию... к веселым студентам и наполненным стаканам. Сам я тоже взял стакан. В этом была нужда. Мне хотелось забыть, что я венгерец...»

26

В Сатмар, «землю обетованную», Петефи прибывает тринадцатого. Сперва мечется по городу, соблюдает условие. Но несколько дней спустя он уже в Эрдеде, взволнованный, дрожащий от нетерпения. Юлия успокаивает его как может. Сендреи по-прежнему даже не разговаривает с суженым дочери. Поэту нельзя оставаться в Эрдеде; но, будто зверь, охраняющий самку, он без устали кружит вокруг замка.

«Представь себе: моя невеста живет в часе ходьбы от меня, а мне нельзя навещать ее до самой свадьбы, до восьмого сентября. Только не подумай, — это запретила не она. Слышал ли ты что-либо подобное? Скажи откровенно, скажи от души, мой друг. Напиши я что-нибудь подобное в романе, критики закидали бы меня камнями, и вовсе не за то, что я посмел это написать, а за то даже, что посмел выдумать подобный вздор. Говорят, что время чудес прошло... Неверно!.. Время чудес начинается только теперь. И это первое чудо, а вторым будет то, что я не нарушу сей запрет.

Я прозябаю здесь сейчас, слоняюсь, словно осенняя муха, которая уже не жива, но еще и не померла. Правда, я написал несколько прекрасных стихотворений, однако это меня ни в коей мере не утешает. Не прими за шутку, что я называю свои собственные стихи прекрасными, — я серьезно готов утверждать, что их можно отнести к великолепнейшим жемчужинам венгерской поэзии, — но поскольку сие сравнение уже окончательно стало пустой фразой, то я только унизил бы свои стихи, применив к ним подобные слова...

Знаю, многим не нравится, многие дурно относятся к тому, что я так искренне высказываюсь о самом себе; но мне это безразлично, я тут неповинен. Когда я родился, судьба постлала мне искренность простышкой в колыбель, и я унесу ее саваном в могилу. Лицемерие — нетрудное ремесло, любой негодяй в нем горазд; но говорить открыто, искренне, от всей души могут и смеют только благородные натуры. Может быть, мое суждение о себе неверно, тогда пусть осмеют меня; но я все-таки заслуживаю уважения за то, что смело, открыто высказал свои чувства. *A la lanterne des jésuites!*¹»

Сумятица чувств, мучительные метания, которые пришлось выстрадать Петефи за время необыкновенного обручения, ни на минуту, как мы видели, не уведят его в сторону от литературного труда, как не уводили в прежние годы невзгоды физические, как не отвлекут позднее политические волнения. И здесь, день за днем, он восходит на «святую гору поэзии», неизменно с новым приливом вдохновения, так, словно ходит на службу. Впечатления дня претерпевают за ночь чудесную ферментацию и превращаются в поэтическое зерно. Мы могли бы назвать Петефи выразителем мгновенных впечатлений, если бы не знали, что впечатления эти продолжают оказывать действие и дальше, что это не расходящиеся по поверхности круги, что направление избранного поэтом пути определяют мотивы очень глубокие. У него есть стихи, которые по первом прочтении кажутся своего рода выжимкой из дневниковых записей того же дня, но и в них непременно присутствует множество деталей, отражающих впечатления более давние, деталей, в которых проявляется основной строй его души. Нет другого такого поэта, у кого, как у Петефи, мы

¹ На фонарь иезуитов! (франц.).

могли бы с полной уверенностью искать источник стихотворений в событиях его частной жизни. Не без его помощи: именно он ввел в нашей литературе обычай помечать под стихотворением место его написания. Однако эти стихи передают не только события дня, но и размышления этого дня, и поэт лишь потому выглядит почти легкомысленным, что легко, без всякого видимого напряжения, доходит до подлинных глубин, и, покуда мы успеем должным образом изумиться его артистизму, он уже вновь наверху и, словно ничего особенного не случилось, спешит дальше. Правда, исполненное радости и страсти стихотворение «Пятое августа», действительно сообщает лишь о том, что произошло в этот день: наконец поэт и формально обручился со своей невестой. Написанное на следующий день «Письмо Яношу Араню» по поэтическому своему «содержанию» с виду еще более незатейливо. Оно начинается как подлинное письмо, какое написал бы каждый. Но непринужденность его буквально зачаровывает, «Письмо» становится произведением высокого искусства благодаря естественности и простоте, из-за которых даже не замечаешь гекзаметра — столь чужого венгерскому стихосложению классического размера.

Что ты — скончался, любезный? Иль, может быть, руки отсохли?
Янко мой, где ты? Забыл, что я существую?
Черт унес тебя, что ли? Месяц — ни слуху ни духу!

Мы уже говорили, что такое — истинный мастер формы.

Письмо продолжается в том же тоне, и нам, пожалуй, нет нужды пересказывать содержание одного из самых неотразимых по вдохновенности стихотворений Петефи. Поэтическое волшебство — переход будничной, к тому же подчеркнутой пустой болтовни в гимн свободе — свершается неприметно. Нарастающий накал страсти начинаешь чувствовать лишь тогда, когда стихотворение уже кипит белым ключом. Но к этому моменту меняется и тон — меняется форма стиха: от будней оно взвивается ввысь.

Да охранит вас творец! Я хотел бы душой веселиться
С вами, друзья дорогие, но ветер, быстро бегущий,
Мощно надул паруса моей фантазии буйной,
Поднят якорь на борт, и вольно бежит мое судно.
Берег исчез, и меня баюкают в гордых объятьях

Волны бескрайного моря. Я слушаю туч грохотанье,
Гул нарастающей бури, я в нервы лиры впиваюсь,
Пламенем диким поют мои иступленные губы
Твой, урагану подобный, гимн, о святая свобода!

(Перевод В. Левика)

Такие стихотворения, начинающиеся действительно словно выдержка из дневника, дают представление в то же время о тончайших, едва уловимых движениях, происходящих в душе поэта.

Я вижу дивные цветы востока —
Природы восхитительный гарем.
Как глаз, мигающий кому-то сбоку,
В разрывы туч мигает солнце всем.
Я вижу пальм таинственные чаши,
Где ветер еле слышно шелестит
И птицы голосят в листве дрожащей,
Иль это хор поющих звезд звенит?
С горы вдали я вижу остров синий,
Укачанный морскою синевою.
У нас здесь осень, там весна в долине
И журавли летят над головой.
Они летят в весну, и вслед за ними
Летят желанья прошлых дней моих,
И так как все сегодня достижимей,
Я там уже, я тех краев достиг.

Мы словно видим «Волшебный сон», едва забрезживший рассвет первой любви. А поэт видит «тьму чудес»:

Я вижу то, что недоступно глазу
И что бывает ночью — дня ясней,
И эту тьму чудес я вижу сразу
В мечтательных глазах любви моей.

*(«Я вижу дивные цветы востока...»,
Перевод Б. Пастернака)*

В совместной жизни чары идеала лишь усиливаются. Юлия была святой, теперь она возносится в богини; у нас нет права отнестись к этому с иронией: молодой поэт сейчас впервые встретился с потрясающей метафизической силой чувства. Пусть трезвый рассудок с его куриным полетом сколько угодно объясняет любовную страсть интересами продолжения рода, которые при этом (явное противоречие!) подчас толкают личность даже на самопожертвование! Петефи — яростный ненавистник попов — чувствует, что впервые в жизни душа его соприкоснулась с некоей необъяснимой высшей силой. Это первая его серьезная любовь, она окажется фатально серьезной.

Ты мне открыла душу, ото всех
Таимую, и что же я увидел!
Тот бог, которого я так искал,
Жил у тебя в душе, ты оказалась
Его жилищем! Знать мне не дано,
Где был он раньше и где будет после, —
Сейчас он с очевидностью в тебе.
За что мне выпало такое счастье
Найти его в тебе? За жар, с каким
Его искал я, как никто доньше?
Быть может, да, но если даже нет
И милость эта мне не по заслугам,
Теперь я эту радость заслужу.
Я не могу остаться недостойным
Того, что ты дала мне и что бог
В тебе предстал мне и как бы открылся —
И нет границ моей любви к тебе.
С ней может исступленье лишь сравниться,
С каким пред тем я ненавидел мир.
Теперь вся эта ярость, став любовью,
Как даль без туч, принадлежит тебе.
Вот будущность моя, распоряжайся
Как хочешь ею. Вот мои мечты,
Они — твои. Но это все — пустое.
Есть многое, есть большее, есть всё.
Желаешь — отрекусь от убеждений,
Потребуешь — я честью поступлюсь
И проживу всю жизнь с пятном позора,
Которого стереть не сможет смерть.

Согласно привычному ходу стиха сейчас, на высшей точке накала, должен бы наступить поворот: ах, ни за что, никогда, уж лучше... Но нет. Поэту и в голову не приходит столь формальное противопоставление. Это потрясающее, трагическое признание, стон загнанного в ловушку зверя, который ясно видит свое положение.

Но сам ведь слишком хорошо я знаю,
Что ты не можешь этого хотеть.
На имени того, кого ты любишь,
Быть не должно позорного пятна.
Ты будешь поощрять меня, напротив,
Идти вперед по прежнему пути,
Чтоб умер я таким, каким родился, —
Открытым, независимым, прямым.

Нам неизвестно, на какое именно письмо Юлии, по-детски «книжное», литературное, было ответом это стихотворение — «Ответ на письмо моей милой». Очевидно, Юлия выразила намерение повсюду быть рядом с поэтом. Влюбленный Петефи с трогательной наивностью всерьез принимает красивые слова, которые строчит Юлия, покусывая перо.

Нет, имени, которое я создал,
Не пожелаю сам я разрушать.

.
Оно бы выросло во много раз,
Когда б ты тоже выступила гласно
Союзницей моей. Ведь и тебя
Укачивала в детстве муза славы.

Однако здоровый инстинкт его не обманывается
столь завлекательной революционной картиной. Поэт
шарахается от «синих чулок».

Нет, нет, держись вдали от шума битв,
Где лавры служат гробовым покровом
Им в жертву принесенных нежных чувств.
Держись вдали! В тени уединенья
Ты будешь мне не менее мила,
Чем в ослепительных лучах успеха
Пред громко рукоплещущей толпой.
Наоборот, сознание, что, владея
Способностями с целый океан,
Ты блещешь только маленькой росинкой
На розе скромности, всего ценней.

(Перевод Б. Пастернака)

Нужно ли с умным видом показывать, жертвою ка-
ких детских заблуждений является поэт? И как он,
гений, тоже попался в извечную ловушку? Но сейчас
наша забота — не психология любви.

Все говорят, что я поэт;
И я того же мненья.
Но ты, о дорогая, нет,
Не славь мои творенья.

Не мучь меня своей хвалой,
Мне совестно до боли.
Я по сравнению с тобой —
Ничтожество, не боле.

Ведь в каждой мысли у тебя,
Мелькнувшей без названья,
И в каждом вздохе, что едва
Теснит твое дыханье,

И в каждом взгляде милых глаз
С их откровенной речью,
И в голосе, что столько раз
Летел душе навстречу,

В улыбке на твоих устах —
Пожалуй, больше вдвое
Поэзии, чем в пятистах
Стихах, рожденных мною.

*(«Все говорят, что я поэт...».)
Перевод В. Инбер)*

В последних двух строчках, правда, восторженные излияния переходят в легкую улыбку. Но и в других стихах, письмах, и, надо думать, просто в живой речи, эти восхваления столь убедительны, что Юлия, бедняжка, оказалась на вершине такого высокого пьедестала, где она, даже если бы того желала, не могла бы остаться просто хозяйкою дома с повязанной косынкой головой и ключами от кладовки. Не будем же удивляться, что голова у нее пойдет кругом.

Что бы она ни сказала, ответом было лишь восхищение; сохранилось свидетельство этому и в прозе — в одном из писем Петефи к Араню. Впрочем, начнем цитату на несколько строк ранее — для характеристики тогдашнего положения Петефи и его нрава.

«Ближайшая почта от Колто — Надьбаня. Туда и отправь в паломничество следующее свое письмо... не бойся, я прочту его даже в первый день женитьбы. Хочешь — верь, хочешь — нет, но это вовсе не относится к письмам других.

Шестой раз читаю «Толди». Это и на самом деле скверная, топорная работа. В нынешнем году прочту его еще раз шесть, чтоб как можно лучше разобраться в его убожестве.

Вчера я был снова у моей Юлишки. Езжу к ней дважды в неделю и дважды в неделю получаю письма от нее. И какие письма! Последнее она закончила так: «Я рабыня твоя, потому что люблю тебя, я твоя королева, потому что ты меня любишь. Как рабыня, я преклоняюсь перед тобой, как королева, принимаю тебя в свои объятия. Во всем этом я вижу больше счастья, чем властвовать даже над миром, быть божеством».

Очень рассчитываю на то, что ты скоро приедешь погостить ко мне в Пешт. Я и до сих пор был бедняком, а теперь вдвоем мы будем еще беднее. Однако ж, как ни тесно, а все-таки поместимся, пусть даже втроем будем спать в одной постели и втроем есть из двух тарелок. А уж коль еды не хватит на троих, то я скажу, что не голоден или заболел. И вы будете сыты. Denique¹, не волнуйся ни на грош».

Какая мятущаяся и какая стойкая душа! Письмо написано за несколько дней до свадьбы. В самом деле, удастся ли она, эта свадьба? Петефи ни на минуту не

¹ Итак (лат.).

поддается сомнению, хотя против него все еще плетутся интриги, да и самого его ставят в унижительное положение. Он попеременно взвивается на вершины то гнева, то любви. А между тем — как всегда — с железным упорством, с железным самоконтролем продолжает выполнять свою словно бы почасовую работу: пишет.

Сколько раз видел он Юлию, столько же раз приходилось ему проглатывать порцию оскорблений со стороны будущего тестя. Они тем больше, что доходят до него лишь в передаче: Сендреи даже теперь не удоставляет его словом. И лишь потому соглашается на брак, что видит сам: помешать ему он не в силах. Его мнение о молодой чете сложилось: «два сапога — пара», «дурак дурака видит издалека». Он заранее готовится к горькому удовлетворению, когда Юлия, рыдая, вернется к нему, оставив навсегда непутевого сына богемы. Приведем лишь один документ, для характеристики этого «сына богемы». Найти квартиру поэт поручил доброму своему другу Эгрешу; письмо Эгреша, датированное августом, показывает отчетливо, до какой степени поэт был стеснен:

«...Квартиру я уже сыскал тебе... Правда, она хороша, но чертовски дорога. От нас близко, на улице Дохань. Дом Шиллера, второй этаж, сейчас там живет некто Козмовски, он тут префект. Три комнаты, все выходят на улицу, альков, прихожая, кухня и т. д. за шестьсот пятьдесят валто-форинтов, причем четверть суммы надо платить вперед. Правда, меня ты уполномочил лишь на пятьсот форинтов... Но мы осмотрели, по крайней мере, пятьдесят квартир и ни одной не нашли подходящей, удовлетворяющей всем пожеланиям: 1) чтоб была недалеко от меня — но от этого мы бы еще отказались ради удобств и дешевизны; 2) чтобы от центра была не дальше, а ближе нашей; 3) чтобы состояла из трех комнат; 4) чтобы была сухая и воздух чистый; 5) чтобы, по крайней мере, одна комната выходила окнами на улицу; 6) чтобы была не дороже пятисот форинтов. Сочетать все условия оказалось невозможным. Утешаюсь лишь тем, что полгода — еще не вся жизнь, как-нибудь выдержишь и сам поищешь другую; однако к тому времени ты, конечно, поймешь, что, *ceteris paribus*¹, квартира эта не дорога, и увидишь,

¹ При прочих равных условиях (*лат.*).

какая это грандиозная задача найти хорошее и притом недорогое жилье. Следовательно, из многих зол я мог выбрать лишь наименьшее, полагая, что невесту твою, впервые оказавшуюся в Пеште, ты не можешь поселить в отвратительной нездоровой темнице из-за каких-то шестидесяти — даже нет, всего только тридцати форинтов разницы... Деньги, тобою посланные, я получил и уже прибавил к ним двадцать пять форинтов, о чем отчитаюсь дома. Через полгода непременно найдется еще свободная квартира и в доме Марцибани... для тебя она будет очень хороша, да и дешева».

И все же самое значительное из сатмарских стихов надо искать не среди его любовных признаний. Даже самые красиво звучащие из них превосходит возвышенным, неповторимо чистым тоном одно стихотворение, которое, быть может, является предвестником лишь приближающегося, только готовящегося периода в развитии поэта. Оно выделяется из всего, что было до сих пор создано Петефи; этому произведению еще не было подобных в его творчестве — не будет и впредь: Петефи не доживет до этого. Мы имеем в виду стихотворение «Гомер и Оссиан», сильную, звучную песню с переменчивым ритмом гомеровской «белой пены морской» и «смутных ночей» Оссиана — элегию вечности, гимн победе духа.

Так пойте же, пойте,
Бряцайте по струнам божественной лиры,
Гомер, Оссиан!
Промчатся столетья,
И тысячелетья промчатся, они сокрушат
Все сущее в мире, но вас
Они не коснутся,
Все смертью пожрется,
И только венцы ваших свежих седин будут
молоды вечно.

(Перевод Н. Чуковского)

Здесь, в Сатмаре, рождаются, словно прощание с прошлым, стихотворения «Бродяга», затем «В начале осени», «Молодой батрак». И вдруг с резким окриком:

Долго ль нам бредни о родине слушать?
Долго ль шумиху терпеть, венгерцы?
Кто о любви к отчизне трезвонит,
Тот не носит отчизну в сердце! —

(Перевод В. Левика)

врывается стихотворение «Героям болтовни», смысл которого в словах: «Время действовать! Слов довольно! Вам говорю я: время пришло!»

«Общество Кишфалуди» объявляет новый конкурс, на этот раз довольно неудачный. Дается и тема — «Имена Марии Сечи» — о любви, побеждающей любовь к родине; сам исторический материал, без истинно драматического зерна, ставит конкурентов перед невыполнимой задачей. Петефи не принимает участия в конкурсе, но пишет свою «Марию Сечи», счастливо разрубая художественно слабый узел сюжета искренним лиризмом. В его поэме речь идет не о любви императорского военачальника Вешелени (столь поразительно подкрепляющей партийные интересы ортодоксов), но просто о любви: в маленькой эпической поэме главную роль играет даже не герой, а сам поэт, который и в действительности сражается против «замка» за право любить.

Заданную тему разрабатывают и два другие члена триумvirата... тем и завершается окончательный распад столь красиво задуманного содружества. Петефи (среди любовных битв у него и на это хватает времени) хочет, чтобы единственным форумом триумvirов был журнал «Элеткепек». Михай Томпа с осторожностью посредственности боится навлечь этим на себя гнев критики; ему жаль и двух-трех лишних форинтов в месяц и, может быть, не так уж неприятно, что писаки из «Хондерю», ополчась против Петефи, нет-нет да и провозглашают великим поэтом наравне с Хиадором его, Томпу. Эпитет «народный» тоже не слишком ему по вкусу. И вообще он хворает, быть может, чувствует себя слишком слабым для борьбы. Главный триумvir обвиняет Томпу в желании усидеть на двух стульях и, несмотря на все примирительные усилия Араня, так и не прощает ему, что он не вышел на линию огня.

Петефи отбрасывает прежде лелеемый план: не Томпа венчает его с Юлией. Не приехали и пештские друзья на свадебный пир, чтобы, в качестве свидетелей жениха, присутствовать при покорении гордого замка. Свадебного пира тоже не было. Венчание состоялось 8 сентября, ровно через год со дня их знакомства, рано утром в часовне эрдёдского замка, без всякой торжественности.

В «путевом письме», написанном неделю спустя, поэт так описывает эту церемонию:

«Мы венчались по-средневековому романтично: рано утром, в часовне эрдёдского замка. И я и моя невеста хотели придать своим лицам подобающее серьезное и торжественное выражение, но это никак не удавалось, мы непрестанно улыбались друг другу; и если я улыбался так же пленительно, как моя невеста, то, клянусь тебе, я мог бы стать самой совершенной моделью для художника, рисующего ангелов. Когда все свадебные фокусы-покусы окончились, мы сразу же сели в коляску...»

Свидетели, однако, иначе описывают это событие.

Молодые были бледны, возможно, из-за раннего пробуждения. На вопрос священника оба напряженно ответили «да». В родительском доме они оставались ровно столько времени, сколько нужно было для того, чтобы невеста сняла миртовый венок и фату до пят и переменяла свадебный наряд на дорожный костюм. Они уехали, не получив отцовского благословения. Уже сидя в повозке, молодой поэт все еще ждал, что Сендреи наконец удостоит его хотя бы словом. Напрасно. Тогда он, «в своей характерной манере», засмеялся, обнажив выступающий клык, и приказал трогать. Они поехали в Колто, в замок Телеки; Петефи попросил графа уступить ему замок на медовый месяц, но так, чтобы, кроме стряпухи, ни в доме, ни вокруг не было никого. «И Анико?» — лукаво спросил граф. «Ее прежде всего!» — ответил поэт.

Хотя выехали они вовремя, до Колто в этот день доехать им не удалось. В деревушке Мистот сломалось колесо, и ночь им пришлось провести в Надьбане, на постоялом дворе. «Да, не напрасно я поэт кабаков!» — барышня из замка, небесный идеал, свою первую ночь с сыном народа провела на расстеленной наспех постели в деревенской корчме.

27

Скромный замок, на втором этаже которого поселилась молодая чета, расположен в одном из прекраснейших уголков страны. У нас имеются записки самого графа, рисующие замок в ту пору.

«Дом мой стоит на пологой возвышенности; прямо перед ним, к северу, просторно раскинулись зеленые

луга с разбросанными там и сям дубовыми кущами, а по ним вьется речка Лапош, видная с возвышенности во всем своем течении: «словно застывшая молния», как сказал однажды Шандор об извилистом Самоше.

Далее, за Лапошем, лежат пологие холмы, засаженные сливовыми деревьями, над ними же высятся горы, поросшие мощным дубовым лесом; в ясную погоду видны белые колоколенки восемнадцати окрестных деревень, утопающих в садах, будто в лесу; звон деревенских колоколов доносится и к нам в долину, а в хорошую погоду слышно, как гудит колокол в Надьбане.

На заднем плане развернулась амфитеатром цепь Карпатских гор, от двух высоких стражей комитата Угоча на восток до седого Циблеша; посередине высится старый Рожай, с гигантскими скалистыми уступами и многомильными нагорьями, кои поросли темно-зеленой брусникой; направо от него громадным горбом вздымается Гутин; острыми, круто выступающими гранитными вершинами он глядит с севера на Марамарош, наблюдает течение Тисы, этого венгерского Н и л а , — ибо и Тиса несет в себе богатство и разрушение, благодать и гибель. Еще далее виднеется Худин, с белым облаком на главе своей; это гордый господин, редко-редко снимает он шляпу, разве только чтобы приветствовать жаркое сияние солнца. А там еще треглавый Циблеш, *tridens*¹ венгерской отчизны, привлекающий к себе молнии, словно тореадор — взбешенного быка. Направо от него высокая гора, темная и мрачная, с горным озером, прячущимся в тени, Финстерхорн нашего края. Одинок, в стороне от всех, стоит гора Шатор; по форме она и напоминает шатер, у подножья ее благодатные целебные источники: она была бы достойной могилой семи вождей², чьим жилищем были шатры. И все это зелено, все поросло сплошь деревьями; словно окаменевшие волны морские, густая, темная и светлая зелень без конца и края; а под ней земля набита рудою, золотом, серебром, медью, свинцом — одним словом, сокровищами, на горе-беду тем, кто их добывает: бедным голодным шахтерам».

¹ Трезубец (*лат.*).

² Имеются в виду легендарные вожди семи племен, предков нынешних венгров, прибывших первыми в Паннонию во время великого кочевья.

Стены дома увиты диким виноградом, заглядывающим в окна. Все вместе — словно бидермайеровского стиля олеография под названием: «Обитель поэта». Молодая чета живет в этой обстановке шесть недель; здесь они узнают друг друга; здесь поэт познает семейную жизнь.

После этого периода, который, повторяем, является временем их первого настоящего знакомства, так как до сих пор они, по существу, не имели возможности даже говорить друг с другом, после этого полного жарких чувств периода, который включает в себя, наряду с плотской близостью, еще и сладкие переживания поры жениховства, Петефи, по сравнению с огромной массой его произведений, почти не создает любовных стихов, — во всяком случае, их не больше, чем обычно пишут женам поэты. Особенно, если жене восемнадцать — девятнадцать лет, а мужу двадцать четыре — двадцать пять. Петефи отнюдь не тот коленапоклоненный, у ног жены своей бряцающий на лире трубадур, каким рисует его история литературы. (Полгода спустя, в 1849 году, уже лишь в одном стихотворении говорится о любви.)

Брачная жизнь поэта и Юлии длилась совсем недолго — за это время еще не тускнеет жар страсти и едва подходит к концу медовый месяц. Борьба за Юлию, как мы видели, подогривала боевой дух Петефи-революционера; следующий период — завоеванной любви, умиротворения, покоя — дает ему необходимое равновесие для дальнейших битв. Никаких отклонений. Душа поэта, которую мы наблюдали в смене обстановки и параллельно идущем самоуглублении, открывает в свете любви новый, за всеми глубями существующий — иногда лишь смутно видимый — мир. Два диаметрально отличных друг от друга мотива звучат в песнях к Юлии...

В стихотворении, открывающем цикл, Юлия — лишь повод для зачина; кажется, мы видим здесь только руку ее; Юлия позволяет поэту умчаться в иные края, в глубь или выси, но не отпускает его руки, дает увлечь туда и себя.

Тема первого написанного в Колто любовного стихотворения — не любовь. Юлия присутствует в нем, но она спит, и не только в буквальном смысле. Она как бы создает тишину, атмосферу крайне напряженного вни-

Мания, что предоставляет поэту случай и основание С мастерской виртуозностью в тончайшем пьяниссимо исполнить громоподобную, потрясающую небо и землю, мелодию.

Осенний ветер шелестит в деревьях,
Так тихо-тихо шепчется с листвою.
Не слышно слов, но грустные деревья
В ответ ему качают головой.
Я на диване растянусь удобно.
День гаснет. Скоро вечер. Тишина.
Склонив на грудь усталую голову,
Спокойно, тихо спит моя жена.
Рукой счастливой слышу колыханье
Ее груди. В руке моей другой
История сражений за свободу —
Молитвенник и катехизис мой.

И подымается целый ураган чувств: по вдохновительнице их мы можем вообразить, с каким он бушует неистовством. Буквы пролетают кометами; звенит золото, щелкает бич, хорошо знакомая нам по облику богиня ведет в атаку влачащий рабское существование народ; сверкают молнии мести. И вся эта буря, низвержение небес воспроизводятся, позволим себе этот образ, камерным оркестром эпохи рококо. Несоответствие поражает — тем выразительней стихотворение. Немного найдется ему равных, мчащихся до конца на такой скорости, от строфы к строфе, снова и снова, по всей шкале звуков.

Передо мной кровавой панорамой
Встают виденья будущих времен:
В своей крови враги свободы тонут,
От тирании мир освобожден.
Стук сердца моего подобен грому,
И молниями грудь рассечена.
Склонив на грудь усталую голову,
Спокойно, тихо спит моя жена.

(«Осенний ветер шелестит...». Перевод В. Левика)

Они были счастливы. Существует глупое присловье: «Любовь — иллюзия». На самом деле любовь начинается с рассеиванием иллюзий; все, что до этого, — лишь приманка и испытание. Держится это заблуждение на том, что и иллюзия, конечно, способна дать счастье. Насколько можем мы задним числом представить себе душевный склад и *гены* молодоженов из Колто, это были, судя по всему, два дополняющие друг друга типа, то есть схожие во многом, так что даже в менее иллюзорной действительности они могли бы быть очень сча-

стливы. Свидетельства, дошедшие до нас, говорят о том, что в Колте они по-настоящему счастливы. Жигмонд Пап, близкий друг поэта, пишет: «Он часто приезжал ко мне из Колто в Надьбаню верхом, я также часто посещал молодую чету. Лицо Шандора излучало беззаботную радость. Носил он тогда атиллу черного шелка — это был его свадебный костюм, пожалуй, единственное в его жизни нарядное одеяние.

Покуда жена его одевалась в своей комнате, Шандор с детской веселостью подбрасывал и снова ловил в ладонь талер. Затем, приняв важную позу и подражая палочкому выговору Лисняи, стал декламировать «Волны белокуры у Дуная...».

На громкий наш смех вышла к нам Юлия. Уж и не знаю, о чем мы после того говорили. Я смущенно смотрел на счастливое выражение лица Юлии. Не нужно было слов: я видел по ее глазам, что она очень счастлива...»

Таким же запомнил тогда поэта и крестьянин-возчик, Дёрдь Мароши, сорок лет спустя продиктовавший свои воспоминания:

«...ездил я часто, то туда, то сюда... Когда они приехали, я сразу почувал, какой он радостный — даже со мной в разговоры пускался...»

Потом-то уж я и к жене его стал приглядываться, я ведь как думал: такой знаменитый человек не иначе как баронессу какую-нибудь за себя возьмет или там графиню, — но, по правде сказать, она мне не слишком-то важной барыней показалась, да и платье на ней было не такое уж роскошное. Только что не спросил: да что в этакой и любить-то?..»

В самом деле, что — после того как развеются иллюзии?

В «Путевых записках» поэт и сам описывает дни, проведенные ими в Колто. В то время читатели ждали от подобных писем, предназначенных для публики, геневского остроумия и веселости. Но эти строки свидетельствуют о добром расположении духа не из угождения модному стилю:

«Вот пройдет медовый месяц, и мы вступим в ту огромную пустыню, которую называют прозой жизни. Глупый это разговор, хоть и сам я его завел. Свято верю, что мой медовый месяц протянется до самой могилы. Будто поэзия жизни зависит от времени, а не от самих людей! У прозаичного человека и медовый месяц

прозаичен, и наоборот. Как у кого! Некоторые в самой весне — более того, даже в моих стихах — не находят поэзии, а другие находят ее в высохшей древесной коре и, даже более того, в критиках. Словом, все это я веду к тому, о чем говорил вот сейчас: что мой медовый месяц продлится до самой могилы... Ну, может быть, исчезнет хмель, но поэзия и счастье сохранятся. О, это были хмельные дни! Как раз потому я и не знаю даже, как они прошли. Становится почти досадно, что мне приходит на память только то, что не имеет отношения к нашему медовому месяцу, как, например, прогулки верхом на лошади, чтение, писание и т. д. Да и писал же я. мой друг, и сколько стихов написал! Признаюсь, такой глупости я не ожидал от себя — писать стихи в первые дни женитьбы! Но, бог его знает, кажется, и стихотворство скоро можно будет отнести к таким неотъемлемым привычкам, как конокрадство, почесывание в затылке и пьянство. Я частенько укорял себя: «Ну, что ты строчишь, осел, лучше бы в это время жену обнимал?» И решал, что сорву только ту мысль, которая висит на кончике пера, но, пока я записывал ее, мне приходило в голову еще что-нибудь, и я так и оставался сидеть за столом, покуда стихотворение не было окончено, а время мчалось на четверке лошадей и уносило с собой невозвратные часы! А я вместо того, чтобы наслаждаться, писал, писал... То ли для славы, то ли для забвения, все равно! Достаточно того, что я писал для других, а не для себя. Дурная привычка стихотворство, очень дурная привычка! Да что поделаешь, у кого свербит, тот и чешется...

Кроме писания стихов, как я уже говорил, я ездил верхом и читал. К верховой езде у меня такая же страсть, как у тебя к послеобеденному сну, только жаль, что мне редко случается предаваться ей... Правда, на Пегасе я частенько разъезжаю, но это слабое утешение! У этого коня есть прекрасное, но вместе с тем и дурное свойство, — он носит человека только по небесам, а я землю люблю больше неба».

Между тем Юлия, даже став для него женщиной из плоти и крови, осталась все тем же идеалом. Молодой поэт со счастьем и восторгом упивается телом жены своей, — душа же ее, как нам известно, оставалась, лишь усиливая тем очарование тела, столь же чарующе таинственной, как и месяцы тому назад, когда

Юлия была лишь невестой. Угадала ли Юлия эту свою индивидуальную притягательную силу, стремилась ли сознательно поддерживать пламя, навеки приковать к себе своего мужа? Из мимолетных своих настроений, крошек-мыслей, а главное — из того представления, какое сложилось у нее о современных женщинах, живущих духовной жизнью, притом, конечно же, в Париже, — она упорно лепит собственные литературные опусы. Или она с ангельской благонамеренностью жаждет просто быть достойной своего супруга? Правда, в спокойном состоянии (причем, именно в эти дни) поэт рассуждает весьма мудро: «Если женщина трудится — это хорошо, но пусть она готовит обед на кухне, полет в огороде, даже мило, если она при этом запачкает пальцы; но конюшню (то есть дела общественные) пусть оставит мужчинам». Однако этот поэт с резким крестьянским взглядом на мир — в то же время влюбленный муж, и он очарован творениями своей жены (да и чем в ней он не очарован?). Петефи считает Юлию большим писателем, у него не хватает духу зарыть в землю этот редкий талант. Он собственноручно переписывает, подправляет произведения жены, и не только к стилю ее относится с полной серьезностью, но и к ее сюсюкающим, прелестно жалким мыслям. В угловой комнате трудятся два гения. Пока поэт сочиняет стихи, за соседним столиком мудрствует Юлия — с непрременной, конечно, оригинальностью, то есть так, как «заурядные» женщины никогда бы не сумели: о стойкости чувств, об увядании цветов и сердца и тому подобное. В ответ на это детское пиликанье — словно дивный голос виолончели — стихотворение «В конце сентября». Мы можем наблюдать *in statu nascendi*¹, как из жухлого листа по волшебному мановению художника вырастает целый лес с завывающими среди ветвей осенними ветрами.

Почему мы заучиваем то или иное стихотворение наизусть? Потому же, почему желаем вдруг приобрести ту или иную картину, повесить ее на стену. Потому что — мы чувствуем это — взглянув на нее один раз, мы не в состоянии впитать в себя ее красоту, не можем ею «насытиться». Почему мы цитируем полюбившееся стихотворение, почему иногда повторяем его для себя, причем даже вслух? Очевидно, потому, что мы все еще

¹ В момент зарождения (*лат.*).

не исчерпали его и чувствуем сами, что не до конца в него проникли, — в нем все еще остается нечто, недорассказанное нам. Это выглядит противоречием, но между тем так оно и есть: стихотворение наиболее содержательное легче всего запечатлевается в нашей памяти. Конечно, это содержание — не трудновоспринимаемое содержание философских тезисов или научных теорий. Оно как бы включает в себя изначальную ясность. Можно сказать, что даже не уму дает оно почти бесконечную работу. Все мы целиком или в отрывках знаем наизусть стихотворение «В конце сентября». Оно звучит в нас и всякий раз утишает некую жажду, еще более глубокую, чем жажда ума. Никому из нас не скучно слушать его еще и еще.

Цветы по садам доцветают в долине,
И в зелени тополь еще под окном,
Но вот и предвестье зимы и унынья —
Гора в покрывале своем снеговом.
И в сердце моем еще полдень весенний
И лета горячего жар и краса,
Но иней безвременного поселенья
Закрался уже и в мои волоса.

Что же столь неисчерпаемое заключает в себе уже эта строфа, самый совершенный в нашей литературе зачин стихотворения? Сама мысль его, собственно, представляется общим местом. В нем нет ни одного оригинального сравнения. Да и рифмы здесь — «puág — mág» многократно использованы, более того, даже начальная рифма — «vírág — világ» — затрепана до смерти, стала разменной монетой виршеплетов. Первое, что открывается мне в стихотворении, — это радующий око пейзаж. Всего несколько штрихов — и вот уже нарисовано все самое главное, причем с простотой и насыщенностью, которая сразу делает картину достоверной. Мне верится, что из окна поэта все это видно. (Кстати, тот же пейзаж, те же горы по-своему описывает и Юлия: «На их главах белые снеговые венцы, коими обручила их уже близящаяся зима».) Очевидно, именно благодаря этому непринужденному и достоверному описанию окружающей действительности я без малейшего колебания верю и второй части строфы. И тут начинается процесс особого свойства: так, оборвав один лепесток розы, мы видим за ним другой, прекраснее первого. Дивная картина природы исчезает, или, вдруг просве-

ченная, открывает нашим глазам другую, еще более совершенную. Я вижу в достоверной человеческой реальности самого поэта в окне; он задумчиво вглядывается в открывшуюся перед ним картину. Почему я верю, что он задумчив, грустен? Быть может, как раз потому, что он указывает на это одним лишь намеком, скромно и едва уловимо, как и пристало столь трепетно-неуловимому состоянию души. О себе он говорит с тою же объективностью, что и о крае. Может быть, именно благодаря этому картина просвечивается вновь, и опадает еще лепесток, спадает еще один покров. Мы вступаем в новый край. Но этот край — уже нечто большее, чтобы рассказать о том словом или написать кистью. Он пролегал уже где-то между жизнью и смертью, в цепящей и возвышенной «сфере» человеческой судьбы. Совершенно того не заметив (ибо подымались неизменно по лестнице действительности), мы оказываемся вдруг во власти рока, на той территории, которую древние называли обиталищем богов и куда, согласно тем же древним, человек может заглянуть лишь во сне или в состоянии одержимости, да и то не безнаказанно. Это сверхслияние происходит здесь еще полнее и победоноснее, чем мы могли наблюдать в стихотворении «Мажара с четверкой волов».

Можно сколько угодно объяснять, что чудо происходит здесь благодаря не обозначенному прямо сравнению: иней, закравшийся в волосы поэта, — и гора в снеговом покрывале, упрямо доцветающие сады — и сердце поэта не соединены привычным словечком «как». Думаю, что появлением своим оно тотчас спугнуло бы все чары. Бывают минуты, когда поэт не должен ничего объяснять: отпустить нашу руку, оставить нас без поводья. Это минута, когда и мы, читатели, превращаемся в поэтов. Искра проникла в нас, и описание того, что мы чувствуем, было бы уже отдельным стихотворением — если бы, конечно, поэт вложил в нас не только неизъяснимое (хотя им на сей раз и изъясненное) чувство, но и свое дарование. Впрочем, нам и не столь уж важно выразить наши чувства. Собственно, что мы чувствуем? Кто-то из нас, быть может, как раз на только что названной нами облегченной паре рифм, на их прямом и резком стыке осознает, с какой фатальной беспощадностью уничтожает цветы (virág) зима (téli világ) — или, иными словами, смерть уничтожает жизнь:

сколь мал человек! Для другого именно здесь человек вырастает в гиганта под впечатлением того, что поэт невольно как бы проводит параллель между собой и снежной вершиной. При этом мы оказываемся уже не только частью природы, но и частью вселенной, самого бытия. Стихотворение говорит о том, чего обыденным языком — я чуть не обмолвился: языком смертных! — сказать нельзя.

Но все это еще лишь зачин. Главное и великое приходит только сейчас. В тех высших сферах, где сад, осина, снег, гора, рассвет и зима значат больше самих себя, поэт произносит вот эти простые слова:

Увяли цветы, умирает живое...

В этом окружении поставленные рядом два простых повествовательных предложения — два наблюдения, которые даже общим местом назвать нельзя, — звучат металлически гулко, как приговор, становятся толкованием непреложного закона, донесшимся к нам из иного мира, музыкой, успокаивающей сердце, несмотря на всю ее мучительность. Костолани разобрал эту строку на атомы, чтобы распознать секрет ее чар. Из двадцати семи букв венгерской строки двенадцать гласных и пятнадцать согласных, но среди согласных шесть «l» и два «g», то есть еще восемь мягких палатальных звуков. Костолани этим объясняет, что строка «струится, скользит, летит». «Никогда не читали мы более певучей строки. Многократно ее повторяя, мы почувствуем не только сладчайшую музыку нашего языка, но также и родственных языков, вообще всех восточных языков, даже языка «Тысячи и одной но́чи», — пишет Костолани.

Увяли цветы, умирает живое...

Ко мне на колени, жена моя, сядь.

Ты, льнушая ныне ко мне головою,

Не бросишься ль завтра на гроб мой рыдать?

И, если я раньше умру, ты расправишь

На мне похоронных покровов шитье?

И, сдавшись любви молодой, не оставишь

Для нового имени имя мое?

По содержанию это тоже почти банальность. Но мы и тут слышим не это простое и конкретное содержание, а — именно благодаря простоте содержания — вслушиваемся в то чувство, которым и рождены приведенные здесь слова. Печаль поэта — из-за преходящести, из-за

изменчивости, из-за преходящести и изменчивости даже «вечной» любви. В стихотворении нет слова «осень», но осень царит над каждым словом, именно оттого, что не названа. Только что — если нам пришло это в голову — мы еще слегка улыбались тому, что о седых волосах, о возможной близости смерти говорит двадцатичетырехлетний молодой человек. Но теперь готовность улыбнуться сменяется сладкой болью. Да, все проходит, — вот что подчеркивает, заставляя биться наше сердце, но и ободряя нас своею музыкой, звучный анапест — искусно отточенная форма, которую поэт избрал для этого стихотворения, как всегда, безошибочным художественным чутьем.

Ах, если ты бросишь ходить в покрывале,
Повесь мне, как флаг, на могилу свой креп.
Я встану из гроба за вдовой вуалью
И ночью тайком унесу ее в склеп.
И слезы свои утирать буду ею,
Я рану сердечную ею стяну,
Короткую память твою пожалею,
Но лихом и тут тебя не помяну.

(Перевод Б. Пастернака)

Как осенний день здесь больше, чем просто осенний день, так и Юлия — больше, чем просто жена. Под могильным холмом продолжает кровоточить в неутолимой боли любовь не только к женщине, но и ко всей жизни, ко всему мирозданию.

Да, это стихотворение именно Юлия сделала самой глубокой элегией нации. И не только тем, что вдохновила на него поэта. Может быть, тем, что исполнила его предсказание? Поэт здесь — именно здесь — говорит не о смерти на поле брани. «И если я раньше умру...» — речь идет здесь скорее о тихом угасании с приходом осени. Но у стихов есть и собственная жизнь, иногда они становятся палачами.

Если первые две строфы источают чистую мужскую печаль, то третью строфу трагизмом истинно кладбищенской романтической поэзии наполнила именно Юлия... Если бы это стихотворение, невольная месть мертвого мужа, не было написано, Юлия могла бы спокойно выйти замуж: ни один голос не поднялся бы против нее из-за ее второго брака.

Среди элегических любовных стихотворений, написанных в Колто, есть одно, которое модная во все времена

страсть к исследованию души может обратить против Юлии. «На днях я видел сон...» — так начинается стихотворение «Страна любви». Поэт видит во сне райские края с «древовидными розами» «размеров дуба», с большой рекою, которая текла — словно та, что вилась у него под окнами, — «все возвращаясь вспять, // Как бы не в состоянье оторваться // От только что мелькнувших берегов»; видит картины, напоминающие Карпаты: «На горизонте громоздились скалы, // На головах которых, // Как кудри, завивались облака». Но — в волшебных краях «страны любви» молодые люди среди цветов неистово ищут ядовитые травы, чтобы разом погасить свою жизнь; на ветвях розовых деревьев повсюду висят самоубийцы; челн в реке натывается на трупы — «И юноши и девушки, топясь, // Ныряли стайей вспугнутых лягушек»; на скалах — «мозг и кровь самоубийц...»

Я проблеска искал.
Ни одного. Все то же. Беспросветность
Самоубийства и улыбка синевы
Над чудной улыбающейся далью.

(Перевод Б. Пастернака)

У нас нет права применять к стихотворениям прием разгадывания снов; вполне возможно, что стихотворение родилось внезапно, оттолкнувшись от случайной идеи. Впрочем, деятельность души характеризуется и внезапно являющимися идеями. Кошмарное видение пугающего разочарования не имело продолжения. И элегический тон отодвигает на задний план другая мелодия в лирике, вызванной к жизни Юлией.

Это — мелодия переполняющего душу детского счастья: восхваление Юлии, вернее, непосредственная, безыскусная хвала любви. Из этих стихов к Юлии мы узнаем лишь одно: она любит своего мужа. Поэт, замороженный собственными чувствами, и на этот раз рисует не Юлию. Правда, и не себя: он воссоздает их любовь в самых различных ее проявлениях. Любовники словно стоят на сцене и, то милуясь, то споря, то обмениваясь улыбкой или поцелуем, высказывают мысли поэта; он же, со свойственным ему верным поэтическим чутьем, и сейчас чурается отвлеченностей и для каждого замысла тотчас ищет зримый жизненный материал, чтобы одушевить его мыслью. Он вновь проходит через все тончайшие видоизменения жанровой поэзии — когда-то столь оправдавший себя способ изображения душевного

мира пастухов. Сендреи, затем Юлия и сам поэт становятся персонажами свежих жанровых зарисовок. С удовлетворением достигнутого гавани морехода оглядывается поэт на горькое прошлое. Написанное еще во времена жениховства стихотворение «Пестрая жизнь» — чистая лирика, однако оно насыщено такой живой движущейся реальностью, что каждая строфа его могла бы стать кинокадром. В стихотворениях «Встарь и нынче», «Только я в свое окошко погляжу...» мы уже словно и не из окна, но из ложи смотрим веселую и едкую комедию. Преображаются в это время и жанровые картинки из народной жизни. Первое же стихотворение, написанное по-новому, — «В кабаке» — уже отличается тенденциозностью, причем в обрисовке крестьян, посылающих к черту господ и при этом глубоко душевных и добрых, находит выражение принцип куда более высокий, чем просто политическая тенденциозность. Маленькая сценка, которую также легко можно было бы заснять на киноленту, вся черно-белая, одновременное изображение противоположных крайностей: царящей вокруг кабака тишины и ключом бьющих страстей внутри него.

Крестовые походы не сравнить
С геройскою священной борьбой,
Которую проводит этот век.
И мы с тобой — солдаты в той борьбе!
Уже тысячелетия в цепях
Лежит народ, как новый Прометей.

(Перевод Л. Мартынова)

Это Петефи говорит уже в стихотворном послании Габору Казинци.

Стихи, написанные в Сатмаре и Колто, высвечивают еще одну сторону души поэта, жаждущего бороться, упрямо жаждущего отдать жизнь за свободу: его мутный страх, как бы не пришлось герою умереть не на поле брани, а в тюрьме или нищим... Тревога рассеивается; год спустя, после великих испытаний, она возникает снова; приближается 1848 год.

Петефи принадлежит к числу тех здоровых мужчин, которые, ложась на брачное ложе пылкими любовниками, просыпаются наутро с горячим стремлением исполнить долг главы семейства и даже содержать семью. После

прекрасных колтинских дней молодой поэт энергично берется за труды, чтобы зарабатывать на хлеб. Он решает на то, что не удавалось ни до него, ни после ни одному венгерскому поэту: хочет жить на свои стихи, при этом не превращая талант в товар, ни на йоту не поступаясь своими убеждениями... Из Колто Петефи первым долгом отправляется с женой в Коложвар; это уже третья его попытка туда добраться, на этот раз удачная.

Юлия теперь видит, за кого она вышла замуж.

Когда они появляются в воротах гостиницы, сбегается народ. Прохожие на смежной улице с криками: «Он здесь!» «Приехал!» — бросаются к Петефи, словно речь идет о прибытии какого-нибудь князя. Много лет спустя почтенные матроны будут рассказывать, как они, тогда еще девчушки, бежали к гостинице Биазини наперегонки со студентами и даже с вполне почтенными горожанами и горожанками. Поэт — рассказывает шестьдесят лет спустя одна из таких матрон-свидетельниц — «стоял на большом круглом камне, что лежал перед гостиницей, а собравшийся народ громко его приветствовал. Затем он начал говорить. Он славил народ, свободу и говорил о революции. Поэт был в коричневом дорожном костюме, с отложным белым воротничком. Голова его была непокрыта. Запомнился его красивый голос, который разносился очень далеко, говорил же он так вдохновенно, что публика еще долго приветствовала его и долго не расходилась».

Молодежь, участвовавшая в государственном собрании, которое в это время там проходило, организовала в честь прибывших факельное шествие. Когда же молодая чета появилась на галерее государственного собрания, раздались бурные овации. Вечером — торжественный ужин. Один из депутатов подымает бокал за здоровье народного поэта, а затем — за его героическую супругу! Юлия, раскрасневшись, нежится «в ослепительных лучах успеха // Пред громко рукоплещущей толпой», к которой выводит ее с гордостью сам молодой муж.

Из Коложвара они едут к Араням в Салонту. Охмелевшие от чествований, погружаются в хмель дружеских чувств и бесед. Чтение стихов, споры ведутся теперь вчетвером и так весело, что время буквально оставливается.

Так мы и обманем гайдука в ливрее,
Чтоб не гнал меня к трудам без перерыва.
Жажду славы я пустил к себе на шею
И с седла не сброшу, как ни тряс бы гривой.
Но не жажда славы новый мой погонщик.
День и ночь не ей я отдаю усилья.
Я теперь тружусь, как рядовой поденщик,
Словно запродав себя нечистой силе.

(«У Яноша Араня». Перевод Б. Пастернака)

О том, как жилось им у Араней, дает представление отголосок тех настроений — посланное уже из Пешта письмо. Юлии достался муж, у которого есть волшебное средство против всяческих трудностей и испытаний: это — его юмор.

«Дорогой мой друг Stribli! ¹ И рассеян же ты, видно, — все перепутал, письмо свое намотал на ногу, а мне вместо письма прислал портянку. Ведь это же воистину не письмо, а портянка. Приветствую тебя, второй... разочарованный муж Гуннии! Счастье твое, что я не король и, значит, руки у меня коротки, до Салонты не дотянутся, а то бы давным-давно тебя отдубасил. Когда-нибудь ты еще попадешься мне в руки, и тогда, бьюсь об заклад, вместо эпоса ты запоешь у меня элегию. Путешествие наше прошло весело и счастливо, ибо романтическая дорога в окрестностях Тура переломила нам обоим всего лишь каких-нибудь шестьдесят ребер, и после путешествия жена моя кашляла не дольше трех недель, причем грудь у нее не треснула, хотя бедняжка уже была близка к этому. А я тут эти дни был не только огнесердным, но одновременно и огнеглоточным Петефи, такое страшное было у меня воспаление горла. Но продолжалось оно только одну неделю. Bagatelle ². Теперь мы уже оба крепки, как дубовые желуди! Да, кстати! Жена моя без конца ломает голову, вспоминая анекдот, который ты рассказывал, и никак не может припомнить. Если вспомнишь его, напиши. Ты рассказывал его за обедом, но это не тот о чернилах, выпитых крестьянином. Надеюсь, даже верю, что в ближайшем письме ты расскажешь в своих

¹ Арань прислал Петефи коротенькое шутовское письмо на английском языке, подписавшись: «John. Stribli, shoe-maker and poet» («Джон Стрибли, сапожник и поэт»).

² Пустьяк (франц.).

дурацких разговорах относительно неумения писать стихи и сообщись, что и «Осада Мураня» и «Вечер Толди» окончательно готовы. Жду этого от тебя и на сем кончаю письмо. Так как ты заставил меня долго ждать, я в отместку решил написать тебе как можно короче.

Целую, обнимаю вас справа, слева, в хвост и в гриву, спереди и сзади и остаюсь твоим достойным другом

лорд *Артур Картошка*».

В Пеште молодую чету ждет скромная квартира. Из трех комнат на улице Дохань лишь одна принадлежит им, вторую они сдали Йокаи, третьей же пользовались совместно, как столовой. Обстановка довольно бедная, денег у Петефи в обрез. Сендреи сдержал свое слово. На стенах, рядом с портретами знаменитых поэтов, портреты вождей Французской революции — сначала Мирабо, Лафайета, затем Робеспьера, Марата; эта постепенная смена не хуже барометра показывает бурю, которая созревает в душе поэта. Среди кровавых якобинцев — какое общество! — задумчивый Янош Арань.

«...Я никак не думал, чтобы он когда-либо изменился. Веселый, шумный, душа нараспашку юноша превратился после свадьбы в молчаливого, серьезного, замкнутого мужчину...»

«В Юлии Сендреи, — продолжает Хиадор, собрат по перу, — было что-то мужественное, что возбуждало не чувство, а мысль. К ней неприменимо французское словечко «causerie»¹, она не болтала по-женски, а обсуждала — как ученый с ученым, противник с противником. Едва ли были темы, в которых она бы не чувствовала себя как дома. Шандор всегда с уважением слушал ее и лишь изредка вступал в спор, но ни в коем случае не для того, чтобы ей противоречить, а лишь затем, чтобы поддержать позицию жены. Всякий раз, посещая их, я заставлял обоих за чтением».

Внешне Юлия «была интересна со своими коротко остриженными волосами, округлым лицом и хорошо развитой фигурой. При первом же взгляде привлекали

¹ Легкая беседа (франц.).

к себе внимание открытый лоб, темные глаза, умный взгляд. Дух витал на челе ее. Видя их рядом, легко можно было подумать, что из них двоих именно она — личность исключительная...»

Недостаток в креслах и фортепиано ощущает разве что Юлия; Петефи совершенно удовлетворен своим домом. Будущее, хотя и не слишком обеспеченное материально, сулит покой и радость. В работе и желании работать недостатка у него нет. И взаимопонимание у них полное, хотя Юлия не проявляет ни малейшей склонности стать такой же женой, как другие. Ее дневник уже появился в печати, редактор «Элеткепек» не успевает возвращать поклонникам оды в честь жены поэта. Ибо — вот так-то! — теперь уже пишут оды и ей, даже больше, чем ее мужу. Журнал, уступая настойчивым пожеланиям восторженных читателей, обещает в ближайшем будущем дать вместе с портретом Петефи также портрет его замечательной жены. Это обещание, правда, наперед очаровывает нетерпеливых читателей, но жен прочих поэтов и вообще знакомых дам — не слишком радует.

Обед молодая чета получает из соседнего рестораника. Хозяйства Юлия не ведет; волосы стрижет коротко, а-ля Жорж Санд; делает даже попытки курить. «Не такая жена нужна этому юноше», — рассуждали знакомые, да и у нас это чуть не сорвалось только что с языка. Но верно ли, что ему нужна не такая? В квартирке на улице Дохань днем и ночью речь идет о литературе, о делах общественных; споры и раздумья ни на минуту не прерываются хозяйкой дома ради каких-нибудь насущных вопросов, связанных с покупками или кухней. Заботы мужа относительно родины и поэзии она полностью разделяет. Она — постоянная и постоянно присутствующая аудитория. Даже нарядами она не занята — одевается оригинально, но просто. Как и приличествует жене революционера! Поэт ощущает Юлию совершенной парой себе, душою и телом, брак же свой считает самым счастливым в мире. Одухотворенные, чуть-чуть косящие глаза Юлии нимало не утратили своего таинственного сияния; для поэта любовь и позже остается той нитью, которая сильнее всего связывает его с трансцендентальным миром. Ненасытимая, жаждущая вечной любви душа так приходит к идее вечной жизни. Заключительный аккорд стихотворения

«В душе глубокой...», которое начинается хвалою в е р е , — это лучшая венгерская песнь о вечном слиянии двух человеческих душ.

Гроб не темница,
Нет, нет, — гробница
Речного перевозчика паром,
Когда с обрыва
Земли счастливой
Еще на лучший берег мы плывем.

Лишь неизвестно,
Но интересно
Расположение этих дальних мест,
И, в лодке сидя,
В каком мы виде
Свершим туда по смерти переезд?

Как соловьи ли,
Раскинув крылья,
Мы на звезду с звезды перепорхнем
Иль лебедями,
Скользя кругами,
Вдвоем на море вечности замрем?

(Перевод Б. Пастернака)

Нам нетрудно представить себе, что молодая чета в это время перепархивает из одного дня в другой, как с ветки на ветку — пара соловьев. О том свидетельствуют стихотворения; и делает их достоверными, как вообще всякое стихотворение, их поэтическое совершенство.

Там, в Дунае, солнышко лежит,
И Дунай от радости дрожит.
И его баюкают, любя,
Милая, совсем как я тебя...

*(«Розы расцветают над холмом...»
Перевод М. Замаховской)*

Из этого периода до нас дошло небольшое, в несколько строк, письмецо, просматривая которое даже мало-мальски понимающий по-немецки читатель может испытать удовольствие счастливого превосходства профессора-экзаменатора; письмецо свидетельствует красноречивее любого школьного аттестата о том, насколько этот непоседливый некогда студияз усвоил язык Гете, о котором, между прочим, дважды высказывался с довольно непочтительной и легкомысленной небрежностью. Письмо адресовано известному тогда граверу по меди

и стали, делавшему портрет Петефи для второго издания его Полного собрания сочинений.

«Liber Herr von Tyroler!

Es ist mir Leid, das ich in eigener Person kann nicht Sie besuchen; ich bin krank, wie der Teufel. Wenn mein Brief nicht zu spät kommt, so haben Sie die Güte, den Bart mir so machen, wie ich habe gezeichnet hier auf diese Bild manu propria, weil ich so hab lassen vaxen den Bart in die neuere Zeit. Aber sonst machen Sie nichts nach von diesem Bild, und am wenigsten die Nasen. Und ich bitte Sie, machen Sie nicht zu dick und dunkel das Bart, weil ist mein Bart nicht dick. Wenn ich werde gesund, werde ich Sie besuchen. Leben Sie wohl! Ich Verehrer...»¹

Школяр допускает несколько ошибок... Или — непочтительно шутит и с нами, поздними его экзаменаторами? Ибо все-таки трудно себе представить, что, владея языком так свободно, поэт не знает орфографию именно слова «wachsen». Очевидно, он был просто в хорошем расположении духа, как обычно молодые люди, когда они отращивают бороду, и это хорошее расположение духа хотел передать и господину Тиролеру; по той же причине он, всем известный отчаянный демократ, пишет и приставку «фон» перед именем тоже всем известного добряка-гравера, еврея.

Поэма «Глупый Ишток» также — детище покоя, удовлетворенности; не только язык ее, свободно льющийся, свежий и в совершенстве соответствующий каждой зарисовке, каждому повороту сюжета, но и непоколебимо оптимистическое миропонимание делают поэму произведением настолько личным, что впору рассматривать его как автобиографию. Автобиографию подлинную — исповедь души.

¹ «Дорогой господин фон Тиролер! Очень жаль, что не могу навестить вас лично: я болен, как черт. Если письмо мое не слишком запоздает, то будьте добры сделать мне бороду так, как я нарисовал на этой картинке собственноручно, ибо в последнее время я отрастил себе именно такую бороду. А в остальном прошу ни в чем не следовать этому портрету и меньше всего, что касается носа. Прошу Вас также не делать мне чрезмерно густой и черной бороды, поскольку моя борода вовсе не такая. По выздоровлении я Вас навещу. Будьте здоровы! Уважающий вас...» (нем.).

«Глупый Ишток» был создан за несколько недель, у поэта даже и на другие дела оставалось время. Следовательно, женитьба удалась — удалась так, как это и представляют себе люди, готовящиеся к великим свершениям, то есть как возможность отдаться более серьезным задачам. Поэт всаживает свой топор в стволы все более крупные. Именно сейчас, возможно, начинается тот период, когда лирика постепенно уступала бы место эпической поэзии... трудно сказать наверняка. Веяние близкой смерти мы можем почувствовать уже сейчас. По начатым и, увы, так никогда и не законченным стихам, по гроздьям замыслов и планов, которые говорят о великих творениях лишь столько же, сколько строительные леса или проект архитектора — о задуманном здании.

Отрывок в поэзии — то же, что неоконченная работа золотых дел мастера: ценность материала, даже не законченного обработкой, даже в разрозненных кусочках точно та же. Но в начатой в Колто (и, вероятно, вынимавшейся из стола и в Пеште) эпической поэме «Судья» выразителен не только материал, благородный сам по себе; заслуживают особого внимания и явственно проступающие контуры этого произведения: здесь рождается изображение той венгерской действительности, достойное воспроизведение которой так и не состоялось. Мы упоминали уже Гончарова, Гоголя, этих зорких наблюдателей действительности: мы и сами иной раз затрудняемся определить, каким чувством наполнены взбегающие от углов их рта к глазам морщины — презрением, мягкой улыбкой, насмешливым весельем или отчаянием. Говоря о «Судье», нам следовало бы, вероятно, вспомнить о Тургеневе, авторе «Отцов и детей», он также был современником поэта, двумя годами его старше. В ненаписанной поэме «Судья» мы имеем все основания оплакивать венгерский стихотворный роман той эпохи. То, что осталось нам, есть действительно начало романа в стихах. Что погубило в зародыше венгерский роман, достойный своего времени? Отсутствие важнейшего элемента формы: соответствующего языка. Живой мир можно рисовать лишь живым языком эпохи. Такой язык существовал, но из всех наших писателей только Петефи умел, то есть смел тогда им пользоваться. Мы видели, с какой естественной простотой и силой звучал у него этот язык в произведениях

о народе, о родных краях. Тем же языком он описывает теперь мир дворянской усадьбы. Вот деревушка господина судьи:

...дома стоят — ни ряда и ни лада.
Точь-в-точь как на лугу пасущееся стадо:
Один глядит на юг, другой — наоборот,
А третий так стоит, что черт не разберет.

Лачуги бедняков — коровы и телята,
Меж ними, как в о л ы , — те, что живут богато...
Вернее, их дома. Прошу меня простить,
Я, право, никого не думал оскорбить.

А вот и цитадель самого судьи, господина Тамаша:

Дом нашего судьи в другом конце деревни,
Меж домиком попа и церковушкой древней.
На лбу его клеймо: «...в шестьсот седьмом году»,
А надо б дописать: «Сто лет ремонта жду».

На башенке крыльца — часы чуть выше ската,
А на три стороны глядят три циферблата.
С востока только лишь их стрелок не видать...
История проста, могу вам рассказать.

Судья и Латоци, да будет вам известно,
Извечные враги, которым вместе тесно.
Чтоб насолить врагу, притом от всей души,
Для нашего судьи все средства хороши.

А так как Латоци живут неподалеку
И дом их обращен лицом своим к востоку,
То назло, чтоб часы им не были видны,
Герой наш стрелки снял с восточной стороны...

Давно уже утро, но —

Хозяина все нет, он спит еще в кровати,
Да так, что всем слышать в соседнем комитате.
Мальчишки слышат храп, протяжный и густой,
И думают: «Труба!.. Солдаты на постой!»

Вот вздрогнул он, и храп сорвался на фальцете,
Как будто бы судью тугой хлестнули плетью,
И брови, словно два медведя, разъярясь,
Друг к другу кинулись, и драка началась.

(Перевод И. Миримского)

Таковыми чеканными строфами написаны четыре первые главы, или параграфа, — начало единственного истинно реалистического венгерского повествования то-

го времени; в нем заложена уже и превосходная фабула, и блестящие повороты сюжета.

Созданный в одно время с «Судьей» «Господин Пал Пато» — словно выхваченный из этого повествования отрывок. Но мне трудно представить себе господина Пато героем какого-нибудь романа Тургенева. В это же время Петефи пишет и бичующие строки «Окато-окай» — родины Палов Пато в широком смысле. Прибавим к этому написанное тогда же стихотворение «К венгерским политикам» — и мы увидим сами, сколько потеряли от того, что «Судья» остался в ящике стола поэта. Между тем Петефи работает, работает с утра до вечера. Но — теперь он глава семьи и должен писать то, что тут же даст средства к существованию.

Ужель превратится
В домашнюю птицу
Орел, озаренный небесным огнем,
Дерзавший когтями
В заговор вцепиться
Свирепому вихрю,
Чтоб мчаться на нем?
Иль страсти потухли
И в сердце орлином
И буря рассеялась
Там, вдалеке, —
И стал мещанином
В ночном колпаке
Тот юноша смелый
И нетерпеливый?..

Для подобной тревоги нет никаких оснований. Огонь, живущий в нем, давно уже не просто брожение вина, не кипение юности, которое даже самое разумное общество прощает своим сыновьям, более того, ждет от них иногда.

Меня не оставит
Мой пыл благородный.
Не может исчезнуть
Мой гнев справедливый,
В душе не иссякнет
Бурливый поток!
Он только притих...
Подожди, подожди, —
Течет он сегодня
По темным низинам,
Но вижу грядущее
Там, впереди,
С горами, со скалами,
С криком орлиным!

(Перевод Л. Мартынова)

Эти строки — из стихотворения «К гневу».

Поэт вспыльчив, несдержан на язык, но и при этих свойствах трезв и осмотрителен. Именно сейчас он по-настоящему осваивается в окружающей его жизни. Петефи всегда и во всем — человек долга. Взглянем на него еще раз глазами уже хорошо знакомого нам Иштвана Шаша. Одновременно повидаемся и со старыми нашими милыми знакомцами — родителями поэта. Разорившись и в Дёмшёде, они живут теперь в Ваце. Поэт везет с собой в Вац Шаша, к тому времени «уже ex honorigibus¹» — врачавателя славной молодежи», — чтобы тот осмотрел его больную мать. Шаш так описывает это путешествие:

«Всегда относясь ко всякому делу как к самому неотложному, он и тут прямо сел мне на шею и даже помогал собираться, чтобы немедля отправиться в путь поездом, который, насколько мне известно, шел тогда еще только до Ваца.

Ему не терпелось как можно скорее повидать свою захворавшую матушку и привезти ей желанную помощь. Устройство судьбы его разорившихся и беспомощных родителей пало целиком на него, и он, чтобы при своем более чем скромном доходе выполнить все же сыновний долг, кой который он чувствовал всем своим благодарным сердцем, избрал для жительства их этот тихий и недорогой городок, к тому же легко достижимый благодаря железной дороге. Он заботился не только о жилье и пропитании родителей, но также и о пище духовной, посылая им авторские экземпляры литературных журналов. Старик-отец любил перелистывать книги, хорошее же чтение всегда считал лучшим средством против забот. Теперь же он еще развлекал больную жену свою, читая ей вслух. Зная это, сын щедро снабжал стариков подходящим чтением. Будучи заботливым сыном, он не оставлял без внимания самые малые их нужды...

Он сидел в углу купе неподвижно, будто прикованный, и, явно отягченный мрачными мыслями, глядел прямо перед собой — только чаще и нетерпеливей, чем обычно, стряхивал пепел с сигары. У него были основания тревожиться за матушку, ибо ее организм был столь ослаблен многими хворьями да еще хроническим катаром легких, от коего она не избавилась до самой смерти,

¹ Бескорыстного (лат.).

что поистине можно было бояться, не слишком ли мало жизни отмерено ей на будущее...

Так как мы спешили, то, едва поезд остановился в Ваце, тотчас поторопились к родителям его. Наш путь привел нас к маленькому двухэтажному дому. Пройдя через кухню, мы оказались в небольшой комнате, чистота которой свидетельствовала о любви к порядку ее обитателей, герань же, пышно зеленеющая на обоих окнах, — о любви их к цветам. Когда мы вошли, старый Петрович, сидя у стола, читал вслух супруге своей, отдыхавшей на тахте, один из лежавших на столе журналов. После краткого приветствия и представления Шандор подсел к матери, погладил рукою ее худое морщинистое лицо и, обняв, тотчас начал расспрашивать о здоровье. Отвечать ему стал отец, ибо жена его закашлялась и говорить самой ей было трудно.

Вести, дошедшие в Пешт, оказались мрачнее действительности, и наша беседа вскоре стала оживленной...

...Мы с интересом слушали оригинальные мысли старика-отца, которые он то и дело вплетал в гладкую нить своих рассказов. О каждом предмете он говорил просто, однако находил всякий раз удачные выражения. Его рассказы были столь же приправлены народными выражениями и столь же прозрачно чисты, как и рассказы сына. Он легко горячился, не терпел возражений, не знал компромиссов. Любовь его к отечеству была беспредельна. Он гордился тем, что был венгром, и имел к тому основания, ибо венгерская речь лилась из уст его с присущей ей древней неиспорченной силой, всегда в полном соответствии с предметом беседы. Его познания, приобретенные благодаря собственным усилиям и опыту, по уровню своему превышали познания других людей подобной судьбы, а потому и горизонты его были светлей и шире.

Он был среднего роста, широкоплеч и несколько толстоват, с высоким лысеющим лбом и начавшими сесть волосами. Несмотря на свои шестьдесят лет, держался прямо. Взгляд имел смелый, но лицо его при этом сохраняло мягкое выражение. Во всем его облике виделся сын Алфёльда, крепкий и словно рожденный для верховой езды.

Жена его была маленькая, со впалыми щеками и желтовато-смуглою кожей женщина, покорная, с ласковой речью и робким нравом, По-венгерски говорила

безошибочно, но с кишкёрёшским акцентом. Волосы ее были так же густы и когда-то черны, как у сына.

...Наш визит окончился с отправлением поезда. Обрадованный тем, что состояние матушки неопасно, Шандор возвращался совсем в ином настроении. Без конца дурачился, шутил и болтал. Он просто подпрыгивал от радости, и тот, кто видел его утром, теперь едва ли узнал бы его. Насколько замкнут, мрачен и молчалив был он тогда, настолько теперь стал общителен и весел. Случайно встретив знакомого из их краев, сопровождавшего нас до самого Пешта, заговорил его до смерти. В самых пестрых кричащих красках рассказывал перед добрым поселянином нивы политические, литературные... Вообще одной из его излюбленных проделок было невинным обманом вводить в заблуждение окружающих, особенно же надоедливых любопытных. Будучи человеком знаменитым, он всегда имел для этого случай. Так было и с этим пейзазником, коего он, не имея способа от него освободиться, пичкал такими сказками, что я веселился более всех, не имея возможности вставить хотя бы слово. Подобных его шуток я помню великое множество. Возможно; в этом было что-то от его актерских склонностей, но куда больше — непринужденного веселья. Я видел, как он представлялся сердитым, обиженным, печальным, бурно дружелюбным, объясняющимся в любви, хмельным, едва держащимся на ногах пьянчужкой, — и все это просто так, для поднятия настроения и не более».

Петефи идет двадцать пятый год.

Под настроение он еще иногда дурачится, ходит на голове, но, встав на ноги, он весь — олицетворение мужественного самосознания, долга. Он чувствует ответственность не только за семью в узком смысле слова.

Он — счастливый труженик, ибо сознает смысл своего труда и верит в свое назначение. Он уже знает все уловки и приемы поэтического ремесла и весело помогает другим писателям. Насколько труден он иногда в обществе, настолько безукоризнен как социальное, общественное существо. О том вновь и вновь свидетельствуют и его письма. Сколько в нем готовности действовать, сколько идей и искренней радости, когда он занимается делами своих коллег! Вот перед нами ментальный снимок одного его дня: письмо от 10 февраля 1848 года к салонтайскому другу, который в это

время с помощью Петефи отдал в печать «Осаду Мураня»:

«Милый Янко мой! Дождь идет, снег тает, к тому же еще грязь несусветная. Прости меня, что в сей дождь и грязь покончил я с «Досадой»... то есть я хотел сказать, с «Осадой Мураня». Цензор пытался казнить те три строфы, в которых ты говоришь, вернее, заставляешь говорить Марию, чтобы мы посмотрели на бедного гибнущего соседа-чеха и пр. Цензору показалось сие приближением к нынешней политической ситуации, но я заверил его, что этого никак не может быть, ибо автор произведения — тупая деревенщина, не имеющая никакого представления о политике и политических ситуациях, *déniq*ue я затупил его убийственный кинжал на наждачном камне уговоров, и твое милое детище живо и здорово. Его не то что не убили, но даже в еврея не превратили, я хочу сказать, не обрезали. Этим ты обязан мне, ибо цензором был старик Режета, а с ним умею договариваться только я. От него я направился в типографию и там устроил все. Будет напечатано в таком же формате, как первое издание «Витязя Яноша», за двадцать два пенгё лист, на превосходной венецовой бумаге, в тысяче экземпляров. Типографские расходы обойдутся всего лишь в сто тридцать пенгё, цена будет сорок пенгё-крейцеров, таким образом, в случае распродажи тысячи экземпляров ты, за вычетом типографских расходов и комиссионного процента книгопродавцу, получишь четыреста пенгё чистого дохода. Если хочешь, я при ближайшей возможности пошлю тебе эти четыреста пенгё из своего кармана, но для этого ты должен мне немедленно обеспечить главный выигрыш в лотерее...

...А как продвинулся ты с «Виндзорскими кумушками»? Чертовски тяжелая работа, не правда ли? Пришли мне при первой возможности отрывок из «Короля Джона», я тоже пошлю тебе на другом листке отрывок из «Кориолана». Увидишь, какие я позволяю себе вольности как по форме, так и по содержанию; думаю, что от венгерского языка большего нельзя и требовать, уже и это большое дело. В иных местах у меня выходит на строчку длинней, но подобное позволяет себе и знаменитый Шлегель, а он немец, и переводить с английского на немецкий, по сравнению с переводом на венгерский, — детские игрушки.

С «Лехелом» я буду молчать до тех пор, покуда не закончу «Кориолана», — тогда схвачусь за него что есть силы; готово уже тридцать семь строф по восемь строк.

Ты не ответил еще на мое предыдущее письмо. Это, быть может, первый случай, что я пишу кому-нибудь два раза подряд.

Как вы живете? Хорошо, конечно. Мы тоже живем славно, счастливы необычайно, однако же не забываем и о Салонте. А вы о Пеште? Эй, готов ли уже «Толди»? Ты старайся, а не то, как приедешь в Пешт, стукну тебя что есть силы. А кумушка уже готовит тебе припасы на дорогу? Благослови вас господь, милая кумушка, поторапливайтесь с жареной гусятиной, ветчиной и коржиками... А ты, Лаци, не хнычь, когда отец уедет... Видишь, Юльча-то не плачет. Ничего дурного с вашим отцом здесь не случится, в худшем случае у него вытащат деньги из кармана. С такой тупой деревенщиной это может стать. Поэтому, братец Янко, много денег с собой не бери, хватит с меня и нескольких сот пенгё. Благослови вас господь!..»

29

Годами ждет поэт революцию, ждет ее днем и ночью. «Я предчувствую ее, — говорит он друзьям, — как собака — землетрясение». В начале года, который наконец-то принесет долгожданный поворот, поэт, несмотря на обстоятельства, вернее, несмотря на заботы, снова и снова строит планы, рассчитанные па долгие и мирные времена. Наконец-то он может взяться за лелеемый с детства план — за «Лехела». Это будет героическая поэма, и не сказочного содержания, а с истинными историческими героями, но при этом в подлинно народной тональности, словно поэт обращается «не к грамоту знающим господским сословиям», а непосредственно «к людям, одетым в сермяги и дохи»; вот теперь он покажет, как надо писать венгерскую народную эпическую поэму!.. Увы, и этот замысел останется лишь в отрывке. Поэму, которая с легкостью ложится на бумагу в спокойной обстановке нынешней его жизни, обрывает задача, еще более неотложная: создание венгерского «Кориолана». Вместе с Аранем и Вёрёшмарти поэт

готовится к переводу полного собрания сочинении Шекспира. «Кроме «Кориолана», я непременно переведу «Ромео», «Отелло», «Ричарда III», «Тимона Афинского», «Цимбелин», а может быть, и «Генриха IV» и «Зимнюю сказку»... Последние не останутся даже в отрывках. Но это знаем только мы, потомки.

1848 год начинается как год горячей, достойной истинного мужчины, работы.

Не уходит на отдых лирическая муза. В первые пять дней года Петефи пишет пять стихотворений, словно по школярской заповеди: чтоб ни один день не ушел бесследно, без достойного деяния. Среди них «Зимние вечера», каждой строкою излучающие уютное печное тепло, а несколько позднее — «Как мне назвать тебя?», «Лев узник», и богатое живописание венгерских просторов, опять напоминающее художественным совершенством полотна голландских мастеров, но написанное четкими и чистыми отечественными красками, — «Степь зимой». А может быть, и это стихотворение воспроизводит скорее одну из поездок господина Чичикова?

Батрак снимает с балки листовую табак
И на порог кладет и режет, взяв тесак.
За трубкую в сапог
Полез, набил, разжег,
Сопит, попыхивает и косится вбок:
Не опустел ли в стойле кормовой лоток?

Как знать, не это ли самое значительное из его описательных стихов? Во всяком случае, оно самое потрясающее из всех, хотя в нем нет ничего личного, ни слова от себя. В нем нет даже юмора. Быть может, в этом зимнем холоде и эпоха, и сама Венгрия предстают перед нами в истинном своем свете...

Но вот пурга без сил и уползла в углы.
Из разостлавшейся кругом вечерней мглы
Всплывает тень с кнутом
Разбойника верхом.
Пофыркивая, конь несет его домой;
За ними следом волк, над ними ворон злой.

(Перевод Б. Пастернака)

К этому же времени относится и стихотворение «Курица моей матери», прекрасное изображение крестьянского интерьера, а также «Любо мне лежать под сенью...», «Холод, холод на дворе...», «Люблю тебя,

люблю тебя...» — четкие абрисы тончайших чувств на гладкой, умиротворенной поверхности души.

В этот покой труженика врывается революция. Интонация стихов сразу же становится похожа на клекот флюгера-петуха, с вершины башни указывающего направление. 6 января начинается восстание в Мессине, 12-го оно уже переметнулось в Палермо, 27-го — в Неаполь, а затем, словно по запальному шнуру, обегает огнем весь полуостров и, сделав добрый крюк на северо-запад — к Парижу, Лиссабону, — поворачивает на восток, разметая на своем пути давно уже заминированные цитадели деспотизма, феодализма с такою силой, что поэт весь горит от восторга. Аристократия же, стянувшаяся под теплую императорскую мантию, дрожит от ужаса. Что будет, если примеру Италии последуют и прочие придавленные колониально-феодальным игом страны?

Первый отклик раздается в Венгрии; нужно ли говорить, что слетает он с уст Петефи?

Им ползать по земле осточертело,
И поднялись они на страх врагам.
И вот их вздохи превратились в громы,
Взамен цепей клинки бряцают там!
Не бледное цветенье апельсинов,
А красных роз там нынче торжество,
О, как прекрасны вольности солдаты!
Дай счастья им, свободы божество!

.....
Настанет час великий, достославный!
Туда, к нему надежд моих полет;
Они, как птицы, мчатся в день осенний
Под небеса полуденных широт.
Падет насилье, и восстанет снова
Земля в красе расцвета своего.
О, как прекрасны вольности солдаты!
Дай счастья им, свободы божество!

(«Италия». Перевод Л. Мартынова)

Пламенное прекрасное стихотворение не могло появиться в печати. Оно слишком смело в глазах осторожных и робких, оно до некоторой степени — измена отечеству и, уж во всяком случае, величеству. Разве мы не одна плоть и кровь с Австрией, разве итальянская ирредента направлена в первую очередь не против священных прав императора и короля нашего? Вот сейчас венгерские войска отправляются в Италию — а ну как им на глаза попадутся эти стихи?!

Петефи уже давно не обращает внимания на подобные трусливые суждения. Он давным-давно увидел различие между истинными задачами общества и политиканством. Первыми он увлечен пламенно, от второго лишь презрительно отмахивается. «Нашу политическую жизнь я либо созерцал издали, либо вовсе не уделял ей внимания, поэтому одни обвиняли меня в односторонности, другие — в преступном равнодушии.

Близорукие! Я знал то, чего не ведали о н и , — вот почему я жалел этих голосистых крикунов, героев однодневной политики, и улыбался, видя, какую важность они напускают на себя; я знал, что их блестящие деяния и блестящие речи — не что иное, как письма на песке, которые будут сметены первыми дуновениями приближающегося вихря; я знал, что они не те великие актеры, которым суждено на сцене мира разыграть грандиозную драму возрождения, а только декораторы и статисты, задергивающие занавес и выносящие на сцену столы и стулья».

Его пронизательность, образованность и осведомленность, действительно, ставят его много выше политических деятелей. Он, побывавший многократно почти в каждом комитате страны, когда-то бродячий актер, бродяга-школяр, коротавший ночи под навесами постоялых дворов и в городских трущобах, знает положение, настроение страны и народа так, как, кроме него, никто в Венгрии. Все это наполняет его беспощадностью и тревогой. Беспощадностью — сознанием необходимости действовать наиболеестрейшим образом, и тревогой: способна ли к возрождению нация, которую он — вероятно, имеет смысл подчеркнуть это еще раз — отождествляет с народом? 24 февраля в Париже вспыхивает социальная революция, рабочие идут на баррикады под красным знаменем и с социалистическими лозунгами Луи Блана. Нет никакого противоречия в том, что в песне, похожей на тревожный сигнал сирены, которой откликается Петефи на эти события, звучит также и мотив национальной гордости. Даже патриотический порыв не может иметь цель высшую, чем освобождение миллионов угнетенного народа.

Неужели, милая отчизна,
Нет в тебе былого героизма?
Иль с отцами он ушел в могилу?
И за саблю взяться нету силы?

Кому пришлось столкнуться со столькими примерами духовного убожества и раболепия, кто чуть ли не все надежды возлагает на героическое самопожертвование истинно великих характеров, — в том не удивительны подобные мучительные сомнения и горькие мысли.

Ну, а если нынче что случится,
Сможем ли хоть сами защититься?

Если дело близится к развязке,
Дай нам знак, о ты, господь мадьярский,
Что еще владыка небосвода
Ты во славу своего народа.

(«Жесткий ветер...». Перевод Л. Мартынова)

...И поведи к победе этот народ в его священной войне против императорского двора и аристократии! — вот что договаривают другие стихи и личное участие в событиях самого поэта. До сих пор мы говорили только о его поэтической гениальности. Отныне нам необходимо постоянно помнить о его революционной пронизательности, которой он служил делу народа и которую невозможно отделить от первого, в той исторической ситуации и в том географическом месте — в Венгрии 1848 года. Для этих условий великий писатель не существует, если он притом не обладает великим характером и великой личной храбростью. Литературные позиции Петефи неотделимы от его позиции в социальных битвах. Сейчас мы обнаруживаем пружины его неуживчивости, неумного нрава: это его неспособность к компромиссу, непоколебимая принципиальность. Именно сейчас становится очевидным, что вкладывает Петефи в понятие «народность» и что безошибочно отделяет его от предшественников и эпигонов, явственно показывая, кто же его подлинные родственники в том литературном направлении, родоначальником которого он был.

Относительно последней минуты, приводящей к падению деспотических режимов, задним числом всегда можно установить, что если бы упомянутые режимы проявили в эти моменты лишь немного больше энергии, если бы выставили на угрожаемый участок каким-нибудь полком больше, — революции не произошло бы. Но точно так же можно установить, что это последнее энергичное действие всякий раз не бывает произведено, ибо оно все равно не решает вопросов по существу, и сколько

бы раз ни было повторено, опасность взрыва неизменно возникает вновь, пока в конце концов, рано или поздно, не свершится неминуемое, — причем, чем позднее, тем с большею мощью. Правящие круги габсбургской монархии с марта 1848 года ни о чем ином и не думали, как о проведении таких энергичных мероприятий, они потому лишь и допустили революцию, что пытались собраться с мыслями и силами и поразить повстанцев ответным ударом. На первый взгляд время как будто бы доказало их правоту: хотя и с чужеземной помощью, но устоять им удалось. Однако это было лишь временное оправдание политики венских правителей. Если бы во время освободительной войны 1848 года они собрали против венгерского народа не только силы, но и ум, то габсбургская монархия, это очевидно, не совершила бы такого грандиозного падения — да еще чуть ли не при том же императоре, — как семьдесят лет спустя, когда она исчезла окончательно, рассыпалась в пыль и прах. Мы уже говорили вскользь, что это не было исторической необходимостью. Историческая необходимость — здоровое развитие — требовала, как требует и теперь, чтобы живущие вокруг Дуная народы, непохожие друг на друга, но смешавшиеся как белые и пестрые фасолыны и потому вечно грызущиеся друг с другом, получили какую-то всех примиряющую рамку. В эпоху монархий такой рамкой и здесь — как и в других местах — была монархия. Ведь Россия тоже была бассейном пестрого смешения народов, однако его не разрушили даже революции. Не было абсолютной необходимости и народам, населяющим бассейн Дуная, отделяться друг от друга хотя бы после исчезновения Габсбургов. Причиной тому, что эта рамка не выдержала первого же сопротивления — сопротивления драгоценного самого по себе национального самосознания, — была, как мы уже говорили, бездарность ее правителей. На имевшем богатое прошлое троне Габсбургов со времен Иосифа II восседали, можно сказать, лишь слабоумные императоры, а один из них был в медицинском смысле слова кретин. Итак, непосредственной причиной гибели габсбургской монархии послужил не недостаток силы, а достойный специального внимания процесс оглупления, своего рода атеросклероз мозга в общем еще хорошо действующего социального организма. Этот процесс наблюдается уже в 1848—1849 годах; его за-

крепил и продолжал до самой своей смерти, до 1916 года, вступивший тогда на престол император Франц-Иосиф.

Насколько венская камарилья — государственный совет, правивший вместо слабоумного императора, — жила в тумане собственной ограниченности и насколько она считала этот туман олимпийским, то есть с каким спокойствием незнания низменной действительности отдавала свои ретроградные распоряжения, видно с наибольшей характерностью из того, что в конце концов о реформах заговорили все — даже кое-кто из тех, кто на реформах мог лишь потерять. Конечно, не все говорили искренне; но и эти немногие поведением своим создавали видимость того, что история на стороне благородного графа Сечени: нация может встать на ноги и без предварительного полного завоевания независимости. Казалось, что даже состоящие на службе у Вены вельможи поняли: им тоже на пользу подъем нации. Или они просто лили воду на свои мельницы, лишь используя популярную фразеологию? Их позднейшее поведение подтверждает эту догадку. Но в 1846 году даже они поговаривают о необходимости послаблений и льгот, хотя бы для крупных земельных владений, о реформе государственного собрания, даже о некоторой свободе печати. Выглядело все так, что если и возникнет оппозиция на пути мирного прогресса, Сечени сломит ее своей превосходной аргументацией, а великий его противник Кошут отступит на задний план пресловутой исторической сцены. Если не покинет ее вовсе.

Собственно говоря, в то время и Кошут еще не желает ничего из ряда вон выходящего. Почему он стремится внести ясность в вытекающее из древней конституции изначальное историческое положение, согласно которому Венгрию и Австрию связывает лишь общий правитель, и ничего более? Вовсе не затем, чтобы изгнать Габсбургов или ослабить их. Для него *regnum independens*¹ означает лишь самостоятельность таможенных границ, самостоятельную денежную систему — то есть обеспечение тех самых реформ, каких желал и Сечени. Среди его сторонников было также немало крупных землевладельцев.

¹ Независимое королевство (*лат.*) — лозунг венгерской оппозиции.

По существу, между двумя противниками спор уже сошел на нет, когда они вновь оказались друг против друга. Не по ошибке того или другого — то есть не в слишком драматическом заострении. Но в их дела, которые по существу были уже общими, грубо и тупо вмешалась чужеродная сила — венский двор. Венскому двору реформы в Венгрии не нужны вообще — ни с той стороны, ни с этой. Ему никоим образом не нужна сильная венгерская нация. Король, то есть его окружение, видит в венграх не подданных своих, а просто колониальный народ, здесь-то и выясняется, что король венгерский каждой своей клеточкой и всеми своими действиями — только и исключительно император австрийский. И даже менее того: он лишь глава узкой правящей клики; именно она, эта клика, погубит впоследствии дело венгерского народа, погубив заодно и те народы, которых науськала против венгров, согласно представляющемуся ей сверхмудрым принципу: «divide et impera»¹. Эта правящая клика, направляемая маразматическими старцами, желала для себя такой жизни, а к ней — такого общества, какое некогда расхваливали их деды. И это в те годы, когда Европа уже переходит на железнодорожное сообщение, газовое освещение, банковские операции, стальные перья, а народ Лондона и Парижа все чаще выступает с социалистическими требованиями, по ходу дела подбирая на улицах камни для баррикад.

Подобные настроения кипят и в низших слоях венгерской нации, хотя в стране действует еще лишь одна-единственная железная дорога, а лачуги крепостных по-прежнему освещаются тусклым дрожащим «моргуном» — смоченной в растительном масле тряпичей.

Покуда в Пожони на государственном собрании красноречивые ораторы спорят о том, какому обыску, какой проверке лагоднадежности подвергнуть тех, кого понемногу, чуть ли не по одному, но придется когда-то впустить в бронированные врата пресловутой конституции, — в «благодатном Ханаане с молочными и медовыми реками» бушует угроза голода. Уже в 1846 году урожай был плохой. В начале 1847 года в Пеште пришлось ввести даровую раздачу хлеба; такое же положение и в комитатах: один только комитат Бихар сооб-

¹ «Разделяй и властвуй» (лат.).

щает о 81 914 голодающих. Урожай 1847 года еще хуже, чем в прошлом году. Города заполняются бездомными бродягами. Волнения по размерам и характеру приближаются к тому, что происходит в Западной Европе. «Принципы коммунизма, — пишет в январе 1848 года один из журналов, — начинают очень дурно толковать в столице нашей, так что бродяги пускаются на все более отчаянные поступки». Этим бродягам едва успевают упрягивать в кутузки. Покуда представители почтенных сословий льют слезы радости по поводу того, что венгерское государственное собрание венгерский король — впервые за последние триста лет! — открыл на венгерском языке, венгры попроще оплакивают своих умерших от голодного тифа детей на тех клочках земли, которые с грехом пополам называют своими среди бескрайних пастбищ, принадлежащих господам. Освобождение крепостных? Да разве только в этом дело! Теперь это лишь вопрос нечистой совести да еще страха тех, кто с помощью меньшего зла надеется избежать зла большего. Подлинно важный вопрос для народа, для страны, скажем прямо, это — наделение земель, а не выкуп крестьян, не возмещение убытков господам — ибо, в самом деле, на что выкупят себя и землю те, у кого нет ничего? Такая постановка вопроса, увы, станет очевидной лишь тогда, когда уже все запылывает огнем.

Среди землевладельцев голос времени внятен только сторонникам промышленного развития, которым нужны свободные рабочие руки. Ретрограды доходят до мысли, что руками крепостных все-таки невозможно вести современное хозяйство, лишь после того, как сами низшие народные слои дали им это понять. Без бунтующего крестьянства куда каких скромных успехов достигла бы малая кучка истинных патриотов, которые умели подчинить свои интересы интересам нации и, будучи даже землевладельцами, с благородным бескорыстием служили делу народа словом, пером, а затем — и смелым жертвованием собственной жизнью. Во главе их — два Баттяни: Казмер, который, будучи одним из самых богатых землевладельцев страны, объявляет конкурс и премию в несколько тысяч форинтов за произведения, написанные против барщины и десятины, и Лайош, мужественно бросившийся в самую гущу мелких партийных сражений, а потом так же мужественно стоявший перед дулами габсбургских палачей.

Уничтожение крепостных повинностей, дворянских привилегий, демократические законы, принятые пожоньским государственным собранием, — результат не революции, а страха перед революцией. Столь внезапно прозревшие сословия своим усердием хотели спасти не народ: они спасали для себя то, что еще можно было спасти. Они поумнели не на дальних примерах, пришли в отчаяние не от гремевших по Европе революций — в подобной трусости их все же нельзя обвинить: там, за границей, революции раздражались и прежде, но всякий раз аккуратно останавливаясь у границ монархии. Сословия сложили оружие (которым, как наивысшим аргументом, с беспримерной выдержкой потрясали уже в течение десятилетий) при вести о том, что опасность грозит им прямо здесь, на родине. «Десятого, — пишет в воспоминаниях некий Меньхерт Л о н я и, — бедный отец мой высказал нам все тревоги свои, свой страх перед мужицким бунтом; он стал тут же строить планы о том, что лучше бы всего уехать всей семьей в большой город, например, хотя бы и в Вену». «Весь божий день напролет, — говорит другой очевидец Дюла П а ш к а и, — мы гонялись за новостями, среди них была и такая, что под Пештом, на Ракошском поле, собралось сто тысяч вооруженного сброда... Мы поверили тому сразу, каждому слову». Поверили и консерваторы, поверил и граф Палфи, как поверил Кошут или Д е а к, — вряд ли стоит подтверждать это документами. А на Ракошском поле действительно собралось десять тысяч народу — приехавшие на ярмарку крестьяне.

Искры революции пролетели над головами и крышами пожоньского немецкого населения, не натворив особых бед. Пролетели бы они и над Пештом, если бы венгры, съехавшиеся на ярмарку со всех концов страны, не превратили на два-три дня этот обычно наполненный немецкой речью город в действительно венгерскую столицу и если бы не существовало той группы людей, дружеского кружка из кафе, которая чуть ли не в собственных ладонях раздула из этих искр пламя. И — если бы не было Петефи: ведь это он распространил затем возгоревшееся пламя по городу, по всей стране.

Пламя попало в благодатную среду, которую он же и сотворил и в которой сейчас по его слову вспыхнули тысячи и тысячи огней во славу свободы. Еще никогда на долю литературной группы не выпадало такого успеха, возможности так непосредственно влиять на общество. Венгры могут гордиться, что какой ни короткий, но был в их истории период, когда нация прислушивалась к словам людей духа.

Между тем во всей этой революционной сумятице Петефи — единственный сознательный и решительно настроенный революционер, только он, и больше никто, даже те, кого он увлек за собой и к кому позднее вынужден приноравливаться. Неужто воля одного человека столь много значит? К сожалению, мы недолго можем тешить себя этой мыслью. Один человек, даже если окажется в состоянии разбудить и затем какое-то время направлять исторические события, которые без него и не произошли бы, не может даже самой упорной волею, самую могучей созидательной силой гения создать соответствующие исторические условия. Воля молодого поэта поначалу — словно грозная туча, насыщенная молниями; но вскоре она — капля воды, павшая на раскаленную поверхность горнила; она шипит, кипит, то и дело взрывается, поглощает самое себя. Это была его трагедия и вместе с тем трагедия венгров. Утешить нас может лишь то, что в жизни нации даже трагедии не случаются понапрасну.

«О, что это был за день, когда я услышал, что Луи-Филипп изгнан и Франция — республика!

Я путешествовал по далеким от Пешта краям, и эта весть, достигнув меня в какой-то гостинице, потрясла мое сердце, мозг, душу, нервы.

— *Vive la République!*¹ — воскликнул я и замер в безмолвии, пылая, как огненный столп.

Мы можем поверить, что именно так все и было в той корчме, среди недоумевающих венгерских или швабских крестьян!

«Опряметью бросился я в столицу... Но еще ничего не произошло».

Буржуазные революции по всей Европе, почти символически, начинались с банкетов. Голодающие парижские рабочие стали разбирать мостовые непосредственно

¹ Да здравствует республика! (франц.).

после того, как глава полиции запретил гражданам насладиться добрым ужином во здравие растерзанных поляков. Вот по каким боковым лестницам появляется иной раз богиня свободы.

Французскую революцию «Оппозиционный круг» в Пеште также приветствовал великим пиршеством. Так же хотела чествовать ее и молодежь из кафе «Пилвакс», да еще под открытым небом, на Ракошском поле, чтобы рельефнее выразить патриотические чувства; для того же, чтобы рельефнее оттенить идеи равенства и братства, на ужине, назначенном на воскресенье, 19 марта, помимо уже приглашенного «Оппозиционного круга» и университетской молодежи, мог присутствовать также и народ. Как один из тостов, на ужине должно было прозвучать стихотворение, начинавшееся словами: «Встань, мадьяр! Зовет отчизна!», которое Петефи написал уже 13 марта. Вторым же тостом были знаменитые 12 пунктов — «Чего хочет венгерская нация», которые участники ужина затем подпишут и отправят королю.

Ужин, как мы знаем, не состоялся. Вероятно, он не состоялся бы, даже если б не было 15 марта: вечером 14 марта, по предложению страшившегося возможных волнений Клаузала, осторожный «Оппозиционный круг» принял решение сперва распространить по стране «прошение» из 12-ти отчаянно смелых пунктов, собрать под ним несколько сотен тысяч подписей, а уж тогда и предложить участникам ужина.

Вечером за формирующим общественное мнение столом в «Пилваксе» молодые люди с горечью обсуждали отступление «Оппозиционного круга». К чему дальнейшие предосторожности? Страницы газет, с жадностью прочитанные, вероятно, уже всеми по несколько раз, пестрели зажигательными известиями: Саксонский король отступил наконец перед стойкостью своего народа — распустил совет министров и даровал свободу печати. Во Франции достояние орлеанского дома будут разыгрывать в лотерее. В Мадриде растет общественное беспокойство. В Варшаве началось восстание. В Праге революция... А в пештских газетах?.. Портрет Кошута можно получить в редакции «Пешти диватлап», а также на углу улицы Ури в книжной лавке Густава Эмиха, в большом формате на китайской бумаге — за 1 форинт 20 крейцеров, в малом формате — за 40 крейцеров...

Кафе «Пилвакс», как и все заведения подобного рода, как весь город, до отказа набит съехавшимися на ярмарку венграми. Шум и постоянная толчея заставили молодого человека лет двадцати, влетевшего в кафе около десяти часов вечера, вскочить на бильярдный стол, чтобы довести до сведения собравшихся чрезвычайное сообщение:

— Господа! Я посланец пожоньской молодежи! Только что прибыл пароходом. Вчера вспыхнула революция в Вене... Меттерних провалился!.. Народ строит баррикады и вооружается!..

Газеты того времени писали: «Эта ужасная весть словно молния поразила присутствующих». Все были потрясены: даже Вена, лояльная Вена?! Мгновенную тишину пререзает резкий голос: «Итак, ураган революции гудит уже здесь, в ближайшем соседстве. А мы еще колеблемся?! Нет! Мы будем действовать». Все глаза устремляются на говорящего.

Скрестив руки, на одном из столов стоял Петефи. «Его худое, бледное лицо покраснело от волнения, в черных, сверкающих глубоким огнем глазах вспыхнул необычайный пламень».

Приходят новые, более детальные сообщения. Венскую революцию начали студенты, политехники и медики. Войско дало залп, пятеро убиты. Но вслед за тем восстал весь город, и император в конце концов вынужден был уступить.

Кафе продолжает бурлить; появляется Клаузал, усмиритель страстей, и даже начинает говорить, но на этот раз его речи встречают насмешками. В шуме ничего не слышно, многие собираются по домам. Молодой, еще совсем неизвестный писатель, Янош Вайда, запирает двери: никто не уйдет до тех пор, покуда не будет принято какое-то решение! Руководители молодежи быстро договариваются: завтра, по примеру Вены, нужно организовать демонстрацию студенческой молодежи. Встреча рано утром здесь же, в кафе. Поэт идет домой — не спать.

«Большую часть ночи я бодрствовал вместе с женой, моей обожаемой, отважной маленькой вдохновительницей, которая всегда ободряет меня, идет впереди моих мыслей и планов, как высоко поднятое знамя впереди армии. Мы совещались: что делать? Совершенно ясно было одно: надо действовать, и завтра же! Послезавтра, быть может, уже будет поздно.

Логически первым шагом революции, первейшей ее обязанностью является освобождение печати...» Мы должны признаться, что у них не было столько неприятностей с цензурой, как можно бы предположить. За печатные прегрешения никогда еще не сидело в Венгрии так мало людей, как именно в эти дни: собственно говоря, в тюрьме находился один человек — Танчич. Но по международному расписанию революций это была первая остановка; революции вспыхивают не от грубости угнетателей, а от чувствительности угнетенных.

«...в остальном же я положусь на бога и на тех, кто призван продолжать начатое мною. Я призван дать только первый толчок... а если нас расстреляют? Ну что ж! Кто может желать лучшей смерти?»

«Рано утром я поспешил в кофейню, где собиралась молодежь...»

Так начался этот долгожданный день, сияющая пора свободы. Позднее пошел дождь со снегом и не переставал до позднего вечера.

В восемь часов утра в кафе собралось лишь несколько человек. Как вспоминает Хамари, их было всего шестеро — и в очень подавленном настроении. Петефи пишет: «...Они печально беседовали о политике». Дюлу Буйовски поэт забирает с собой, «остальным сказал, чтобы всех, кто будет приходить, задержали до нашего возвращения».

Если что-то произойдет, Петефи должны известить.

Но без него ничего и не произошло бы.

Быть может, не было бы сделано даже попытки увлечь на путь революционного действия столицу, население которой тогда еще было невелико и притом по большей части хранило верность императору или оставалось удручающе незрелым политически. Янош Вайда — великолепный поэт, а значит, великолепный наблюдатель, — так характеризует население тогдашнего Пешта:

«...было несколько адвокатов, писателей, землевладельцев — они-то да еще обучающаяся молодежь и представляли собою тот венгерский, в лучшей своей части начиненный динамитом, элемент, в глубине души которого кипела поистине доменным жаром жажда действия, стремительного, немедленного и захватывающего действия, которое сразу сотрет с лиц наших мучительную краску стыда из-за постоянного унижения, ибо, как ни странно сказать, но так оно и было: Европа вовсе о

нас не знала, а если кто-то и знал, скажем, немцы, то говорил о нас насмешливо, будто о каких-то европейских китайцах».

Вайда продолжает:

«Под впечатлением известия о парижской революции молодые люди из «Пилвакса» решили, что обойдут весь город, рестораны, корчмы и кафе; они постараются просветить сограждан относительно требований момента и завоевать их на свою сторону во имя действия».

Немного вышло из этого замысла.

«Завсегдатаи тогдашних питейных заведений, обыватели, прибывшие из Германии, Австрии, Чехословакии, ни слова не знающие по-венгерски, а к тому же довольно враждебно настроенные к имевшему по тогдашним порядкам некоторое право неприкосновенности адвокатскому сословию, были удручающе равнодушны к идеям свободы и национальной венгерской независимости. Более того, даже из учащейся молодежи лишь наиболее разумная ее часть оказалась должной закваской для революционного брожения, прочие же были еще сырым, и воспламенить их было нелегко».

Но послушаем свидетельства самого Петефи. В вечер великого дня он — словно прилежный школяр — садится за дневник, который несколько дней спустя, тоже совсем по-школярски, забрасывает. Об этом утре он написал вот что:

«Придя домой, я рассказал о своих намерениях медленно освободить печать. Товарищи мои согласились. Буйовски и Йокаи начали составлять воззвание: Вашвари и я ходили по комнате. Вашвари размахивал моей тростью, не зная, что в ней штык; вдруг штык, никого из нас не задев, вылетел прямо в сторону Вены.

— Хорошая примета! — вскричали мы в один голос.

Когда воззвание было готово и мы уже собрались в путь, я спросил, какой сегодня день.

— Среда! — ответил кто-то.

— Счастливый день! — сказал я. — В среду я женился!

Полные восторга и веры в судьбу, пошли мы снова в кофейню, где уже было полно молодежи. Йокаи прочел вслух воззвание, я продекламировал «Национальную песню». И то и другое было встречено гулом одобрения.

В кофейне мы приняли решение обойти всю университетскую молодежь, а затем в полную силу приступить

к великой работе. Решили прежде всего пойти к медикам. Когда мы вышли на улицу, полил дождь и продолжался до самого позднего вечера, но восторг — как бенгальский огонь: водой его не загасишь.

Во дворе медицинского факультета Йокаи снова прочел воззвание, а я «Национальную песню». Оттуда двинулись к инженерам, в семинарий к юристам; с каждой минутой росли шеренги и рос восторг. В вестибюле семинария перед нами предстал один профессор и произнес с великим пафосом:

— Господа, именем закона...

Дальнейшую его речь заглушили громовые крики множества людей, и почтенный профессор, не имея возможности продолжать, убрался восвояси. Юристы кинулись на улицу, чтобы присоединиться к нам. Один из них — Видач — сообщил, что профессора под страхом исключения запретили им принимать участие в предполагающемся празднестве. Смех и сердитые возгласы среди слушателей. Но вопрос о празднестве теперь был уже не столь важен. Йокаи снова огласил воззвание и «12 пунктов»; меня заставили продеklamировать «Национальную песню». То и другое было встречено с неистовым восторгом. Толпа, запрудившая площадь, каждый раз, точно эхо, отвечала на слова рефрена: «Клянемся!»

— А теперь идем к цензору, заставим его подписать воззвание и «Национальную песню!» — крикнул кто-то.

— К цензору не пойдем! — ответил я. — Никаких цензоров мы больше знать не хотим! Идем прямо в печать!

Все тотчас согласились и последовали за мной.

Печатня Ландерера была ближе всего, туда мы и устремились».

Готовящуюся революцию тогда еще могли бы разоружить даже не один гренадерский взвод, а два-три полицейских сыщика, которые, несомненно, и в тот день болтались вокруг кафе. Собственно говоря, им нужно было схватить лишь одного человека — быть может, и связать, даже сбить с ног; потому что он-то защищался бы. Об этом думаешь с волнением.

Неужто нечистая совесть властей лишила их всякой храбрости? Или власти принимали волнения за то, чем поначалу они и являлись: за простое студенческое ше-

ствие, подобных которому было немало и до и после и которое, вероятней всего, разгонит дождь?

Движение действительно начиналось, как студенческая манифестация; его превратило в историческое событие всего лишь одно стихотворение.

Неутомимых спорщиков из кафе, студентов, вырвавшихся из учебных залов и радующихся пропущенным часам занятий, будущих медиков, инженеров, юристов, семинаристов — всех их превратил в героев суровый пафос молодого поэта, его исполненная решимости страсть, в подлинности которой нельзя было усомниться. Первое революционное действие — практическое завоевание свободы печати — все еще разыгрывается как невинная студенческая шалость. Дегре с точностью описывает знаменитое событие. Когда молодые люди вторглись в типографию, чтобы самовластно отпечатать «Национальную песню» (которую, кстати сказать, пропустил бы, вероятно, и цензор), «Ландерер сухо сказал: «Это невозможно, на рукописи нет разрешения». Мы переглянулись, не зная, как поступить. Ландерер прощептал: «А вы захватите какой-нибудь печатный станок». Йожеф Ирини положил руку на большую машину со словами: «Этот печатный станок мы забираем именем народа». «Противостоять насилию не могу», — ответил Ландерер».

Но народные толпы, собравшиеся перед печатней, уже были настроены действительно по-революционному.

Первую венгерскую революцию в 1514 году организовало, собственно говоря, правящее сословие тем, что собрало на Ракошском поле сто тысяч крестьян, а позаботиться об их пропитании позабыло. Эту вторую революцию организовал случай.

Ракошская ярмарка кипела и бурлила в двух шагах от сердца столицы. Холодный дождь быстро разогнал съехавшихся со всей страны погонщиков, табунщиков, пастухов, крестьян и ремесленников; за отсутствием иного дела все они нагрянули в город, сперва просто из любопытства, потом, чтобы восторгаться услышанными пылкими речами, и наконец — чтобы им повиноваться. Даже во сне не мог мечтать поэт о более прекрасной встрече: к самому великолепному его выступлению судьба приготовила своего рода маленькое народное государственное собрание. Немецкие обыватели, вероятно,

со страхом взирали на замешавшиеся среди студентов с зонтиками тулупы и сермяги — ведь к этому наряду, как известно, полагается и топорик. И вот над толпой зазвучали знаменитые слова:

Встань, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно:
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?

Единонаправленная страсть, словно шестикратный зигзаг молнии, пронизывает все шесть строф великолепно организованного стихотворения. Быть может, пастухи и не уразумели до конца смысл слов об «отчизне» и «древней славе». Но им, несомненно, близко было пробивавшееся сквозь них удалое молодечество, и нам нетрудно поверить, что повторяющийся рефрен под конец был повторен и их голосами; первая строка рефрена — несравненная находка: в устах образованных господ она наполнена благоговейным экстазом, у крестьян же — угрозой; никогда еще не удавалось достигнуть такого слияния чувств во имя родины:

Богом венгров поклянемся
Навсегда —
Никогда не быть рабами,
Никогда!

*(«Национальная песня».
Перевод Л. Мартынова)*

Начиненная опасной силой толпа покатила к ратуше, затем к будайской резиденции наместника. Выборные революции вступили в залу, море людей заполонило двор, лестницы и коридоры. Опять процитируем Дегре: «Никогда в жизни моей не видел я столь испуганных лиц, какие были у их милостей господ королевских советников». Увидев в окна толпу, они без промедления удовлетворили все требования. Утвердили «12 пунктов», немедленно освободили *Штанчича*, второго беспощадного и негибемого революционера-патриота (а также образцового отца, который позднее потому отбросил от своего вызывающего ужас имени первую букву «Ш», что его крошка-сын не мог ее выговорить). Они отдали также приказ войскам не вмешиваться в происходящее. «Господи! а ведь им стоило лишь приказать запереть ворота, и вся революция оказалась бы под замком, со всеми ее вождями и зачинщиками», — ужасается Дегре. Он сам не подозревает, какая сила стояла уже тогда за революционерами.

Вся эта толпа после полудня собралась перед музеем на знаменитое народное собрание. Разрушая бытующую легенду, скажем: здесь — случайно именно здесь — не была прочитана «Национальная песня». Здесь ее уже раздавали в отпечатанном виде, отсюда она разлетелась по всей стране.

События приняли вполне серьезный оборот. Все произошло с ошеломляющей внезапностью, но победа, одержанная внезапно, становится от этого лишь краше. По-настоящему результаты ее сказались даже не в Пеште. Партия Кошута на государственном собрании в Пожони вдруг обнаружила, что фронт высших сословий, столь стойкий в течение десятилетий, вдруг распадается, противник обращается в бегство, очертя голову и бросая по пути добычу, захваченную в течение столетий, которую, хотя об этом, пожалуй, излишне даже упоминать, они приобрели не личной храбростью, а кровью предков. Это был первый этап революции. Если бы и пожоньские патриоты стали вдруг революционерами! Если бы они знали то, что дано им было узнать лишь год спустя и что Петефи угадывал уже тогда! Угадывал не благодаря некоему дару поэтического прозрения. И не из-за чтения французских брошюр. Только его знание народной жизни, его исконная близость к народу подсказали ему, что без самых решительных мер ничего не выйдет, что без привлечения на свою сторону низших слоев, то есть без их освобождения, нация вряд ли устоит на ногах в грядущем урагане.

Был ли историческим скачком этот венгерский март, март 1848 года? Лишь в политическом смысле. В литературе же, в подлинном сознании нации, задушенное после Бачани, Фазекаша и других, народное направление уже давно возродилось. Это и было венгерской действительностью. Не самый факт революции, но лишь то, что она вырвалась на поверхность, было поразительно — для тех, кто удивляется недоверчиво и зеленым травинкам, появляющимся прямо из-под тающего снега.

Мартовские события Петефи снова и снова называет лишь началом, — правда, поистине прекрасным и славным началом. «Ребенку труднее сделать первый шаг, чем человеку взрослому шагать километр за километ-

ром». Сам он ясно видел направление и отчетливо его сформулировал. Своим любимым стихотворением Петефи называл принесшую ему наивысшую славу «Национальную песню» — память о мартовских днях. Но настроение марта лучше всего передает не это, а другое стихотворение — «воистину бешеное», как его характеризует некий современник из Пожони, — написанное 13 марта 1848 года и оказавшееся, наряду с устрашающими слухами из Пешта, самым действенным вдохновителем поспешных законов-реформ; стихотворение — «Магнатам» — сохранилось и дошло до нас лишь благодаря блокноту Эгреша, куда он записывал стихи для декламации; первыми строками этого стихотворения насмешливо приветствовал своих друзей-аристократов Семени:

Как здоровье ваше,
Баре-господа?
Шею вам не трет ли
Галстук иногда?
Мы для вас готовим
Галстучек другой,
Правда, он не пестрый,
Но зато тугой.

.
Вы народ считали
Зверем, и теперь
Он своих магнатов
Загрызет, как зверь.
Словно зверь, когтями
Схватит вас народ,
Всех вас передушит,
В клочья раздерет.

Эн вы, миллионы,
В поле, на простор!
Забирай лопату,
Косу иль топор!
Случай нас торопит,
Он ведет нас в бой,
Час великий мщенья
Возвешен судьбой.

Баре, вы веками
Пили кровь рабов,
Нынче вашей кровью
Напоим мы псов.
Вилами на свалку!
Догнивайте там!
Нынче пир великий
Будет нашим псам!

(«Магнатам». Перевод В. Левика)

«Впрочем, нет! Не надо! Подожди, народ...» Это внезапное изменение интонации — искусное, трехкратное торможение гнева придает стихотворению подлинную достоверность. Забудем прошлое, простим наши мучения, во имя интересов отчизны протянем вам руку, — если хотите принять ее, как равный у равного. Сила сдерживаемого гнева прорывается в заключительной угрозе. Полное равенство... и немедленно... а не то: «Пошадя всевышний // Вас в последний час!» Кто не увидит, как ладонь, вскинута для патриотической клятвы, судорожно сжимается в тяжелый кулак революционера? Стихи почти буквально воспроизводят это движение — жест, которым поэт дает сигнал к отправке и указывает направление мартовским событиям. Напомним, лишь для того, чтобы ощутимей стал пройденный путь: стихотворение «Магнатам» тоже написано в размере «Фотской песни».

Но этим стихотворением Петефи отпугивает от себя, вернее, восстанавливает против себя двух великих протагонистов, тех, что до сих пор вдвоем двигались по сцене истории, на которую он вторгся столь внезапно из-за кулис. Не из ревности или зависти взирают они на него все более холодно. Этот союзник предоставляет свою поддержку не даром. Этот союзник видит все даже слишком отчетливо.

Относительно великого дня в Пожони Петефи записывает в дневнике:

«Государственное собрание отменило крепостные повинности. Очень хорошо с его стороны, но было бы еще лучше, если бы оно сделало это раньше. Тогда дворянство могло бы счесть себя великодушным, но теперь, когда оно действовало под давлением крайней необходимости, трусости, — теперь оно не может претендовать на такое наименование. До почтенных, милостивых и не знаю еще каких депутатов государственного собрания дошел слух, что Шандор Петефи расположился в Ракоше, и не один, а с ним сорок тысяч крестьян. Вот эта приятная неожиданность и побудила их к «великодушному» немедленному уничтожению крепостных повинностей. Что касается слуха, то он был необоснованным, но если бы уважаемые господа не опомнились вовремя, то могу заверить от имени Шандора Петефи, что эти необоснованные слухи вскорости обрели бы и основание и кровлю, стали бы истиной снизу доверху,

быть может, с тою только разницей, что не сорок, а восемьдесят или еще больше тысяч крестьян собралось бы в Ракоше! А впрочем, лучше, что случилось именно так! Гораздо лучше! Хвала богу, он спас меня от сей страшной славы! И я не в упрек сказал все это дворянству, к которому принадлежал и с а м , — я только имею смелость довести до сведения господ дворян, что нечего им кичиться великодушием. Почет, уважение — пусть! Но истина прежде всего!»

В провинции мартовские события произвели еще большее впечатление, чем в Пожони: чуть ли не в каждом сколько-нибудь заметном провинциальном городке «Национальную песню» перепечатывали по несколько раз, в Коложваре, например, не хватило и трех изданий. Ее переводят на немецкий язык, причем не кто иной, как Зерфи... Могущественный правопорядок, который отождествлять с порядком было бы кощунством, в состоянии распада. В Сомбатхее манифестанты требуют немедленного уничтожения крепостной зависимости, установления полного равноправия, прямого народного представительства. Нужен еще лишь один толчок, чтобы волны революции, прокатившись через города, устремились туда, куда направлял их молодой поэт: к простому люду деревень и имений, к народу. Одно усилие — и мартовская политическая революция стала бы тем, о чем сторонники Кошута научились мечтать лишь в последние часы национальной независимости: народным восстанием, народной революцией. Сейчас самая подходящая для этого минута. Однако нация политиков рассуждает о политике и тогда, когда нужно действовать; обрядившиеся в дворянский наряд буржуа спотыкаются о собственные парадные шпаги. Но можно ли призывать к ответу целое сословие или просто того или иного политика за то, что его кругозор не простирается далее, чем это позволяет ему его происхождение, воспитание и сама история? Вполне естественно, что идеалисты-патриоты, ораторствующие о благе народа, при первой встрече пугаются этого народа, погруженного в вопиющую нищету и заботы, ведать не ведающего о каких бы то ни было идеалах.

Пешт колышется в радостном хмелю; 16 марта в городе устраивают иллюминацию, по улицам проходит одна манифестация за другой, среди манифестантов и сотня рабочих печатни Ландерера в синих полотняных блузах, в бумажных красно-бело-зеленых колпаках на голове; в Национальном театре декламируют и расппевают «Встань, мадьяр! Зовет отчизна!..», в витрине Эмиха сияет ярко освещенный портрет героя дня — Шандора Петефи... Однако пожоньские политики уже начинают ежиться от неожиданной поддержки, полученной из Пешта; они считали ее полезной лишь до тех пор, пока это помогало им противостоять Вене. Сбравшиеся в Пожони политические деятели вполне справедливо опасаются, что вот-вот выпустят руль из рук, а это для них важнее всего, ибо что такое политический деятель без руководящей роли? Кути, который теперь, покинув аристократов, вращается среди вождей оппозиции, с радостью принимает поручение укротить Петефи и уговорить его писать для народа стихи умиротворяющего характера. Кути посылает поэту письмо, затем и лично наносит ему визит, но Петефи в два счета выставляет изящного посредника, тоже не без изящества. Тут-то и получает распространение первый лживый слух: молодой поэт якобы сошел с ума.

Ничто не разоблачает так «великодушие» благородных сословий, как то, с какой поспешностью они бросились возмещать урон, нанесенный их привилегиям, едва только почувяли, что опасность пронеслась мимо, не задев их голов. Вместо подлинного освобождения крестьянства, то есть материального освобождения, даже в кругах оппозиции вдруг возникает лозунг «национального единения». Вместо уничтожения классовых противоречий, о чем в течение минувших десятилетий было произнесено столько мудрых и ясных слов, провозглашается примирение сословий. Как же, ведь внешняя опасность — прежде всего: она угрожает нации в целом. К сожалению, в этом великом единении не все держатся одинаково стойко.

Создается ответственное венгерское министерство: Венгрия, по крайней мере, на бумаге, становится полностью независимым государством, в нем как раз теперь начинает формироваться особое единство, но...

Владетельное дворянское сословие вскоре опомнилось и сообразило, что потерянное можно вернуть

не мытьем, так катаньем. Вдруг оказалось, что великодушно дарованные уже вольности были предоставлены лишь в кредит и однажды их придется оплатить. Вместо революции начинается долгий и невеселый торг. Депутаты пожоньского государственного собрания, а затем и большая часть представителей революционного национального совета громче всего произносят слово «отчизна» не вкупе со словами «святая свобода», а в сочетании с суммой компенсации, причитающейся за освобождение от крепостных повинностей. Вполне откровенно исповедуя принцип «ubi bene, ibi patria»¹, они возмущаются до глубины души и кричат о «предательстве родины», если ту же истину провозглашает кто-либо от имени крестьян или безродного батрачества. «Во время обсуждения законов 1848 года никто не протестовал, — пишет барон Фиат, — и только когда речь зашла об уничтожении крепостных повинностей, кои для многих семейств были единственным средством к существованию, граф Антал Сапари приказал написать на своей шпаге: «Компенсация или смерть». Лоняи отмечает, что по лицам священников «видно было страдание из-за того, что они лишаются большей части их доходов, к чему привел страх перед революцией». Кошут — которого приобретенный именно здесь опыт делает великим политиком — и при новом государственном устройстве главную роль предназначает дворянству. «Ликвидация политической жизни венгерского дворянства или прямо привела бы к поражению, или повлекла бы к неопределенности революций с сомнительным исходом. Я не решился бы ставить на карту будущность нашей нации... это оружие таково, что лишь в отчаянии можно за него ухватиться...» Такова его позиция.

Мы знаем, что положение уже тогда было отчаянное и будущность нации могло спасти только и единственно полное удовлетворение всех прав крестьянства; а это, даже согласно школьным учебникам, и означает политическую ликвидацию дворянства. Кошут делает все, чтобы законным путем как можно полнее и скорее осуществить правовое освобождение народа, но он отгоняет от себя мысль призвать на помощь в этой борьбе как население деревень, которое, — об этом говорилось

¹ «Где хорошо, там и отечество» (лат.).

и на 52-м заседании высших сословий, — «во многих частях страны» уже хотело «действием» закрепить свои права, так и население городов, которое имело и желание и готовность продолжить дело революции. Кошут не допускает в зал заседаний государственного собрания делегацию пештской молодежи, — то есть не допускает их в политическую жизнь, по поводу же мартовских событий дает отповедь: хотя он и считает столицу сердцем страны, «но почитать ее господином не буду никогда».

Венские дипломаты яснее видят положение Венгрии, чем сами венгерские руководители. Все слои нации были еще едины, противостояли первому врагу своему, порабощительнице Австрии; однако камарилья уже присматривается, где можно пробить брешь. Наместник Венгрии первым подбрасывает мысль о том, что стоило бы припугнуть разглагольствующее о независимости дворянство маленьким крестьянским бунтом, обратив тем самым их внимание на превратности свободы. Словом, предлагается столь хорошо оправдавший себя галицийский рецепт; но противоядие против него провозглашает лишь один человек в стране — тот, о ком в народе, неизвестно, из каких источников, ползут разные слухи: говорят, что он сошел с ума, что его посадили в тюрьму, что он русский шпион и, наконец, что он затеял посадить на венгерский королевский престол словака...

Этот человек и в пештских битвах вскоре остается совсем один. Он так отличается от своих соратников — буржуазных революционеров, настолько опережает их проницательностью как в писаниях своих, так и в поступках, что постепенно между ними не остается иных уз, кроме уз дружбы; потом рвутся и они. Если товарищей его мы называем буржуазными революционерами, то для него следует найти другое определение. Он революционер, но много более, чем буржуазный. Он патриот столь пылкий, каким не был до него никто, но его манит мечта о родине — не прошлой, а будущей. Там, где его современники, товарищи по борьбе, останавливаются, он один по-настоящему устремляется вперед.

Мартовская молодежь великолепно чувствовала, что свобода не безгранична. «Зашевелились и т е , — пишет Дегре , — кто любит ловить рыбку в мутной воде. На

стенах вдруг появились... призывы к согражданам принять участие в народном собрании. На трибуну подымались сомнительной репутации люди, один из них начал вещать все увеличивающейся толпе о чем-то вроде раздела всего и вся; его, удалившегося под шумное одобрение собравшихся, сменяет другой и предлагает отказываться платить квартирную плату. Разлившаяся морем толпа встречает это предложение бурным одобрением».

Няри удастся отрезвить толпу словами, что «все эти подстрекатели подкуплены, чтобы погубить идею свободы», ибо «свобода означает святость порядка и собственности». Но что сказал бы он по поводу идей Петефи?

И каковы они были, его идеи? Петефи не излагал своих мыслей с обстоятельностью какого-нибудь ученого социолога; он был поэт и чувства и страсти выражал в своих произведениях; только по ним да по его поступкам мы можем судить о его мыслях и представлениях об обществе и о революции.

Тройной девиз: «свобода, равенство, братство», он воспринимал с трагической серьезностью и применял даже в частной жизни. «Объявляем, что из нашего журнала изгнана буква «у» («ипсилон»), — сообщается 19 марта в «Элеткепек», который пять дней спустя Йокаи и Петефи будут выпускать уже самостоятельно. — Отныне ничье имя мы не станем писать с этим аристократическим окончанием». В милом, чисто студенческом, но столь характерном по решительности выпаде нам нетрудно угадать руку того, кто фамилию «Széchenyi» пишет как «Scécsényi»; а «Kossuth» — просто так: «Kosut»¹. С гневом «друга чистой истины и гуманности» он выступает против немецких обывателей, которые «загрязнили девственно чистое знамя Пятнадцатого марта» тем, что не хотели принимать в Национальную гвардию евреев и проводили манифестацию не перед бастионами деспотизма, а перед лавками зажиточных иудеев. Социальные, сословные противоречия Петефи видит всегда отчетливо. «Кровь, быть может, и пролилась бы... а вы что же, без кровопролития желаете переродиться? Дай-то бог, но только ничего из

¹ Подобное старинное написание фамилий, как и «ипсилон» в конце, встречалось только в дворянских фамилиях и свидетельствовало о древности рода.

этого не выйдет». Он чрезвычайно щепетилен и суров относительно собственной чести, это дает ему силу судить той же мерой и поступки других. «Быть может, есть лиры и перья красивее и величественнее моих, но более незапятнанных нет: никогда ни одного звука моей лиры, ни одного росчерка моего пера не отдавал я внаем. Я писал то, к чему призывала меня владычица моей души, а ее владычица — свобода! Потомки могут сказать обо мне, что я был плохим поэтом, но они скажут и то, что я был человеком строгой нравственности, одним словом — республиканцем, ибо главный лозунг республики не «долгой короля!», а «безупречная нравственность». Не обломки короны, а неподкупная честность, твердая честь — вот основы республики». В том, что чисто теоретическая вначале ненависть поэта к королям приобрела конкретность, — заслуга венской камарильи. Далекий пример Франции для зорких глаз вскоре станет жгуче близким и дома, в Венгрии.

32

Антикоролевские стихи Петефи — сегодня это уже нетрудно установить — обращены были в первую очередь не к незадачливому Фердинанду и вообще не к королям. Они ставили своей целью рассеять то заблуждение, которое мы называем традиционной верностью королю венгерского крестьянства. Их задачей было избавить нацию от некоей политической мафии.

После мартовских событий журналы, даже радикальные, — более того, они в первую очередь, — быстро пускают для успокоения народа легенду о великодушии владетельного дворянства. Без особого успеха. Чтобы помещики, — которые, творя суд в деревнях своих, обращаются с крестьянами, словно с животными, и во многих местах (это подтверждается и бесчисленными жалобами, приходившими в адрес Национального собрания) даже после марта продолжают наказывать палками и собирать десятину, — чтобы те же самые помещики отказались в пользу крестьян хотя бы от одной меры пшеницы? Народ, с его верным инстинктом, не может поверить в подобную несуряницу. О том же, что нежданная перемена — результат их собственной силы (слухов о крестьянских бунтах), они вообще не

смеют помыслить. Быстрое отступление помещиков вчерашние крепостные относят за счет вмешательства высших сил. Они помнят, что действительно было когда-то время, когда короли до какой-то степени защищали их от потерявших совесть господ (чтобы и королям перепало от стриженного барана хоть сколько-нибудь шерсти). В этих условиях немного требовалось для рождения сказки, будто господ прибрал к рукам добрый король. Передовая часть дворянства по образованности находилась на уровне Парижа; народ, мы можем смело сказать это, был более невежествен, чем в эпоху Арпадов. Отсталость его поразительна. Нация именно теперь, когда она просвещалась ото дня ко дню, начала расплачиваться за столетия духовного подавления народа. Сейчас, когда бил последний час дворянства, Венгрия платила по счету за его вековые безнаказанные преступления.

Крестьяне не знают даже герба своей страны; им расскажет об этом Арань в «Неп баратья» («Друге народа») ¹. Национальные цвета становятся им известны лишь тогда, когда взвиваются в небо первые боевые знамена. Они понятия не имеют о том, что входят в состав венгерской нации и что это вообще означает. «Очень долго мы обманывали сами себя, — с горечью пишет Йокаи. — Мы полагали, что у нас есть народ. Но его нет. Да и прежде было лишь дворянство. Для огромного же числа землепашцев даже слово «родина» незнакомо. Так оно и сейчас. Народ исполнен благодарности кому угодно за свободу свою, только не родине. Если вы ему скажете: подымайся, чтобы защитить родину против русского царя, он зальется слезами и скажет: уж лучше опять на барщину идти да голодать. Человек в сюртуке ему ненавистен... ему и закон не закон, покуда нет под ним императорской печати с большим двуглавым орлом. Он не возьмется за оружие, чтобы защитить нас, слову нашему не верит, планов наших не поддерживает. Так наказывает нас господь за грехи отцов наших».

Глупость или бесталанность не означает, что мозг не работает вовсе; этому духовному состоянию имеется

¹ Газета для народа, издававшаяся в 1848—1849 гг.; кроме венгерского, выходила на немецком, румынском, словацком и сербском языках.

другое название. В мозгу глупца или бездарности мысли подчас проносятся быстрее, чем в мозгу гения. Только приходят эти люди к бессмысленным выводам. Поэтому среди всех форм глупости самая опасная — глупость деятельная. Габсбургскую монархию погубила именно эта разновидность глупости.

Никогда не было в Вене столько совещаний, переговоров, проектов, как сразу же после мартовских событий. В быстрой отставке потерпевшего провал Меттерниха была доля участия и Коловрата, его коллеги и соперника. Это означало, что вместо двух дурных голов, которые до сих пор иногда нейтрализовали друг друга, осталась одна и получила неограниченные возможности действовать... Коловрат не мог простить венграм, что они завоевали независимость. 20 марта у него уже был готов призыв против «венгерской опасности». Хребтом его глупо-хитрой тактики был представляющийся на первый взгляд верным ход мысли: если независимость положена венграм, то почему она не может быть положена и прочим национальностям? Итак, подыдем на ноги и х , — но против венгров. Между тем борьба, которую венгры в течение десятилетий вели против Вены и теперь благодаря революции довели до победы, сейчас имела целью прежде всего социальные преобразования: уничтожение крепостного права, равенство всех перед законом, свобода печати. Это, естественно, распространялось на все национальности страны и несло в себе — как позднее и принесло — своеобразное разрешение национального вопроса. Тактика Коловрата, опирающаяся исключительно на пробуждение национальной розни, оправдала себя. Уже 22 марта реакционный авантюрист барон Елачич, бан хорватский, восстает против независимого венгерского правительства, следуя политике камарильи. Примерно так же поступят вскоре румыны и сербы. В истории придунайских народов происходит самая печальная ошибка.

И вот, воодушевляемая «Декларацией о правах человека», венгерская революция тем не менее ведет кровопролитные битвы с другими малыми народами, стремящимися подняться, подобно самой Венгрии, — народами, которые поверили, что к национальной независимости их поведет один из самых реакционных абсолютистских режимов Европы. Как это стало возможным? Очевидно, свою роль сыграла здесь полная языковая

и расовая обособленность венгров, осознанная в эти десятилетия образованными слоями соседних народов, — а *непохожего* одиночку, как известно, заклеывают даже птицы. В числе нападающих, которые осознали свою ошибку лишь тогда, когда было уже поздно, не было только двух национальностей — вернее, лишь две национальности с оружием в руках сражались на стороне венгров: швабы и евреи. Революция, начинавшаяся как социальная, под влиянием этих нападений переходит в национальную самозащиту. Под их же влиянием и Петефи, воспевая революцию, в то же время воспекает национально-освободительную борьбу. Свобода социальная и национальная сливаются воедино.

Однако у габсбургского двора это не единственное средство подставить ножку двинувшимся по новому пути венграм.

Когда становится очевидным, что партия Кошута уже и сама вот-вот остановит революцию, камарилья, посовещавшись с аристократией и свято веря в свой авторитет, коим обязана невежеству народа, начинает смелую игру с новым правительством, хотя именно она, камарилья, более всех перепугалась неожиданных реформ. Игра ведется самая гнусная; редко обманывали нации так подло и с такою низостью обрекали на гибель. Два самых важных министерских портфеля — военный и финансовый — король не желает отдать независимому венгерскому правительству; наконец, после длительных проволочек, он все-таки изъявляет согласие — лишь после того, как Лайош Баттяни подает в отставку и замышляет народное восстание. «В Пеште революционный подъем достиг вершины... — пишет в дневнике Петефи. — И при таком положении мы ожидали две недели, чтобы король сдержал свое слово. Наше национальное достоинство рыдает от этого и говорит: «Позор нам!..» Да, позор, но этот позор не относится к молодежи. Только бы мирные, кроткие Лафайеты не совались к нам, а предоставили дело тем, которые осмелились за него взяться, тогда нашей славе не был бы нанесен ущерб!»

Предательство двора очевидно, но кто осмелится судить священную и неприкосновенную особу короля? Под впечатлением этих событий и пишет Петефи стихотворение «Королям». Пишет и — принимая на себя ярость власти предержавшей, а также всех, кто живет в

заблуждении, — печатает в виде листовок, чтобы оно разнеслось повсюду. Стихотворение прекрасно, ибо раздражение в нем усиливается от строки к строке, ибо оно отчетливо рисует напряженную обстановку и создает почти зримый образ самого взывающего к народу поэта.

Редкостный подарок — откровенность —
Вам я, короли, преподношу!
Как хотите: хоть благодарите,
Хоть казните — выслушать прошу!
Пусть еще он цел, ваш замок Мункач, —
Не страшны подвалы и петля!
Что бы там льстецы ни толковали, —
Нет *возлюбленного* короля!

(Перевод Л. Мартинова)

Выделенное курсивом слово рефрена повторяется пять раз, чтоб его хорошенько приметили земляки из провинции. Результат, как мы знаем, не замедлил сказаться. Разражаются бледнонемочные истерики, дилетанты-адвокаты хватаются за перо, дабы сочинять вирши «против желторотого... изменника-поэта с именем бегяра»: «Отметь печатью позора его лик, // Гражданин! // О ты, кто до сих пор был верен, // Ах, не слушай слов предателя // И возгласи вместе с нами: да здравствует король!» В Сегеде именем Петефи называют улицу, но в Дебрецене листовку с его стихами выходцы из других краев размножают на свои средства совсем с другими целями, — чтобы «Всяк презрел этого смутьянам // Ненавистника мира и отечества, // Если же он еще выступит против трона и короля, // Пусть обрушится на него проклятие отечества: // Легче уберечься от трупного яда, // Чем от воздействия подстрекательских речей. // Бесчестен тот, кто от имени верноподданной нации // Дерзает непочтительно отзывать о короле». Сей опус выражает буквально повсеместные настроения. Из Кашши также вылетает рифмованный протест... В этой злобствующей стихотворной полемике упомянем еще одно творение, в прелестных виршах изъясняющее, что автор его единственный из стихотворцев, кто стоит за поэта, хотя — не отрицает и короля.

В это время Петефи удостаивается высочайшей милости: государь собственноручно выводит на бумаге его имя — конечно, в контексте, только и доступном королям. Вот что пишет он наместнику Иштвану в нижеследующем письме:

«Lieber Herr Vetter Erzherzog Palatin!
Beifolgend übersende ich Ew. Liebden ein von Alexander Petöfi verfasstes Gedicht «An die Könige» das auf den Umsturz der bestehenden Verfassung und Vernichtung des königlichen Ansehens gerichtet ist zu dem Ende, damit Sie darüber nach dem neuen ungarischen Pressegesetz das Entsprechende einleiten.

Wien, den 5 Mai. 848. Ferdinand m. p.»¹

Покуда Венгрия так дружно объединяется на защиту его величества, камарилья от имени доброго короля готовится создать новое единство: вынашивает знаменитый план, по которому еще более верноподданные народы — введенные в заблуждение соседние национальности — с десяти сторон набрасываются на венгров, даже не преступивших закон. А венгерское правительство все еще ищет защиты от «бунтовщика» Елачича при дворе. Поистине достойно удивления, до какой степени идея — на сей раз идея верности королю — способна затуманить головы людям, во всем прочем мыслящим весьма глубоко. Неужели опасность видел лишь один Петефи? Он вскрикивает при каждом движении щупальцев спрута-двора, разражаясь то уличной бранью, как в стихотворении «Что-то немец выдумал сегодня...», то поминая в отчаянии о новом Мохаче², как в «Песне о черно-красном знамени», то — с воинственным пафосом называя все своими именами:

Восстань, отчизна, чтобы снова
Венец твой славой заблестал!
Той славой, что разграбил немец,
Сапог немецкий растоптал.
Подобно солнцу из-за тучи,
Блеснет палаш твой из н о ж о н , —
И все ослепнут и оглохнут,
Над кем грозой заблещет он.

(«Довольно». Перевод В. Левика)

¹ «Милый племянник мой, господин Наместник и эрцгерцог! С сим посылаю вашему высочеству сочиненное Шандором Петефи стихотворение «Королям», кое направлено против существующего правопорядка и на уничтожение королевского авторитета; примите необходимые меры в соответствии с новыми венгерскими законами о печати».

Вена, 5 мая 848. Фердинанд» (нем.).

² 29 августа 1526 г. Венгрия, ослабленная феодальными междоусобицами, потерпела сокрушительное поражение в битве с турками при Мохаче.

Революционность Петефи, как и ненависть к «немцам», многие пытались объяснить его происхождением. Но, говоря о «немцах», Петефи имел в виду не немецкий народ, а лишь немецкую опасность, которую олицетворял тогда венский двор.

Против «первого публичного проявления республиканского духа» загремели и церковные кафедры. Один иезуит, служа мессу, выражал желание отхлестать поэта «бичом, сплетенным из языков пламени». Только что часть молодежи, в знак республиканских своих чувств, начала было носить, вместо трехцветных, красные нарукавные повязки, перо и кокарду. Теперь все эти красные знаки разом исчезают, появляться с ними на улицах стало опасно для жизни. А Петефи уже призывает к ответу за «остановку» революции. Солидная «Немзети уйшаг» («Национальная газета») не отказывается от ответственности и в номере от 1 апреля с радостью замечает, что исчезает красный цвет — цвет крови, который многие носили вместо национальных цветов, что уже вселяло тревогу в сограждан. «Сколь небесные чувства пробудило в сердцах наших подобное достижение взаимного согласия! Мы вознесли в душе благодарственные молитвы к небесам за избавление от чудовища межпартийных усобиц». Мало-помалу исчезает куда-то «мартовская молодежь». Вашвари пишет: «... и, если спросите, что делает сейчас мартовская молодежь, я скажу: одна часть ее разбрелась по всяческим бюро и конторам...» Ту или иную должность нашли себе почти все. Кути стал секретарем Лайоша Баттяни, Буйовски — референтом, супруга Шандора Вахотта день за днем обивала пороги жены и сестры Кошута, покуда ее муж не получил соответствовавшей его заслугам должности: он становится одним из секретарей Кошута. Сам Вашвари поначалу жаждет занять профессорскую кафедру в университете, но, так как его, двадцатидвухлетнего, все же туда не назначают, также принимает должность секретаря, которую и исполняет, покуда не разразилась война; вскоре он погиб смертью храбрых. Предлагают должность и Петефи.

Однако поэт упорно остается «мартовцем»; между тем уже и знаменитые «12 пунктов» осуществляются со скрипом. О новом законе печати, предусматривающем для открытия нового издания заклад в десять тысяч фо-

ринтов, «Марциуш Тизенётёдике»¹ («Пятнадцатое марта») пишет, что этот закон в своем понимании свободы отстаёт даже от Меттерниха, по крайней мере, на сотню лет. Венгерских солдат, служащих в разных частях Габсбургской империи, все еще не возвращают на родину. Принцип народного представительства искажен: на деле закон предоставил избирательное право лишь всем без исключения дворянам, но не неимущим простолюдином. «Комитет общественного спокойствия», на который поэт в первые дни возлагал задачи венгерского Comité du salut public², распущен.

Первое независимое министерство, едва сформировавшись, оказалось между двумя жерновами. Ему приходилось бороться сразу на два фронта: с умной и вдохновенной молодежью и с тупоголовыми циничными старцами. Последние были наиболее опасны, ибо — безответственны; не напрасно о стариках говорят, что они умеют только оглядываться назад: эти венские старики и в самом деле не способны предвидеть, даже в собственных интересах. Сечени действительно был осторожен, Кошут — действительно законопослушен. Но против венской камарильи они оказались беспомощны. Тупые старцы ограниченностью своей и ослиным упрямством довели одного из них до сумасшедшего дома, а затем и самоубийства, другого же обрекли на вечные скитания вдали от родины.

Дурак, если он у власти, теряет отнюдь не на том, что смотрит на всех как на глупцов и обращается как с глупцами; напротив, именно в этом секрет его успеха. Активная глупость, находясь у власти, представляется железной волей именно потому, что видна насквозь. Любая обладающая властью глупость лишь тогда оказывается в опасности, когда встречается с принципиально иным душевным устройством. Противодействие глупости в любой области — вовсе не ум. В общественной жизни куда действеннее против нее возмущение, ярость и их истоки: храбрость и насмешка.

Народы габсбургской монархии в середине XIX века, каждый соответственно своей ступени развития,

¹ Политический вестник, издававшийся революционной молодежью с 19 марта 1848 по 8 июля 1849 г. (редактор Альберт Палфи), до конца оставался на наиболее последовательных революционных позициях.

² Комитет общественного спасения (*франц.*).

устремились к свободе. Правители монархии (как мы видели, частично из-за старческой окостенелости в воспоминаниях о былом) старались все народы, вне зависимости от их уровня развития, затолкать обратно в подвалы феодализма. Имевшиеся между народами различия они использовали для того... чтобы с помощью одного подставлять ножку другому.

«Labelle idée!» — подавить стремящихся по существу уже к социальным свободам венгров с помощью «иллирийцев», то есть хорватов и сербов, добывающихся национальных свобод, — эта «великолепная идея» не впервые возникла в старческих головах венского государственного совета: восставших итальянцев, например, они хотели подавить с помощью венгров.

18 марта вспыхнула революция и в Милане, к тому же с такою сокрушительной силой, что австрийские войска вынуждены были оставить всю Ломбардию (и Венецию). Старый военачальник, генерал Радецкий, в Вене готовился к последней и решительной битве против сардинского короля. Он просил подкрепления. В его армии и прежде были венгры, но в малом числе. Государственный совет принял решение усилить армию Радецкого в первую очередь венгерскими полками по двум причинам: среди многочисленных народов монархии венгры жили далее всех от итальянцев, это во-первых; во-вторых, существовала статья закона, хотя именно тогда утратившая свой смысл, которая формально давала право для подобного использования венгерских новобранцев. Пресловутая *pragmatica sanctio* — сей древний свод ущемлений венгерской государственной независимости — давала право венгерскому королю рекрутировать солдат для защиты в одном теле с ним пребывающего австрийского императора. Конечно, мягко выражаясь, странно, что в одном лице соединенный король-император отправляет из страны сорок тысяч венгерских солдат именно тогда, когда Елачичу уже отдан приказ выступить против Венгрии, во главе иноземных солдат, — но из всех членов ответственного венгерского министерства над этим ломали головы только Баттяни и Сечени. Причина отказа выполнить распоряжение Вены была не в том. Кошут и граф Ласло Телеки, упорно противостоявшие требованиям Вены и добившиеся затем их отклонения, заявили во всеуслышание, ссылаясь на настроения в стране, на возмущение нации, что самая идея

свободы, дух «Декларации прав человека», провозглашенной в Париже, не позволяют венгерскому народу участвовать в подавлении свободы другого народа. Что бы из этого ни последовало!

Был историк, полагавший, что начавшаяся вскоре война между австрийским домом и венграми явилась следствием в первую очередь вышеизложенной позиции: из-за этого, мол, двор и император объявили бунтарским правительство Кошута — Сечени — Баттяни. По мнению этого историка, Арпада Каройи, такого повода давать не стоило, ибо «кто знает: не обернулась бы наша судьба иначе, заботясь мы только о себе, а не о короле сардинском, который в то же самое время подметными письмами подбивал сражавшиеся против него хорватские пограничные отряды возвращаться домой и воевать там против готовых смять их венгров!»

Нужно ли говорить, кто создал в Венгрии граничащее с возмущением настроение в защиту права итальянского народа — то есть народов вообще — на свободу!

Еще много раньше, нежели вопрос этот поставлен был в политическом аспекте, Петефи выступил в защиту итальянцев на чисто принципиальной основе. Пожалуй, именно он привлек всеобщее внимание к этому вопросу и сделал его заведомо «неразрешимым». В его дневнике уже 22 марта появляется запись об итальянском вопросе. Эту запись имеет смысл прочитать целиком, чтобы получить представление не только о кипучем молодом темпераменте поэта, но и о пружинах действия его политического инстинкта:

«Я ищущу в наших новых законах параграф о том, что венгерский солдат должен присягать венгерской конституции. Ищущу — и не нахожу! Перечитываю весь свод законов... нет ни звука. Кто ошибся, кто повинен в том, что это выпало?»

Впрочем, бог с ним, не велика беда: если бы сейчас начали присягать или присяга была бы уже принесена солдатами, все равно пришлось бы присягать заново, так как скоро у нас будет новая конституция. Пока мы только нашивали на нее заплатки, и это было пустым занятием: мы придавали только больше пестроты, но не прочности нашему устаревшему наряду; а нам нужна совсем новая одежда, чтобы мы с честью могли

вступить в строй наций, куда мы еще не попали. И мы этот новый наряд получим. В нашей конституции еще очень много несправедливого, но мы живем в такие времена, когда всякая несправедливость редет, как облако, и солнце истины начинает сиять над миром.

Что солдат не приводят к присяге, это бы еще полбеды, значительно хуже то, что их не отзывают на родину. Войска свободной венгерской нации все еще находятся в Италии вместе с палачами свободы. Министерство не предприняло еще в этом отношении ни одного шага, не произнесло ни одного слова. Я слишком ценю министерство, чтобы бездействие это объяснять отсутствием патриотизма. Если министерство верит в нацию, пусть выступит от ее имени с полной решимостью, а если не верит, то как же оно посмело взять на себя руководство целой страной, на которую, по собственному убеждению, не может опереться? Но пусть министерство знает, что оно в такой же мере может надеяться на нас, в какой мы уверены в нем; мы его не предадим, не покинем трусливо, пока оно будет нести перед нами знамя счастья и славы нашей родины. Венгерская нация пробудилась, подняла голову с подушки... Какую силу развила она уже в этом движении! Как много можем мы ждать от нее, если она встанет на ноги! Не страшитесь выпустить против лисиц того гладиатора, который некогда на мировой арене бился со львами и одолел их!

Первейшая обязанность министерства — вернуть наших солдат из Италии. Пока оно этого не сделало — не сделано ничего. Солдаты нужны — ведь нам угрожают со всех сторон, мы каждый миг должны быть готовы к внешней и внутренней войне. Ни та, ни другая не могут нас уничтожить, — я верю, господа, верю в венгерского бога! — но и та и другая могут нанести нам мучительные раны. А ведь мы и сейчас можем показать столько ран и рубцов, что заслужим наименование героев и мучеников.

Но наших солдат надо вернуть, даже если они нам здесь не нужны. Кровь, которую они проливают на итальянской земле, — это кровь наших сердец, а та кровь, которую они источают из итальянских сердец, это кровь Авеля, взывающая о мести к творцу небесному и призывающая кары на головы венгерцев за

то, что они стали в руках лжи орудием против истины. Горе нам!

Когда свобода станет всеми признанным божеством (а не сегодня завтра это будет!), нации предстанут перед ее алтарем, чтобы принять от нее благословение. Там они будут стоять в снежно-белых одеяниях, но мы не посмеем войти туда, — на наших одеждах черные пятна, пятна позора за итальянскую войну. И скорее Данаиды наполнят бездонную бочку, нежели мы смоем эти пятна.

Мы не можем терять ни мгновения! Каждый день — новое несмываемое пятно. Пусть над этим задумаются министры, пусть знают, что на них падет ответственность, — ответственность не только перед настоящим, но и перед будущим, перед историей. История! Если строгая рука этого грозного судьи накинёт темное покрывало позора на их надгробный камень, то его не в силах будет сорвать даже всемогущая рука господ!»

Жаль, что в год революций слова эти были доступны лишь тем, кто читал по-венгерски.

Деятельность камарильи проявлялась все активнее на окраинах, заселенных иными национальностями. У венгерского правительства не было иного способа действовать, как писать донесения королю, то есть — камарилье.

Донесения с просьбой дать разъяснения и поторопиться с пресечением.

Петефи видел иные возможности и пытался действовать по-другому. Благодаря «Воспоминаниям» Дегре, мы знаем, что поэт с друзьями опять организует народное собрание перед Музеем и сам его проводит. Он объясняет собравшимся «...сколько угрожают нам словаки и валахи, коих натравливают на нас — первых архиепископ Райашич, вторых — Авраам Янку и немцы; мы же здесь с голыми руками поджидаем, пока на нас нападут. Так будем же просить и требовать у правительства, чтобы дало оружие народу, поскольку те, кого натравливают на нас, получают его из преступных рук тайными путями».

Изначальный дух революции представляет уже только «Клуб равенства», образованный двумя братьями Мадарас; поэт предназначает этому клубу роль Club des

Jacobins¹ и присоединяется к нему, пишет политическую программу клуба.

«Великие слова, произнесенные 15 марта, отзвучали. Идеи свободы, равенства, братства не претворились в жизнь. Напротив, различные касты с каждым днем все смелее поднимают голову. Принцип равенства, провозглашенный 15 марта, пожоньское дворянское собрание свело на нет, оставив в силе различные сословные категории. Поскольку классовое господство сохранилось доньше, народ в политической жизни по-прежнему остается пролетарием.

Мы объединились на идее борьбы за подлинную и безоговорочную, без каких-либо залогов, свободу печати... за полную отмену сословных категорий, за права народа без оговорок. Мы объединились на том, чтобы бороться — вплоть до полного уничтожения — против всех предрассудков, поддерживающих классовые перегородки между человеком и человеком, гражданином и гражданином. Мы объединились на том, чтобы стереть навсегда всяческое отчуждение из-за языковых различий, и потому Общество наше охотно принимает в свои члены... каждого гражданина, на каком бы языке он ни говорил».

Молодежь уже не следует за поэтом. Но он и один продолжает борьбу.

А я стою, коню подобен,
Когда, разгорячен трубой,
Он храпом, фырканием и ржаньем
Хозяина торопит в бой.

Орлы, томящиеся в клетке,
О юноши, мои друзья!
На вас гляжу — и стынет сердце,
И закипает кровь моя!

Смелей вперед! Вперед, отчизна!
Полдела сделано! Вперед!
Уже оковы ослабели,
Когда ж их гнев твой разобьет?!

(«Шумим, шумим...». Перевод В. Левика)

Нападки и теперь лишь закаляют его волю. Одно за другим пишет он стихи, направленные против короля, то в форме великолепной сатиры, то с прямою вос-

¹ Клуба якобинцев (*франц.*).

питательной целью, для народа, черпая примеры из истории, в которой более чем достаточно и потерпевших неудачу героев, борцов за свободу, и коварных и смешных государей. Среди этих стихов — как и среди первых песен к Юлии — есть произведения, где мысль слишком быстро проскользнула в стихи и не имела времени перенять жар души поэта. Однако стихотворение «Поверженная статуя» мы должны выделить среди всех: его содержание, сгущенное до предела, вылилось в благороднейшую форму.

Статуя — это родина, поднятая усилиями сынов ее из болота. Однако просто поднять и почистить ее — мало.

Статую эту вернем на вершину, —
Там, возвышаясь, блистала когда-то
И величаво взирала на землю,
На зачарованных ею людей.

(Перевод Н. Стефановича)

Но Венгрия еще надеется поднять себя — подняться иначе, не так, как это видится поэту.

Новые стихи только обостряют положение. А Петефи еще и действиями своими добавляет огня. 1 мая он издает дневник — тот самый, в котором весьма резким тоном требует от правительства более быстрых действий, большей демократии. Когда же 10 мая отряд императорского офицера Ледерера заманил в ловушку и изрубил манифестантов, Петефи опять созывает перед Музеем народное собрание. Здесь, при всеобщем одобрении, прозвучали знаменитые его слова: «...этому министерству я не только отечество, но и себя, и даже собаку свою, не доверил бы». Выпад, будем объективны, несправедливый: у министерства, зажатого между тройным недовольством — озлобленного дворянства, бунтующего крестьянства и вынашивающей планы мести династии — от забот голова идет кругом. Поэт ведет народное собрание от Музея прямо под окна совещающихся министров и в лицо Баттяни и Сечени бросает упрек в промедлении. Баттяни объясняет: нет денег. На лице поэта появляется характерная презрительная усмешка. Тогда Сечени подходит ближе и, остановившись перед ним, произносит:

— Вы сейчас думаете: для того вы и министры, чтобы достать их; хоть из преисподней, если нельзя иначе.

— Даже если бы я стал отрицать, господин министр, вы не поверили бы.

Народным толпам нравится его искренний тон и прямота; правящим кругам это нравится куда меньше. Имя поэта сперва исчезает из списка комитета печати, предложенного для голосования, затем, 16 мая, — комитета по охране порядка. Петефи пишет статью — журналы ее отвергают. Они не считают его умным политиком. Еще бы! Министерский совет хочет пригласить в Буду короля, спасающегося от второй (15 мая) венской революции, а он в это самое время строчит стихи против короля!

Только сейчас волны смыкаются над ним: Петефи один и не может не видеть этого, вскидывая голову над их грязной пеной. «...сейчас я самый ненавидимый человек», — пишет он в исполненной горечи статье от 27 мая. Он трезво расценивает положение, еще раз доказывая, до какой степени не имеет ничего общего с тем одержимым, вечно гонящимся за туманными призраками, каким его рисовали и тогда и позднее.

«Популярность, — пишет он далее, — Тарпейская скала, на вершину которой человека возносят не для того, чтобы он царил в вышине, а чтобы сбросить его. Народу нужны развлечения.

Я знал это и до того, как ликующая толпа дошла со мной до вершины скалы; меня не опьяняло благоухание венков, которыми забрасывали меня; трезво и с полным присутствием духа ждал я минуты, когда меня столкнут вниз, и только благодаря этому упал не на голову, а на ноги.

Упал на ноги и остался невредим. Развенчанный, стою здесь, внизу, в пропасти, но стою!

Признаюсь, одного мне жаль. Если уж захотелось столкнуть, почему не сбросили вы меня в пещеру к львам? Пусть растерзали бы меня эти дикие, но благородные звери... Зачем спихнули меня сюда, где кишат гады ползучие? Укус их не смертелен, но хуже, чем смертелен: он отвратителен. Если я уж так грешен, то, ей-богу, ведь скорее заслужил плаху, нежели того, чтобы всякая мразь, нищие духом упражняли на мне свои грязные языки, которыми до сих пор они пользовались только затем, чтобы лизать, как виляющие хвостами покорные псы, всемилостивейшие подошвы господствующего тирана.

Но виновен ли я? Или нет все-таки? Чем я согрешил? Написал одно стихотворение, в коем объявил, что больше нет «возлюбленного короля», а кроме того, сказал на народном собрании, что не доверяю министерству.

В то время министерство вело себя так, что те, кто дорожил родиной, действительно не могли ему доверять, а ведь дорожит тот, кто любит. Нам грозила внешняя и внутренняя война, армии у нас не было, а министерство и шагу не сделало для того, чтобы создать ее; в Хорватии Елачич выбросил знамя самого открытого мятежа, а министерство отнеслось к нему, как мать, любящая обезьянней любовью своего строптивного ребенка: нельзя понять, бьет она его или ласкает. И ко всему еще кровопролитие в Буде! Здесь, в сердце родины, почти на глазах министерства, наймит-чужак крошил венгерцев!

Если при таких отчаянных обстоятельствах я, не боясь называть вещи своими именами, заявляю, что не верю министерству, то ставить это мне в вину могут только те, кто не знает, что такое любовь к родине.

Молчать всегда легче, нежели говорить; и кто преудреждает республику о грозящей ей опасности, не может быть ее врагом. Ее враг тот, кто видит опасность, но молчит. Таким образом, высказывая свое недоверие, я не хотел изгонять министерство, а желал только побудить его к таким действиям, которые заслужили бы ему всеобщую любовь и доверие. Кучер не для того бьет кнутом лошадей, чтобы они пали, а для того, чтобы они быстрее шли. Сравнение хоть и не слишком поэтичное, но верное. Если б я был на месте министерства, то доверял бы больше тем, кто иногда подстегивает, нежели тем, кто всегда выражает бесконечное доверие. Те, кто подстегивает, в худшем случае — открытые, искренние враги, тогда как другие — кто знает? — может быть, и лжедрузья? Мне, во всяком случае, очень подозрительно, что вся эта провалившаяся партия предателей преклоняет колена перед министерством. Хороший человек может сразу стать плохим, а из плохого сразу ничего хорошего получиться не может.

Но я не верю, чтобы хоть один из критиковавших министерство был ему враг, — напротив, *я знаю*, что это самые искренние друзья; и как же несправедливы те, которые обвиняют нас, марают наше имя. Но если это

им нравится, пусть продолжают обвинять и марать нас. Мы готовы терпеть несправедливость, считая это самой малой жертвой, какую только приносим на алтарь отечества.

А впрочем, какими бы великими людьми ни были наши министры (я согласен признать их гениальными), все же я не могу согласиться с мнением их слишком рьяных друзей, провозглашающих, будто только эти министры и могут спасти родину. Было бы несказанно печально, если бы жизнь и смерть целой нации зависела только от восьми человек. Пусть бы даже так оно и было, это следовало бы скрывать, иначе подобная весть может распространиться и причинить нации невероятный вред. Но это не так. Моя вера иная, — та самая, которую исповедовала Великая французская революция: «есть в status ¹ люди *полезные*, но *незаменимых* нет». Каждая эпоха рождает нужных ей людей, и тем больше, чем больше их требуется. Такое убеждение уничтожает, конечно, часть ореола, которым мы окружаем иных людей, но только для того, чтобы перенести его на нечто более достойное — на чело провидения.

Что же касается моего стихотворения «Королям», послужившего главной причиной моей непопулярности, то оно было первым откровенным выражением республиканских взглядов в Венгрии, и очень ошибаются те, кто думает, что оно окажется последним и единственным».

Но при всем том ему было, вероятно, очень тяжело. Можно представить себе, какая грязная пена поднимается вокруг Петефи и там, внизу, когда он вынужден туда вернуться. Это низшая точка — не его непопулярности даже, но всей его минувшей и еще оставшейся ему жизни, включая и шегешварское бегство.

Петефи защищается; защищает знаменитое стихотворение, оскорбительное для величеств. Он почти оправдывается... Его перо выводит такие фразы:

«Монархия в Европе приходит к концу, и даже всемогущему богу ее уже не спасти...»

Впрочем, монархия у нас имеет еще будущее, больше того — она пока еще нужна, потому-то и не провозгласил я республику, не призывал народ к бунту (как говорят про меня), а только затронул эту идею, чтоб привыкали к ней...

¹ Государстве (лат.).

За наше переустройство мы заплатим кровью, это ясно, поэтому мы должны стараться, чтобы оно стоило как можно меньше крови, а самый простой способ для этого — сделать новую идею привлекательной, расширяя ее неторопливо, постепенно...»

Общественные и литературные круги, самый Пешт еще никогда не обходились с ним так сурово.

А французский народ именно в эти дни посылает в свой парламент Беранже!

Впрочем, есть еще одна ступень для апелляции: народ степей, пастбищ, бескрайних равнин — народ свободного Алфёльда!..

33

При такой ситуации Петефи намерен баллотироваться в Национальное собрание как представитель от родных мест, от милых его сердцу кунов. Но и здесь поэт остается самим собой: льстить он не способен, даже желая завоевать благоволение народа. Никогда еще ни один кандидат в депутаты не обращался к возлюбленным соотечественникам с письменным воззванием, подобным тому, с каким Петефи обратился к своим избирателям.

«Сограждане и соотечественники! Соотечественники не только как мадьяры, но и как куны, так как я уроженец Киш-Куншага! Мне кажется, вы должны еще помнить того невысокого, коренастого мясника, который арендовал некогда мясные лавки в Фельэдьхазе, Сабадсаллаше, Сентмиклоше, — это был мой отец. Я не думаю, чтобы вы позабыли его совсем. Ведь когда он жил здесь, все честные люди любили его, ибо честные люди всегда любят друг друга. Но меня вы едва ли помните; я уехал от вас еще в детстве, и на мою долю только изредка выпадало счастье навещать родные края. А поэтому, не надеясь найти себе среди вас ходатаев, я вынужден выступить за себя сам.

По правде сказать, я выступаю вовсе не за себя, а за вас, выступаю с намерением сделать для вас добро. Я попросту предлагаю себя орудием в ваши руки».

Представляясь далее, он сравнивает себя с рубанком, служащим делу построения отечества.

«За последнее время Венгрия сделала много, но недостаточно для того, чтобы стать счастливой и свобод-

ной... а ведь у каждой нации есть две основные цели: счастье и свобода. Венгрия до сих пор была сырой сосной, теперь она уже срублена, распилена на доски, но и поныне еще не обстругана; а ведь надо же ее обстругать для того, чтобы изготовить тот славный стол, за который сядут пировать два земных божества: счастье и свобода... Вот я и предлагаю себя рубанком в ваши руки. Одно могу сказать, не согрешив против совести, что я испытанный рубанок, что я обработал немало неотесанных бревен и при этом не затупился».

Сейчас он возьмется обстругивать и кунов.

«Но вы не ждите, чтобы я восхвалял в а с , — это была бы наглая ложь. Говорю вам честно, что вы вовсе не прекрасные люди, во всяком случае, до сих пор не были таковыми. До 15 марта вся Венгрия была рабской, по-собачьи покорной страной, и вы были скорее в ее первых, чем в последних рядах. Достаточно вам будет вспомнить капитана Слуху и то, как вы ломали перед ним шапки, как ползали на коленях. Мне до сих пор стыдно за вас, когда я вспоминаю об этом. Некогда, во времена Моисея, евреи вместо бога поклонялись золотому тельцу, а вы пали еще ниже — вы поклонялись меднолобому ослу...

Вот что хотел я сказать вам, земляки; по этому можете вы судить о моих чувствах и мыслях». Земляки поняли его.

«Официальным органам» не пришлось слишком много усердствовать, даже не пришлось израсходовать слишком много вина — господа избиратели и так едва не исколотили «наглеца», который, на свою беду, еще признался, что он сын бывшего незадачливого арендатора, «проходимца-словака». И правительство, и все местные господа поддерживали Кароя Надя, сына протестантского священника, в воззвании же поэта, как пишет достойный Карой Банкош, верный его друг, «они углядели идеи коммунизма». Противники Петефи были вооружены и легко справились с теми несколькими сотнями сентмиклошских, фюлёпсаллашских, лацхазских крепостных, которых поэт, по мнению господ избирателей, возбуждал, призывал к бунту («Ха, да если бы я возбуждал их, тогда кости сентмиклошских и сабадсаллашских господ уже давно валялись бы, разбросанные повсюду, обглоданные собаками»). Не будем углублять-

ся в детали этой грязной истории. Удовлетворимся одним: если когда-либо человечество найдет в себе столько нравственной силы, чтобы вслед за местами древних героических подвигов воздвигать в поучение памятники и на местах позора, то один из самых высоких столпов в нашей стране достанется Сабадсаллашу.

И все-таки нет, не будем уходить от этой темы! Воспользуемся на этот раз и мы своеобразным стилем поэта и выйдем из свернувшей на более легкую дорогу коляски его повествования. Пусть у нас достанет сил восстановить в памяти те мучительные сцены, при мысли о которых лицо нации должно бы покрыться краской стыда. Вспомним все — не только ради объяснения, но и для воздаяния по заслугам. Ибо такое воздаяние не свершено и поныне. Для этого же следует проделать незаурядную душевную работу, а именно: отождествить себя, поздних себя, которые тоже единицы в толпе, не с поэтом, что, конечно, удобней и приятней, а с теми, кто стоял тогда против него, то есть с той самой толпой, в которую заталкивает и нас беспощадный закон больших чисел. Только так, такую ценой мы можем сделать поучительный вывод — ибо даром, к сожалению, не дается даже это.

Разыгравшаяся в Сабадсаллаше трагедия — когда народ отворачивается от своего сына — тем более потрясает душу, что положение героя серьезно отягчает одно случайное обстоятельство: именно в это время Петефи перевел «Кориолана», величайшую «народную» драму своего любимого писателя Шекспира. Что, если поэт последует его путем? Ведь, собственно говоря, он только сейчас впервые встречается с «народом» лицом к лицу, причем в ситуации, когда слово не только за ним, но и за народом. Который к тому же единодушен на диво и выражает свою волю именно так, как и представляли себе лучшие борцы за его дело.

«Настало время, когда народ стал нацией, и он, а не дворянство, выбирает своих представителей в Национальное собрание. Я, представлявший донныне народ в литературе, ухватился за случай, чтобы стать его избранником в Национальном собрании. Кто же лучше меня знает нужды народа? Кто отстаивал бы горячее его права? Ведь народ — моя религия, мой бог!»

Эти строки, как и последующие, взяты из «Заявления о выборах в Сабадсаллаше», которое Петефи пи-

шет прямо на месте действия, в Кунсентмиклоше, 15 июня 1848 года. У нас есть горькая возможность услышать о важнейших эпизодах этого печального приключения из его собственных уст.

«Приехав на свою родину в Киш-Куншаг, я распро- странил воззвание среди народа. Выборщики этого рай- она, не принадлежавшие к сословию господ, встретили его восторженно и заявили, что изберут меня депута- том... На несколько дней я уехал в Пешт, а когда вер- нулся, обо мне уже ходили такие страшные слухи, словно я был закоренелым злоумышленником».

Зажиточные слои округа выставили своего кандида- та, сына сабадсаллашского протестантского священника, Кароя Надя. Началась «агитация», которая на подоб- ных выборах, с тех пор как стоит мир, означает форми- рование настроения и скупку душ, притом любой ценой. Поэт с уважением относился к народу, он не лгал ему и не спаивал его. Противный же лагерь рекою лил ви- но и грязную клевету. Бывает так, что и подлость за- воевывает признание поразительной точностью расче- та. Против самого пылкого республиканца Венгрии глав- ным предвыборным лозунгом его противников стал вдруг распространившийся слух, будто бы он хочет по- ставить королем над венграми русского царя.

Но было и другое.

«Кто распространял эти слухи? Конечно, господа. Но в то же время народ Сентмиклоша желал меня видеть и слышать. Ко мне пришла депутация — около двухсот че- ловек. Я отправился с ними к городской ратуше и заявил совету, что устрою народное собрание. Но тут на меня захрюкала кучка трясущихся от страха ежей. Они взду- мали запретить мое выступление. Я не допустил этого. Наконец они согласились при условии, что я возьму на себя ответственность за все последствия и речь свою предварительно изложу в письменном виде. Первое условие я принял, второе не принял по двум причинам: во-первых, потому, что еще сам не знал, о чем буду го- ворить, а во-вторых, если б я даже заранее подготовил свою речь, то не для того уничтожили мы 15 марта цен- зуру, чтобы представлять свои работы на обсуждение этого совета «мудрецов». Многообещающий молодой повеса барской породы, местный судья, спросил, о чем я буду говорить. Я ответил: о выборах депутатов и о той клевете, которой меня осыпали в мое отсутствие.

Он страшно разозлился и заявил, что о депутатских выборах я могу говорить, но оправдываться в обвинениях, возведенных на меня, он мне запрещает властью судьи. О, образец судей! Обо мне он разрешал говорить и сам распространял всякие мерзости, но мне запрещает оправдываться! И это произошло не где-нибудь, а в городской ратуше, в храме правосудия! Богиня правосудия, зачем ты держишь недвижной рукой свой меч, почему не отсечешь ты ему этим мечом если не голову, то хотя бы нос или уши?

Я вышел и, стоя перед ратушей, говорил собравшемуся народу о депутатских выборах, умолчав о возведенных на меня обвинениях; последнее я сделал не вследствие запрещения судьи, а потому что хорошо видел по лицам окружающих: стоит мне только упомянуть о клеветниках (которые выглядывали из окна городской ратуши), как народ ворвется в ратушу и растерзает их в клочья, точно фальшивые банкноты».

Но спаивание и клевета начинают оказывать свое действие. Поэту уже угрожают. Угрожают «сюртучники» — и чем? Гневом народа! Кто они, собственно говоря, эти люди?

Случайно у нас имеется возможность заставить заговорить одного из них: мы услышим его собственные слова. Упомянутый местный судья «барской породы» — по фамилии Вираг — оставался судьей и тридцать с лишним лет спустя; даже тогда он все еще не ведал, с кем столкнула его судьба. И сам расхвастался собственным позором перед тогдашним депутатом района, Лайошем Хенталлером, когда тот, после какого-то намека, стал расспрашивать, как же оно все было, когда поэт ворвался к Вирагу и заявил, что желает говорить с народом. По словам господина судьи Вирага, после того как поэт, «гремя шпагой», влетел в «официальное помещение», произошло вот что:

«Видите ли, весь «*coruple*» — в Сентмиклоше и поныне так называют народ — стоял за его спиной! Вы уж можете мне поверить, и сейчас не пойму отчего, но они все просто помешались на нем. Он ворвался ко мне, сопровождаемый группой людей, и заорал на меня: я ли, мол, судья. Конечно, я, отвечаю ему. Да вы-то кто таков, что посмели со шпагою вступить в святилище правосудия?

На это он мне отвечал, уже более тихим голосом, что желает говорить с народом.

Но, видите ли, это и я знал, только ни за что не хотел допустить его речи, поскольку боялся, что он станет провозглашать коммунистические идеи и бунтовать народ против нас, господ. Вот поэтому я и сказал ему напрямик, что ни в коем случае не могу позволить ему беседовать с народом.

Тут он принялся кричать и шуметь, а прибывшие с ним простолюдины также потянулись в помещение суда. Я понял, что протесты могут плохо кончиться, и попробовал пойти на мировую».

Денеш Вираг вспоминает свои слова:

«Ну что ж! Я согласен на проведение собрания, но с тем условием, что господин кандидат принимает на себя ответственность за все возможные неприятные последствия и что речь свою он предварительно покажет мне».

Судья излагает события так же, как и Петефи, почти дословно его повторяя. Как будто здесь уже Хенталлер помогал его памяти.

«Ого! Стоило видеть, как он тут подпрыгнул. Стучал шпагою об пол, размахивал руками. «То есть как! Да за кого вы, сударь, меня принимаете? — кричал он на меня. — Вы что же, думаете, я за несколько месяцев вперед готовлю свои речи? Да я и сейчас еще не знаю, что буду говорить. Но вы не сомневайтесь: даже если бы речь была у меня готова, я и тогда вам ее не показал бы — не затем мы 15 марта уничтожили предварительную цензуру! За последствия же беру на себя ответственность с полной охотой.

— Но вы, сударь, знаете хотя бы, о чем будете говорить?»

— Как же мне не з н а т ь, — отрубил он, — прежде всего о той подлой клевете, которою вы, голубчики, облили меня в мое отсутствие, и еще — о выборах.

Тут я, конечно, пришел в ярость оттого, что он назвал меня «голубчиком», но поскольку сила была на его стороне, попросил не осложнять положения еще более и не бунтовать народ против тех, кто оклеветал его».

Итак, народ вовсе не был единоклюбен: наряду с «сюржучниками» и в мысли наши врывается «popule». Нет сомнений в том, кто из них тянулся к поэту. Оче-

видно, немало было таких и среди тех, кто свою приязнь к нему мог выразить лишь громогласными криками, но не голосованием. В это время — по всей Европе — избирательное право демократично лишь для буржуазии, но не для народа; иначе говоря, оно лишь начинает демократизироваться.

По смыслу IV и V статей закона 1848 года избирательное право получили прежде всего все дворяне, которые могли избирать и прежде, затем из буржуазного сословия — самостоятельные торговцы, ремесленники, имеющие, по крайней мере, одного подмастерья, священники, учителя, все, чей годовой доход не менее ста форинтов, а также те, кто владеет домом или землей в черте города стоимостью не менее трехсот форинтов, в деревне же — по крайней мере, четвертой частью оброчного надела. Таким образом, в лагере здешних избирателей — особенно среди кунов — дворянство представляло собой уже лишь малую часть. Следовательно, своим провалом Петефи был обязан в действительности тем самым новым избирателям, которые в немалой степени именно его должны были благодарить за обретение избирательного права.

Если бы они его только провалили...

Утреннее собрание прошло великолепно. На нем присутствовала и Юлия. «На их счастье, — пишет поэт, — никто из господ не посмел даже шевельнуться, и народное собрание разошлось в величайшем порядке; простой народ этого города присягнул мне и до нынешнего дня является моим непоколебимым сторонником.

В полдень я заехал в Сабадсаллаш, чтоб ознакомиться с обстановкой. От одного из членов совета я услышал, что почти весь народ стоит за меня так же, как в Лацхазе и Фюлѣпхазе.

Я спокойно вернулся в Сентмиклош. У меня не было уже сомнения в том, что я стану депутатом. Бог видит мою душу и знает, почему я радовался депутатству: не из тщеславия и корысти, но только потому, что теперь смогу бороться за счастье и права народа.

Когда я возвратился в Сентмиклош, почтенные господа снова стали распространять обо мне бесчестную ложь и клевету. Между прочим, они утверждали, что свою речь к избирателям я украл из одной газеты, что сегодня после полудня меня даже не впустили в

Сабадсаллаш, а прогнали с окраины города, и так далее и тому подобное...

Позавчера, во вторую половину дня, на имя моего друга, у которого я остановился, пришло письмо со штемпелем Сабадсаллаша и за подписью «Судья города Сабадсаллаша». Письмо это сделало бы честь последнему свинопасу, первому иезуиту и самому Меттерниху».

В письме поэт обвинялся в том, что он хочет передать страну русским или словакам, — но теперь, мол, это все стало о нем известно, и потому «если ему милы собственная отвага и жизнь, то пусть он поступит благоразумно и не явится в четверг на выборы представителей в Национальное собрание, ибо народ раздражен и мы не можем брать на себя ответственность за последствия справедливо разгоревшейся ярости».

Мы уже знаем Петефи настолько, чтобы догадаться, как он поступит в ответ на это. В тот же вечер он появляется в Сабадсаллаше.

«Остановился я у знакомого. При виде меня все его домашние пришли в ужас и едва были в силах произнести: «Ради бога, скройтесь, уезжайте отсюда. Немедленно, сию же минуту уезжайте, не то вас избьют до полусмерти. Позавчера у господ чуть не до полуночи тянулось собрание, и они восстановили против вас весь народ. Поп, сын которого мегит в депутаты, сказал, что, как только вы появитесь в городе, он ударит в набат. Скройтесь, если жизнь вам еще мила!»

Один мой родственник, запыхавшись, прибежал ко мне и рассказал то же самое; и я уже согласился было повернуть обратно, боясь не за себя, а за жену, которая была со мной. Я предполагал, что убить меня не убьют и даже не тронут, так казалось мне, но бог его знает, какие могут произойти скандальные сцены, а я не хотел, чтобы их видела и слышала моя жена. Я сказал ей, что мы поедем обратно. Но она ответила решительно, что обратно мы не поедем, а останемся здесь, что мы должны здесь остаться, даже если нас решили убить. «Пусть убивают нас, пусть! Но никто не скажет, что ты отступил!»

Так говорила моя жена, и я согласился, более того, тотчас отправился в городскую ратушу...»

По правде сказать, не за это нам следовало бы поставить Юлии еще один плюс. Самым верным в этих краях сторонником Петефи был Карой Банкош. Как

уже столько раз до этого, поэт и теперь остановился у него, до конца сидел на многолюдном ужине. Но на этот раз он был «не только молчалив, но даже мрачен. И лишь тогда приободрился немного, когда жена его, наклонясь к нему, легко поцеловала мужа в бледную щеку и прошептала, но так, что все мы услышали:

— Шандор, мы провалились!

Тут он улыбнулся:

— Что ж, похоже на то, — сказал он, — но если я и утерял депутатство, все же у меня остаешься ты...»

И это мы знаем от живого свидетеля. Но предоставляю опять слово поэту.

«Возвращаясь домой под вечер, я повстречал много крестьян, все они ласково приветствовали меня. «Ну, — подумал я, — все в порядке! Господа струсили, а народ благожелателен!» Вечером, часов около десяти, меня разбудили от сна звуки музыки и шум. Чествовали поповского сынка как будущего депутата. Я выглянул из комнаты, и хозяева объяснили, что священник спаивает весь город. Так как эти подлецы и негодяи увидели, что ни клеветой, ни ложью они не оттолкнут от меня людей, они прибегли к последнему средству: пустили в ход вино и палинку, чтобы бедный, достойный жалости народ лишился разума и обратился против меня, а таким образом, против самого себя. Пьянство и крики продолжались всю ночь.

На следующий день рано утром я пошел к городской ратуше, чтобы там дожидаться народа и, когда все сойдется на выборы, опровергнуть возведенную на меня клевету. Несколько минут я стоял в одиночестве, но вот кто-то появился рядом со мной и произнес: «Нахал!» Я обернулся, чтобы узнать, кто это сказал. Оказалось, — один достойный почтенный господин, который в дни своей молодости попросил у моего отца взаймы сорок форинтов, и тот дал ему. Лишь позднее мой отец узнал, что этот негодяй украл у собственного отца коня, ружье, пистолет и ускакал в степь разбойничать. Некоторое время он разбойничал, затем его схватили, а впоследствии он стал судьей в Сабадсаллаше и с тех пор грабил не по соседству, а в своем родном городе. Именно этот человек, если только его можно назвать человеком, и произнес пьяным голосом: «Нахал!» Я и не подумал, что он говорит обо мне, я понял это только тог-

да, когда обернулся к нему, а он повторил: «Да, да, нахал! Что вы здесь нахальничаете?»

Свидетель, который так говорит о себе, причем в минуту раздражения, достоин полного доверия, несмотря на свою пристрастность.

«Тогда я подошел к нему и сказал:

— Прошу вас осторожнее выбирать выражения.

— Я не стану выбирать, — отвечал пьяный негодяй. — Как смеете вы здесь, сударь, нахальничать?

— Я еще раз повторяю: будьте осторожнее в выражениях!

Только я это сказал, сейчас же меня окружило целое стадо озлобленных пьяниц. Сигнал был подан, ко мне бросились со всех сторон, и больше сотни глоток взрело:

— Это изменник родины! Висельник! Русский шпион! Он хочет продать родину! Разорвите его на куски, убейте его!

— Подождите, граждане, — крикнул я, — дайте мне сказать, дайте мне сказать в свое оправдание!»

Сцена поистине кориолановская.

«— Не дадим говорить, убьем! — орали они, осыпая меня страшной бранью, грязной руганью. В это время меня уже втолкнули в ворота. Видя, что мне не дадут вымолвить ни слова, я спросил:

— Где судья?

— Вот я. Что вам нужно? — ответил старик, стоявший рядом со мной.

— Господин судья, — сказал я, — вы будете отвечать, если меня тронут.

— Буду отвечать, — ответил судья, — идите-ка наверх.

Он проводил меня наверх. Там я встретился с председателем комитета по депутатским выборам, человеком, которого вышибли из нотариусов; на народном собрании он заявил, что, если народ не убьет меня, он сам меня пристрелит.

— Зачем вы пришли сюда? — сказал он. — Как вы посмели прийти, если народ так против вас возмущен?

— А кто его восстановил? Я или вы? — спросил я. — А впрочем, не в этом дело! Помните, что за меня отвечаете вы и судья!»

Но эти куны знают свою роль лучше, чем шекспировские вольски.

«— Если вы сию же минуту не уберетесь из города, — ответил бывший нотариус, — мы не ручаемся за вашу жизнь.

— Так! Значит, мне здесь нечего делать, остается только удалиться. Но берегитесь! Вы не посмеете ни руку поднять на меня, ни очернить меня. Замечательно! Значит, вы так понимаете свободу? Вы позорите даже название своего города! Ведь он называется Сабадсаллаш!¹.

— Свобода, — ответил председатель депутатской комиссии и бывший нотариус, — свобода — это когда изгоняют из города того, кто пришелся народу не по вкусу!

В это время пришел и старый священник, который ради интересов сына за ночь благословил народ двумя дюжинами бочек вина. Ободряя меня, он сказал, чтобы я не боялся, ибо меня не тронут, лишь бы я покинул город».

Это олицетворяет собою патрицианскую мудрость, то есть римскую добродетель.

«— Не бояться? — отвечал я. — Разве я пришел бы сюда, если бы боялся?

Меня проводили во двор; перед городской ратушей все еще ревели пьяное стадо. Появилась вооруженная национальная гвардия и окружила меня.

— Но ведь пешком-то я не могу уйти отсюда, — сказал я. — Придется подождать, пока не приедут за мной из Сентмиклоша.

— Ждать невозможно! — заявил бывший нотариус. — Вам надо удалиться немедленно. Мы больше не в силах сдерживать народ. Мы сами достанем коляску. Вот как раз стоит одна... Кучер, поезжай за нами!

И меня повели к окраине города, где я остановился. Я шел пешком, под конвоем вооруженной национальной гвардии. Недоставало только, чтобы мне скрутили назад руки.

Погрузили наши вещи; мы с женой уселись в экипаж и отправились в Сентмиклош. Уже проехав значительную часть пути, я крикнул кучеру:

— Куда же мы едем? Ведь не эта дорога ведет на Сентмиклош?

¹ Сабадсаллаш — по-венгерски «свободное пристанище».

— Она самая, с ударь, — ответил к у ч е р. — Только эта не шоссейная, на нее мы выедем у бестерской корчмы.

— А почему не едем по шоссе?

— Приказано вас по этой везти.

Я замолчал, не понимая, к чему все это... А когда мы уже отъехали далеко, я случайно посмотрел в сторону шоссе и увидел вдали телеги из Сентмиклоша и Лацхазы с моими знаменами, которые везли мои приверженцы. И тут я понял, что меня обманули, не желая, чтоб я встретился с моими избирателями. В невероятном гневе приехал я домой. К полудню вернулись сентмиклошцы и лацхазцы, такие же разгневанные, и рассказали, что с ними произошло».

«А в Сабадсаллаше единодушно, без голосования выставили депутатом поповского сына, чванного, глупого малого, который, кроме того, был креатурой Слухи¹.

Так прошли депутатские выборы. Пусть бог будет столь же милостив ко мне на этом и на том свете, как я был правдив: я не солгал ни единым словом!»

Мы верим ему. Главное же, верим тому, какой урок он извлекает из всего происшедшего. Ибо в этом римского духа даже больше, нежели в самих римлянах, — так же, как написанная об этом трагедия могла бы быть еще более шекспировской, нежели у самого Шекспира.

«И надо же было, чтобы все это произошло именно сегодня, чтобы сегодня захотел венгерский народ убить меня, как русского шпиона, как изменника родины!.. Сегодня, 15 июня, исполнилось как раз три месяца с 15 марта, когда я был первым среди тех, кто поднял свой голос за свободу венгерского народа и вступил в бой за нее!

Но не народ я проклинаяю за это, а тех, кто обманул его, свел с пути истинного. Я проклинаяю тех, кого когда-нибудь и закон и бог равно покарают. Народ для меня тем более свят, что он слаб, как ребенок. Да славится имя народа и ныне, и присно, и во веки веков!»

И все-таки не в этом — самое удивительное проявление его душевного и психического склада.

¹ Капитан-исправник Сабадсаллаша.

Все пережитое ложилось в душу, претворяясь в поэтические впечатления, и даже в глубочайшем пароксизме отчаяния все-таки рождались стихи. Так что забудем все же о том, что его депутатский мандат достался другому. И вспомним лучше стихотворение «В родных местах», которое поэт привез в результате своей избирательной поездки, — оно значительней любого мандата.

Здесь я родился, я в своем краю,
Вернулся в степь Алфёльдскую свою,
Где все места следами старины
И няинными песнями полны.
В одной припев был, помнится, такой:
«Жук, майский жук, пострел-проказник мой».

Где вы, друзья тех детских лет, сейчас?
Хоть одного б увидеть мне из вас!
Уверьте, что по-прежнему я мал,
Пусть я забуду, что мужчиной стал,
Что четверть века за моей спиной...
«Жук, майский жук, пострел-проказник мой».

(Перевод Б. Пастернака)

Несколько дней спустя Петефи в открытом письме обращается к сабадсаллашцам, к тем, кто унизил его:

«Сограждане! Вы подняли против меня вражескую руку, а я протягиваю вам руку друга, следуя Священному писанию, которое гласит: «Дай хлеб тому, кто бросил камнем в тебя». Видит бог, я не гневался на вас даже тогда, когда вы накинулись, подобно диким зверям, чтобы растерзать меня. Тем менее сержусь на вас теперь. Я гневаюсь на тех, которые так сумели ввести вас в заблуждение, что вы ополчились против лучшего вашего друга, как против своего врага. А вас я могу только пожалеть, пожалеть от всего сердца.

Если вы еще не поняли, то поймете, что согрешили, тяжко согрешили и против меня, и против самих себя, и вам придется краснеть, стыдиться за все случившееся. Вся венгерская нация пальцем покажет на вас, изгнавших меня из своего города, — и этот указующий перст будет вам больнее пощечины».

Надеемся, что так оно и есть — что больно и сабадсаллашцам, и всем нам.

И подивимся твердости его веры и характера. Он упал, но упал на ноги.

Ведь все это — не самоутешение и менее всего рассчитано на публику. Петефи вновь на ногах. Стихотворение, рисующее его душевное состояние всего лишь через два-три дня после ужасного провала, с неопровержимостью свидетельствует о его преданности любимой своей теме, неиссякаемому источнику вдохновения:

По приезде в город
День и ночь в столице, средь ее содома,
Мысленно брожу по брошенным низовьям
У родного дома.
Чуть зажмурую веки,
С живостью встают в душе, как пред глазами,
Чудные места, одно другого краше,
В бесподобной раме.

(«Малая Кумания». Перевод Б. Пастернака)

«Чудные места» — те самые, где в грудь ему вонзили железные вилы...

Петефи беспощаден: он делает все для уничтожения своего противника, оскорбляет его, провоцирует, хочет вызвать на дуэль, в течение многих дней кипит и бурлит, он вне себя от ярости, — однако гнев свой направляет только и исключительно на самого виновника. Даже негодуя, он не теряет голову. На открытие Национального собрания поэт пишет торжественную оду в спокойной возвышенной интонации — ни единым оттенком мысли не коснувшись своей обиды, того поистине необычайного положения, что он, сын народа, — в то время как дела народа вершат другие, — вынужден быть лишь зрителем на галерее.

Вот вы сейчас войдете в этот зал,
Откуда выйдет нации судьба.
Так выслушайте прежде, чем войти,
Я должен все же вас предостеречь!

Обязаны построить вы теперь
Отчизну славную прочнее, чем была!

А между тем как нужен был бы там его голос! Лучшие люди нации подготовились к великому труду; но из комитатских управ отовсюду доносится недовольное ворчанье, а кое-где слышно и бряцание оружием. На местах мелкопоместное дворянство, пресловутая бюрократия менее всего склонны примириться с переменами. Они откладывают применение новых законов в долгий ящик, как пишет своему другу Арань, «стараются обой-

ти их», а из кандидатов в депутаты (об этом-то знает и Петефи) позволяют выбрать лишь тех, в которых верят сами. В целом Национальное собрание едва отличается от пожонской «диеты». В числе депутатов нет ни одного крестьянина-землепашца; да и среди депутатов недворянского происхождения таких, которые считают, что это накладывает на них определенные обязательства, только и есть один — Танчич. Более дальновидным представителям прежней оппозиции приходится делать все для того, чтобы хоть что-нибудь из великих мартовских обещаний осуществилось.

Обязаны построить вы теперь
Отчизну славную прочнее, чем была,
Где башни привилегий не стоят
И не таятся в них нетопыри,
Отчизну вольную, в которой будут свет
И чистый воздух — достоянием всех,
Чтоб все имели право видеть, жить,
Быть в безопасности...

Вы ясно ли представили себе
Какая вас работа ждет сейчас?

(Перевод Б. Пастернака)

Национальное собрание проводит работу необыкновенную. Но... к радости по поводу великого дара применяется столько полыни, что радости тот день почти не испытывает; и это — в самый переломный момент, когда следовало бы переживать боевой подъем.

Вряд ли есть на свете что-либо более жалкое и в то же время смешное, чем зрелище человека недостойного, с превеликими усилиями карабкающегося на козлы телеги, которая, мы видим заранее, неизбежно перевернется. Пресловутый Карой Надь, оттеснивший создателя «Национальной песни», как больший патриот и борец за свободу, был не единственным экземпляром среди тех руководителей, которые после выборов представителей 1848 года вскарабкались на сильно шатающуюся еще телегу нового государства. Мы, обеспокоенные сыновья, составили уже достаточно большой список своеобразных недостатков венгерского народа, как самостоятельно действующего политического организма.

Но ни один из нас не упомянул о том недостатке, который виден с первого взгляда: о почти полном отсутствии инстинкта опасности и даже — рефлекса на близость катастрофы. Национальное сознание, благодаря этим особенностям устройства, в течение столетий переставало тревожиться за будущее своим лирическим поэтам, полагаться на слово которых в то же время — ведь они всегда все преувеличивают! — считалось при трезвом уме чуть ли не неприличным.

Этот изъян особенно поразителен именно в те дни, когда опасность ситуации сама бросается в глаза. Увы, не только бросается в глаза, но даже ослепляет.

На венгерских границах уже убивают венгров; более нет сомнений в том, когда именно камарилья ударит страну в самое сердце: как только у нее будут на то силы, как только она расправится с итальянцами, которым предназначен первый удар. Вскоре так и происходит: едва начинается венгерское Национальное собрание, Радецкий 25 июля при Кустоцце разбивает армию сардинского короля Карло Альберто. Ясно, что следующий решительный удар получит Венгрия.

Что можно было сделать? Только одно: привести в действие народные массы, — то есть сделать то, что правительство сделает, суетливо, с опозданием и потому уже понапрасну, ровно год спустя.

Не будем искать причину, почему — по «азиатской» ли терпеливости, социальной отсталости или в результате государственного застоя — в венгерских крестьянских массах отсутствовал тот вид национального самосознания, который помогает другим народам тотчас увидеть то, что подлежит разрушению. Мы уже поминали жалобу Йокаи: крестьяне не знают ни знамени страны, ни гимна ее, ни вождей и до тех пор не поднимаются на борьбу, пока обида не коснулась их лично. Трубные голоса поэтов, и прежде всего того, кто создал стихотворение «Королям», — доказательство, с какою силою приходилось предупреждать крестьян, чтобы они — знаменитые воины и гусары — с тревогой стали поглядывать на соседей и становиться наконец под боевые знамена. Среди крестьян, говорит Секфю, в основном прогабсбургски настроенный историк, «наилучшим образом провели пропаганду грабежи и погромы со стороны хорватских, сербских, валашских и императорских войск; в тех местах, по которым прошли однаж-

ды эти отряды, и в холопах просыпалось вдруг национальное самосознание». Иными словами, они познавали собственную национальную сущность на взаимных столкновениях — как некогда школяры из самообразовательных кружков. Что само по себе достойно не презрения, а напротив, даже похвалы, ибо означает: прежде всего в себе самом и в других я вижу человека.

Что же следовало бы сделать просто в интересах человека?

Освобождение крепостного крестьянства коснулось по существу лишь той его части, которая еще со времен Марии-Терезии и ее постановлений об оброчных землях владела определенными земельными наделами. Но, помимо них, сколько же было всего крепостных? В 1846 году насчитывается 617 000 дворян и 12 миллионов человек «мужицкого происхождения». За крестьянством числилось всего 13 миллионов хольдов, а 32 миллиона хольдов держали в своих руках помещики. Часть земли они обрабатывали руками батраков, другую часть отдавали по особым контрактам безземельному крестьянству; условия этих контрактов были куда суровее даже обычных крепостных повинностей. Крестьяне, имевшие наделы, выплачивали господам десятину; контрактанные — шестую часть. Количество контрактанных, по подсчетам Кошута, исчислялось, совместно с членами семей, примерно в три миллиона. Итак, на них не только не распространялось право выкупа земли, но все помещики стояли за то, чтобы, учитывая изменившиеся обстоятельства, как можно скорее порвать упомянутые контракты и, согнав крестьян с участков, вновь присоединить эти земли к своим имениям.

Существовали, кроме того, аллоидальные земли, пастища, которые, за определенную дополнительную отработку, деревни арендовали у господ. Господа и эту землю не включили в число тех, кои могут быть выкуплены. Также и леса, и тростники, находившиеся в общем пользовании... Имелось еще до сотни мучительных ран, которые следовало моментально, со сверхчеловеческой быстротой залечить или хотя бы перевязать, прежде чем Вена успеет бросить в них ядовитый порошок. Из 12-ти миллионов крепостных крестьян свободе радовались только зажиточные, состоятельные хозяева, да и те небезоговорочно. Что они знали, что было им известно о том чуде, что самую тяжкую долю в битве за их пра-

ва принял на себя, вместо них, некий молодой поэт? Другая часть крестьянства — только-только получившие контракты безродные батраки, хуторские поденщики, среди них и «печальные пастухи», недовольно следили за ходом события; чем больше шуму было вокруг «дарованной свободы», тем быстрее росло их недовольство: ведь они-то не получали ничего...

Это они первыми провозгласили ту истину, что «бедняку без земли свобода — ничто»; это они бунтуют в Бихаре, боясь, что, «кроме оброчных земель, все иные земли наши — вырубки и те, что отданы нам из шестой части (отцами нашими завоеванные 80 лет тому назад), — вновь попадут во владение господ»; это они восстали к концу осени в Бекеше; это их заклеимила, как «коммунистов», вся печать, и их вожаков счел возможным казнить Кошут, дав столь необычный образец «народного освобождения». А в это время в Загребе собрание целой провинции голосует за предоставление крестьянам всех лесных и полевых угодий, чтобы общими силами подняться на защиту родины. И ораторы румынского национального собрания в Балажфалве в это же время (даже под *защитой* австрийских штыков) провозглашают раздел земли и возвращение крестьянам древних румынских земель, находящихся ныне в руках у швабов. А Елачич обещает безземельным венграм золотые горы — немедленный раздел земли, как только удастся разгромить «Кошута и его псов», заклятых врагов справедливости и его величества... Посулы оказывают должное действие.

В ответ на отчаянный призыв Вешелени: «Родина в опасности!» — в шиклошском избирательном округе 13 августа рассуждают так: «...о том, кому принадлежит родина, или — что можем мы, люди венгерские, своим почитать, к каким благам причастность и меем, — о том, как видно, вы, господа, разговор не заводите; а ведь когда нас зовет кто-то на поденщину, так говорит загодя, какова будет плата... Чтoб, значит, мы сперва родину защитили, а уж потом вы, господа, вознаградите нас так, как сами того пожелаете? Хорваты в Загребе не так сделали, они-то сперва посулили народу, что надо, а сам бан по всему краю поездил и обещания те повсюду объявил лично, к нему народ-то и тянется весьма сильно. Вы уж поверьте, господа хорошие, так оно и есть, многие из нас о том подумывают, не лучше

ли было бы к хорватам податься... Безжалостные помещики... жестоко нас выпроваживают, когда обращаемся мы к ним с челобитною, об тех землях просим, кои они силою у нас отняли по вами же принятым бесчеловечным законам, а когда мы тоже к силе обратиться хотим, как и они поступили, — тот же час солдатов на нас напускают сотни и сотни; на сербов же они силою нас посылают...» Потрясающие слова. Как мы знаем, ни Елачич, ни его величество никогда ни хольда земли не разделили между крестьянами; самое большее, они оставили в руках крестьян — причем лишь из тактических соображений — то, что получил народ, в том числе и крестьяне невенгерских национальностей, по апрельским законам правительства Кошута. Но и этот вполне прозрачный крестьянский ход мысли указывает путь, по которому следовало идти, идти быстро и решительно.

Возможен ли он был, этот путь? Не желаем ли мы поворотов, исторически невероятных, премудро оглядываясь назад с расстояния в сотню лет? Вполне возможно. И все же мы должны сказать это, как ни больно. Ведь мы пытаемся обрисовать истинность не событий, а хода мысли гениального поэта и нескольких его последователей.

А также — крестьянства. Ибо все-таки именно из крестьянства следовало тогда по возможности быстро и решительно формировать новую нацию, по крайней мере, в той степени, в какой год спустя это хотел сделать уже и Кошут. Войну за освобождение возглавили десятки тысяч «голов человеческих», воспитанных поколением эпохи реформ и мартовской молодежи в сознательности и чувстве ответственности. Но тот материал, коим надлежало руководить, дало крестьянство, тотчас же после того, как проснулось, осознало свою несправедливо оскорбленную венгерскую, вернее — человеческую суть. Самые обездоленные слои крепостного крестьянства, батраки и поденщики, не получили земли, не получили реально ощутимой родины — им лишь пообещали ее! И все же... именно из этих бездомных и безродных людей складывается костяк той славной стотысячной армии гонведов¹, — даже не-

¹ Honvéd — «защитник родины»; слово, введенное венгерской революцией 1848—1849 гг. и относившееся к солдатам революционной-освободительной армии.

смотря на то, что Комитет защиты отечества дает разрешение состоятельным гражданам выставить солдат *вместо* себя, и несмотря на то, что вербовка начинается после посрамления в большинстве своем дворянского руководства. Именно эти люди разобьют вскоре при Озоре хорватскую армию Рота и Филипповича.

Кто же представляет их интересы? Речи Танчица, самого нетерпеливого сына отечества, Национальное собрание заглушает громовым хохотом; его тоже объявляют безумцем; закон о свободной печати впервые применяют по отношению к его газете¹, причем так, что газета от этого тут же испускает дух. А кто слушает другого сына народа, поэта, которому, к вящему удовольствию многих и многих, именно «народ» дает горький урок свободы и братства?

Пусть мы бываем правы в противовес всем — гордится этим лишь наш разум; душа же испытывает горечь. И даже потом, когда правда, нами возглашенная, уже сияет как солнце, над головами всех. Ибо — почему нас не послушались вовремя?! Мы не придавали значения пророческим свойствам поэтов, как и телепатическим их способностям. Но если находится человек, который открывает перед своими современниками то, что происходит в головах званых и незваных устроителей судьбы народа (и о чем мы сегодня можем прочесть в архивах), столь повышенная — политическая — чувствительность очевидно поражает. Исключительную, действительно, граничащую с телепатией, способность Петефи ориентироваться мы относим за счет его необыкновенной способности быть последовательным. Политики могли бы совершать паломничество в его скромное жилище, как в какие-нибудь новоявленные Дельфы. В разгар преследований Петефи за стихи, направленные против короля, точнее — 29 июля, Кошут пишет в своей газете так: «Пусть Его Величество, не опасаясь малейшего ущерба для авторитета его, пусть его высочество эрцгерцог Франц-Карл из любви отеческой принесут великую жертву и дадут нам юного короля в лице Франца-Иосифа — венгры в Буде желают оказать почести своему королю».

¹ Имеется в виду еженедельник «Газета трудящихся», который Танчиц начал выпускать в апреле 1848 г.

А будущий юный король в эти же самые недели в далеком Инсбруке, потирая руки, показывает матери воззвание Елачича и не может нахвалиться методами, какими бан, как только представится случай, собирается в стране венгерцев «восстановить оскорбленные права короля, авторитет и порядок». В Инсбруке Елачич менее всего таит, сколь смертельно он ненавидит венгров. «Das Mongolenthum muss mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden!»¹ — завывает он с искаженным лицом, но только что приглашенные в Буду величества и высочества лишь поощрительно улыбаются. Будущий «юный» император и король с врожденной предусмотрительностью главные свои надежды возлагает на Елачича и официальную чешскую партию, которая уже распространяет повсюду оригинальное умозаключение, позднее сообщенное императорскому правительству в виде официальной записки: венгры — прирожденные бунтари, даже венская революция — дело их рук, так как они не желают признать права славянских национальностей и румын! Двор и на это одобрительно кивает. Частично свои надежды он возлагает и на сербов, представленных патриархом Райачичем. Будущий император, рожденный от брака знаменитого своим уродством и слабоумием мужчины и женщины, способной с ним, слабоумным, разделить ложе, уже высокомерно носит голову, а в голове — веру в то, что ему от бога назначено быть всех выше. И за это именно в Венгрии он получает самые низкие поклоны. Как в подобном положении следует поступить с подобным существом? На это отвечает Сильвестр, герой поэмы «Апостол», который разряжает свой пистолет в короля.

Реакция, возглавляемая австрийским домом, после победы над итальянцами 25 июля явственно становится на ноги, но решительный удар европейской революции наносит в Париже Кавеньяк, еще в июне. Насколько взрывные силы и причины революции сорок восьмого года были изначально социальными, указывает то, что уже социалисты Луи Блана пытаются и практически

¹ «Этих монголов нужно уничтожить огнем и мечом!» (нем.).

обрисовать перед миром контуры коммунистического общества, в то время как капиталисты Наполеона I II, — только они и поняли по-настоящему, что такое коммунизм, — торопятся поскорее отступить назад от всякого рода революций, хотя бы даже под защиту монархии.

Волна революции остановилась по всей Европе. Но не в Венгрии. Контрреволюция проявляется здесь как сила внешняя: на границах начинают опустошительные действия руководимые австрийцами хорватские, сербские, румынские части; естественно, что страна, защищающая завоевания революции, от социальной борьбы переходит к национальной обороне. Во главе этого движения встанет Кошут, обладающий феноменальными способностями.

Ну, а сама революция — она между тем может ли остановиться? Может ли быть парализовано социальное развитие? И именно тогда, когда защита родины требует новых сил? Поэма «Апостол» доказывает также и то, что Петефи внимательно следил за новым направлением парижской революции, которую, правда, разбили, но идеи которой донесли до Пешта и, как ни странно, здесь вновь попытались воплотиться в жизнь. Дивные речи Ламартина, волшебные сны Блана — словно угасшие звезды, свет которых летит сквозь космические пространства, указывая путь мореплавателю и путешественнику, — именно сейчас зажигаются вдруг на венгерском небе и сияют там ярко. Толкователем великих французов становится молодой поэт.

Неудачи рождают у Петефи не жажду мести, а лишь закаляют его душу. Он пережигает в себе горечь испытаний так, что ни единая искра не падает бумерангом на нацию.

«Апостол» — эпическая поэма, по размеру не уступающая «Витязю Яношу», — представляет собой как бы идейный словарь поэта. Какой смысл вкладывает Петефи в такие слова, как счастье, свобода, бог, священник, восстание, деспотизм, король, — на этот вопрос четко отвечает его героическая поэма, в которой историки литературы с такой готовностью выпячивали и даже преувеличивали недостатки. Сильвестр, этот Оливер Твист, выросший между Дунаем и Тисой, становится революционером в горниле социальных бедствий. Грязь городских трущоб, затем лакейская служба у богатого барина — вот откуда познает он устройство общества.

Сильвестр борется за нацию свою, за родину, но владелец дворянской усадьбы и деревенский поп, все прироченные и профессиональные враги свободы, вполне справедливо видят в нем революционера, жаждущего переделать общество. Таким образом, наводя пистолет на короля, герой целится не в отвлеченное понятие, а в главу миропорядка, опирающегося на угнетение, в того, кто освящает своей особой всяческие злоупотребления. Это первый шаг на пути развития.

Да, верно, негодяи в поэме нарисованы слишком черной краской; но разве не правы были романтики, наполнившие мир подобными образами? Нам следует еще раз вернуться к их социальным воззрениям. В поэме нет-нет да и чувствуется влияние Сю, но лишь настолько, насколько его можно ощутить и в произведениях Достоевского. А разве детство и юность самого поэта не напоминают романы Сю или Диккенса? Каждую главку поэмы мы могли бы снабдить комментарием: вот комната переписчика в Пожони, вот бездомные скитания поэта, а это жалкая берлога на улице Хатвани, это Эрдед, это Сабадсаллаш, это Юлия, такая, какой была она в воображении поэта... А последняя сцена — вероятное его будущее, если бы не было Шегешвара.

После в некотором смысле крайних форм идеала свободы — независимого бегяра и веселого бродяги, владеющего лишь «нищенским посохом да волей», после этих бунтарей, стоящих вне общества, Сильвестр хочет быть революционером в рамках самого общества.

Поэма может вызвать у нас лишь одно замечание: она написана слишком быстро. «Витязя Яноша», при всей поспешности его создания, все же вел с уверенностью доброжелательный советчик из прошлого — народная сказка с ее сапогами-скороходами. Сильвестр прокладывает путь по неизвестной территории, к будущему. Все окружающее еще в тумане, но нам и не следует разглядывать эти пейзажи, наше внимание целиком должно быть направлено на героя, мысли которого, его симпатичное нам воодушевление увековечены и на этот раз мастерски точными словами. Мы только что назвали поэму своего рода словарем Петефи; возьмем для примера лишь одно слово — «развитие» — и посмотрим, что понимал под ним поэт.

«Вот виноградина, — он думал, —
Невелика она, а все же,
Чтоб виноградина созрела,
На это требуется лето!
Земля ведь тоже плод огромный,
Так сколько лет необходимо,
Чтоб этот мощный плод созрел?
Тысячелетья? Миллионы?
Но все же и земля созреет,
Созреет этот плод великий,
И будут лакомиться люди
Им до скончания веков!
...Под солнцем зреет виноград,
И прежде, чем он станет сладок,
Миллионы солнечных лучей
В него вдыхают пламень жизни!
Вот так же и земля!! Она
Ведь тоже зреет под лучами,
Но те лучи не солнце льет,
А человеческие души.
Явление души великой
И есть вот этот самый луч,
Но появляются не часто
Такие души на земле.
Так как же можем мы хотеть,
Чтоб этот мир созрел столь быстро?
Я чувствую, я — тоже луч,
И помогаю зреть я миру.
Лучи живут лишь день единый,
И знаю я: когда начнется
Тот виноградный сбор великий,
Я отгорю уже, погасну,
И след моих трудов ничтожных
Затерян будет меж великих
Трудов всего людского рода.
Но все же придает мне силу,
Спасает от боязни смерти
Сознание, что я тоже — луч!

(Перевод Л. Мартынова)

В «Апостоле» уже чувствуется тяжкое похмелье после поверженных освободительных движений прошлого столетия — нигилизм; после неудачи дела общественного является мысль о бесцельности дела личного.

Однако как раз сейчас надеждою венгерского национального сопротивления становится революция. Когда поэт уже готов сделать выводы, а может быть, и изменить направление, — именно тогда время начинает подтверждать его правоту, правоту глашатая вооруженной революции. Национальное собрание наконец выступает против камарильи, Кошут разоблачает Елачича и его подстрекателей, нация действительно объединяется,

даже владетельное дворянство голосует за снаряжение двухсот тысяч новобранцев, на окраинах страны начинаются перестрелки... Революция приближается к новому своему этапу, однако нация — по мнению поэта — все еще не выказывает того одушевления, какое предписывается историей революций в случаях предательства королей. По-прежнему много глубокомысленных раздумий, поисков мирного решения, политических словопроений... Нет, лира не вправе умолкнуть!

А сколько для этого поводов!

Нация вооружается.

Венгерец вновь венгерцем стал!
Он сам собою стал отныне, —
Не будет больше он слугой
При иноземном господине.

Венгерец вновь венгерцем стал —
Ярма он не потерпит снова.
Звеня, осеннею листвою
На землю сыплются оковы.

Венгерец вновь венгерцем стал —
Сверкают палаши и шпаги,
Лучится солнце на клинках,
В очах горит огонь отваги.

Венгерец вновь венгерцем стал,
И пламенеют наши лица
Огнем развернутых знамен,
Зовущих в битву устремиться!

Венгерец вновь венгерцем стал!
Одно у всех венгерцев сердце,
И это сердце бьется так,
Что в ужасе враги венгерца.

Венгерец вновь венгерцем стал,
Героем стал на поле брани,
И мир, великий мир, глядит
На чудеса в венгерском стане.

Венгерец вновь венгерцем стал
И вечно будет сам собою,
Иль в славный час, в ужасный час
Умрем мы все на поле боя!

(«Венгерец вновь венгерцем стал...».)
Перевод Л. Мартынова)

Под влиянием споров на заседаниях Национального собрания — споров, но не решений — начинают волноваться выведенные за рубежи Венгрии солдаты. Они не станут императорскими палачами, не будут наемными

душителями братских народов, стремящихся к свободе! Происходят потрясающие вещи: офицеры держатся с солдатами заодно. Военный министр Месарош, который смотрит еще с почтением на венгерского короля, проживающего в одном теле с достойным всяческого презрения австрийским императором, корит офицеров за неподчинение, но Петефи на всю страну, на весь мир провозглашает свое восхищение ими, выражая тем чувства каждого истинного венгерца:

Из листвы дубовой
Я венки сплетаю
И слезами счастья
Листья орошаю.

Тот венок носите
Ленкеи гусары,
Храбрые солдаты,
Честные мадьяры.

(«Сотня Ленкеи». Перевод Л. Мартынова)

Лирика, порожденная живым внешним миром — обществом — сейчас достигает наивысшего накала. В спиральной линии духовного развития поэта «Апостол» стоит примерно на том же месте, что, в свое время, «Тучи»; внешние впечатления приводят в движение все более и более глубокие, внутренние слои. Интонация пылкая, буквально раскаленная, однако процесс углубления начался вновь. Впрочем, живые образы, злободневные события сейчас вызывают к жизни стихи более чистые и долговечные, чем вызывали герои истории, ряд которых, между прочим, и закрывается Мартиновичем и Контом.

Первым, кто занимает их место, оказывается, увы, Вёрёшмрти... избранный в Национальное собрание. Как поэт, Вёрёшмрти не заслуживал обращенных против него суровых строк; как политик, он заслужил их. Вместе с большинством депутатов маститый поэт проголосовал за то, чтобы часть венгерских воинов по-прежнему, даже теперь, продолжала защищать венгерскую речь, повинуюсь немецкой команде.

Молчать ли? Ведь тебя люблю я,
Как своего отца, люблю.
Молчать ли? Ты от слов вот этих
Так не скорбишь, как я скорблю!..

(«К Вёрёшмрти». Перевод Л. Мартынова)

Стихотворение и ответ на него лишь ненадолго отравили дружбу двух поэтов; сколь великим характером обладал молодой поэт с его непоколебимой верностью принципам, столь же велик был его старший собрат в способности своей понять другого. Во время испытаний под Дебреценом прежняя дружба отца и сына возродилась меж ними.

Более достойные, более высокие заботы легли на плечи обоих и обратили взгляды того и другого туда, где требовалось действовать быстро.

Петефи вновь вступает на арену общественной борьбы как гражданин, то есть в прозе и даже в живой речи. Ему только что не приходится удостоверять свою личность, чтобы вернуть былую популярность, завоевать прежний — всего полгода назад ему принадлежавший! — авторитет. Большинство старалось не замечать совершенства его стихов в отместку за те слова, что он бросил прямо в глаза Сечени и Кошуту во время пресловутого приема делегации в министерстве. Какова же была тому причина?

«Jo Raean!»¹ — запела страна, когда увидела первый список венгерского министерства, а я покачал головой, вспомнив, что венгерец всегда славит солнце на восходе, не дождавшись заката.

Я размышлял: все это порядочные люди; быть может, и на постах министров они будут такими же, но только — быть может. Они — дети той эпохи, которая уже умерла, — эпохи речей, разглагольствований; в этом они были первыми. Но не будут ли они в новые времена, в эпоху дела, последними? Ведь между этими двумя эпохами разница столь велика, что нужны либо совсем новые люди, либо прежним надо заново родиться. А это случается весьма редко. Мир знает только одного-единственного Феникса, да и тот был давным-давно; а может, и это неправда. Из того, что они мастера ораторствовать, вовсе не следует, что они будут мастерами и действовать. Дубильщик выделяет кожу, но сапоги из этой кожи тачает другой...

Настало 10 мая, день кровопролития в Буде (виновники которого, кстати вспомнить, до сих пор не наказаны

¹ «Слава Аполлону!» (греч.).

и ходят себе посвистывая). Там, в Буде, можно сказать, на глазах министерства, косили людей... Тогда я уж не мог сдержаться, во дворе Музея вскочил на трибуну и гневно крикнул перед цветом нации, что не доверил бы этому министерству не только что родины, а даже пса своего.

В спокойном состоянии души я высказался бы, вероятно, иными словами, но смысл в конце концов остался бы тем же.

Эти слова разгневали страну, и мое славное, блестящее имя втоптали в грязь. Я хоть и с болью, но все-таки улыбался, зная, что те же люди, которые сейчас топчут мое имя, потом поднимут его из грязи и сотрут с него незаслуженное пятно...

Со дня на день все более замечая, что министерство похоже на человека, у которого завязаны глаза, скручены назад руки, а ноги закованы в колодки, я все свои надежды возлагал на Национальное собрание.

Чего только не ждал я от этого Национального собрания! Никогда не был я полон более величественных надежд и никогда не приходилось мне разочаровываться столь жестоко, как я был разочарован Национальным собранием.

Господи боже мой! Их, этих людей, избирает пробудившаяся, восторженная, мечтающая о действии и готовая действовать нация, а они бормочут что-то, мычат, как беспомощные калеки. Из равнодушия, из скуки дымной своей кофейни они выходят только тогда и только тогда воспламеняются, когда им можно терзать друг друга, но отнюдь не бороться с врагом. Мы доживем до того, что они, наконец, проглотят крошечное меньшинство Собрания с рожками и с ножками... Рты у них достаточно велики для этого. Сербская проказа¹ пожирает ноги страны, не нынче завтра она вопьется в сердце, а трава, которую надо отнести в аптеку, чтобы из нее приготовили лекарство, трава эта еще в поле. Месяц назад они шумно предлагали формирование двухсоттысячного войска, но с тех пор об этом ни звука, как будто неприятель где-то еще за Гангом и только сейчас наводит через него мост, по которому намерен шагать к нам пешком. На юге Венгрии складывают в мешки

¹ Подразумеваются контрреволюционные войска, вербовавшиеся из сербов.

отрубленные мажарские головы, а кто ж поручится за Северную и Восточную Венгрию? Кто же поручится на Западе за Австрию, подлая рука которой видна повсюду?

Мы, конечно, опомнимся, но только тогда, когда увидим, что попали не между двух, а между четырех огней и что у нас воды достанет разве только, чтобы затушить горящую спичку. И все же, вместо того чтобы немедленно, хоть из-под земли, раздобыть денег и солдат, министры предпочитают играть в солдатики и рубить друг друга, как дети рубят бурьян. Спорят меж собой о теологии, педагогии и еще черт знает о какой «огии». Пора бы вам уже бросить это дело и не заниматься воспитанием, пока мы не знаем, будет ли еще кого воспитывать!

Но лучше всего то, что они считают народ, представителями которого являются, темным и глупым. И главный аргумент их, что народ-де и такой, и сякой, и еще не развит. Народ, благодари же своих представителей! Мне, признаться, народ рисуется совсем иным. И я вижу только одно подтверждение его неразвитости, — что он избрал себе таких представителей».

Перечитаем еще раз этот абзац. Да, именно так говорит он о народе — даже после Сабадсаллаша.

«Вот уже скоро тысяча лет, как пролились на землю первые капли крови, которой крестили Венгрию.

Много раз за эту тысячу лет венгерской нации приходилось дьявольски туго, но не думаю, чтобы когда-нибудь существовало более гнусное положение, чем сейчас.

Эдак не сегодня завтра и я впаду в отчаяние — я! А тогда уж прости-прощай! Ибо в час беды я впадаю в отчаяние последним...

Мы будем, наконец, действовать, но действовать и умирать одновременно. И дела наши останутся как надгробный памятник на нашем могильном холме. Мир не знал, как мы живем, он будет знать только то, что мы скончались!

Печально, печально! И это будет так, если нация не поднимется как можно скорей и не выхватит из рук депутатов и правительства ту власть, которую так доверчиво отдала им и которой они не умеют пользоваться, а если и пользуются, то чтобы творить произвол».

Слова, не слишком подходящие для возвращения себе популярности. Национальное собрание, правда, все боль-

ше оказывает сопротивление государю, и история назовет это позднее революцией. Страна же как революцию это не ощущает: ведь ее сопротивление опирается на древние законные права и, значит, венгерский народ во всем прав! Даже по закону! Еще и теперь, после первого — мартовского — извержения революционной лавы, люди не знают, что революция всегда есть не что иное, как взрыв чувства справедливости. Они живут в революции, но боятся вслух произнести это слово.

Чрезвычайно многозначительно и характерно, что впервые за весь свой творческий путь Петефи именно сейчас называет стихотворение этим пугающим словом. Он знает, что говорит, произнося его:

Пусть трусы бледнеют от песен моих —
Предчувствую я Революции вихрь!

Итак, он явно думает о другой революции, понимает это слово иначе, чем те, кто творит ее в Национальном собрании, не называя по имени.

Печальные нынче пришли времена!
Отцами ты брошена, наша страна!

Затем ли оковы с себя сорвала,
Чтоб новая цепь еще хуже была?

Могильную пыль ты смела, но тотчас
Втоптала судьба тебя в худшую грязь!

Но нет, не судьбой, не судьбой, не судьбой, —
Глумятся твои сыновья над тобой!

.

Не славы венец, но из сорной травы
Готовят колпак для твоей головы.

Как обычно, хула и зловещее пророчество у него лишь подготовка к воодушевлению и надежде.

Но, родина, ты не погубишь себя,
Ты гневным огнем загорелась, скорбя.

Берешься за саблю, готова к борьбе!
Кому ж быть свободною, как не тебе?

Прими же в уста поцелуй сыновей!
Ты, мальчик, вина наливавай поживей.

Целуем и пьем! Поднимается флаг.
Мы поняли: это к восстанию знак.

(«Революция». Перевод Л. Мартынова)

Флаг, трехцветный, с девой Марией, вскоре заколыхался над марширующими к границам венгерскими полками. В том, что так случилось, есть и лепта Петефи. Это результат его возвращения в общественную жизнь. И хотя он не приобрел прежнего своего авторитета, его высказывания, идеи вновь встречаются со вниманием, его воззрения находят все больше сторонников. Он уже не пишет дневник. Документ, который он публикует в «Элеткепек» под дневниковым все же заголовком: «Пешт, 17 сентября (1848 год)», похож скорее на протокольную запись того, что происходит в его душевной жизни.

«Семь месяцев истекло со времени февральской революции во Франции, и моя душа пребывает в постоянном волнении и колебании. Каждый день новая надежда, новое напряженное ожидание, новое воодушевление, новая тревога, новый гнев.

Кто бы поверил, что человеческое сердце может столько вынести, особенно такое, как мое, которое, подобно увеличительному стеклу, отражает добро и зло в огромных размерах, которое, словно стоустое эхо, отвечает на один крик множеством криков...

События последних дней отскакивают от меня, не оставляя следа, как пуля отскакивает от мраморной статуи, как молния — от гранитной скалы...

Я слышал, что Елачич ворвался в Венгрию с двадцатитысячным войском, — и я не впал в отчаяние.

Я слышал, что генерал Адам Телеки совершил столь гнусную измену родине, равной которой не найдешь во всей мировой истории, — и я не отрекся от бога.

Я присутствовал вчера вечером в Национальном собрании, когда письмо короля к наместнику зачитывалось на немецком языке, и в нем король отказывался соблюдать условия, на которых Баттяни принял председательство в совете министров; я присутствовал при чтении этого письма, где его королевская милость — я хотел сказать: величество! — корит Национальное собрание за то, что оно *осмелилось* что-то предпринять; я присутствовал при чтении этого письма. Неслыханное дело! Какой-то немец дает венгерской нации пощечину, — и я не заплакал от отчаяния, не извергал пламя гнева, не стыдился, не краснел оттого, что я венгерец, и даже не крикнул: «Да здравствует республика!»

И еще многое видел и слышал я, и при этом оставался бесчувственным и спокойным, как мумия, пролежавшая две тысячи лет.

И теперь я, тот самый, кто шесть месяцев назад писал, что «нет *возлюбленного* короля», тот самый, которого за это мои венгерские собратья от Карпат до Адриатики объявили самым матерым изменником родины, я теперь спрашиваю: «Так, значит, есть еще «возлюбленный король»? — и при этом не смеюсь.

Я не знаю, сколько еще продлится этот обморок моей души. Но я знаю, что к тому времени, когда пройдет час мести, — а он должен пробыть, — ко мне вернуться утраченные силы и крепость, возрастут в десять, во сто крат. И я знаю, что в тот кровавый Судный день, когда свершится возмездие за растоптанные права нации, за ее поруганную честь, я буду иметь решающий голос.

Ведь все-таки есть бог, который не допустит, чтобы наша нация навеки осталась оскорбленной, опозоренной. Наша нация, быть может, легкомысленна, но не преступна. Она, быть может, слишком лояльна, но не труслива.

Нет, нет, и тысячу раз нет! Венгерская нация не труслива! Кто тебя обвиняет в трусости, нация моя, тот не читал самые прекрасные, самые блестящие страницы мировой истории, те страницы, на которых сверкает меч твоей славы. А ради кого же сверкал сотни лет твой, пусть не всегда победоносный, но всегда героический меч? Если бы ты, венгерская нация, не принесла великие жертвы, турецкий полумесяц и сейчас бы освещал своим призрачным светом развалины европейской культуры.

А нация, которая не труслива, не должна погибнуть! Нация, которая боролась за человечество, погибнуть не может!

Я — маленький огонек в ночи моей родины, но я — огонек; и пусть при свете его нация может прочесть в книге судеб только одно слово, но зато слово это — Надежда!»

Мы можем пожалеть, что к нему не прислушались, и в первую очередь те, кто прямо, лично получал от него советы и предупреждения — правительство, а затем и официальные руководители освободительной войны. Или мы жалеем о том, что они не приняли его к себе?

Что и он не стал официальным руководителем — официальным поэтом? Об этом мы не можем сожалеть. Ибо это приглушило бы, очевидно, столь искреннее доверительное звучание его голоса. И он не мог бы уже полностью, до конца раскрывать себя самого, не мог бы так живо и тесно сплестать гражданские свои чувства хотя бы с чувствами любовными, как он все еще продолжает делать. И можно ли представить себе официального поэта, который выражает отчаяние — когда оно ударит его в сердце? Вот строфа из одного любовного стихотворения Петефи.

Средь романтических скал бурлил когда-то
Глубокий, темный, сладостный поток —
Поток тщеславья! День и ночь, бывало,
Его струей я наслаждаться мог.
Он не иссяк, но больше пить не жажду.
Пусть пьет другой, мечту свою пьяня.
Как темен был бы мир, мой светлый ангел,
Когда б не полюбила ты меня!

Эти несколько строк — пример того, что и гнев, и любовь к людям, и безнадежность, выраженные как чувства личные, все-таки внушают надежду. Забота об общем постепенно станет личной заботой каждого. Любовным стихам не вредит политический накал. Грызущая любящих мысль о разлуке, об опасности ускоряет созревание их чувства. Двадцатипятилетний поэт ощущает себя в расцвете «возраста мужского», испытавшим уже все радости и горести жизни и оставившим их все позади... Юлия рядом с ним — сама юность, вдохновительница и поддержка в боях. И Юлия отвечает этому своему призванию. Она так исполнилась идеями поэта, так излучает их даже в суровые часы, что утомленный мужчина принимает за первичный источник света то зеркало, которое лишь отражает его собственный душевный мир.

Удушлив зной, блуждают в небе тучи,
Растут заботы, жизнь мою тесня.
Как темен был бы мир, мой светлый ангел,
Когда б не полюбила ты меня!

(«И вот достиг я возраста мужского...».)
Перевод В. Левика

В скудной пештской жизни Юлия, вероятно, не без горечи вспоминала о светской жизни в Эрдеде, об утонченном обществе, ее окружавшем; сейчас оно ее отвергает; ей не пишет даже Мари Терей — запретил отец...

Революционные настроения Юлии могли объясняться и такого рода причинами. В Национальном театре она появляется во фригийском колпаке, составляет обращение к дочерям отечества, чтобы они сами повязали на пояс своим возлюбленным саблю. Нравом ребенок, сердцем женщина, умом мужчина — такой рисует ее поэт. Он видит наяву воплощение своих грез. Перед грозной опасностью он не один; преданная, любящая жена прижимается к нему, покуда он играет на высоко вскинутой лире, звук которой вновь слышен повсюду, — он ускоряет и направляет события иногда даже лучше, чем речи политиков.

Будем там, где надо, лишь раздается з о в , —
Каждый беззаветно ко всему готов.
Лишь окликнут, встанем, смелы и тверды,
Родину спасая от большой беды.

(«Доколе?!». Перевод Н. Стефановича)

36

Благодарность и на этот раз не заставила себя ждать. «... в каждом стихотворении ты жаждешь крови угнетателей свободы нашей, наших врагов, — пишет «Немзетёр», бульварная газетенка Ва х о т а . — Но вот война уже у порога — ты был солдатом, детей у тебя н е т , — и все же твой пресловутый меч, которым ты так любил бряцать в дни марта, все еще ржавеет в ножнах. Ну что ж, милый братец, не завидую я твоим поэтическим лаврам». Обвинение это исходит не только от Вахота. О том же говорят и добрые друзья, забывая при этом, что их сабли тоже ржавеют в ножнах. Поэт потрясен, его ранят в самое сердце.

Он сам пересказывает это обвинение в стихах:

Свист пуль кругом, бряцание клинков,
В зеленом поле зазелелась кровь,
И твердь звенит от грома битвы той.
А где поэт? Все дома он, герой?

(«Свист пуль кругом...». Перевод Л. Мартынова)

Что может он сказать в свое оправдание? Ссылается на семью: он должен прежде позаботиться о ней, ибо хотя у него и нет еще ребенка, но он будет, и скоро... Но поспешим мы сами перечислить в его защиту те причины, о которых потрясенный поэт даже не подумал.

Первая причина в том, что пули хотя и свистят уже, но пока это лишь отдельные выстрелы. Вторая же — в том, что поэт не считал еще происходящее в стране подлинной революцией — решающей битвой с явными и тайными сообщниками камарильи, врагом внутренним. Самое торжественное стихотворение этого периода — «К нации», написанное еще 10 августа, к такой битве и призывает:

Нация, отечество, народ мой]
Дружно, быстро — приготовься к бою!
На врага как молния низринься, —
И падет он мертвый пред тобою.

Где наш враг? — ты спросишь. Между нами!
Справа, слева, — он повсюду, братья!
Самый беспощадный и опасный
Тот, что заключает нас в объятия.

Брат, спокойно предающий брата, —
Вот она, гнуснейшая порода!
Сто других один такой испортит,
Словно капля дегтя — бочку меда.

Только смерть — достойный приговор им...

(Перевод В. Левика)

Иными словами — только революция. А зачем она нужна, эта новая революция? Чтобы не правительство с его приводящей в отчаяние медлительностью и напрасной тратой времени, а революция позаботилась наконец о завоевании свободы и защите отечества. Поэт и далее продолжает сочинять прокламации и воззвания «Общества равенства».

За два дня до выпада Вахота «Общество» открывает запись в армию для защиты отечества — армию гонимых. Главным военачальником избирается Мор Перцель. Среди тут же избранных ему в помощь первых девяти капитанов называют и Петефи. Но в тот же день, по предложению Йожефа Мадараса, «Общество равенства» избирает еще один комитет; его члены обязаны «неусыпно наблюдать за событиями», сменяя друг друга через каждые шесть часов в одном из кафе на улице Аранькез.

Петефи избран и в этот комитет, как один из вперёдсмотрящих, один из тех, у кого хороший, верный глаз. В состав маленького комитета вошел также Зерфи, еще недавно столь подло маравший имя поэта. Как Пе-

тефи своим «верным глазом» мог смотреть на этого несомненного карьериста? С тою дисциплинированностью, с какою и положено революционеру, которая суровее даже солдатской.

Дневать и ночевать в кафе на страже родины — быть может, не самый большой подвиг для гражданина, но все же это дает весьма обширные возможности для ориентировки, для выявления основного направления мыслей и событий, для формирования общей позиции. Очевидно, именно в ходе неусыпного наблюдения за событиями и родилось в «Обществе равенства» решение обратиться с прокламацией к народу, к самым простым людям страны. Кто другой мог написать такую прокламацию, быть может, прямо там же, на месте? Кто владел языком народа так, как Петефи? Каждым своим словом прокламация точно бьет в цель.

Мы воспроизведем ее всю не как иллюстрацию, не для обрисовки определенного времени или ситуации, — а как характеристику исторических воззрений поэта, правильности его доводов, как документальную характеристику его самого. Ведь иначе нам самим пришлось бы все это сформулировать и внести в книгу: не первый случай, когда наш герой одновременно и наш соавтор.

«Скорбь и борьба кричат нашими устами; наши слова — как вой ветра, врывающийся в набат.

Пожар, пожар!.. Не деревня, не город — целая страна горит. Мы разбудим всю нацию! Подымайтесь, ребята! Если не встанете сейчас, будете лежать до скончания мира.

Венгерцы! Тысячу лет назад двинулся из Азии народ с намереньем найти самые прекрасные, самые плодородные земли и завладеть ими для своего потомства. Долго, очень долго блуждал сей народ, куда обрел эти земли. Наконец он все-таки нашел их и захватил. Но как же он их захватил? Бесперывно боролся он четыре или пять долгих лет. Целых пять лет гибли люди, ливнем лилась кровь.

Венгерцы! Так завоевали наши предки эти прекрасные владения, ибо витязи, пришедшие из Азии, и были нашими предками.

Семьсот лет жил свободно на своей новой родине венгерский народ. То счастье, то горе выпадало ему на долю, то радовался он, то страдал, но всегда был свободным.

И вот народ обратился к герцогу Лотарингскому, чтобы тот принял венгерскую корону и стал королем Венгрии. Отсюда и пошли все наши беды, и продолжались они триста лет, вплоть до нынешней весны.

Венгерская нация так сказала римскому императору: «Мы до сих пор выбирали себе королей по своему нраву, но это нам надоело, ибо каждый раз при выборе нового короля начинались столь свирепые междоусобия, что они только ослабляли нашу родину. Мы передаем тебе, римский император, тебе и твоему потомству, венгерскую корону, но с одним условием — ты не только пальцем не тронешь наши законы, права и свободу, а будешь их защищать, как святыню».

На это римский император ответил: «Корону я принимаю и стану хранителем и защитником законов, прав и свободы венгерской нации».

Так обещал римский император, и не только обещал, но слова свои скрепил клятвой, и вслед за ним его потомки повторяли ее при коронации, но окружавшая монархов камарилья постоянно нарушала эту клятву.

У камарильи не доставало храбрости для того, чтобы сказать сразу и открыто: «Венгерский народ, конец твоей свободе, ты раб, раб Австрии!» Вместо этого она путем уверток, низких и подлых происков и других сатанинских проделок за триста лет перевернула все наши законы, отняла все древние свободы и права.

Нет у бога еще другого народа, столь связанного по рукам и ногам, какими были мы за последнее время. Тому, кто хотел умереть кровавой смертью, достаточно было произнести одно только слово: «Свобода!» Так погибли на плахе лучшие патриоты родины: Зрини, Франгепан, Надашди, Мартинович и несметное число других.

Римские императоры обещали, клялись, что они будут нашими друзьями, отцами, а кем они стали вместо этого?

Деньги клали себе в карман, а юношей наших угоняли в австрийскую солдатчину. Наши собственные сыновья и братья с обнаженными саблями стерегли наши тюрьмы, и этим тюремщикам, стражникам немецкое правительство Австрии платило нашими же деньгами. У кого настолько черства душа, чтоб не содрогнуться от такой адской гнусности?

Но взошел 1848 год, он взошел новой яростной звездой, звездой народного гнева.

На французском престоле восседал отпетый негодяй король. Франция закричала, от этого крика трон пошатнулся и рухнул, король-клятвопреступник в ужасе бежал, и теперь на его голове — проклятие вместо короны.

Все народы Европы последовали примеру Франции, крикнули и взялись за оружие во имя свободы. Восстали и мы, венгерцы, снова подняв растоптанное знамя свободы: в Пожони — Кошут, в Пеште — молодежь. Как гром прогремело в Вене слово венгерского народа: «Мы желаем стать свободными и хоть миром, хоть кровавой битвой, но добудем нашу похищенную древнюю свободу!»

Немецкое правительство Вены не посмело противостоять нашему справедливому требованию и ответило: «Милая венгерская нация, будь свободной, возьми свои старые права, которые я по кусочкам украло у тебя, возьми и будь счастлива». И мы, несчастные, легковерно приняли эти слова за чистую монету и завалились спать, как люди, у которых нет больше забот. Только теперь начинаем мы просыпаться, когда камарилья снова собралась с силами и кричит нам: «Все, что я разрешила вам в марте, все это была шутка, беру свои слова обратно. Вы будете давать мне солдат, посылать деньги в Вену и, сверх того, так как я много задолжала, будете выплачивать часть моих долгов — двести миллионов форинтов!»

Что ты ответишь на это, венгерский народ, если у тебя еще есть бог и есть еще душа? Не крикнут ли в ответ миллионы и миллионы людей: «Нет на свете той власти, которая могла бы снова похитить нашу свободу! Даже всемогущий бог может отнять только нашу жизнь, но не свободу!»

Может быть, вы сомневаетесь в наших словах? Может быть, не верите, что все, сказанное нами, правда? Тогда объясните же, что делает со своим диким стадом на венгерской земле Елачич, этот хорватский бан, однажды уже смещенный королем, а затем вновь незаконно возвращенный камарильей, втоптавшей этим в грязь наши законы! Скажите мне, почему Елачич уже перешел наши границы, с каждым днем все ближе подходит к Пешту и возвещает, что еще в этом году проведет

там Национальное собрание с помощью бича и нагайки?

Венгерцы! Не только его действия, но даже его слова являются такой беспримерной наглостью, что мы должны утопить Елачица в его собственной крови!

Но Елачиц и его сообщники заявляют, что они не враги народа, а, напротив, его друзья. Найдется ли среди вас хоть один такой глупец, который поверил бы этому? Елачиц — дружок венской, австрийской камарильи, ее наемник; а венская камарилья — враг народа. Так как же может быть другом народа тот, кто состоит в союзе с врагом народа и прислуживает ему? Это бессмыслица!

Если вы хотите снова отрабатывать барщину, платить оброки и превратиться в подъяремную скотину, радушно принимайте Елачица и его кровавые хорватские дружины;¹ но если вы поклялись, как это достойно свободной нации, никогда больше не пресмыкаться, никогда больше не взваливать себе на плечи тяжкое и постыдное бремя, тогда — вперед, граждане! И пусть это будет борьба не на жизнь, а на смерть!

А только ли свободу хочет отнять у нас Елачиц? Нет! Он хочет гораздо большего! Он хочет стереть венгерцев с лица земли, чтоб превратить их отчизну в Хорватию.

Но я клянусь богом венгерцев, что, даже если все дьяволы ада придут Елачицу на помощь, из этого все равно ничего не выйдет. Мы верим в твой героизм, венгерский народ, верим, что легче с неба сорвать самую далекую звезду, нежели тебя стереть с лица земли!

Подымайтесь же, венгерцы! Вперед, к оружию! Пусть встанет каждый, в ком сохранилась хоть капля той крови, которой тысячелетие назад наши предки завоевали для нас нашу прекрасную родину!

У нас нет в мире народа-брата, который бы помог нам; мы одиноки, как дерево в пустыне; только на господу да на самих себя можем мы надеяться; но этого будет достаточно для того, чтобы спасти навеки жизнь и честь венгерской нации».

Прокламация появилась 20 сентября. 24 сентября Кошут отправляется на Алфёльд, чтобы призвать народ

¹ Контрреволюционные войска хорватского бана Елачица по указке Габсбургов обрушились на революционную Венгрию.

становиться под боевые знамена. 28 сентября в Пеште улица творит расправу над лично неповинным, но принявшим на себя незаконную миссию королевским эмиссаром графом Ламбергом. 28-го же сентября венгерское войско между Пакоздом и Шукоро останавливает и вынуждает обратиться с просьбой о перемирии армию Елачича, а затем позволяет ей спастись бегством. Гусары сражались блистательно. Но победу венгерской родине принесли, собственно говоря, те вооруженные лишь косами крестьянские повстанцы — по большей части из Толны, — которые под бешеным артиллерийским обстрелом врага в течение нескольких часов стояли недвижимо, «как бронированная стена». В Толне и поныне любят объяснять стойкость своих повстанцев тем, что накануне они прошагали пешком двое суток подряд, под дождем и по грязи, в промокших, ставших тяжелыми как свинец дохах, так что сдвинуть их с места, даже ради собственного спасения, не могли бы и громы небесные.

События подтвердили правоту Петефи, он по справедливости мог считать, что в том, как сложились обстоятельства, была и его заслуга. Ясно, что ему и далее следовало оставаться там же — там, где направляют ход событий и даже подготавливают их.

Но у него не выходит из головы обвинение: его считают трусом! Нашелся человек, который посмел написать, что он страшится сражения. Да неужто нет никого, кто объяснил бы поэту: он и до сих пор сражался на самом нужном участке?! Те, что торопили его на поле битвы, не посовестились бы и Кошуту бросить в глаза: нечего тут разглагольствовать, марш тотчас же в сенттамашские окопы простым солдатом! И все-таки после первого же предупреждения Петефи готовится в путь: не обвинителям своим в угоду — по требованию собственной совести.

Мне ничего не надо говорить,
И сам я знаю, где мне надо быть:
Здесь, выполняя миссию свою,
Я как в аду, не только что в бою!

(«Свист пуль кругом...». Перевод Л. Мартынова)

Он справляется с взятой на себя миссией. Случайны ли здесь эти слова — взятая на себя миссия? Кто участвует в общественной жизни, тот всегда что-то «берет на себя»; вопрос лишь в том, становится ли это

его призванием, миссией или только «ролью»? В том, как поэт выполнял свою миссию, сказывались, пожалуй, и его актерские склонности. Общественная сцена ведь тоже один из видов сцены — с теми особенностями и сложностями, какие каждый создает для себя сам. Как понесешь ты в драме общества «взятую на себя» задачу — это и решает, будешь ли ты героем или и здесь останешься лишь жалким статистом. Разве Петефи только рядился в одежду пастуха, бродяги, словом, народа? Мы видели, он слился с народом воедино. Теперь мы видим его исполняющим долг патриота, революционера. По талантливости исполнения мы и как актера назвали бы его безукоризненным. Но стоит подойти к нему ближе, как становится ясно: для него это не роль, это призвание. Мы говорили о его искреннейшей непосредственности. Нельзя не поразиться тому, с какою роковой серьезностью он «подает себя». Ни единого слова не обронил он бездумно, впустую. Он играет на сцене Судьбы.

37

Главная сила Кошута — именно поэтому он хороший политик — в его способности извлекать уроки. Он станет потрясающе велик в эмиграции, но и там лишь тогда, когда делопроизводство всей Европы уже откроется перед ним. Удачная фраза о том, что политика есть наука понимать требования момента, принадлежит ему. Пришел ли он к этой мысли на своем опыте? Уже в конце лета 1848 года он превосходно справлялся с этими требованиями. Это выглядит противоречием — ведь освободительная война, борьба, во главе которой он стоял, потерпела поражение. Однако противоречие лишь внешнее, ибо понимание требований момента не означает покорности перед ними или компромисса, — это умение поставить на службу нашим идеалам требования времени и даже обстоятельства. Кошут, оказавшийся во главе руководства страной, настолько зачарован обстоятельствами, что иногда его можно назвать мечтателем. И при этом он, пожалуй, самый практический и усердный человек в Венгрии. Эти две особенности редко соединяются в одном характере. Но именно они обе были самыми главными чертами его исключительно сильного и упорного характера. Идеалами, в которые Кошут пылко

верил, даже часто их меняя, он «зажигал», как выражаются в торжественных случаях, сердца соотечественников. И на очистительный этот пламень возлагал кастрюльки и сковороды требуемых моментов дел, — мы выразимся так, — причем с невероятной скоростью и в еще более невероятном количестве.

Народ и вождь редко так соответствуют друг другу, как соответствовали венгры и этот статный юрист, «дьявольски искусный оратор», как удачно характеризовался он в венских розыскных циркулярах, человек, который, в довершение всех его природных данных, — как писали о нем уже после его лондонских выступлений, — обладал красивейшим баритоном в Европе.

Вовсе не анекдот, ибо, говорят, запись эта сохранилась в стенографическом дневнике, что на знаменитом заседании Национального собрания, когда решалась судьба страны, в самом кульминационном моменте могучей, громоподобной речи Кошута, столь охотно разбираемой в школах и заучиваемой на память, — в тот момент, когда аудитория уже не могла перевести дух от мучительного патриотического наслаждения, прозвучала знаменитая фраза, означавшая восстание: просьба к нации дать двести тысяч солдат и сорок два миллиона военного кредита — но прозвучала она иначе. Оратор, и сам находившийся в пароксизме воодушевления, оговорился. Красивейший баритон Европы попросил двести тысяч форинтов и — поменяв все местами — сорок два миллиона солдат. Повскакавшие с мест разодетые в праздничные национальные костюмы делегаты, вскидывая сабли, шапки и утирая слезы, проголосовали именно за это — проголосовали, действительно, все, как один.

Оговорки никто не заметил.

Единственный, кто, несомненно, там же на месте расхохотался бы при столь характерной оговорке, — Сечени, известный «своим адским сарказмом», — в это время уже вслушивался в разглагольствования демонов безумия. К сентябрю Кошут остался единственным руководителем нации. Он не хуже автора «Апостола» умел возбуждать страсти. И не менее поэта был одержим идеей. Прокламацию против вступившего в страну врага он начинает так: «Во имя всемогущего Бога — Свободы, Бога народов, аминь». Но в формулировке его и сам народ подобен богу.

Кошут скоро признает: в революционной ситуации нужны революционные средства — почему же он все-таки не вступил в союз с величайшим по тому времени народным революционером Европы? Они жили друг от друга в пяти минутах ходьбы. Сколь многому мог бы он научиться у поэта — и еще вовремя!

Может быть, именно потому, что Кошуту пришлось бы у него учиться, а сорокашестилетний, на вершине успеха и в расцвете сил, государственный муж не слишком жаждал признать учителем своим двадцатилетнего? Повторяем: Кошут умел учиться, и следующий крупный его партнер Гёргей, который уже стоит между кулисами событий, чтобы заступить место Сечени, притом не как помощник Кошута, но как равный участник полемики, — также вполне сошел бы за его сына.

Причина лежит глубже. Быть может, в ревности? В той ее форме, какая свирепствует среди тех, кого против их воли популярность делает соперниками? Вероятно, искать следует именно здесь, но даже еще глубже.

Не только сфера их деятельности и цели оказались близки. Самые их натуры имеют много, весьма много сходных черт; и все же, по сути своей, они были совершенно противоположностью друг другу.

Кошут обладал выдающимся актерским даром, в том смысле, в каком обладает им всякий великий оратор: он знал и умел пользоваться самыми различными способами воздействия на массы. Сопряжение двух профессий — одна из которых служит развитию мысли, а другая — разыгрыванию страсти — все считают естественным, кроме самих профессионалов. «Воздействие», которое они не без помощи актерских приемов оказывают на публику, профессионалы-ораторы воспринимают как обман и вместо восторга испытывают возмущение.

Мы знаем приемы великих перевоплощений Кошута — и произносим здесь слово «приемы» с почтительностью, естественной, когда речь идет о мастере своего дела. Уже самый его выход для выступления — ведь и оратор *выступает*, как ни верти — всегда был неподражаем: он заранее привлекал к себе рефлекторы внимания. В начале речи голос его — «самый дальнозвучный баритон Европы» — почти не был слышен, звучал подчеркнуто слабо. Сам оратор выглядел болезненно-бледным — злопыхатели утверждали, что бледность была

искусственной: перед выступлением он ел мел. Это очевидная ложь: от проглоченного мела никто еще не становился бледным; не от того бывал так бледен и он, даже если и пытался когда-то съесть мел. Верно то, что перед важными выступлениями он почти всякий раз заявлял, что болен. А если и в самом деле был болен? То, что он, проживший почти сто лет, в период великих своих деяний постоянно говорил о болезни, близкой смерти и даже жажде смерти, — все это не свидетельствует о его неискренности. Делу своему он отдавал себя целиком. Перед той речью, которая решила судьбу страны, его ввели на трибуну под руки; он спотыкался, задыхался; депутаты, даже враждебного лагеря, стали кричать, чтобы он говорил сидя. Он встал, оперся на стол, и вскоре голос его, который из прерывистого вдруг стал громовым, поднял на ноги, как мы знаем, весь зал, весь народ.

Это талант, и его нужно уважать. Мы знаем, что всякий раз, как он произносил слова о том, что (в противоположность Францу-Иосифу) был по отношению к своим противникам рыцарем, так как пощадил жизнь Габсбургам, хотя в течение недель держал в кулаке их судьбу, всякий раз при этом — позднее и в Лондоне, и в Вашингтоне, на торжественных заседаниях — он мощным жестом взмахивал сжатою в кулак рукой, показывал ее как видимое глазу вещественное доказательство и так стоял в этой незабываемо прекрасной позе до тех пор, пока неизменно взрывающиеся аплодисменты не превращались в гром оваций. Подобные сцены и жесты мы воспринимаем обычно как пустую позу. Но он эту пустоту заполнял до отказа, к тому же стойким, благородным материалом — верностью. Из совокупности его благородных, повторяемых на протяжении всей жизни жестов в конце концов получился поистине прекрасных очертаний памятник, один из самых лучших в глазах нации.

Петефи — который знал в совершенстве приемы актерского ремесла — видел лишь кошутовские жесты и полагал, что знает все его карты. Он был неправ; хотя на первый взгляд мог показаться себе правым. Не зная внутренних достоинств Кошута, он не сделал ни шагу для сближения. И не однажды на свой манер — то есть тоже громогласно — высказывался о нем оскорбительно; правда, лишь косвенно, например, когда сказал, что

компании, душой которой был Кошут, не доверил бы даже пса своего.

Ответом на это — словно бы ответом не просто одного человека, а самой судьбы — было то, что и Кошут не знал Петефи с его истинными достоинствами. Когда Петефи появляется на горизонте, у Кошута уже столько дел и столько всего ему нужно видеть и замечать, что он так и не успевает разглядеть *поэта* в народном певце, наделавшем так много шума; он уловил лишь имя его, а не стихи. Очевидно, знал Кошут и о непочтительных высказываниях Петефи, но все же мы не можем считать, что в первом своем обзорном сочинении, посвященном революции, в знаменитом виддинском письме, он преднамеренно пишет следующее: крестьяне, поднявшиеся с косами и лопатами на войну, шли в сражения, распевая боевые песни великого певца свободы Вёрёшмарти. Кошут повторяет это и позднее, в более спокойные годы. Мы знаем, что Вёрёшмарти не писал боевых песен, по случайности не писал и таких, какие попали бы на уста народа. Такие стихи писал автор «*Национальной песни*», и писал много. Тот факт, что Кошут не исправляет этого даже тогда, когда у него была возможность узнать в погибшем смертью храбрых Петефи также и поэта, говорит о том, что он не был истинным читателем ни его, ни Вёрёшмарти, даже в более поздний период. Одно из серьезных упущений в своей жизни он совершает потому же, почему, как мы увидим вскоре, промахнулись и Месарош и Клапка.

Хотя оба они, Кошут и Петефи, попали в вихрь событий, — первый взлетал все выше и выше, второго же затягивало вниз настолько, что тот, наверху, даже не заметил другого, внизу, или, по крайней мере, видел в нем лишь малую точку, одну из многих...

Но не только Кошут теряет поэта из глаз.

Впишем сюда кусок, который вполне может сойти за рассказ. Он мог бы называться: «Влюбленные просыпаются»; или еще точнее: «Пробуждение поэта». История вполне достоверна. Каждая деталь ее может быть проверена по 158 странице журнала «Косору» («Венок») за 1884 год. Записана она Дёрдем Надем со слов Игнаца Бато, главного нотариуса в Ясладане, который

в воссоздаваемое нами время неожиданно посетил поэта на его пештской квартире по-родственному — жена Бато и Юлия были двоюродные сестры. Это уже не трехкомнатная квартира на улице Дохань. Поэт рассорился с Йокаи, сперва — из-за Розы Лаборфалви, великой любви Морица, которая, конечно, актриса превосходная, но была в интимных отношениях с графом, а значит, не подходит для молодого демократа... Йокаи выехал из общей их квартиры. Тогда распалась лишь дружба. Идейное содружество распалось в связи с делом Вёрёшмарти; Йокаи стал на путь трезвого благоразумия, с которого не сворачивал больше никогда.

Молодая чета не могла одна оплачивать прежнюю квартиру; с ними жили теперь и старые Петровичи, не к очень большой радости Юлии. Они перебрались на улицу Лёвес, где кроме комнаты стариков, имелись две тесные комнатухи, в которых разместились молодые. Здесь-то и посетил их Бато.

Он явился в дом утром, часов в семь-восемь, на кухне его встретила служанка, девочка лет четырнадцати. Да, хозяйева уже встали... На голоса вышла Юлия, в белом утреннем пеньюаре, в расшитом, с оборками, чепчике на голове; лицо ее и походка выдавали, что она уже на шестом месяце. Юлия было собралась вести шурина в комнаты, но тут увидела, что он привез большую корзину с яйцами, маслом, салом — подарок сестре от Фанники...

— Ох, голубчик, только тише! Если Шандор узнает, что вы привезли нам подарки, тут же выкинет все за окно. Спасибо вам большое от меня, но он ничего ни от кого не принимает...

— Ну, ладно, ладно, спрячь куда-нибудь.

Через маленькое тесное помещение (судя по не убранной еще постели, то была спальня) они прошли в комнату, которая была еще меньше. Бато запомнилось, какая это была простая, обставленная лишь самым необходимым комнатуха; скромная мебель, голые, давно не крашенные стены позволяли судить о крайне стесненных материальных обстоятельствах хозяев. Петефи уже сидел за письменным столом. Его худощавую фигуру облекал длинный утренний халат; халат был красный, по красному полю — желтые и голубые цветы.

— Ничего, понемножку, — отвечал он на расспросы, — хлопот и беспокойства всякого хватает. Мы ведь нынче

за полицию. У кого какая беда — сейчас к нам бегут, чтоб заступились, перед Музеем речь сказали в зашиту, разъяренный народ успокоили.

В это время поэт много прихварывал. Лицо его было бледно, щеки впали. За беседой, однако, он оживлялся, особенно когда заговаривал о правах народа, о родине или свободе. В такие минуты глаза его оживленно блестя; слова свои он сопровождал сильными и быстрыми жестами.

Шурин удивляется, что в таком состоянии Петефи еще и с речами выступает.

— Да как же мне не выступать, когда всяк ищет во мне опору. Все думают, что только я да Пал Вашвари призваны удерживать народ от возмущений. А коль скоро доверие общества ко мне проявляется столь явно, свобода же родины моей самое задушевное мое дело, то я все и делаю, пусть даже потом и голова с плеч...

Юлия еще прежде вышла из комнаты, — очевидно, затем, чтобы пристроить корзину; теперь она вошла опять со словами, что какой-то раввин желает говорить с поэтом, притом с глазу на глаз.

— Вот видишь, шурин, так у меня всегда. Этому-то что нужно?.. Войдите! — крикнул он, услышав тихий стук.

В дверях появился среднего роста и благообразной наружности мужчина с длинною черной бородой; он был в праздничном облачении раввина.

Юлия с зятем вышли в другую комнату.

— А правда, Юли, чего он пришел? — прошептал Бато.

Юлия знаком показала: «тихо!»

— Вот здесь, у двери, будет слышно...

Но особенно прислушиваться не понадобилось, разговор за дверью велся довольно громко, особенно под конец.

Раввин просил Петефи выступить перед Музеем с речью в защиту евреев. Поэт не отказывался, хотя вместо себя хотел предложить Вашвари... Тогда раввин выложил на стол кучку золотых — за труды.

— Извольте немедленно убрать ваши деньги!.. Я не имею обыкновения получать вознаграждение, никогда и ни от кого! Свой гражданский долг я исполняю в отношении всех и каждого без всякого вознаграждения...

И предупреждаю вас, не вздумайте искушать Вашвари, уж он-то по-другому вернет вам вашу милостыню!

Посетитель собрал свои деньги. Петефи вышел из комнаты взбешенный, со сверкающими глазами.

— Отчего ты не проводил его? — с невинным видом спросил его шурин.

Петефи рассказал о происшедшей сцене.

— Счастье его, что он тут же отступил, не то я вышвырнул бы его в окно, вместе с его золотом! — воскликнул он; от сдерживаемого гнева лицо его совсем побледнело, по всему телу пробегала нервная дрожь — Видишь, шури н, — добавил он с горечью и бо лью ю, — вот какая судьба выпала бедным венгерским писателям... А между тем, дружище, я ведь едва свожу концы с концами.

Разговор свернул на материальные заботы. Месячный доход Петефи в это время едва превышал двести форинтов, а ему приходилось содержать на эти деньги родителей, готовиться к предстоящей болезни Юлии, к появлению новорожденного. Когда заговорили об этом, поэт сказал, что думает записаться в армию; то есть из национальной гвардии перейти в армию, где офицеры получают приличное жалованье. Правда, снарядиться нужно за свой счет, а это потребует солидных расходов. Петефи решил взять у Эмиха разом две тысячи форинтов, этого должно было хватить.

— Шандорка, милый, — вмешалась Ю л и я, — но ты же не все заберешь себе? А я-то на что буду жить?

— Возьму тысячу шестьсот, четыреста оставлю тебе. Этого довольно будет?

Юлия рассердилась.

— Мне все равно. Делай, что хочешь!

— Может, ты недовольна, что я пристегну саблю? Да ведь сейчас каждый порядочный человек сражается на войне.

— Это дело твое. Я только тому удивляюсь, что ты лишь теперь пришел к этой мысли, когда весь цвет молодежи нашей воюет.

Так вот как умела разговаривать маленькая домашняя вдохновительница? Юлия нередко появлялась на народных собраниях, опоясанная огромной лентой национальных цветов, если верить болтовне супруги Вахота. Так вот при каких обстоятельствах она использовала слышанные там прекрасные речи?

Поэт поглядел на шурина. Его бледное лицо покрылось краской. Вероятно, ему было очень больно, — пояснял Бато, — что именно предмет его обожания столь невысоко ценит его жаркую любовь к родине. Во взгляде его сверкающих глаз были и неловкость, и сожаление, и сильная душевная мука... На лбу пролегли горькие складки; облокотясь обеими руками о стол и устремив перед собой взгляд, он погрузился в глубокую задумчивость...

Наступила долгая тишина; Петефи время от времени всматривался в жену свою испытующим взглядом; однако на нее ни мучительный этот взгляд, ни красноречивая тишина не произвели ни малейшего впечатления; ее лицо оставалось прежним.

Поэта бесконечно ранило это равнодушие; из глаз его выкатились две большие слезы. Он встал из-за стола, повернулся к окну и отер ресницы платком.

Тишину нарушил шурин, утешив поэта чисто по-венгерски:

— Не печалься, Шандор, будет еще и похуже.

Становилось все хуже. Сколько бы страниц ни предстояло еще нам заполнить, на каждой, как заглавие, мы могли бы написать эти слова. За Юлией последовали друзья, товарищи-революционеры, вожаки, чтобы не опоздать с попреками, чтобы вовремя воздать ему «благодарность». Они словно догадывались, что такая возможность у них будет еще недолго: не более года. События нагромождаются и, как волны, накатываются друг на друга, перекатываются, сталкиваются. Мы вот-вот должны будем отказаться от того спокойного течения, в котором до сих пор следили за жизнью поэта; и самого поэта события начинают швырять во все стороны, — куда и как, мы узнаем тоже лишь из самых событий, Петефи уже почти ничего не рассказывает об этом. Мы приближаемся к последнему акту, перипетии которого поэту не суждено было комментировать...

Напоследок ему удастся еще раз глубоко вдохнуть мирного счастья. Для того чтобы спокойно переписать начисто «Апостола», Петефи на несколько дней переезжает с женой в Зуглигет¹. Здесь опять между ними

¹ Тогда — пригород столицы; сейчас — один из ее районов.

воцаряется полный мир, молодой муж уже овладел искусством рассеивать грозовые тучи; супружескую клятву, как и любую другую, он выполняет честно: опуступчив, ведь он же сильнее! За эти быстротечные дни Петефи пишет два стихотворения. Первое, «В горах», относится к числу тех его шедевров, которые и поныне еще не привлекли к себе должного внимания.

Там внизу, внизу в ложбине,
Тонет город в дымке синей.
Он на прошлое походит
И, как время, вдаль уходит.
Он рисуется в тумане
В образе воспоминанья.
Хорошо средь высей горных,
Высоченных, непокорных.
Здесь становятся на отдых
Облака в своих походах.
Я вступал отсюда в споры
С звездами в ночную пору.
Там внизу, внизу в тумане,
Смутном, как воспоминанье,
Я оставил мысль о доме
В шумном городском содоме.
Я оставил там заботы.
Я не выношу их гнета,
И когда они на шею —
Я как камень цепенею.
Я средь гор вздохнуть присяду, —
Трогать здесь меня не надо.
Для других отдавши годы,
Украду хоть день свободы.
Дрязги я внизу оставил,
Вниз, в туман, обиды сплавил,
Гадости и все иное.
Здесь лишь радости со мною.
Здесь со мной два близких мира:
Милая моя и лира.
Женщина с душой ребенка, —
Вон жена моя сторонкой
Мотыльков с цветов сгоняет,
Рвет цветы, венки сплетает.
Вот она мелькнула тенью,
Вот исчезла на мгновение,
Вот опять явилась, рея,
Фея леса, горной феи...

(Перевод Б. Пастернака)

Стихотворение это показывает, как бы он еще писал, доведись ему петь не только во время бури. Другое стихотворение — всего шесть строк: три дистиха. Оно еще более достойно внимания и еще меньше им пользовалось. Поэтому прочитаем его с повышенной проница-

тельностью, не забывая и о том, чему научились с тех пор благодаря углубленному психологизму символистов. Кто здесь молит вихрь быть бережнее с ним? Что это за храм, в гнезде-алтаре которого поет жрец-соловей? У нас не может быть сомнения — поэт поистине проговорился: ведь раньше, в одном из прежних стихотворений, он свою душу называл храмом.

Тише, о вихрь неумный! Своим необдуманным гневом
Не растреви, налетев, сень моих длинных ветвей!
Помни, подобен я храму, гнездо, как алтарь, я вмещаю,
В том алтаре соловей служит верховным жрецом.
Ты не мешай ему: славит он песней торжественной бога,
Громко природу поет, нашу священную мать.

(«Куст говорит вихрю». Перевод Н. Чуковского)

Инсинуация Вахота опубликована 10 сентября; через день-два начинается военная служба Петефи.

Он — недисциплинированный солдат, командиры скрипят зубами от его непокорности. Но, в самом деле, кому обязан подчиняться революционер — командирам своим или революции? Поэт по праву считает себя вождем революции, он и в офицерском мундире, который столько раз сбрасывает и надевает вновь, служит той революции, которой должна бы служить и армия; а хорошо ли она служит — на этот счет мнение революционера-вожака значит, по крайней мере, столько же, сколько мнение военачальника, особенно в то время, когда революция находится еще в состоянии первоначального брожения. Так рассуждает поэт, и когда руководство армией обвиняет его в небрежении своими обязанностями, у него имеются все моральные основания в свою очередь обвинить в том же руководство. Еще неизвестно, кто из них лучше понимает указания самого высшего командования — революционной идеи. Дисциплина революции иная, нежели дисциплина казарм.

Молодой поэт, надев офицерский мундир со знаками отличия, мучительно краснеет, когда солдаты, вытянувшись в струнку, салютуют его мундиру, — ведь это тоже одна из разновидностей привилегий, неравенства, к чему отрицать! Господин капитан сперва облегчает свою совесть стихами: он пишет о том, что простые солдаты значат куда больше, ибо по-человечески приносят родине большую жертву, нежели офицеры, и потому офицерам следовало бы приветствовать их первыми.

Я первый должен честь отдать солдату, —
Ценней нас всех солдат во много раз,
Так, значит, уважайте рядового, —
Он, офицеры, выше вас!

(«Уважайте рядового!». Перевод Л. Мартынова)

Верная, но для распространения в казармах несколько опасная мысль, до тех пор, пока армия, весь народ, одушевленный священным порывом, по своей охоте не выполнит навалившуюся на него задачу... Об этом размечтается поэт, когда в один прекрасный день достигнет тугой воротничок офицерского мундира, а знаки различия прикроет белым отложным воротником. Отличия он носит не на одежде, а в душе! Он и в мундире остается поэтом — более того, он и в мундире — citoyen!¹

Когда Кошут едет в Цеглед — воодушевлять народ на борьбу, с той же «государственной миссией» отправляется в Эрдей и Петефи. По дороге заезжает в Эрдед, где и оставляет Юлино на время ее недомогания.

В Эрдеде опять выпадает минута затишья — среди бурь и грохота войны рождается стихотворное воспоминание, столь эфирно-тихое, что в дыхании его был бы слышен и шелест крыльев бабочки. Поэт воссоздает настроение двухлетней давности, когда он впервые сидел со своей любимой в саду замка.

Стоял такой же день осенний,
Тянулись ветки в синеву,
С деревьев ветра дуновенье
Бросало на воду листву.

Поверхность пруда отражала
Свод неба светло-голубой,
И так же лодка у причала
Покачивалась над водой.

(«Ты помнишь?..». Перевод Б. Пастернака)

В сборнике стихотворений Петефи — и по порядку написания — оно стоит непосредственно перед созданным также в Эрдеде стихотворением «Жизнь или смерть!». Прочитаем их одно за другим: это производит впечатление невероятной глубины и еще раз свидетельствует о том, какими неисчерпаемыми ресурсами обладал поэт,

¹ Гражданин (*франц.*) — слово, приобретшее известность у публиканцев всего мира после Великой французской революции.

с каким совершенством умел он заставить звучать флажолеты, чтобы тотчас же вслед за этим потрясти громовыми раскатами органа.

Выехав из Эрдеда, Петефи сразу же получает первое боевое крещение. Попасть к секеям ему не удастся.

От Надьбани приходится повернуть назад; Эрдей уже весь в огне, как и Южная и Верхняя Венгрия. Напрасно поэт, сбиваясь с ног, бросается то в комитатскую управу, то к помощнику губернатора, напрасно строчит донесение, сочиняет воззвание, — создать заслон наступлению десятитысячного войска румын он не может. Результатом его миссии, как и стольких других, было стихотворение, рык раненого льва — венгерской нации — перед прыжком. Перл европейской тирсейской поэзии.

От Карпат до Нижнего Дуная
Рев и гром, а венгра одного
Бросили в беде, и буря злая
Рвет и треплет волосы его.

Даже если б сам я венгром не был, —
За народ, что страждет и скорбит,
Я б восстал, когда людьми и небом
Он покинут, предан и забыт.

(«Жизнь или смерть». Перевод Н. Стефановича)

Стихотворение буквально переворачивает душу. Буря, гром, рев — вся эта символика мощи обретает достоверность благодаря таким будничным, почти зримым волосам, которые *треплет ветер*. Именно здесь стихотворение становится величественным и таким остается, даже несмотря на бешенство и гнев, вырвавшиеся на свободу в следующих строфах. Напротив, это придает ему еще больше величия. Даже в момент головокружительно высокого взлета страсти поэт не теряет почву под ногами. И какую почву! Венгерскую землю, «цветок на шляпе господней», как поется о ней в народных песнях, топчут вражеские ноги. Стихотворение — действительно безжалостное обвинение обманутых национальностей. Но у Петефи нет времени объяснять, верны ли, справедливы ли доводы. Не воодушевление неопита делает поэта нетерпимым венгерцем, а, в первую очередь, глубокое убеждение, которое подтвердит потом и будущее, что венгерцы в этот момент — носители свободы. Руководители освободительной войны совершили много ошибок, мы сказали о том открыто. По каким

причинам тогдашние руководители соседних национальностей совершили еще больше ошибок, следует разобратить во имя взаимопонимания их сегодняшним сыновьям. Поэт же — нужно ли опять сослаться на стихотворение «Одно меня тревожит...», на первое воззвание «Общества равенства» — бросился в бой на защиту всего человечества...

Судьба Венгрии была наконец решена. Ее решило не правительство и не Елачич, а молодой майор с холодной головой, дисциплинированный солдат, Гёргей, — который посмел приказать повесить одного предателя родины, даже несмотря на то, что тот родился графом¹. Именно Гёргей сделал правительство совершеннолетним благодаря тому, что поверил в него и принимал его распоряжения так, словно то были распоряжения действительно самостоятельного правительства. Все чувствуют: назад пути нет. Венгерские армии двинулись вперед. И остановились — одна за другой. Повсюду предательство, недоверие: национальная гвардия перед самой Веной, у Швехата, обращается в бегство; зажиточные крестьяне не хотят отдавать армии не только сыновей своих, но и лошадей и даже овес. Тем не менее нация подымается: слова поэта, первым указывающего революцию направление, все-таки перекрывают безумную сумятицу голосов. Революция, словно устремившийся с гор поток, разливается день ото дня все шире; она, несомненно, достигла бы той цели, которая была предписана ей историей, если бы вслед за армией прислужников императора ей не пришлось померяться силами еще и с царскими полчищами... Венгерский народ блистательно выполняет ту задачу, которая диктовалась его положением: нет сомнения, будь у революции время для дальнейшего вызревания событий, для того, чтобы дворянско-буржуазное движение завернуло наконец и на крестьянскую улицу, то и другие национальности поняли бы, на что им следует ориентироваться.

Молодой поэт то здесь, то там вскидывает голову над потоком событий. Из Сатмара он мчится в Пешт,

¹ Речь идет о графе Эдэне Зичи (1809—1848) — политическом деятеле, служившем интересам венского двора. Был перехвачен солдатами Гёргея, когда спешил с тайным донесением от Елачича к австрийскому генералу Роту; казнен по приговору трибунала.

оттуда, вслед за армией, судя по всему, в Пандорф, оттуда — с австрийской границы — через Пешт в Эрдед, потом в Дебрецен, к своей части.

Оттуда — опять в Эрдед.

Здесь он пишет Араню — даже в пучине бед и горячи все в том же привычном для их переписки шутивым тоне:

«Сын мой Янко! Целый месяц понадобился бы для того, чтобы я хоть вкратце описал события последнего месяца. Я объездил Толну, Бараню... Уезжал из Пешта, возвращался в Пешт и оттуда приехал сюда. Дело окончилось тем, что я стал солдатом и теперь приехал попрощаться с моей Юлишкой. 23-го числа сего месяца я буду в Дебрецене, куда, надеюсь, и ты заедешь проститься со мной, ибо кто знает, куда меня закинет судьба и когда мы еще увидимся. А ты знай, что я очень люблю тебя и мне хотелось бы тебя крепко обнять перед этой, возможно долгой, разлукой».

Романтическая детская дилемма: любовь — свобода — оборачивается вполне серьезной реальностью. Поэт одновременно в трех-четырёх местах должен выполнять задачи, каждая из которых требует человека целиком. Необходимость заботиться о других сваливается на него именно тогда, когда ему нельзя думать даже о собственной судьбе, чтобы с прежней лёгкостью и свежестью взмывать над событиями. Кто позаботится о стариках, если он уйдет на поле боя? Да и Юлия, с ее утяжеленной походкой, — Юлия уже не та вдохновляющая к борьбе Муза, какой она была еще в Сабадсаллаше; это маленькая испуганная женщина, которая плачет и жаждет видеть мужа подле себя неотлучно. Прощание длится долго.

Рыдай, рыдай! О, если б ливень слез
Хоть каплю облегчения принес!
Хотя бы капля скорби унеслась!
Рыдай! Вот я мужчина, я стою
В преддверье битв, и все ж я тоже лью —
Бывает это! — слезы лью из глаз!

А что же слез стыдиться буду я,
Когда огнем объята грудь моя?
Разлуки пламень не отбушевал!
Но выстою в бою и в этот раз —
Быть может, лев страшной всего в тот час,
Когда скорбит, что львицу потерял!

(«Да и чему бы радовался я...». Перевод Л. Мартынова)

Свобода, любовь... Два великих чувства — долг революционера и долг супруга — ведут спор лишь в душе Петефи. В поэзии они не приходят в столкновение и звучат по отдельности, сменяя друг друга, столь чисто, словно произносят их два разных человека. Любовное чувство, несколько ослабленное капризами Юлии, во сто крат увеличено тем, что Юлия будет матерью. Нового пылу добавляет и великий усилитель любви — расстояние. Ободряющие строки к далекой жене льются с таким же жаром, как и обращенные к нации бичующие или вдохновляющие стихотворения. Это не игра, не смена роли, а совершенная форма искренности; ни в той, ни в другой позе поэт не застывает камнем. В Дебрецене рождается стихотворение «Люблю...» с его ласковым, обвивающим и тело и душу ливнем строк...

Люблю я, милая!
 Как я люблю тебя!
 Люблю твой тонкий стан,
 Люблю твои глаза,
 И голос твой люблю,
 И волосы люблю,
 И алость этих щек,
 И мягкость этих рук...
 (Перевод Л. Мартынова)

И дальше, дальше, словно колдовское заклинание, на восемьдесят строк, покуда хватает дыхания, но все с тем же пылом до конца.

Здесь, в Дебрецене, написано и стихотворение «Лук мой славный...» — великолепная прокламация, направленная против королей; ибо, пока суд да дело, время как будто начало признавать правоту поэта в суждении о королях.

Лук мой славный, дорогой,
 Грянем в трон разок-другой!
 Прямо в бархат бей, стрела,
 Чтобы тучей пыль пошла!
 Учиним с тобой расправу
 Мы республике во славу!

• • • • •
 А теперь мораль моя:
 Дураки вы все, друзья!
 Сколько лет прошу, молю:
 Дайте в морду королю!

И опять, словно поэт призывает толпу скандировать вместе с ним:

Учиним с тобой расправу
Мы республике во славу!

(Перевод В. Левика)

Теперь и правда все больше людей повторяет с ним вместе эти слова. В Дебрецене Петефи вновь ощущает вокруг своих идей, а следовательно, и вокруг себя самого атмосферу доброжелательства. Он просит дать ему дело. Свою поэзию он предлагает как оружие в общей работе. И пишет стихи с «агитационной» целью.

Поэтов-революционеров в мировой литературе достаточно. Но истинно политических поэтов — революционных или консервативных — мало; ведь содержание стихотворения должно оформиться в слова, пройдя не только через разум, но и через сердце, и явиться в первозданной свежести, согретым страстью, — не неся на себе клейма заданности. Между тем политическое содержание всегда в большей или меньшей степени задано. Но сердце Петефи способно ежесекундно загореться и жаром дела общественного. Венгерских поэтов всех времен немало обязывает тот факт, что величайший политический лирик XIX века писал по-венгерски и дал поистине непревзойденные образцы политической поэзии. Нужно вдохновить солдат освободительной армии? Давайте проследим даже не за словами, а за тем бурным током крови, что ощущается в них. Вот образец революционно-политического стихотворения, в котором страсть и сквозь переплетение мыслей пробивает себе дорогу.

Трубит трубач, бьют барабаны!
Вперед, друзья, на подвиг бранный,
Вперед, мадяры!
Пуля поет, палаш сверкает,
Все нас на подвиг вдохновляет.
Вперед, мадяры!

Пусть развеивается над нами
Все шире, шире наше знамя.
Вперед, мадяры!
Написано на нем «Свобода».
Пусть это видят все народы!
Вперед, мадяры!

(«Боевая песня». Перевод Л. Мартынова)

Стихотворение это, к сожалению, попало не к гонведам, его слушало на пленарном заседании Национального собрания. Декламировал не сам поэт — стихи зачитал с председательского кресла Пазманди между двумя официальными донесениями. Затем они были переданы Комитету защиты отечества, так как поэт пожелал, вернее, предложил распространить стихотворение среди солдат, отпечатав листовкой. В Комитете, согласно правилам, оно было заактивировано, — листовкой же и призывом к борьбе стало лишь полгода спустя в Эрдее, когда генерал Бем собственной властью повелел отпечатать его и распространить в армии.

Юлия в это время по-прежнему далеко. И в Дебрецене рождается еще одно потрясающее стихотворение, обращенное к н е й , — «Холодно осенней ночью...».

Даже думать я не в силах,
Дух озяб, не только тело,
Ты, весна моя, певунья.
Лето знойное, ты улетело.
(Перевод Н. Чуковского)

Когда Юлия приезжает, любовная струна в лире поэта умолкает окончательно, уступая место другой, громоподобной, которая выражает чувства *сiтоуен'а*.

И это опять — голос гнева. Причин для гнева более чем достаточно, как внешних, так и внутренних. Дело свободы в этот период пребывает в весьма печальном положении. В Вене снова хозяйничает Виндишгрец; по сообщениям газет, «цветущий красавец город сейчас — живое кладбище... десять тысяч человек расстреляны...» Пухнер с боем занимает Коложвар; Верхнедунайская армия отступает. Незадачливый Фердинанд в Ольмюце отрекается от престола, вместо него несколько неизвестных господ сажают на венгерский трон неизвестного молодого человека, который в воззвании своем к венгерцам — венгерцам, внукам Арпада и Аттилы! — обращается так: «Указываем... Сим повелеваем... подчиниться... бунт прекратить...» Новый «король» величественно и угрожающе ждет от своих народов благоговейного поклонения. Первую оду он получает из Венгрии; лучших стихов (конечно, с точки зрения поэтической и эстетической) ему не писали более никогда.

Если бы в стихотворении «На виселицу королей!» с тем же жаром воспевались короли, то и «благонамеренная» критика, несомненно, сочла бы его одним из луч-

ших произведений Петефи. Читатель, способный ценить в искусстве лишь красоту, не мог не зачислить его в лучшие и так, как оно есть. Стихотворение начинается на высоких тонах, и все же у поэта хватает силы, чтобы от строфы к строфе все более повышать голос. Ненависть облачается в шекспировской мощи слова; великолепный анжамбман усиливает и буквально выплескивает ярость:

Нет больше Ламберга — кинжал покончил с ним.
Латура вздернули. Теперь черед другим.
Все это хорошо, прекрасно — спору нет!
Народ заговорил — и вот залог побед.
Но мало двух голов! Смелей, друзья, смелей!
На виселицу королей!

Наконец-то Петефи может высказаться до конца. Быть может, на силе взрыва сказалась и удушающая обстановка прошлого года, когда ему не давали говорить? В стихотворении слышен не только гнев, но и чувство удовлетворения. Кто оказался прав? Вместе с дражайшим юным блондином из Ольмюца — Францем-Йосифом I — получают наконец ответ и верноподданные стихотворцы, авторы контрстихов.

Природа яд взяла, чтоб кровь его создать,
Преступной подлостью его вскормила мать,
В позоре он зачат, и жизнь его — позор,
Чернеет воздух там, куда он кинет взор,
Гниет земля, как труп, вокруг его костей —
На виселицу королей!

Стихотворение — оно появилось в печати только после смерти поэта — семь раз подряд создает столь грозную обстановку, что рефрен каждый раз высекает молнию.

Война свирепствует во всех концах страны,
Пылают города, деревни сожжены.
От воплей в воздухе немолчный гул стоит:
Довольна жатвой смерть, один король не сыт,
Виновник стольких бед, убийств и грабежей —
На виселицу королей!

(Перевод В. Левика)

Стихотворение полнокровно — в нем и поучительный пример, и доказательства, и точный рассказ о положении вещей (как в последней процитированной строфе), и похвала, и призыв к действию, — все это катится в таком широком потоке искренней страсти, что глаз, не

споткнувшись, проскальзывает мимо измены вкусу в последней строфе, когда поэт, почти теряя рассудок от ненависти, отбрасывая прочь и лиру и меч, сам готов стать палачом.

Причины для горечи, помимо происходящего вокруг, усугублялись и личными обстоятельствами. Его батальон переводят из Дебрецена, но не на поле боя, а опять на постой — только в другое место. Юлия делает все, чтобы в эти критические дни удержать мужа подле себя. Петефи и остается, но в суматохе запаздывает с просьбой об отпуске. Покуда он опоминается, на него уже готов донос; по крайней мере, он так думает. Орлаи пишет ему — передавая пештскую сплетню, — что Комитет защиты отечества намерен вычеркнуть его из списка офицеров, как дезертира! И это почти правда. Поэт избегает позора, но не нового потока клеветы.

Посреди всей этой сумятицы Петефи, наряду с самыми мощногосыми своими песнями, пишет и самые тихие, тончайше легкие поэтические строки. В осенней дымке по краю горизонта пылают подоженные деревни, грохочут пушки, гудит набат...

Кончиками пальцев трону
Лиру тихую свою.
Легкий звук скользнет к затону,
Призывая к забытью.

Сядь, дружок, со мной в прохладе.
До тех пор молчи, пока
Смолкнет звук над водной гладью,
Словно шепот ветерка.

(«Осень вновь, опять чаруя...».)
Перевод Б. Пастернака)

Между тем румыны угрожают уже и Эрдеду, семья Сендреи бежит в Дебрецен. Здесь, ровно через девять месяцев после 15 марта, родился ребенок, который, по мнению отца, «мог бы и впредь оставаться таким же честным нехристом, каким родился. Однако ради тестя и тещи, весьма усердных христиан, мне пришлось окрестить его».

Несколько месяцев спустя Петефи напишет свое последнее в жизни прозаическое произведение — рассказ на одной-двух страничках об обстоятельствах рождения сына. Нам любопытно будет прочитать его хотя бы ра-

ди одной фразы, где проясняется, чем же все-таки окончилась мучительная история с Вёрёшмарти; кстати сказать, Петефи окончательно лишил здесь великого своего учителя — не лавров, нет, но — дворянского «ипсилона» в написании фамилии.

«Вечером 14 декабря я беседовал с женой о Таците, как вдруг ей стало плохо. До следующего полудня испытывала она жесточайшие мучения, воспоминания о них до сих пор бросают меня в дрожь. Я уже и не чаял, что бедняжка переживет роды: такая она маленькая, тоненькая, хрупкая — кажется, будто легчайшее дуновение ветерка справится с ней. Сын мой был тоже таким слабеньким, крошечным, холодным и, я сказал бы, даже бесформенным, что первое мгновение он показался мне мертворожденным. Трех дней от роду он заболел, и эта болезнь еще пуще изнурила его, но вскоре он поправился и стал расти прямо на глазах...

...Кроваткой ему служили два составленных вместе плетеных стула, и, когда ему хотелось спать, он засыпал сразу, не требуя, чтобы его укачивали. Но потом жена Вёрёшмарти и жена Шандора Вахотта стали брать его на колени, таскали на руках, и он привык, чтоб его укачивали. С тех пор убаюкать его бывает подчас невероятно трудно. В первое время после рождения у нас бывали с ним и другие неполадки; несколько недель он ни под каким видом не желал брать грудь. В доме все до смерти уставали, покуда с превеликим трудом удавалось всунуть ему грудь в рот».

Петефи не желал избавить себя от войны; но, если бы и пожелал, ему это не удалось бы. «Доброжелатели» едва имели терпение выждать те две-три недели, которые упустил поэт, — а мог бы уже стоять под пулями! «Сын уже есть, причины медлить исчерпаны, извольте отправляться на фронт не мешкая!» — на чье бы лицо ни упал его взгляд, поэт читал одно и то же. Вопрос только в том, какой фронт ему выбрать. Ибо выбор велик.

Стыд поражений, бегств позор
Везде, куда ни кинешь взор!

(«Стыд поражений...». Перевод Л. Мартынова)

Шлих приступом взял Кашшу, Эрнё Киша побили сербы, Перцеля — немцы, Гёргей сдает Буду... правительство бежит в Дебрецен.

Немецкий флаг опять над Будой вьется.
Как яростью душа не захлебнется!
Мы все краснеем, — то стыда румяна,
То горький стыд наш, но не кровь тирана!

(«Немецкий флаг...». Перевод В. Левика)

Кошут, который до сих пор надеялся поднять боевой дух и патриотизм дворянства призывами «дать дворянству то, на что оно по праву может рассчитывать, дабы была у него охота защитить родину в сей великой опасности», — теперь обращает надежды свои на крестьянство; он провозглашает герилью, патетически давая обет предоставить даром по десять хольдов тем, «кого в сих сраженьях постигло бы несчастье». Противник уже сделал следующий шаг — не только обещал, но и действовал: как писала газета «Марциуш Тизенётёдик», на отвоеванных врагом территориях «цену на соль снижали». Не народ, а наша добрая отечественная грязь задержала Виндишгреца в его намерении — как говорит он в своем воззвании, в обычных для властей всех времен оборотах, — «восстановить пошатнувшуюся под воздействием анархических замыслов власть законов, равно как и обращенную в ничто личную и имущественную безопасность» населения. Виндишгрец угрожает, и небезрезультатно. Трусы и колеблющиеся отступают в сторону, путь между Пештом и Дебреценом — огромная цедилка. Революция, освободившись от балласта, вступает в новую, следующую фазу.

А что Европа, великий образец?

Тиха Европа, вновь тиха, бои
Всех революций оттремели.
Презренье ей! Она затихла, и
Свободу взять народы не сумели.

(«Тиха Европа...». Перевод И. Тихонова)

Итак, столица в руках врага.

«Что касается меня, — пишет Петефи, — то от этого удара я не только не впал в отчаяние — напротив, радуюсь... Теперь все полудрузья и тайные враги перейдут на сторону победителей, а ведь мы до сих пор не одержали победы только потому, что они были среди нас».

Первая и важнейшая особенность душевной организации революционера — мы еще приведем тому примеры — состоит в том, что никогда, ни при каких обсто-

ятельствах он не испытывает чувства безнадежности. Тот, кто испытывает его, уже по самой природе вещей — не революционер, как мертвый — не живой. Именно в эти дни Петефи отмечает в своих дневниковых записках, без всяких комментариев: «Конференция депутатов. Няри заявил, что Венгрия потеряна». Сам же поэт в статье, которую мы только что цитировали, делает такое заявление:

«До сих пор на защиту свободы поднимались только отдельные люди или отдельные нации — они были подавлены; в прошлом году сразу вся Европа провозгласила то великое и священное слово, которое является новым спасителем человечества. А всю Европу уже не сокрушить!..

Берегитесь, через несколько месяцев, а то и раньше, восстанут все люди цивилизованного мира и с криком, от которого треснут небеса, кинутся штурмовать преисподнюю. Она же находится не под землей, а царит здесь, на земле, в обличии тиранов, которые владеют тем беспощаднее, чем ближе их смерть. Ведь и мухи злее всего кусаются именно тогда, когда предчувствуют свою гибель.

А потому — отбросим тревоги, ибо они необоснованны, отбросим отчаяние, ибо это не мужественно. Будем уповать на бога, а пуще на самих себя и будем неустанно биться! В счастье и трус становится отважным, но только тот мужчина и герой, кто даже в поражении носит свою голову гордо, как победитель. А мы по двум причинам должны быть героями: чтобы сохранить нашу свободу и жизнь и чтобы нашим предкам, которые своей кровью окрестили и придали величие и славу имени мадьяра, не пришлось краснеть за нас.

До весны бы только нам продержаться, а там и вся Европа придет на помощь; впрочем, я предпочел бы, чтобы этого не случилось и мы могли сказать: «Свободу свою мы завоевали сами».

Так вставай же, нация моя! Напряги всю силу своих рук и души, силу, которой не сломили даже большие бедствия. Из десяти заповедей сохрани лишь одну, а из этой одной только одно слово: «Убий!», ибо, если ты не убьешь, убьют тебя. Так выбирай же! Мы должны показать, что дозволили врагам вторгнуться в наши пределы только для того, чтоб они больше не могли выбраться, чтобы они все, сколько бы их ни было, по-

гибли здесь. Докажем, что права венгерская пословица: «Кто другому яму роет, сам в нее свалится».

Победные вести приходят только из Эрдея: Коложвар снова в руках венгров!.. Но, кажется, и другие вести распространяются о тамошней венгерской армии? О ее духе и ее военачальнике? Поэт просит о милости перевести его в эту армию. «...по нынешним временам можно избегнуть позора только возле Бема». Поэт обращается к Кошуту: «Моя просьба относится, пожалуй, скорее к генералу Веттеру, нежели к вам, но с этим человеком я уже разговаривал и говорить больше не стану: не хочу разувериться в своем убеждении, что самые нецивилизованные люди на свете баконьские свинопасы. История доказывает, что участь некоторых людей такова: чем больше делают они для родины, тем больше претерпевают унижений и несправедливостей. Я принадлежу к этим людям.

Думаю, что имею право с некоторым сознанием своих заслуг оглянуться на пройденный путь, потому что мои песни были первыми уроками свободы для венгерского народа. И это не претензия, а факт: до их появления народ ничего не знал о той идее, за которую он сейчас воюет. В награду я не получал ничего, кроме постоянных унижений, но никто никогда не обращался со мной так гнусно, как Веттер».

Веттер в самом деле просто выгнал Петефи; как говорили — потому, что поэт явился к нему без галстука и перчаток.

Это уже второе письмо Петефи к Кошуту; на первое, которое должно было прийти к адресату как раз в день эвакуации Пешта, если оно и пришло, поэт не получил ответа. У нас мало данных о том, каковы были распоряжения по второму письму. Мечта Петефи исполнилась, как о том свидетельствует нижеследующее письмо, адресованное Араню: он мог отправляться на то поле битвы, какое было ему по вкусу. В Эрдей. Письмо юмористично. Мы-то уже могли бы привыкнуть: всякий раз, как беды насаждают на него, он помальчишески начинает шутить. Сейчас беды сыплются градом.

«Милый Яношка, ты написал мне на большом листе бумаги, я возьму лист еще больше; ты написал мало, я напишу еще меньше. Не чаял я, что нам придется когда-нибудь переписываться друг с другом, ибо был

уверен, что тебя Виндишгрец схватил в Пеште и зачислил в солдаты. Слава богу, этого не произошло. Родина, правда, погибла, но хоть ты уцелел. Да, *ad vocem*¹, черт поberi, милый друг, с-с-собачье у нас положение... но ты не горюй, я еще жив и еще не выхватил своей сабли из ножен, а когда выхвачу, то кто его знает, что еще я вытащу из ножен вместе с саблей и какие победы засверкают на ее острие? Но прежде чем спасти родину, я должен спасти свою семью, а этого я, думается, не смогу сделать без твоей помощи. Поэтому слушай внимательно. Я тебя не прошу: ты истинный друг и все зависящее от тебя сделаешь без всякой моей просьбы; а если ты мне не друг, то тут и просьба не поможет. Я не только верю, но и знаю, что ты мой друг, а потому без всяких околичностей напишу тебе прямо о своих намерениях. Жену свою, как только она немного поправится, я до наступления лучших дней переправлю к тебе вместе с ребенком, поручив их целиком вашим заботам. Думаю, что здесь никакие трудности не встретятся. Это можно будет сделать. Но главное следует дальше. Может быть, не сегодня завтра, точно еще не знаю когда, мне придется уехать. Теща моя тоже поедет домой, ибо вчера мы так поссорились, что дело дошло чуть ли не до пощечин и даже еще дальше. Таким образом, жена моя может оказаться одна с ребенком. Оба они равно беспомощны, а в Дебрецене у них не будет никого. Поэтому, если вам позволят обстоятельства, привези или пришли сюда куму; пусть она недели две побудет с моей женой; а потом они вдвоем, даже втроем, вернее, вдвоем с половиной, могут поехать в Салонту. Если вы не приедете, не стану возмущаться — стало быть, это совершенно невозможно. Я-то ведь знаю вас. Больше того, если ваш приезд сопряжен с большими жертвами, не приезжайте. Я не знаю, удастся ли мне когда-нибудь отблагодарить вас за такие большие жертвы. В лучшем случае могу пообещать, что вычту ваши расходы на поездку из тех денег, которые я вам должен. Больше об этом ни слова! Что я получил двадцать пять пенгё, это неправда. Я их, конечно, получил, но признаваться в этом не желаю. Даже и слыхом не слыхал о твоём письме, в котором были эти деньги».

¹ К слову (*лат.*).

Пятнадцатого января Петефи отправляется к Бему. Сильвестров день он, как всегда, приветствует стихами. Поэт на сей раз не подводит итоги; он смотрит не назад, а вперед, смотрит с тревогой.

Душу вывороти, лира!
Вспомни солнца мотовство
И обеими руками
Сей слабеющее пламя
В час захода своего.

До последних замираний
Звуков сдерживай раскат, —
И в горах времен, пожалуй,
Твой аккорд, как гул обвала,
В будущности повторят.

(«В конце года». Перевод Б. Пастернака)

За то краткое время, что еще было отмерено поэту, лира его звучала все реже.

39

Революций в классическом смысле слова в мировой истории крайне мало. Насильственное изменение государственного устройства еще не тождественно этому понятию, хотя чем далее, тем чаще революцией называют даже просто внезапный переворот. Словесный образ, который таится в венгерском звучании понятия «революция», очень удачно дает проникнуть в его суть. Революция по-венгерски — *forgadalom*, образованная от глагола «*forogni*» (кипеть, клокотать, бурлить), вызывает в представлении некий грандиозный бассейн (чашу, чан), заключающий в себе ту или иную часть человечества — в большинстве случаев это страна или государство, — который понемногу нагревается, настолько, что вскоре начинает бурлить («полыхать», как говорят у нас в провинции); иначе говоря, материя человеческого общества меняет форму: увеличение количества приводит к изменению качества, воспользуемся этим выражением из диалектики. Если говорить об обществе, то этот процесс охватывает его не сразу и не повсеместно, то есть не в равной степени проникая во все стремящиеся подняться слои.

Даже в случае национальной революции поначалу, как правило, прогрееваются и закипают лишь один-два

слоя; но, пока не начнется всеобщее «бурление», «попыханье», слово еще не будет соответствовать классическому его значению.

«Согревательные» силы венгерской революции 1848 года, как мы видели, имели экономический характер: подогрев шел от низших социальных слоев. Но после созыва представителей, депутатов весь мир, двор и даже сам Кошут судили о проявлениях революции, о признаках кипения, «попыхания» страны по настроению Национального собрания. Оно и в самом деле поразительно образом кипело и попыхало. Однако выражало оно пока движение одного лишь, собственно, слоя. И могло быть еще только началом процесса закипания всего бассейна, всей нации.

Нельзя осуждать Кошута за то, что, даже полностью став на революционный путь, он выбирал соратников из этого слоя — слоя, из которого происходил и сам. Он нашел себе блестящих помощников. Но вознесением одного из них совершил роковую ошибку. Он нарушил естественное развитие революционных сил.

Ничто так, как революция, не подвергает испытанию внутренние силы нации; во время революций, когда прежние нормы поведения отмирают, добродетель и преступность в равной степени вырываются на свободу. Амебообразное движение, которое начинает в эти периоды совершать страна, может в равной мере стать явлением как распада, так и возрождения. Нация именно здесь раскрывает, что таила в своих молекулах, — одним склонностям она дает простор, а другие подавляет и тем самым по-новому себя формирует.

Та «сила», которую принес с собою в революционное движение Гёргеи, потому стала вредоносна, почти независимо от воли Гёргея, что происходила она из молекул иного типа, то есть шла не изнутри самой революции. Между тем именно революция вознесла Гёргея, и не без причины: он был превосходный организатор, умелый руководитель, волевой, хладнокровный, смелый воин, внушительная личность. Лучше бы он не был таким. Ибо в нем не хватало одного: он не был революционером, и прежде всего революционером национальной революции. Хотя и считал себя таковым.

Революционер стряхивает с себя правовые нормы существующего строя и потому действует революционером — согласно нормам будущего, нового строя. Право-

вые нормы существующего строя сбрасывают и преступники; но они не революционеры, ибо поступают не в согласии с нормами будущего правопорядка, а лишь по велениям собственной натуры. Так же поступают и психически неполноценные обвиняемые, то есть те преступники, вредным действиям которых мы заранее находим оправдание.

Великий процесс Гёргея, нового протагониста Кошута, следовало бы начать так же, как начинается уголовный процесс: с сообщения эксперта-психиатра. Правда, так называемый суд истории не слишком принимает во внимание личные изъяны; чем большему числу людей нанесло вред преступление, тем труднее простить преступника. Но и мы желаем для него не прощения; мы хотим лишь отчетливо все видеть.

У Гёргея была дурная наследственность, жаль, что даже у самых пылких приверженцев Гёргея — в большинстве случаев одновременно и его друзей — не хватило внимательности или смелости хотя бы просто упомянуть об этой, быть может, важнейшей подоплеке его поступков. Вероятно, тогда это суждение о нем было бы подкреплено еще большим количеством фактов, которых, впрочем, достаточно и так.

У него было двое детей; сын, полнейший дебил, влачил свою жизнь, служа кем-то вроде курьера в Музее, да и то по доброте Дюлаи, так как его умственных способностей не хватало даже для этого; дочь, почти в столь же безнадежном положении, полгода проводит на углу улицы, полгода лежит в венской больнице для проституток. Отец помогает ей так же мало, как сыну или жене, которую бывший военачальник держит вдали от себя, от комфортабельной барской усадьбы в Вышеграде, где он жил по возвращении в Венгрию с семьей своего младшего брата. Жена брата была его любовницей, судя по всему с ведома брата, который его почитал как идола. Волосы встают дыбом при чтении оставшихся после смерти этого ветерана писем, ему адресованных; сплошной вопль: папа, только пять форинтов, в последний раз! — и холодное гофмейстерское изъявление благодарности от имени его величества за вновь присланную корзину винограда. И так год за годом.

Старый барин с благородным профилем и холодным взглядом голубых глаз до конца дней своих умел почти болезненно наслаждаться ощущением власти, непре-

клонностью своего нрава и смелостью — вернее, тем, что он принимал за эти проявления духа. Однажды на станции крестьянского алфёльдского городка, где он ожидал прицепки паровоза, люди узнали его, и в толпе началось возмущение, которое вскоре стало принимать опасные формы. Даже спешно прибывшие полицейские стали просить Гёргея немедленно уехать с первым же поездом. Гёргей был непреклонен. Улегся, вытянувшись во весь рост, на одной из скамей перрона и под яростные выкрики толпы «долгой!», как утверждают, даже вздремнул.

То, что после восьмидесяти лет уже слабость, в тридцать лет еще может быть доблестью. Сомнений нет: возведенный Кошутом в военачальники молодой офицер еще не испытывал почтения к смерти — ни при каких обстоятельствах. Он умел убивать с холодной головой, можно сказать, профессионально. Во время сражений он скакал взад-вперед непосредственно позади своих отрядов и собственноручно косил отступавших, то есть нарушавших дисциплину воинов. Отсюда, вероятно, злая шутка острословов, что из всех своих сражений он выиграл лишь те, в которых сам, своими руками, загубил больше венгров, чем враг. То решающее «революционное» деяние, коим он завоевал уважение даже самых крайних якобинцев, — собственно, поначалу только их уважение, — очевидно, потому с такой быстротой и решимостью он привел в исполнение, что в деле убийства не знал снисхождения даже по отношению к аристократии. Можно построить целую концепцию на утверждении, что всю его дальнейшую деятельность направляло желание загладить этот акт — акт не убийства, но непреднамеренно нанесенного аристократии оскорбления. Во всяком случае, несомненно, что среди его офицеров было поразительно много представителей аристократии. У него служил даже младший брат Зичи, казненного им как изменник родины.

Кошут сам еще не был революционером в то время, когда счел, что в Гёргее распознал революционера. Иначе он не избрал бы своим ближайшим соратником олицетворение случайной силы. Совершенно тщетный вопрос к истории — как все обернулось бы, угадай Кошут вовремя подлинного глашатая революции, обратиться он уже осенью сорок восьмого года к группе мартовской молодежи и к недавнему ее вождю, теперь же все более

остающемуся в одиночестве, — к Петефи. Но этот бесполезный вопрос в чем-то все же полезен.

Революционность Петефи, как и другие его черты, старались объяснять его «неумностью», особыми свойствами его индивидуальности. О том, что индивидуальность его была своеобразна и исключительна, говорит громко каждая написанная нами буква. Но его революционность при этом была плодом деятельности трезвого разума, очень даже трезвого разума, — единственного правомерного ее источника. Революционные события и творцов этих событий он неизменно освещает безошибочным светом логики. Даже тех, кто по видимости стоит к нему всех ближе, он рассматривает и разбирает объективно. И даже осуждает. Было и так, что во имя революционной дисциплины он стал плечом к плечу с Кошутом и Гёргеем — против Перцеля.

Взглянем на эту дневниковую запись:

«Комитет защиты отечества призвал Мора Перцеля экономно распоряжаться деньгами его армии, а он на это ответил так: «...меня правительство смеет призывать к экономии! Я намерен просить у него пятьсот тысяч пенгё, да не банкнотами, а серебром и золотом, если же оно не даст мне, то увидит, что я сделаю!» Да ведь это же капитан-разбойник. В другой раз он так заявил перед лицом своего офицерства: «Государственное собрание совершило по отношению ко мне оскорбительное действие, подчинив Гёргею, которого я уже при Пакозде собирался пристрелить и жалею, что не пристрелил. Я разгоню государственное собрание к дьяволу и возьму диктатуру в свои руки, ибо лишь я достоин управлять Венгрией; во мне сочетается талант полководца и дар политического деятеля!» Но ведь это — сумасшедший».

Мор Перцель, один из уважаемых членов «Общества равенства», великая надежда радикалов, действительно, был на грани безумия.

Но поначалу и Перцель — «революционер»; ему додается значительная роль, в немалой степени потому, что он отпрыск (хотя и чудаковатый) весьма богатой и влиятельной дворянской семьи.

Очевидно, что революции необходимо было — было бы — время, чтобы перебродить, чтобы сошла пена. Однако времени история ей не дала. Что следовало делать в сорок восьмом году, Кошут увидел, в сущности, лишь двадцать лет спустя. Тех же, кого судьба назна-

чила ему в сорок восьмом соратниками, он не узнал никогда: лица стерлись в его стареющей памяти.

Лишь один раз он сделал удачный выбор. Мы говорим о генерале Беме. Которого, между прочим, избрал своим военачальником и Петефи. Может быть, они могли бы встретиться благодаря Бему? Могли бы втроём спасти революцию? Как?

В школах живописи, даже предлагая ученикам изобразить фигуру, одетую во фрак, прежде всего заставляют рисовать скелет. Перенесем же на бумагу в виде основы костяк событий революции в оставшееся еще ей время.

Уже первый взрыв революции был подготовлен причинами социальными. Ее завоевание — освобождение крепостного крестьянства — руководители революции естественным образом распространяли на все национальности страны. Венский двор хотел низвергнуть Пешт, фокусную точку революции, привлечением к себе невенгерских национальностей. Переросшая в освободительную войну революция расстроила этот план, принудив Елачича к отступлению, и так удачно, что отряды гонимых прошли чуть ли не до Вены, во всяком случае — до венгерско-австрийской границы. Там, после рокового промедления, венгерская армия оказывается не в состоянии одержать победу и — под водительством неожиданно назначенного командующим Гёргея — начинает отступать, отступать назад, к Пешту, под натиском подоспевшего от Праги Виндишгреца. Гёргей не в силах удержать и Пешт, правительство — отчасти и по вине Перцеля — вынуждено бежать в Дебрецен. Гёргей направляет армию не вслед за правительством, для его прикрытия, но. самовольно приняв решение. поворачивает к северу, одновременно изолируя себя и в политическом отношении. В Дебрецене правительство, становясь на все более радикальные позиции, собирает силы, Бем во главе венгерских войск снова отвоевывает Эрдей, затем, вместе с примкнувшим к нему в конце своего самовольного похода Гёргеем, начинает контрнаступление на австрийские войска, отгоняя их до Вены, вновь под командованием Гёргея, и из-за этого опять опаздывая с окончательным ударом — захватом Вены. Революция по существу выигрывает войну: венский двор не может своими силами справиться с венграми. Поэтому Франц-Иосиф лично посещает в Варшаве Николая I и просит

разбить венгерскую революцию. В июне 1849 года царь посылает в Венгрию под командованием князя Ивана Паскевича 194 000 солдат. Венгерское правительство не в состоянии достичь единства между соперничающими полководцами, чтобы собрать войска для решающей битвы. Проигрывает сражение Дембинский, возглавлявший одну из крупных армий. И тут Гёргей — опоздавший и на эту битву — без всяких условий складывает оружие перед русскими войсками. После отчаянного напряжения сил отступает и Бем; капитулирует — на достойных условиях — Комаром. Венский двор (от имени которого Виндишгрец, во время январского своего наступления, еще соблазнял и дезориентировал нацию, суля восстановление государственной жизни страны) теперь отталкивает от себя венгров беспримерно жестоким «походом мести». «Притеснители венгерцев поистине самые дикие звери из всех, что когда-либо незаслуженно претендовали на имя цивилизованного человека», — сказал Пальмерстон, английский премьер-министр, хотя бы задним числом подтверждая, что против таких врагов оправдана самая революционная, самая упорная борьба.

Гёргей и Бем выступают на арену чуть ли не в те самые дни, когда Сечени — помешавшись в рассудке, его хладнокровные приверженцы-центристы — весьма обдуманно, а молодой поэт — уйдя с головой в унижения и заботы, один за другим исчезают со сцены общественной жизни. То, где и в каком окружении Петефи все же появляется вновь несколько месяцев спустя, говорит попросту о том, что революция именно там пыталась прорваться, искала путь вперед. Хотя поведение поэта по отношению к вышестоящим и отличалось многими шероховатостями, как мы видели, его инстинкт революционера оставался все так же чувствительно тонк

Небольшого роста, с собачьим профилем польский дворянин, который, к слову сказать, никогда не поминал о своем дворянстве, кое-что понимал в революции, в народной армии — и в этом отношении прошел даже несколько школ. Бем — профессиональный военный, офицер, но с самого начала все свои победы одержал,

руководя повстанческими армиями. В 1826 году, тридцати лет от роду, он оставляет службу в царской армии, в течение которой больше времени провел в тюрьмах, чем на свободе. В начале польской революции 1830 года во главе девяти тысяч человек он разбивает двадцать одну тысячу солдат царской армии; с помощью своих артиллеристов спасает при Острожке польские отряды; тогда его назначают главнокомандующим артиллерии. После поражения революции в Польше Бем перебирается в Париж, оттуда, услышав о португальской революции, — в Лиссабон. Оттуда снова в Париж, затем после двух лет вынужденного бездействия — в Львов, ибо там в это время что-то готовилось; из Львова он спешит в Вену, где руководит обороной восставшего города. За два дня до вступления в Вену Виндишгреца, при поддержке Пульски и Сонтага, бежит в Венгрию. В Варшаве, раненный осколком в ногу, он становится хромым; под Иганицей ему простреливают руку, с тех пор она почти неподвижна; в Португалии в него дважды стреляет польский эмигрант; в Вене его опять ранят в левую руку. В каждой стране воин революции оставляет частицу своего тела. Позднее жертвует и Венгрии средний палец левой руки. Но еще до того, на другой же день после прибытия в Пешт, в него опять стреляет его соотечественник, ибо с обычной для эмигрантов нетерпимостью, даже после стольких доказательств, не считает его истинным революционером. Кстати, и тогдашний журнал Петефи, «Элеткепек», называет Бема предателем. Когда поляка, покушавшегося на убийство, признают невиновным, публика встречает приговор восторженными криками. Правительство неохотно, без всякой уверенности, посылает старого воина в безнадежно потерянный Эрдей. И маленький старик, ни слова не понимавший по-венгерски, да и по-немецки говоривший с немислимым польским акцентом, начинает нагромождать чудеса. Словно с цепи сорвавшись, по очереди разбивает одного австрийского генерала за другим, и, покуда венгерские войска во всех остальных частях страны отступают и отступают, он озирается в освобожденном Эрдее, словно герой народных песен — в корчме: ему уже под столами приходится искать своих противников.

Как он достиг этого? Восстание в многонациональном Эрдее также имеет социальные корни. Крестьяне,

несмотря на языковые и религиозные различия, отлично понимают друг друга, когда речь идет о том, как раздобыть землю. Мы знаем из достоверного исторического источника, что «волнение среди секеев было исключительно велико. В Удвархейсеке народ вовсю грабил собственных господ; чтобы соблюсти формальности, они время от времени собирались селениями и держали совет о грабительских делах своих». Один из секеев — депутатов Национального собрания — утверждает, что на земле секеев уже «все имена находятся в руках народа той земли; помещик не ведает, что ему будет принадлежать; все держит в руках своих народ, а помещики с тревогою ожидают минуты, когда решится: останется ли и им хоть что-нибудь».

С тревогой ожидали, вероятно, того же и крестьяне, когда появились венгерские войска. Но Бем еще до начала победоносных своих сражений привлекает на сторону венгерского дела местных крестьян; он одолевает камарилью прежде всего тем, что срывает с нее демагогический флер. Уже из Чучи он посылает воззвание к народам Эрдея: обещает полное равноправие национальностей и религий, равное право на замещение гражданских и военных должностей вне зависимости от рождения, языка и вероисповедания, право каждой национальности во внутренних делах пользоваться родным языком; объявляет, что заботу об инвалидах войны, а также о вдовах и сиротах погибших в бою берет на себя родина...

Очевидно, он сделал еще больше. Повстанческая армия без поддержки населения существовать не может. А для эрдейских сел также важнейшей заботой были пастбища да аллодиальные земли, с которыми все оставалось неясно; несомненно, крестьяне и это выложили маленькому быстроглазому генералу, когда он начал присматриваться к местной ситуации. «Все будет ваше, милые мои дети, только защищайте это, только идите ко мне солдатами!» — так, вероятно, отвечал им многоопытный старый воин? Во всяком случае, крестьяне, стреляные воробьи, которых пустыми речами не проведешь, восторженно, словно загипнотизированные, примыкали к Бему и слепо ему повиновались. Маленький хромой генерал мог проводить самые головокружительные эскапады со своими солдатами, которые сотнями отдавали за него жизни в сражениях под Пишки, Де-

шем, Сасшебешем. С восторгом сражались и умирали по его приказу и воины-дворяне. Как видно, старый генерал сумел все-таки втолковать им, с чего начинается истинный патриотизм.

Вот идет он, вождь наш седовласый,
В наступленье первый, как всегда.
Точно символ мира в день победы,
Белым флагом вьется борода.

Вот идет он, вождь наш седовласый,
В ногу с ним — наш юношеский строй.
Так, бушуя, волны океана
Спрячт в беге с бурею седой.

(«Эрдейская армия». Перевод В. Левика)

Гёргеи ненавидел маленького генерала, как ненавидел всех революционеров и «независимых». Задумывая свой знаменитый очистительный план, он хочет прежде всего расквитаться с Бемом. В воспоминаниях — по-прежнему ненависть, по-прежнему искажая действительность — он рассказывает, что ставил генералу в вину. «...Непристойное вмешательство в вопросы управления страной, самовольное снижение цены на соль в Секейской земле, заселение валашских деревень на место изгнанного населения насильственно пригнанными венгерскими крестьянскими семействами...» Итак, старый воин занимался насильственным переселением! Мы не можем этому поверить. Ведь это противоречило бы его воззванию, а также — его чутью тактика.

Бем поддерживал строгую дисциплину, но, в отличие от других, не в вопросах ношения шейных платков или перчаток. Офицеры могли являться перед ним хотя бы на босу ногу, если они точно так же готовы были идти и навстречу смерти. Он с радостью принял Петефи, хотя поэт именно здесь в полной мере выказал свою недисциплинированность. В первой же битве, при Визакне, не зная о том, что одна рота отступает по приказу командования, он поскакал к отступающим и стал призывать сперва к выдержке, а затем к атаке, в которую было и повел их; но тут же пустился на их глазах в ожесточенный стратегический спор с подскакавшим на место происшествия возмущенным командиром Гергеем Бетленом; все это время вокруг них весело посвистывали пули, а пехотинцы-секеи, вскидывая время от времени головы, ждали, на чем же в конце концов порешат господа...

Старый воин — превосходный знаток людей, он знает, что именно такие, как этот поэт, становятся хорошими солдатами. Он приблизил Петефи к себе. Почему? Потому ли, что и великий Костюшко пожелал иметь своим адъютантом поэта Немцевича? Или революционер опознал революционера? А может, за это короткое время Бем настолько разобрался в венгерских делах, что понял причину популярности поэта? (Самое прекрасное ее проявление Петефи пережил, проезжая как раз по Эрдею. На темной проселочной дороге он встречается с полутора тысячами усталых секейских гусаров; узнав, с кем свела их судьба, они нарушают строй и толпой окружают его повозку. Каждый непременно хочет пожать руку стоящему на повозке взволнованному поэту... Светлая точка в венгерской ночи!) 25 января в Селиндеке Петефи присоединился к находившейся в постоянном движении армии Бема. 3 февраля из Визакны он посылает в дебреценскую газету «Кёзлэнь» («Вестник») нечто вроде сообщения с поля боя.

«Я в армии Бема. Во всей армии меньше всех занят сейчас я, но и у меня времени хватает только, чтобы бегло изложить случившееся и то, что должно случиться впредь. После кровавой битвы, происшедшей под Себеном 21 января, в которой нас заставил отступить не враг, а судьба, — наша армия пошла на Селиндек и там дважды победоносно отразила удары императорских войск. Никогда еще доселе ни армия, ни полководец не проявили большего героизма, чем наша армия в этих двух сражениях. Пока ограничусь только этим, позднее я постараюсь в меру своих сил обессмертить их. 31 января мы пришли из Селиндека сюда, в Визакну, сколько я понимаю, для того, чтобы прервать коммуникации императорских войск между Темешваром и Себеном. И это нам вполне удалось. Одно подразделение под командованием подполковника Кеменя продвинулось к Дэве, для того, чтобы соединиться с идущим из Арада майором Беке и совместно с ним перехватить отряд и боеприпасы, высланные в поддержку неприятеля из Темешвара в Себен. Сейчас это уже совершилось. Из захваченной сасшебешской почты, которую Кемень переслал уже нашему генералу, выяснилось, что и жителям Себена, и императорским войскам в Себене приходится туго. Войско без денег, без хлеба, без боеприпасов, а жители в страхе и отчаянии.

Из Харомсека на помощь нам выступило 8000, из Чиксека 3000 секеев, но, как только прибудет майор Беке, мы, не дожидаясь их, возьмем Себен штурмом. Все мы, начиная от Бема и кончая последним гонведом, верим, надеемся, что овладеем Себеном, а это значит, что в Эрдее будут уничтожены последние остатки реакции. Потом вместе с полководцем и армией мы выйдем на берега Тисы, чтобы показать наши победные знамена отчизне равнин... и, как некогда Бетлен, Ракоци, Тёкёли, мы низвергнемся, словно горные реки, и принесем на своих волнах ковчег свободы».

Добрый старый генерал не мог иметь никакого понятия о величии Петефи; он не прочитал в оригинале ни единой его строки. Но душевный склад поэта он распознает быстро. И обращается с ним, как с родным сыном, тревожится за него, старается держать подальше от опасности. Тонко и тактично залечивает и горящую, мучительную рану, которую нанесли поэту обвинения в трусости: генерал прикалывает ему на грудь орден за воинскую храбрость. Снова и снова посылает его в Дебрецен, как курьера с официальными поручениями, — от простых обыкновенных тигров в берлогу грызущихся львов.

Следующую корреспонденцию поэт пишет 15 февраля, прискакав в Дебрецен с одним из таких поручений.

«Пишу эти строки не после самых счастливых, но после самых славных дней военной истории Венгрии. Я прибыл из Эрдейской армии; после перенесенных тягот мне было бы приятно немного отдохнуть и погреться у домашнего очага; но я все-таки оторву из моих драгоценных минут несколько мгновений, чтобы хоть вкратце сообщить моей родине о последних Эрдейских событиях; трусливых они, быть может, приведут в отчаяние (впрочем, это небольшой урон), а отважных еще более воодушевят, ибо для подлинного мужчины нет ничего более воодушевляющего, чем деяния людей, не сломившихся и даже не согнувшихся в несчастье. Как я уже писал ранее, 1 февраля Бем вместе со своим войском перешел в Визакну; там мы пребывали в спокойствии до 4 февраля. 4 февраля неприятель выступил против нас из Себена, где он сосредоточил все свои эрдейские войска. Возле Визакны он атаковал нас, в буквальном смысле этого слова, десять раз, хотя силы

его в десять раз превосходили наши. После четырех-часовой битвы, которая была одной из самых кровавых битв, какие приходилось в наше время вести венгерскому войску, мы вынуждены были отступить. Под оружейной перестрелкой мы дошли до нашего первого привала — до Сердахей; враг преследовал нас почти до самого конца. Отдохнув в Сердахейе, мы после полуночи двинулись в сторону Сасшебеша, куда добрались на рассвете. Дюлафехерварский гарнизон, извещенный уже о нашем отступлении, приветствовал нас орудийным залпом. После часовой орудийной и ружейной перестрелки мы взяли Сасшебеш штурмом. Дюлафехерварцы бежали из него, сломя голову, оставив нам в виде трофеев несколько повозок со снарядами, которые мы приняли с удовольствием. К полудню себенцы настигли нас; после многочасового сражения оттеснили наших бойцов к городу и безуспешно обстреливали нас из пушек до самой полуночи. Войска неприятеля, изрядно приумножившиеся за ночь, к утру почти совсем нас окружили. Вдруг генералу Бему сообщили, что явился парламентар. Бем ответил, чтоб его отправили обратно. Тогда рапортовавший сказал, что парламентар — поляк. «Тем б о л е е, — ответил Б е м . — Я не стану разговаривать с поляком, который состоит сейчас на австрийской службе». Однако парламентаря привели, генерал сказал ему коротко: «Я не торгуюсь», — и приказал выпроводить его. А мы тем временем уходили из города, направляясь к Сасварошу. Уже с полчаса отводили мы свои войска, когда неприятель, заметив наше отступление, устремился вслед за нами всеми своими силами. Мы шли под непрерывным орудийным обстрелом, который не нанес нам, правда, ни малейших потерь. В часе ходьбы от Сасвароша мы подожгли деревню, перерезав, таким образом, дорогу между нами и императорскими войсками. До Сасвароша мы добрались только к вечеру. Думали мирно войти в город, однако вскоре загремели пушки — так встречало нас ополчение саксонцев и румын. Сасварош тоже пришлось взять штурмом. Перед рассветом пришло донесение о том, что нас нагнали себенцы. Мы выступили им навстречу и бились часа два, бились не ради победы, которая была невозможна, а ради чести, которую через столько бедствий принесли мы в целостности и сохранности в полдень того же дня в Дэву, где соединились с прибывшими из Вен-

грии вспомогательными силами. Это было седьмого, а восьмого я покинул армию (но только на короткий срок). И что же произошло с тех пор? Этого я знать не могу. Позднее от генерала мне стало известно, что он немедленно, на другой же день, двинулся обратно, и я верю, что наши войска стоят снова если не в Себене, то, уж во всяком случае, под Себеном и очень скоро возьмут его. Армия, которая вела себя так во время четырехдневных, почти непрерывных боев, армия, которую ведет Бем, не может не победить. Мне хотелось бы и нации, и всему миру показать Бема во всем его величии, но для того, чтобы собрать свои душевные силы, нужно иметь больше времени и, главное, больше спокойствия. Теперь пусть говорят о нем только эти голые, коротко изложенные факты. Какой бы ни была славной и героической наша армия, но тем, что она сохранилась единой и цельной после таких бурных дней, она всецело обязана своему генералу».

У Петефи времени лишь столько, чтобы обнять жену да обменяться рукопожатиями с друзьями. Наскоро, в спешке пишет он письмецо и Араню.

«Милый братишка, вернее, старший брат! Жив ли ты еще? Я еще жив, хотя и побывал там, где смерть действовала всеми четырьмя лапами, а люди падали ей в пасть, как двугривенные в контрабас. Я перевелся в армию Бема, и Бем назначил меня своим адъютантом. Только тот знает, что такое сражение, кто, как я, бок о бок с Бемом, принимал участие в пяти кровопролитных битвах. О своих воинских деяниях скромно умолчу, скажу только одно — действовал достойно самого себя. Думаю, что этого достаточно. Сейчас я приехал в Дебрецен в качестве гонца и через несколько дней помчусь обратно. Перед отъездом в Эрдей я хотел завести к вам жену и сына, и только в последний день мы решили остаться вместе в Дебрецене. Это и оказалось нашим спасением: по дороге к Салонте они замерзли бы оба. Здесь они живут у Вёрёшмарти. Оба здоровы. Не сердитесь на жену за то, что она не написала. Бедняжка с горя ни за что и взяться не могла. Можете себе представить, какие дни она здесь пережила, пока я был на поле битвы. За мое молчание вы тоже не будете на меня в обиде, как только узнаете, что я даже жене своей написал всего одно письмо, столько событий столкнулось сразу. Как ни коротко будет это

письмо, однако оно тоже свидетельство моей любви к вам. Ведь не шутка — вырвать даже несколько минут из моего времени, которое на крыльях счастья летит с такой быстротой. Ты знаешь, что семейная жизнь всегда была мне мила, но никогда не была так мила, как сейчас, когда после миновавших битв и перед лицом новых я могу обнять свою жену и сына».

Прежде чем воротиться на поле битвы, ему нужно спешно устроить свои семейные дела. С тестем у него снова началась война, а молодая мать не хочет остаться одна во взбудораженном Дебрецене. Куда можно пристроить в такие времена женщину, которая и сама почти ребенок, да еще с младенцем? Петефи обращается к Араню с таким доверием и непосредственностью, словно к старшему брату:

«Милый кум! Письмо мое будет кратким, но чрезвычайно важным. Жена моя должна любой ценой поехать к вам. Хотелось самому сопровождать ее до Салонты, но завтра она еще не может выехать, а я завтра же должен отправиться в Эрдей. Если у вас сохранилась хоть капля дружеских чувств к нам, то, получив это письмо, вы сразу же приедете сюда и увезете мою жену и ребенка. Очень, очень прошу тебя об этом. Просить вас позаботиться о них потом — излишне. Я возвращаюсь обратно к Бему. Приветствуем вас, целуем.

До скорого свидания, твой друг...»

Арани приехали в Дебрецен, барышня из замка попадает в комнатку крестьянского дома в Салонте. Петефи на этот раз в Меддеше настигает армию, летящую по Эрдею, словно насыщенная молниями грозовая туча.

Едва сойдя с привезшей его телеги, поэт вскакивает в седло и бросается прямо в битву. Шандор Имре, один из тех, кто видел его тогда, рассказывает: «...на покрытой пеной лошади он скакал то вперед, к боевой цепи, то к единственной нашей пушке, то к нам... всех он подбадривал, вдохновлял повсюду», хотя «из солдат его тогда мало кто знал», да и одет он был не в военный офицерский мундир, «а носил венгерский национальный костюм без знаков отличия». В рукописи его стихов Меддеш — где бои продолжались два дня подряд — значится под следующими строками:

Разгневана земля,
 Разгневан небосвод —
 Кровь льется по земле,
 И солнце пламень льет.
 Вечерняя заря
 Вся в пурпуре встает.
 Вперед, венгерцы, в бой!
 Вперед, войска, вперед!
 Закат глядит на нас
 Из диких облаков.
 И видится в дыму
 Мерцание штыков.
 Медлительная мгла
 Клубится и ползет.
 Вперед, венгерцы, в бой!
 Вперед, войска, вперед!
 Ружейная пальба
 Гремит и там и здесь,
 Орудия ревут,
 И мир трясется весь.
 Не рухнут ли сейчас
 Земля и небосвод?
 Вперед, венгерцы, в бой!
 Вперед, войска, вперед!
 Отвагой боевой
 Свирепо возбужден
 И дымом опьянен,
 И кровью опьянен,
 Останусь ли в живых,
 Иль смертный час мой бьет?
 Вперед, венгерцы, в бой!
 Вперед, войска, вперед!

(«В бою». Перевод Л. Мартынова)

Вот так и принимал он, очевидно, участие — уже в военном мундире — во всех дальнейших сражениях армии; до самой болезни. Заботливый Бем в начале марта посылает Петефи в Коложвар. По дороге, в жару — быть может, как раз неподалеку от Шегешвара — возникли в уме поэта те строки, которые он набросал затем в Марошвашархейе, лежа в постели.

Я говорю, что победит мадьяр:
 Назло земле и небу наш удар!
 Лишь потому не шли к победе мы,
 Что были розны души и умы.
 Сейчас едины все, мадьяр, поверь!
 Когда ж победа, если не теперь?

.
 Я смело встал среди войны огня
 И знаю, пуля не пронзит меня.
 Судьба меня от смерти сохранит
 И знает: я не должен быть убит, —
 Затем, что в день, когда враги умрут,

Я должен быть поднявшим песен труд,
Чтобы воспеть свободу до конца
И память о священных мертвецах,
Чьей кровью ты, отчизна, крещена, —
Рожденья песней прозвучит она!

(«Я говорю, что победит мадьяр...».)
Перевод Н. Тихонова)

На какие раздумья наводит настроение этих строк, своеобразно дополняющих стихотворение «Одна лишь мысль...»!

Несколько дней спустя Петефи опять уже на ногах. Идет весна, погода становится мягче, армии по всей стране покидают зимние квартиры, начинается усиленное передвижение войск. В редкий момент затишья, когда не слышно ни оружейной стрельбы, ни скрипа обозных телег, ложатся на бумагу эти легкие, как вздох, напoeнные тишиной строки:

Вновь жаворонок надо мной.
Чуть от него я не отвык.
Пой, вестник дней весенних, пой,
Ликуй, что так простор велик.

О господи, как этот звук
Мне после шума битвы мил!
Он кровь мне с обогранных рук
Своею чистотою смыл.

Пой, милый, не жалея рулад.
Ты мне напомнил в их пылу,
Что я не только ведь солдат,
Но твой собрат по ремеслу.

(«Вновь жаворонок надо мной...».)
Перевод Б. Пастернака)

Петефи пишет это стихотворение в Бетлене, 8 марта. А 15 марта первую годовщину великого дня празднует уже в Коложваре. Еще через день он в Дебрецене, затем в Салонте, с женою и лучшим другом. Десять дней спустя поэт опять в лагере — он подбадривает, воодушевляет людей с большей страстью, чем когда-либо.

Мы ли дрогнем? Старый Бем ведет нас,
Вольности испытанный солдат.
Мстительным багрянцем нам сияет
Остроленки гибельный закат.

(«Эрдейская армия». Перевод В. Левика)

Это стихотворение написано в Банфихуняде. Следующее — в другом уже месте. Армия постоянно передвигается, постоянно в бою. Петефи то находится при

ней, то уезжает, выполняя особые поручения. Следующее письмо к Араню написано из другой части страны, из Лугоша. По нему представим себе настроение Петефи в те дни. Он полон надежд.

«Милый друг, вчера и третьего дня я писал жене, попроси ее хорошенько, но не от моего, а от своего имени вот о чем: пусть она простит, что, воспользовавшись третьим представившимся случаем, я пишу тебе, а не ей. Ведь хочется мне поговорить и с тобой. Но суть не в этом, а в том, что я начал письмо и не знаю, о чем писать. Вот уже несколько дней, как на море войны стоит полное затишье: сидим и скучаем. Здесь мы должны подождать часть, притом большую часть нашей армии; только соединившись с ней, начнем мы снова драться, если, конечно, будет с кем, ибо неприятель повсюду *infamiter*¹ удирает от нас. Янко, ты позаботься немного о моих; *«ne quid respublica detrimenti cariat»*², я разрешаю даже поцеловать их от моего имени, только береги их. А впрочем, я же знаю тебя, ты такой неуклюжий *fellow*³, что скорее им придется заботиться о тебе. Написал ли ты уже своему крестнику стихотворение? — Не могу продолжать дальше, вызывают к генералу. Приветствую достойных приветствия. Господь с вами!»

Между тем Петефи опять приходится лететь в Дебрецен курьером.

Частая смена мест не на пользу поэту; слишком отчетливо видит он разницу между людьми дела и пустыми краснобоями. В лагере Бема, среди солдат, он вскоре становится образцовым воином, превосходно чувствует себя в атмосфере армии, на него нет никаких нареканий, даже в дисциплинарном отношении, несмотря на то, что, будучи штабным офицером, он читает стихи всем солдатам подряд, и несмотря на то, что у него есть теперь все основания возгордиться: куда бы они ни пришли, после Бема больше всего «виватов» достается ему. Петефи путается в «регламенте» не в армии, а в Дебрецене, среди политиков и министров; и даже не в регламенте, а в этикете! В Эрдее его вдохновляют на писание стихов гонведские атаки и командование «непоколебимого старца». В Дебрецене — отсутствующий гал-

¹ Позорно (*лат.*).

² «Чтобы республика не понесла ущерба» (*лат.*).

³ Парень (*англ.*).

стук. Ибо даже Месарош, вообще человек достойный и справедливый, обращает внимание не на привезенное донесение, а на *adjustierung*¹ гонца, к тому же попавшего к нему в дурную минуту; он корит поэта за его костюм «а-ля Гамлет», пока тот, не выдержав, в раздражении, и сам обрушивается на генералов, интересующихся не победой, а вопросами моды. И тут же подает в отставку. Мудрый Бем кое-как заглаживает историю, а подавшего в отставку капитана производит в майоры...

Более того, по уже знакомой нам мудрости своей, он находит лекарство и для раненого сердца. Вернувшийся с поля политических сражений разъяренный поэт обретает душевное равновесие в перипетиях боев настоящей войны. Вот что он пишет 11 апреля из Сасшебеша:

«Проболев несколько недель, я вернулся в начале этого месяца в армию, принадлежностью к которой я горжусь, ибо полководец ее Бем; и вернулся я с радостью, потому что Бем мне отец и друг. По воле судьбы я пережил вместе с этой армией все ее трудности, опасности и беды, но не присутствовал при ее торжестве. Когда я приехал в Себен, пушки уже не гремели, штыки и сабли не бряцали, и кругом царила тишь да гладь: неприятель — немцы и русские — попрятался в Румынии. Бема я застал в Себене, подошел к нему как простой рядовой солдат, не питая никаких надежд, не имея никаких притязаний. А он вернул мне звание капитана и назначил своим адъютантом; первое я принял равнодушно, второе — с восторгом. На другой день мы уже выступили и направились к Дюлафехервару; в тот же день в течение трех часов обстреливали город из орудий и призывали сдать. И на то и на другое из крепости отвечали двадцатичетырехфунтовыми снарядами. Оставив достаточно войск для окружения крепости, генерал выступил сюда, в Сасшебеш, и с тех пор мы здесь. Завтра или послезавтра направляемся в Венгрию».

И еще — кусочек чистой голубизны в стремительном беге туч:

«На днях приезжали сюда посланцы военного министра и Национального собрания, они привезли Бему орден первой степени. Вручение ордена произошло в обыкновенной комнате в присутствии нескольких офи-

¹ Обмундирование (нем.).

церов — войск не было на месте, да и вообще наш полководец не привык к пышным и шумным церемониям. Этот небольшой, я бы сказал, комнатный праздник прошел сухо и официально, но был момент трогательный, потрясающий и даже прекрасный, когда старый подполковник Немет, вручая орден нашему генералу, сказал: «Я не оратор, но, будь я даже оратором, все равно сейчас не мог бы говорить; разрешите мне поцеловать вашу правую руку, которая пролила кровь за мою родину!» И он, плача, поцеловал раненую руку генерала, заплакали и мы, все присутствующие. Но об этом надо не читать, это надо было видеть и слышать. Вчера Бем разослал ордена меньших степеней лучшим воинам своей армии. В числе этих счастливых оказался и автор сих строк. Таким образом, я, наконец, вознагражден, притом даже слишком; и вовсе не тем, что я получил орден, а тем, как его вручил мне Бем. Пусть назовут это слабостью с моей стороны, но я не в силах удержаться, чтобы не описать сию сцену. Бем собственной рукой прикрепил орден к моей груди, причем левой рукой, ибо правая была на перевязи. И он сказал мне: «Левой рукой прикрепляю — она ближе к сердцу!» Он обнял меня и долго тепло прижимал к сердцу. Всем известно, что я не отличаюсь скромностью, но столько я, ей-богу, не заслужил. Я ответил ему с таким волнением, что и сейчас, когда вспоминаю об этом, душа моя трепещет. Я сказал: «Генерал, я обязан вам больше, чем родному отцу: отец подарил мне только жизнь, вы подарили мне честь».

Сейчас мы переживаем самые светлые минуты освободительной войны. Революционная армия, справившись с соперничеством своих генералов, прекрасно справляется и с врагом: она переходит Тису, окружает Пешт. С юга к ней присоединяются наконец части, обладающие самым несокрушимым воинским духом: части Бема.

«Мы выступили из Эрдея, — пишет гордый гонвед, — причем с добрым предзнаменованием, — победа пришла к нам с первых же шагов. Неприятель поджидал нас по эту сторону Вашкапу, возле пограничной деревни Вайсловы. Мы напали и разбили его. *Veni, vidi, vici*¹. Против нас выступило два батальона; из наших войск участвовали в боях только четыре роты 78-го секейского

¹ Пришел, увидел, победил (*лат.*).

батальона. И после Двухчасового сражения эти роты принудили двухтысячный отряд неприятеля к такому отчаянному бегству, что он не останавливался до самого Кареншебеша. Оттуда он в тот же день кинулся дальше, так что вчера утром, когда мы пришли сюда, жители города встретили пас белыми флагами. Цифра потерь противника нам точно неизвестна, мы видели человек двадцать убитых и человек пятьдесят утонувших в реке. Эти хотели, видимо, спастись в горах и погibli, переправляясь через Тунет. А у нас, — это может показаться невероятным, и, не будь я сам очевидцем, я бы тоже не поверил, — у нас не было даже ни одного раненого. Неприятель оставил нам даже две пушки; одну из них на моих глазах отвоевали с невиданной отвагой четыре секея. Наш генерал нынче наградил их за это медалями и деньгами, но они достойны того, чтобы родина знала их имена. Это были рядовые Мате Деак, Йожеф Надь, Имре Надь, Мартон Сабо. Вообще иметь представление о героизме секеев может лишь тот, кто сам был этому свидетелем. Они и взаправду чудесные ребята — тем более, что большая часть их на самом деле ребята, дети. Спокойно, отважно, чуть ли не размеренным шагом идут они вперед, в атаку, уверенно и безостановочно, совсем так, как идут косари на лугу, — и даже тогда поют песни, когда трещат их ружья. Однако стрельба им очень скоро надоедает, тогда они берут ружья наперевес и несутся вперед, и вместе с ними несется гибель: врагу не остается ничего иного, как бежать или умереть. Но столь отважен секей только при одном условии: если полководец еще отважнее его, — вот почему и необходимо, чтоб их полководцем был Бем. Генерал покоряет своим грозным оружием, но несравненно сильнее покоряет он своим кротким обращением после боя. Окрестные жители, бежавшие от нас как безумные, возвращаются обратно, увидев, что никто не обидел оставшихся дома.

Но над поэтом опять собираются тучи; опять — из-за нарушения дисциплины.

Его следующее столкновение, столкновение с Клапкой, даже Бем, на какие ни идет ухищрения, не в силах заглушить; он не может даже залечить нанесенную им рану. Этот укол — самый жестокий, какой получил «его милый сын» за все время воинской службы. Из-за него последние дни Петефи исполнены трагической горечи.

Из-за него происходит тот душевный перелом, после которого поэт опять чувствует себя преследуемым зверем. Революционер по крови, он изолирован теперь и от революционеров по положению.

Правда, ответственность за самое возникновение этой истории ложится на старого генерала. Под Темешваром Бем требует от Вечеи, на основании приказа высшего командования, выступить ему на подмогу в начатой атаке. Вечеи не подчиняется и даже отдает прямо противоположные приказания. Взбешенный неудачей атаки, генерал в письме, отправленном Комитету защиты отечества, называет за это Вечеи предателем родины и трусом; он просит Петефи перевести письмо на венгерский язык и даже обнародовать в газетах...

Скандал разражается в самые славные дни и душил поэта. Венгерские войска по всей стране победоносно гонят врага прочь. В Национальном собрании верх берет революционная партия: 4 апреля депутаты провозглашают низложение Габсбургского дома — Венгрия становится республикой! Наконец-то наступил черед и Петефи сыграть свою истинную роль — ведь время полностью подтвердило его правоту; великий возмутитель спокойствия сейчас мог бы пропеть самые вдохновенные песни. Однако в течение славных месяцев, принесших победы под Надьшалло, Ишасегом, Вацом, Комаромом, Петефи написал всего два-три стихотворения; и самое прекрасное из них — после стихотворения «В бою», барабанного сигнала, зовущего в атаку, — то, в котором он на мгновение забывает, что он солдат. Горечь перехватывает горло спазмой.

Куда бы он ни взглянул сейчас, всюду видится ему распад, унижение, безнадежность, путаница, сводящая с ума. И личные его обстоятельства таковы, что от них впору потерять разум. О родителях своих он ничего не знает. Юлия с маленьким сыном все еще у Араней и терпит это положение с трудом. Денег в обрез, только офицерское жалованье. Гонораров почти нет. В довершение всего из-за тягот лагерной жизни Петефи то и дело хворает. Он хочет ненадолго съездить во вновь отвоеванный Пешт, чтобы встать на ноги, немного привести в порядок свои дела. Бем с готовностью предоставляет ему отпуск, снабжает даже рекомендательным письмом к Кошуту, чтобы верней уладилось производство Петефи в майоры. Поэт, ничего не подозревая,

спешит через Солонту в Дебрецен; Юлию он забирает с собой, но сына оставляет у крестных его родителей — куда так или иначе не решится их судьба. 6 мая поэт приезжает в Дебрецен. «Отсюда мы должны направиться прямо в Пешт, — пишет он в тот же день Араню, — выезжаем завтра спозаранку. Причин у нас на это много, и самая главная, что умер мой добрый отец, а о матери я ничего не знаю».

Дни его матери также сочтены.

При таких обстоятельствах и является он в тот же день к Кошуту; правитель принимает его холодно, пренебрежительно — и сразу же отправляет к Клапке, исполняющему обязанности военного министра. Но Клапка уже независимо от этого отдал приказ, чтобы поэт незамедлительно к нему явился. Отнюдь не по делу об утверждении в майорском звании. Едва Петефи показывается в дверях, Клапка обрушивается на него за обнародование письма Бема относительно Вечи:

— Как вы посмели сделать это?

— Мне было приказано.

— Кто же вам приказал?

— Генерал Бем.

— Неправда.

В том, что это правда, убеждает нас с несомненностью то, что поэт описывает эту сцену по-французски самому генералу Бему. Клапка, министр (лишь двумя годами старше поэта), не удовлетворяется одним оскорблением.

«— Вы останетесь в Дебреcene до тех пор, пока не придет объяснение генерала Бема по этому поводу.

— Я бы остался охотно, но у меня важные дела в Пеште, и мне необходимо уехать завтра. Надеюсь, достаточно моего честного слова...

— Нет, недостаточно!»

И кто же говорит это? Тот, кому Петефи преподавал урок революционности в «Радикальном круге»? Он не отвечает на грубую выходку, как и на другие, за ней последовавшие. Но, едва выйдя из кабинета, вновь пишет прошение об отставке. И по дороге в Пешт, из Солнока — уже как частное лицо — отвечает Клапке на оскорбление: «...в мирное время я потребовал бы удовлетворения и, быть может, подстрелил бы вас, как воробья, так как я стреляю прилично...» После такого вступления поэт требует немедленного утверждения его

в звании майора, требует по праву. Вздорные слухи в связи с его прошением об отставке может заставить умолкнуть лишь это или — если он сам станет защищать свою честь, то есть подробно опишет всю историю и беседу с министром.

Трагична эта ссора лучших борцов за свободу в самые славные дни борьбы. Но последняя, поистине потрясающая сцена разыгрывается лишь теперь. Вслед за Петефи в Пешт прибывает и молодой генерал — военный министр. Случайно они сталкиваются в ставке Гёргея.

Позднее, уже осознав, с кем имел дело в лице «подлюкляузничавшего народного стихотворца», Клапка старается приукрасить происшедшее. Но и сквозь противоречивые его самооправдания отчетливо видится под майскою листвою Швабской горы та давняя, но и поныне постыдная сцена, когда в главной ставке венгерской армии, атакующей Буду, отряд венгерских солдат окружает величайшего венгерского певца свободы и, по приказу разбушевавшегося генерала, его арестовывает.

Итак, Петефи не написал стихотворения о том, что — над Будой опять реет венгерский флаг...

«Я приказал ему отправляться в свою комнату и оставаться там под домашним арестом», — рассказывает Клапка. «Il me laissa arreter!» — «Он арестовал меня!» — пишет Петефи Бему по-французски, вполне недвусмысленно, хотя и в немецких конструкциях; кстати сказать, у поэта не было своей комнаты там, на Швабской горе, он пришел туда просто повидать воинов, насладиться зрелищем героических атак гонимых. Мы уже знаем его, он не таков, чтобы, сознавая свою невиновность и правоту, по первому слову позволить арестовать себя и удалиться без звука. Его увели силой? Свидетели стыдливо молчат. Донесение Клапки, написанное за три дня до этого события, доказывает, что он твердо решил арестовать поэта, который, по его мнению — мнению одного из главных руководителей революции! — «ради собственного удовольствия снует по Пешту, вероятно, затем, чтобы удовлетворить пагубную страсть к подстрекательству народа». Поэт сообщает о разыгравшейся сцене лишь в нескольких строках — только затем, чтобы информировать Бема.

Клапка говорил, что, не прими он в расчет, с кем имеет дело, то приказал бы повесить поэта в двадцать че-

тыре часа! («Il me ferait pendre dans vingt quatre heures!»)

Очевидно, кинувшиеся к месту происшествия, а затем к Гёргею офицеры освободили поэта — мы не смеем сказать: спасли из рук генерала, на славное имя которого легло это невыводимое пятно потому, что он не умел как следует читать стихи. К счастью, Гёргей вступается вовремя. Он уговаривает Клапку удовлетвориться тем, что два офицера просят его о «помиловании» от имени поэта. То есть — сам поэт не был склонен сделать это лично? «...просили меня простить арестованному поэту его опрометчивость...» И т а к , — арестованный... Но в конце концов Петефи освобождает. «...Отпущенный из-под домашнего ареста, он пришел ко мне, чтобы поблагодарить, я протянул ему руку, однако он был скуп на слова и скрывал свое волнение...»

Эта фраза противоречива. Разве явится для изъявления благодарности тот, кто даже «скуп на слова»!

41

Перед Бемом он не таится. «Не знаю даже, что буду делать дальше, — пишет он генералу в уже упоминавшемся письме на французском языке, — душа моя возмущена и потрясена, с одной стороны, этими вопиющими оскорблениями, с другой — скоропостижной смертью моего глубокочтимого отца и моей любимой матери, к которым я питал одинаковое чувство благоговейного обожания. Неделию назад я узнал о кончине отца, а сегодня скончалась и матушка».

Доброго старого Петровича в возрасте пятидесяти восьми лет унесла одна из эпидемий войны, тиф, еще 21 марта. Воспетая как «любимейшая мать» тихая словачка-служанка была выхвачена из жизни 17 мая, во время осады Буды, другим кошмаром войны — холерой. В час их смерти ни одного из сыновей не было рядом. Младший, Иштван, сражался в армии, осадившей Буду. Старший — как теперь повсюду — и к ним прибывает с опозданием, расстроенный, задыхающийся, с подгибающимися коленями, едва вырвавшись из тенет других своих бед. Кроме Бема, только к Араню он еще может протянуть руки за помощью. Ему и сообщает он о смерти матери, но с каким стоном: «...меня пости-

гают такие удары, которые могли бы меня даже уничтожить, если б я был только сыном и не был бы еще мужем и отцом». Этот стон прорывается и в стихах:

Вот и состоялось,
Наконец, свиданье.
Нету в нем отрады,
А одно страданье.
Не отца родного, гроб его я видел,
Крышку гроба видел помутневшим взглядом, —
Видел — опускали мать мою родную,
Мать к отцу в могилу, чтоб лежали рядом.

(«На смерть родителей». Перевод Н. Чуковского)

Вскоре на него обрушиваются и другие беды. Недделю спустя Петефи снова пишет Бему. Как некогда перед Байзой, теперь перед старым воином открывает он сердце. «Моего коня, который был мне так дорог, потому что вы подарили мне его, я вынужден теперь продать — признаюсь в этом со слезами, но иначе мне не на что купить хлеба, коль скоро я лишен офицерского жалования...» После двух похорон и расходов на новую квартиру у него не осталось ни филлера — в это нетрудно поверить. К счастью, маленький Золтан живет у Араней...

В это время от Араня приходит письмо — «несколько слов, с самой искренней дружбой» и благодарностью за ту неизмеримую помощь, какую оказывал ему младший собрат по поэтическому ремеслу: «...быть может, ты прочитал уже и между строк, что непривычное положение, в коем довелось оказаться супруге моей после девяти лет тихой и спокойной семейной жизни, не дает ей необходимого душевного спокойствия, а также достаточных денежных средств (на квартиру, прислугу и ведение хозяйства), дабы обратиться истинно материнскую заботу на нуждающегося в самом заботливом уходе младенца вашего и нести тягость ответственности, какая при этом на нее ложится. Отцовская любовь поможет тебе изыскать средство и способ помочь в этой беде». Добрый друг читает «между строк» и не откладывая забирает сына: где мало двоим, достанет и третьему.

Петефи душою остается совершенно один. У нас нет никаких сведений о том, что жена его и сейчас, хотя бы изредка, так же льнет к нему, как год назад, во время депутатских выборов. По некоторым, более поздним сведениям у Юлии в это время на уме совсем другое —

заботы о платье, о гардеробе, который после долгих скитаний и в самом деле нуждался в обновлении.

Не общается поэт и с друзьями: утверждение, что с Йокаи они примирились и даже чокнулись за дружбу, родилось в приукрашивающей все памяти Йокаи.

Тут-то дает о себе знать старый поляк. Он присылает двести форинтов — на дорожные расходы. Зовет поэта к себе: генерал опять сражается в Эрдее.

Петефи тотчас ему отвечает, как всегда по-французски. Его французский несовершенен, но владеет поэт языком все же вполне прилично. Мы давали возможность ознакомиться с его познаниями в немецком. С этой же целью перепишем сюда и это письмо, в том самом виде, как поэт набросал его на бумагу, поспешно и без всякой помощи. Вот так писал по-французски 20 июня 1849 года в Пеште двадцатилетний венгерец, которому никогда не доводилось побывать на родине французского языка и который вряд ли имел случай разговаривать с живым французом.

Monsieur le Général!

J'ai reçu aujourd'hui la lettre écrite par Mr Kurz, dans laquelle Vous daignez me rappeler et m'envoyer 200 fl. m. c. pour faire le voyage. Vous êtes bon, Vous êtes généreux, comme toujours, oh mon Général cheri, et je me prosterne devant Votre noble et adorable coeur; seulement (quoique Vos bienfaits surpassent déjà beaucoup mes mérites, si j'ai quelques uns) je Vous prie de m'accorder encore une bonté, c'est de me pardonner que n'accepte pas Vos touchantes et délicates offres. Vous le savez, Vous le devez savoir, les chaudes larmes de mes yeux à l'heure de mon départ Vous le faisiez voir, combien je Vous aime, et Vous le pouvez imaginer que mon plus ardent désir serait de Vous rejoindre, d'être toujours avec Vous, mon bien faiteur, mon père! mais hélas, le sort veut que ce soit absolument impossible. C'est avant quelques jour que j'ai publié mon abdication entière pour toujours dans les journaux et ce serait de démentir brusquement mes propres paroles en entrant de nouveau dans l'armée. Et puis cette uniforme, dans laquelle j'ai souffert innocemment de tels criants injures et affronts, je ne la peux plus porter sans rougir de rage et sans rouvir violemment mes plaies qui m'ont causé des douleurs mortels, Je servirai ma pat-

rie avec la plume, et pas avec l'épée, avec cette épée, qui était peut être sans gloire, mais aussi sans opprobre, et qu'on a arraché de mes mains. Je ne peux plus être soldat surtout, parceque c'était de la vengeance, qu'on avait exercé envers moi, une vengeance calculée et ignoble, qui ne cesserait jusqu'à ce que je serais soldat et peut être Vous auriez aussi des désagrémements en me protégeant. C'est une chose, que ma conscience m'ordonne d'éviter de toute mon âme. Recevez donc l'argent, je Vous prie que Vous avez eu bonté de m'envoyer pour faire le voyage, et laissez moi vivre dans ma paisible retraite, ou je vis pour trois chose: pour servir ma patrie en silence, pour aimer ma petite famille, et pour garder un immortel et reconnaissant souvenir de Vos bienfaits paternels envers moi et mon pays. J'ai réglé passablement mes affaires, et nous vivrons en amis avec mon vieux compagnon, la pauvreté... si Vous voudriez bien m'enrichir, jetez quelquefois un rayon de souvenir sur mon âme... alors je serais assez riche. Soutenez la cause de ma patrie, et n'oubliez pas, oh mon General ce jeune homme, qui, par son estime profonde et son amour sacré envers Vous, s'ose appeler

Vorte fils.

Вот перевод этого во всех своих оттенках внятного и ясного письма:

«Господин генерал!

Сегодня я получил письмо от господина Курца, из которого узнал, что вы сооблаговолители вспомнить меня и посылаете мне 200 форинтов на дорогу. Вы добры, вы великодушны, как всегда, обожаемый мой генерал, и я преклоняюсь перед благородством вашей прекрасной души. Однако (хотя благодеяния ваши уже значительно превысили мои заслуги, если таковые у меня имеются) прошу вас оказать мне еще одну милость и простить меня за то, что я отвергаю вашу трогательную и деликатную помощь. Вы знаете, должны знать, как я люблю вас, тому порукой горькие слезы, которые я проливал, уезжая, и вам должно быть понятно, что самое горячее мое желание — ехать к вам, постоянно быть подле вас, мой отец! Но, увы, по воле судьбы это совершенно невозможно. Всего несколько дней назад я сообщил в газетах, что окончательно, навсегда покидаю военную службу, и вернуться в армию значило бы грубо нару-

шить собственное слово. Кроме того, в этом мундире я безвинно претерпел такие вопиющие обиды и поношения, что не мог бы носить его далее, не краснея от ярости и не чувствуя, как вновь раскрываются раны, причинившие мне смертельные страдания.

Буду впредь служить отечеству пером, а не саблей, той саблей, которую я, быть может, не прославил, но и не запятнал ничем и которую вырвали у меня из рук. Я не могу остаться солдатом главным образом потому, что меня оскорбили из мести, из подлой, обдуманной мести, и пока я буду солдатом, мне не перестанут мстить, а возможно, и вы навлечете на себя неприятности, покровительствуя мне. Этого совесть моя велит мне избежать всеми силами. Примите же, пожалуйста, деньги, которые вы были так добры прислать мне на дорогу, и оставьте меня в моем мирном уединении, где я буду жить ради трех целей: служить в тиши моей родине, лелеять мое маленькое семейство и хранить вечную признательную память о ваших отеческих благодеяниях мне и моей родине. Свои дела я кое-как уладил в дружбе со старым своим спутником — бедностью. Если вы пожелаете обогатить меня, озарите время от времени мою душу лучами воспоминания... я почувствую себя богачом. Защищайте дело моей родины и, прошу вас, не забывайте молодого человека, которому глубокое уважение и нерушимая любовь к вам позволяют назваться

вашим сыном».

После долгого молчания — такого длительного прерыва еще не было в его поэтической деятельности — Петефи вновь пишет «пропагандистское» стихотворение; он отсылает его министру внутренних дел Семере с тем, чтобы оно дошло до каждого гонведа, то есть чтобы родина напечатала его, по крайней мере, в пятидесяти тысячах экземпляров. Тем более что экземпляр должен был стоить всего лишь один грош. «Таким образом, с одной стороны, быть может, усилится воодушевление армии, а с другой — будет оказана помощь писателю, который за свои усердные и неустанные патриотические труды не получил еще в награду ничего, кроме душевных ран и ежедневных тяжких тревог о том, чем будет завтра кормиться он сам и его семья». И чей единственный доход сейчас — полученные от Эмиха авансом сто форинтов. В редакторских креслах сидят преж-

ние его приятели, к которым поэт не желает обращаться из-за старых столкновений, которые, пожалуй, и сами не слишком были бы ему рады. «Но не примите мое заявление за попрошайничество, для этого я слишком высоко держу голову, да и спину не привык гнуть... Не считите также за нескромность мое предложение: будь я сыном другой нации, мне не пришлось бы делать такого предложения, нация сделала бы мне его сама».

Семере принимает это письмо не за попрошайничество — за торг. Отлично понимая толк в экономии, он заказывает ровно половину предложенного тиража за пятьсот форинтов. Да и то по совету друзей Петефи: их тревожила бы совесть, если бы они не доставили хоть какой-нибудь радости в полном смысле слова бедствующему поэту в эти хмельные дни победы, в дни восторженных «виватов» и банкетов. Правительство недавно вернулось в Пешт, во время торжественного въезда в первой карете ехал Кошут, затем — его супруга, красавица в окружении детей, и лишь за ними, — военачальники, по праву ворчавшие на то, что были столь оттеснены.

Петефи действительно высоко держит голову: в эту высь, в мир идей, его личные обиды не залетают. Он не любил Кошута, но не совершил той ошибки, в какую впали столь многие, вместе с обиженными военачальниками: революцию, дело родины он не считает личным делом правителя. Всякий раз, когда в нем является нужда, он готов служить бескорыстно. И в последние мгновения его жизни мы не можем не удивиться тому же, чему удивились с самого первого нашего с ним знакомства: наряду с гениальностью — стальной твердостью его характера.

Скоро она окажется очень нужна ему. Торжество длится недолго, собственно говоря, лишь столько, чтобы госпожа Кошут успела полюбоваться несколькими театральными спектаклями из наместнической ложи да заказать и обрядить в парадные мундирчики своих сыновей пяти и шести лет, которых она, как каких-нибудь маленьких эрцгерцогов, произвела в офицерское звание. Для вящего торжества *pragmatica sanctio* — императорских, королевских и всяких прочих конституционных прав — к границам Венгрии уже подступает царская армия. Судьба революции, освободительной войны решается сейчас, когда страна оказывается в руках палачей. Можно ли еще что-то сделать? Общее

восстание, крестовый поход! — взывает Кошут; сейчас в сгустившейся предгрозовой атмосфере и непрерывном блеске молний, он вдруг осознал все. Сейчас ему хорош был бы и безумец Танчич, а может быть, и повешенный по его приказу крестьянин-бунтовщик Иштван Олах. Народ, да-да, народ! Народ, пожалуй, еще мог бы выручить...

Наступает последний этап революции, или, скорее, первый, который можно по праву назвать революцией. Направленные за границу посланцы молят выдержать, устоять еще хотя бы месяц-другой: Запад не потерпит, он вмешается в венгерские дела!.. Но даже не это — самое важное.

Еще полгода, может быть, даже только три месяца, и миллионы крестьян поймут: дело теперь за ними. Лишь они способны защитить родину и завоевать свободу. Кошут видел это и делал теперь все, чтобы до последней минуты обеспечить свободное дыхание — вдруг да именно в последний миг оживет это неповоротливое могучее тело! Видел ли это Гёргеи? В противовес революционизированному Национальному собранию, сейчас именно армия, особенно подчиненные Гёргею части становятся последним оплотом и политическим форумом чурающегося народной власти дворянства, офицеров дворянского происхождения. После целого года кровопролития Гёргеи вдруг именно сейчас приходит в ужас от необходимости еще проливать кровь.

В самые кризисные, то есть самые благоприятные для венгров дни Гёргеи ломает себе голову не над тем, как окружить Виндишгреца, — он замышляет обойти дебрецских «независимых», республиканцев, революционеров «с помощью военной контрреволюции», — как пишет он сам. Позднее он оправдывает себя тем, что уже весной считал венгерскую войну проигранной. Но тогда почему не отошел он в сторону, отдав свое место тем, кто все еще верил? Что же это за человек, который желает оставаться военачальником вопреки тому, что уже предвидит поражение? Почему, считая, что поражение неизбежно, рвется к верховной военной власти? В поведении Гёргея, как и Юлии, даже после большой стирки остаются сомнительные пятна. Дело не в милостях и не в деньгах, которые он принял, да, принял, и напрасно, от противника. Он легко отвел от себя чрез-

мерные обвинения Кошута. Но если его личная честь и безупречна,— да и деньги-то были невелики, — история все же вправе осудить его. Он был отличный солдат и доказал это. Но доказал он и то, что не был революционером, — хотя стал во главе такой армии и страны, у которых был лишь один путь к победе: революция. Он изменил самому ходу истории, возможно, сам того не подозревая.

Гибель великого дела, ради самоутешения, хочется представить себе также чем-то прекрасным и даже величественным. Но, как и гибель организмов из плоти и крови, гибель организмов духовного свойства — исторических предприятий, великих деяний — есть распад, отвратительное разложение. А распад — идет ли речь о теле совершеннейшего атлета или прелестнейшей женщины — всегда вонь и отвращение; наблюдать его, всматриваться в него негоже.

И все-таки приглядимся поближе к гибели венгерской революции в 1849 году. Произошло ужасающее злодеяние: жертву — живое, любимей любимого, родное дело народное не только поразили насмерть, но и жестоко, кроваво над ним надругались. Даже не просто убийцам — убийцам-садистам попало оно на расправу. Не надо видеть в этих словах лишь образное выражение. Доверенное лицо Габсбургов в Венгрии, Хайнау, который в свободное время ходил в венский морг наблюдать за иссечением трупов, по свидетельству многочисленных документов, был несомненно натурой столь же извращенной, как и императорский прислужник Шварценберг, о так называемых частных страстях которого остались еще более чудовищные свидетельства. Эпохи Нерона и Калигулы — не отклонение, но прямое, чуть ли не закономерное завершение развития деспотий, проистекающее из самой их сущности, их, если можно так выразиться, расцвет.

Гибель венгерского дела в 1849 году мы можем изучать вблизи потому, что нация, оказавшаяся в кольце осады, хотя и ослабленная, разбитая, но все же кое-как пережила удар. Что помогло ей пройти через это испытание, что удержало ее, искалеченную, в живых? Как мы уже говорили, амебообразное движение революции есть испытание сокровенных способностей народа. Естественно, что если с помощью насилия разбивают обновленный народ, то факт поражения не есть испытание

обновляющей силы, то есть революции. Это испытание народа.

Судьба венгерской освободительной войны в течение последних десяти месяцев находилась в руках двух человек — Кошута и Гёргея. Будь венгерский народ восприимчив к урокам, он на всю жизнь извлек бы для себя полезный вывод: что происходит, когда две вожжи не соединены вместе, а по отдельности вручены двум недругам. Эти два мужа чуть ли не столько же сил обращали на дискуссии, сколько на борьбу с врагом. Чего бы могли они достигнуть, если бы и эти нейтрализованные силы обратили на укрепление боеспособности нации? В ходе войны было немало таких моментов, когда стоило еще лишь на десять процентов усилить натиск венгерской стороны — и судьба решилась бы окончательно в пользу венгров. Кто из них двоих ответствен за то, что случилось иначе? Спор об этом не окончен и поныне.

Гёргей несравненно лучший писатель, вернее, мемуарист, чем Кошут; Кошут мог писать лишь со страстью; следовательно, *описывать* он не умел; превосходный автор передовиц всегда подавляет в нем обозревателя; даже с пером в руках он ораторствует. Ораторствует перед потопками, которые воспринимают его уже лишь через буквы, то есть лишь глазом, а не ухом, не возбужденными нервами — следовательно, и с меньшим доверием. Всегда склонный к эффектным жестам, всегда немного актер, Кошут уже в самом начале борьбы часто, если можно так выразиться, «становится в позицию» с тем, чтобы прежде всего видеть себя. Гёргей, профессиональный фехтовальщик, сперва присматривается к противнику, выискивая изъян; потому-то он с легкостью и наносит затем решающий удар — и только после этого принимает картинную позу и сам. Стиль его холоден и сух. Более того, он точен.

Ошибкою было бы, однако, полагать, что тот, кто пишет холодно, сухо и даже точно в деталях, сообщает безусловную правду. Против экзальтированного, неточного, необдуманного и несправедливо нападающего по частностям Кошута Гёргей защищается холодно, по всем правилам тактики, обвиняет ледяным тоном и — после перечисления целого ряда реальных частных — то и дело лжет в целом, как бы в силу воинской дисциплины. Так одерживают победы не только полководцы — иной

раз и писатели. Но Гёргей не лишен и счастливого свойства мегаломанов: ему даже в голову не приходит, что он искажает истину; высокомерие сухой и холодной логики обезоруживает его собственный разум. Гёргея никогда не терзают угрызения совести. Как и сомнения. Он идет на капитуляцию перед врагом без условий и оговорок, посылает своих солдат служить австрийскому флагу, лучших своих офицеров — на плаху, делает все это по глупости своей — ведь всего два месяца спустя выходит на свободу и Клапка! — но никогда, ни на минуту не смутило это покой его снов и воспоминаний; а ведь он, угрожая расстрелом, вынудил людей своих пойти на позорный ритуал — сложить оружие, и не одна жертва, — например, тот же Вечей, — доверясь решительности его слова, примчалась назад от самой границы, чуть ли не загоня лошадей, прямо под дула карательных отрядов. Даже это не пробивает кору высокомерия Гёргея, даже это не колеблет его самоуверенности: с его губ слетают лишь так называемые «факты». Но иногда он проговаривается. Несгибаемый панцирь в такие минуты грохается навзничь — чтобы уже не подняться, именно в силу своей несгибаемости.

Но даже в глазах тех, кто неизменно продолжает видеть Гёргея стоящим на ногах, Кошут вынужден был отступить не перед ним, но перед возвышающейся позади него тенью, чью эмблему постфактум прикрепители на шлем Гёргея, — перед Сечени. У Кошута, мы должны признать это, в его поединке с Гёргеем было, собственно говоря, два противника, и сражался он в сущности до самого конца с тем, кто даже не присутствовал на арене. Но, признав это, мы должны признать также — все наше рассуждение к тому и ведет, — что и противник Гёргея не один только Кошут, и даже вообще не он, не правитель. Его истинный противник — Петефи. Почему Гёргей не отправился вместе с депутатами в Дебрецен? Потому что они — он и его армия, — как написано в его воззвании в Ваце, были верны конституции и королю. Что сделало в Венгрии уже тогда всеобщим посмешищем короля и его приспешников? Несколько великолепных стихотворений, о которых мы уже говорили. Что глубже всего возмущало Гёргея в событиях 1848 года, что уводило его все более решительно на иной, особый путь? «Нелепое», с его точки зрения, «республиканское» подстрекательство — то есть якобинство, появ-

ление *мужиков* на политической арене. Кто был среди республиканцев главным запевалой? Кто олицетворял республиканизм? Мы ведь рассматривали стихотворения «Лук мой славный», «Революция», «Апостол», «На виселицу королей!». Позднее Гёргей, уже не кипящий в политических битвах холодный полководец, а точный мемуарист, называет автора этих стихотворений «моим любимым поэтом». Это еще самая мягкая его «оговорка».

То, в какой мере герой остается верным той или иной благородной идее, служит проверкой характера. Но и сама идея апробируется тем, кто и до каких пор остается ей верным. Сечени, который первым покинул сцену революции, отошел не по доброй воле: его вырвала из битв болезнь. Гёргей оставил сцену последним, хотя от самой революции отступился еще в начале событий. Это внутреннее противоречие, эта, даже неосознанная, быть может, двойственность разлагает его исторический облик, превращает его в карликовый, частный, сугубо индивидуальный случай; эта двойственность губит даже то, к чему он приближался с добрыми намерениями. Каковы бы ни были его способности, он ничего не создал; поэтому места среди героев той эпохи ему нет.

Герой эпохи — тот, чью правоту подтвердило время. Сечени, в чьи цвета позднее желали обрядить душевно бесцветного Гёргея, указал один путь. Нация выбрала не его. Она выбрала «трагический» путь. И все-таки можно не сомневаться, о ком из венгерских героев 1848 года мы чаще всего говорим: как он был прав! Но сам-то 1848 год — он был ли прав? Не следовало ли все-таки избрать мирный путь, путь смирения, приниженности? На этот вопрос мы можем ответить лишь косвенно.

Если попытаться одной фразой выразить, какой великий исторический урок дал этот продолжающийся и по сей день век — век, родившийся под звездой борьбы за социальную свободу, то следовало бы сказать так: свобода национальная есть начало начал.

В 1848—1849 годах венгерский народ пронес к победы свою революцию: он отождествил себя с революцией. После отвоевания народом Буды в мае 1849 года венгерский народ и революция — едины. Венгрия независима и свободна. Хлынувшие в страну иноземные войска разбивают не революцию, а венгерский народ.

Мы пытались определить опознавательные знаки душевного склада революционера. Видели, какая участь выпала на долю поэта в коротком, но тем более памятном апофеозе венгерской славы: бедность, попреки, едва не тюрьма. Обо всем этом — ни единой стихотворной строки. Но, покуда остальные чокаются друг с другом, охмеленные победой, он пишет:

Явилась смерть, чтоб нас смести бесследно
 С лица земли. Повальный этот мор.
 Из сатанинской гнилой утробы
 Злодей-корольдохнул на нас в упор.
 Смертельный вихрь летит со страшной силой,
 Как будто в день последнего суда.
 И гнемся мы, как лес во время бури,
 Но — живы! Не сломить нас никогда!
 Венгерец жив! Стоит еще отчизна.
 Заговорили сабель голоса,
 И отзвук их летит по всей Европе, —
 Венгерец, сотворил ты чудеса!
 Кто прежде знал, что где-то на Дунае
 Живешь ты, унижаясь и скорбя.
 А вот теперь первейшие из наций
 Взирают с изумленьем на тебя!

Однако не закончена работа,
 Которую должна ты завершить —
 Наполовину лишь разрублен узел,
 Который ты решила разрубить,
 И в день, когда его ты перерубишь,
 Страна моя, окрепшею рукой,
 Уже не мне венчать тебя придется, —
 Венчать тебя придет весь род людской.

(«Явилась смерть...» Перевод Л. Мартынова)

Это стихотворение написано в день отвоевания будайской крепости, 21 мая.

Европа, действительно, глядела на Венгрию, готовилась насладиться увлекательным зрелищем — как два тигра растерзают газель. За границей было достоверно известно то, о чем среди венгров ходили лишь «невероятные» слухи: что две сильнейшие державы континента уже двинули на Венгрию свои войска. Пальмерстон, который позднее проливал столь горячие слезы, сейчас уведомляет Вену: венгры правы, именно поэтому хорошо бы как можно скорее покончить с ними — иначе могут произойти серьезные беспорядки.

Молодой поэт, чья кровь в иное время пульсировала в унисон пульсу Европы, сейчас отрешен от всего. Он пересекает Алфёльд на тряской крестьянской телеге, уронив отягченную заботами голову, — едет в Салонту, затем обратно, везя на коленях маленького сына; он столь неосведомлен о положении военных дел, что там, в Салонте, пишет об отказе своем от звания майора, пытаясь хоть кое-как заврачевать рану, нанесенную его человеческому достоинству.

Подав в отставку и возвратясь в Пешт, Петефи вновь принимается за самое главное.

Опасность, наконец, встает во весь свой рост перед сознанием общества. Город раскален. Атмосфера такая, какая бывает в канун революции. Общественная опасность становится пустым звуком. Народ — из мастерских, из лавок — роится на улицах; собираются толпы, люди спорят, ждут знака. Молодежь под влиянием известий с фронта исполняется то надежд, то тревоги и тоже ждет какого-то чудесного поворота событий. Если и не чудесного поворота, то хотя бы указания, что делать. Иными словами, настроение общества опять становится живой действующей силой.

Вот оно опять, время народных поэтов! Время Петефи! И приходит это в голову даже не ему самому. Приходит — наконец-то! — главному политическому деятелю, правителю Венгрии!

Величие Кошута в том, что ради своей нации он готов был сделать все и даже понимал, что именно следует делать в ту или иную минуту. Но когда он признал наконец значение народной партии — тогда и он ничего более сделать не мог, ибо уже выпустил руководство из рук. Политикой стал заниматься кадровый офицер.

Если бы Кошут годом раньше призвал к себе «народников», республиканцев, во главе с авторами «Витязя Яноша» и «Толди», если бы тогда попросил их провести народное собрание и «фанатизировать» народ! Сейчас, в конце июня, он тщетно доверяет им Пешт с тем, чтобы они, возглавив народ, защищали его до последнего вздоха, а правительство, мол, останется с ними, — если надо, похоронит себя под руинами города. Это означало баррикадные бои, вооружение народных масс.

Петефи готов и на это. Он верит в будущее с непоколебимым оптимизмом революционера.

Суд свершается, — последний
Пробил час.
Я его спокойно встретил,
За отчизну не страшась.

Как всякий подлинный революционер, он еще более, чем в будущее, верит в нравственность, в победу справедливости:

Мне бедой не угрожает
Грозный суд, —
Лишь злодеи и убийцы
В этот час ответ дадут.
Кто преследовал мадьяра,
Озверев,
Тех настигнет божья кара,
Те узнают божий гнев.

Подымайтесь, торопитесь,
Все вперед,
Час настал, — быть может, каждый
Кровь за родину пролет.
На простор, — скорей же, братья,
Настежь дверь, —
Пусть одной великой ратью
Станет Венгрия теперь.

В этот миг мы знаем только
Об одном:
В битве трудной и священной
Победим или умрем.
Прочь ненужного народу
Короля!
В бой, — священна лишь свобода
И венгерская земля!

*(«На войну, на бой священный».
Перевод Н. Стефановича)*

Это слова подлинного революционера.

Таково последнее призывное стихотворение Петефи; он предназначает ему на предстоящем народном собрании ту же роль, какую сыграла в свое время «Национальная песня». Но никакого народного собрания не было. Когда на стенах города появились плакаты о его созыве, повсюду уже было расклеено и воззвание правительства: если того потребует ход военных действий, правительство временно, быть может, покинет столицу... Кошут — вернее Дембинский — изменил план. Вождь армии, то есть действующей власти, издает приказ покинуть город: оборонять Пешт он больше не в силах. Поэт видит лишь внешнюю сторону событий, их внут-

ренние пружины ему неизвестны; дрожа от ярости и отчаяния, он бродит по городу, где все перевернуто вверх дном. Вместо последнего, решающего великого сражения все готовятся к бегству. Так вот, значит, каков он, народ, вот каковы храбрые руководители нации, эти витязи свободы, которые сейчас хватаются не за саблю, а за чемоданы?! Разочарование ужасно: для Петефи революция и свобода были действительно личным делом. Он остается один. Если венгерское правительство и не думает о нем, не признает его значения, то австрийцы тут оказались весьма компетентными: среди тех, кого разыскивает габсбургская полиция, его имя — одно из первых. Что может он сделать еще? Чаша, кажется, переполнилась...

«...правительство довело, конечно, под сурдинку, до сведения столицы, что оно и не думает драться на подступах к Пешту и тем более не согласно оставить там свои драгоценные зубы. Правительство дало также понять, что при первом же шорохе убежит на край света... Эта гнусность привела меня в гнев... Я собрал свои пожитки и на другой же день мирно удалился с семьей в Бекеш, с единственным желанием, чтобы судьба никогда больше не заставляла меня вступать даже на порог общественной жизни...» Потрясающее признание! «И теперь мы здесь, и в те мгновения, когда я забываю совсем, что у меня есть родина, я совершенно счастлив».

Это — самая глубокая точка отчаяния, после которого должен последовать новый подъем. Не к смерти, но к новой полосе жизни готов сейчас поэт. «*Je servirai ma patrie avec la plume, et pas avec l'épée*» — «Я стану служить своей родине пером...» — нет, он готовится не к смерти, к работе! Сражения на арене общественных битв, опыт и впечатления последних лет сейчас как бы сгущаются: все говорит за то, что уже давно назревавший душевный переворот произойдет именно теперь. Так же как за периодом лирически непосредственного отклика на явления природы следовал период глубокого проникновения в природу, лирического углубления, так теперь время немедленных и непосредственных откликов на явления живого мира — общества — опять сменяется временем углубленных раздумий, пытливо-вглядывания в себя. Впечатления, мучительно переполнявшие душу, в тихой деревенской жизни, несом-

ненно, опять скоро перебродили бы, обезвредились, перестали жалить, и, как всегда в такие периоды, урожай опять был бы великолепен — щедрей, чем когда-либо прежде. Рано созревший поэт сейчас созрел окончательно, стал мужчиной; все, что было до сих пор, с непреложностью должно было остаться периодом «штурм унд дранга» по сравнению с высокой и мужественной мелодией следующего этапа. Для этого есть все: несомненный талант, знания, опыт — и какой опыт! — поэтический настрой и вера, ибо поэт разочаровался лишь в людях, по не в идеалах.

Да и в людях не разочаровался. Он отвернулся только от непосредственного участия в общественной жизни, но отнюдь не от идеалов. К ним он привязан более, чем когда-либо.

Великая идея и великий опыт: именно из их слияния рождаются шедевры.

Внезапный и страшный конец Петефи лишь тот может именовать славной вершиной, достойно завершающей его путь, кто уже вряд ли решился бы последовать за ним далее по этому мужественному пути. Еще дальше — куда? Кто готов задуматься над этим, тот ощущает гибель поэта не только не «славной», но поистине ужасной.

Поэт готовится не к смерти. Он много работает, изучает источники, делает выписки, заметки, принимается за большое драматическое произведение из той эпохи, когда некий венский палач с животной кровожадностью сотнями посылал на смерть лучших сыновей нации... Начинает писать биографию своего сына Золтана. Словно выздоравливая, через десять—двенадцать дней пишет уже и стихотворение.

Он приступает к работе с усердием мастерового, наконец-то опять дорвавшегося до своей мастерской. Ему нужно немало наверстать. Он, еще три-четыре года назад чуть ли не каждый божий день набрасывавший на бумагу что-нибудь вечное, непреходящее, — в 1848 году написал только сто шесть стихотворений, а за шесть месяцев 1849 года — всего девятнадцать.

И вот его двадцатое стихотворение. Напрасно закрывает он дверь перед «общественной жизнью», мир врывается к нему через окно. И в тишине Мезёбереня — душевной тишине — он улавливает голос родины, о которой так жаждал забыть, и отзывается на него тотчас:

Ужаснейшие времена!
Кошмарами полна страна....
Быть может, был
Приказ небес,
Чтоб все это случилось.
Чтоб отовсюду кровь лилась!
О, так и есть! Ведь против нас
Полмира ополчилось!

Лицом к лицу стоим с войной.
Но разве горе в ней одной?
Война — войной,
А за спиной
Ужасный призрак мора!
Сплеча господь отчизну бьет,
Двумя руками гибель жнет —
Все на ее просторах!

Погибнем все? А может стать,
Кто выживет, чтоб написать
Рассказ
Про самый черный час
На белом свете?
Вот только бы хватило слов,
Чтоб был рассказ его толков
Про злодеянья эти!

А если хватит слов, так все ж
Ему ответят: «Это ложь!
Ведь это бред,
Чтоб столько бед
Наваливалось разом!»
И, выслушав рассказ такой,
Подумают, махнув рукой,
Что помутился разум!

(«Ужаснейшие времена». Перевод Л. Мартынова)

Это — последнее его стихотворение.

Петефи вновь садится за драму; он работает над ней с основательностью и великой художнической требовательностью — не так торопливо и поспешно, как когда-то. Работа обрывается на второй сцене, там, где Караффа беседует со своими тридцатью палачами.

Драма — для которой прообразом острого на язык молодца-венгра послужил знакомый нам сангвиник-мясник — отчетливо и яростно революционна. Ею никогда не занимались, а между тем она чрезвычайно важна, в том числе и как кладезь чисто психологических наблюдений. Драма свидетельствует о том, что поэт и в самой крайности взирал с неизменной надеждой на будущее венгерской революции. Опасность он видел, но у него даже в мыслях не было отступить от своих идеа-

лов хотя бы на йоту. Несомненно, он догадывался о многом; относительно себя лично не тешился иллюзиями; однако даже он, как и его современники, не мог предвидеть, до какой бешеной мести унижится венский двор: чтобы Габсбурги уничтожили Венгрию как государство — то есть срубили тот самый сук, на котором сидели и , — этого безумия не предвидел не только Кошут, но даже революционер Петефи.

Однако случилось нечто, еще более отвратительное и глупое, — случилось самое непростительное.

На Алфёльд медленно вступили царские войска.

Мезёберень уже перестал быть безопасным местом; рано или поздно он попадет в клещи. Отпечатанный в тысячах экземпляров приказ о задержании Петефи и описание его внешности вполне могли дойти в двух-трех экземплярах и до царской полевой жандармерии. Но даже если бы царские слуги удалились, не причинив беды, следом за ними явились бы хорошо обученные императорские ищейки.

Венгерец в Венгрии мог чувствовать себя в безопасности уже лишь на поле брани. Петефи подумывает о Беме. Он жаждет известий, Дамьянич находится в Араде, поэт собирается к нему. Он уже сел в телегу вместе с женой, но лошади понесли, дышло сломалось, пришлось отложить поездку. Может быть, перебраться в арадскую крепость? На следующий день, когда они уже совсем готовы были тронуться в путь, перед домом появились в коляске Эгреш и Шандор Киш, гонец Бема, которого старый генерал послал лично за милым своим «сыном». Но поэт на этот раз вдруг непонятно колеблется. Не лучше ли было бы все-таки переждать в Мезёберене? Однако он поддается уговорам и едет. В среду он женился, 15 марта также выпало на среду, и сейчас тоже среда, счастливый день.

С Юлией они расстаются в Торде, 22 июля.

Поэт оставляет ее в семье Миклоша, протестантского священника. Но еще в тот же день, едва прибыв в Марошвархей, он пишет ей:

«Душа моя Юлишка, сейчас поздний вечер. Мы только что прибыли сюда. Завтра спозаранку отправляемся в Удвархей. Последнее свое письмо Бем прислал сюда три дня назад из местечка, находящегося в полудне ходьбы от Брашшо. Не знаю, где мы перехватим его. Может быть, в Брашшо, а может быть, уже и дальше.

Привет Миклошу и его семье.

Целую вас, мои святыни.

Буду писать каждый раз, как только смогу.

Будь, насколько можешь, спокойной и терпеливой.
Верь!

Надейся!

Люби.

До гроба и даже за гробом навеки
преданный тебе твой муж

Шандор».

Петефи не думал о смерти. Весело разговаривал с Юлией, строя планы на будущее, пошел с ней посмотреть знаменитую тордайскую пропасть. С Бемом поэт встретился в Берецке, 25 июля. Когда старый генерал из своей коляски увидел поэта, он вскрикнул и протянул к нему руки.

— Mon fils, mon fils, mon fils ¹, — повторял он, заливаясь слезами, когда они бросились друг другу в объятия и расцеловались.

— Так это сын генерала? — спросил кто-то.

В час траура или опасности даже зрелые мужи проливают слезы, встречаются с милыми сердцу людьми. А положение было серьезное, русские заполнили и Эрдей. Именно здесь, в Берецке, Бем получает известие, что под Сасрегеном разбили венгерскую часть; он мчится туда через Эрдёвидек, забрав с собою и поэта, которого опять производит в чин майора, постоянно держит при себе и даже — то было в Удвархейе — приказывает расстрелять из-за него иностранца-гонимца, который не поверил, что в цивильном молодом человеке ему надлежит почитать майора, и поднял на него руку. Чудовищная история: Петефи тщетно старается спасти своего обидчика от военно-полевого суда: чем больше опасность, тем крепче должна быть дисциплина...

29 июля они прибыли в Марошвархей. Поэт жаждет привезти поближе Юлию, думает об их будущем. «...я писал тебе, что окрестности Чик-Середы и Кезди-Вашархейя прекрасны. Шепши-сентдёрдевские, быть может, еще лучше, да и город мне понравился больше. Мы осмотрим их подробнее, когда, как ласточки, стремящиеся свить гнездо, вместе объездим Харомсек...» Он хочет поселиться в Эрдее.

¹ Мой сын, мой сын, мой сын (*франц.*).

Поэт верит в Бема.

«Сейчас он относится ко мне еще ласковей, еще нежней, еще более отечески, чем прежде, хотя и прежде так относился. Сегодня он сказал другому своему адъютанту: «Melden Sie dem Kriegsministerium, aber geben Sie Acht, melden Sie das wörtlich: Mein Adjutant, der Major Petöfi, welcher abgedankt hat wegen der schändlichen Behandlung des General Klapka, ist wieder in Dienst getreten»¹. Сегодня же в дороге сказал мне, чтобы я привез тебя сюда, и мы устроим вас в Марошвашархейе. Это моя самая заветная мечта, но пока мы не укрепим свои позиции против русских, которые стоят здесь по соседству, до тех пор я не смею прибегнуть к этому шагу. Неприятель всего лишь в двух милях отсюда, и местные жители разбежались на днях, точно цыплята. Но как только это место станет более или менее надежным, ты можешь быть совершенно уверена, что это будет моим первейшим шагом. Как вы живете, милые, любимые мои? Хоть бы что-нибудь услышать о вас! Если удастся, если как-нибудь сумеешь, напиши мне, ангел мой, хоть одно словечко напиши. А я-то уж воспользуюсь первой же представившейся okazjiей. Как мой сын? Все ли еще сосет? Отними его поскорее от груди и научи говорить, — пусть он преподнесет мне такой сюрприз. Целую, обнимаю вас миллион раз, бессчетно.

Обожающий тебя муж...»

Он готовится к новой жизни.

На следующий день, чтобы воспрепятствовать соединению северной и южной царских армий, войско в 2700 человек выступает по направлению к Шегешвару.

Задача Бема — не пропустить на Алфёльд, в тыл Гёргею, действующих в Эрдее русских. Отрядов у него несколько, но все это, по сути дела, лишь подразделения. Может ли он привлечь сюда еще больше солдат? Как бы то ни было, он должен принять на себя этот бой, должен появиться перед противником, хотя бы так, как вылетает, защищая свое гнездо, певчая птичка навстречу хищнику. Иллюзий у него нет, но нет и страха. За кого он боится, того отсылает от себя. Офицеры,

¹ «Доложите военному министерству, но осторожно, доложите слово в слово: «Мой адъютант майор Шандор Петефи, подававший в отставку вследствие позорного обращения с ним генерала Клапки, снова приступил к службе» (нем.).

усевшись в крестьянские телеги, выехали вперед. Наступал рассвет. «Любопытствующий народ, — пишет один очевидец, — высыпал к окнам и прямо на улицу; люди приветствовали едущих почтительно, по дороге слышны были и отдельные «Ура!», так как на одной из повозок колыхалось белое перо старого генерала».

Царские войска — согласно военным донесениям гонведов, 16 000 пехоты и кавалерии с 24-мя пушками — от неожиданности подались назад перед храбрым старым генералом; так лошадь, отпрянув, пятится перед мышью. Полководцы Людере и Скарятин подозревают ловушку; продвижение венгров вперед по трезвом рассуждении они могут принять лишь за обманный маневр, ложную атаку, и весь день, с девяти часов утра до пяти часов пополудни, с тревогой ждут, когда же наконец — из-под земли, из-за облаков — появится настоящий враг. Это не первая выходка Бема. Поскольку иного выбора у него нет, остается надеяться, что ему удастся до тех пор забрасывать недоумевающего Голиафа камешками из Давидовой пращи, покада какой-нибудь не угодит невзначай великану в висок. Гонведы-секеи, хотя и чувствуют все безумие этой отваги, превосходно ему подсобляют, от Фейерэдьхазы до Шегешвара они успешно рубятся с казаками и возвращаются с целым отрядом пленных. Пятнадцати-шестнадцатилетние мальчики, управляющиеся с пушками, в одних рубахах, словно соперничая с русской артиллерией, на каждые два выстрела отвечают тремя. Они целятся в суетящиеся вокруг мортир фигуры, в тех, кого принимают за офицеров, — так гласит легенда, ибо в действительности это, конечно, невозможно. И все-таки в одного генерала — Скарятин, — угодил снаряд. Битва начиналась успешно.

Бем занимает позицию на холмах, окружающих развалины Фейервара. И то и дело посылает своих «сынов» в атаку, с храбростью отчаяния затеяв захватить артиллерийские позиции противника. Русские раздраженно защищаются. Часам к пяти великан наконец осознает, что лилипутский лагерь и есть противник в полном составе, которого он может уничтожить, просто сжав кулак. Мощная армия протягивает руки и справа и слева;

затаившиеся в кукурузе, в кустах казаки начинают окрывать повстанцев. В это же время переходит в наступление и штыковая метла пехоты. Битва превращается в горькую расправу.

Позднее многие венгерские стратеги и военные историки с пеной у рта доказывали, что численный перевес противника не был так ошеломляюще велик. Этим они стремились смыть с имени Бема обвинение в необдуманности и — произнесем это слово прямо — безответственности. По их утверждениям, у Людерса было только десять тысяч солдат, а Бем, со своей стороны, имел все основания надеяться, что военачальники Кемень и Добаи, подчиненные ему, еще в течение дня к нему присоединятся с несколькими тысячами солдат. Таким образом, численное превосходство было не шестикратным, а всего лишь трехкратным; в худшем случае — как это представлял себе и Бем, — двукратным. Но мы и без этого можем оправдать старого воина революции. Ведь в чем тут разница? Словно спорим о том, с какой высоты упал самолет — с десяти тысяч метров или всего лишь с трех? В те дни Бем действовал не согласно рассудочным предначертаниям профессоров академии, специалистов по военной стратегии, а в согласии с инстинктом израненной, испытывающей мучительные удары нации. Когда убийца хватает нас за горло, мы, если еще в состоянии ударить, не смотрим, сколько бандитов толпится за его спиной. Царские генералы Людерс, Паскевич, как и императорские генералы Хайнау и Шварценберг, исполняли в Венгрии черное дело убийц, к тому же — даже с точки зрения международного права — наемных убийц. Мы всматриваемся из дали целого столетия, и все же комок застревает у нас в горле: мы видим, как непоколебимый старый воин, собрав последние силы нации, еще на минуту-другую отрывает цепкие вражеские пальцы от горла народа. Если бы такой же инстинкт действовал и в Гёргее, вместо его бесстрастной приверженности к порядку! Бем проявил себя в Эрдее как гениальный полководец в немалой степени благодаря этому инстинкту. Даже разбитый, он продолжает диктовать образ действия противнику, он видит большее, чем победу, — интересы великому, защищаемого им дела. Поэтому, даже спасаясь бегством, он побеждает, ибо в конечном итоге и под Шегешваром победу одержал он: царские войска, вызванные на подавление серд-

ца венгерского сопротивления, не перешли Эрдей, так и не достигли цели. Царский военный историк Иван Ореус с изумлением, не веря самому себе, пересчитывает те гениальные шахматные ходы, с помощью которых отчаянно храбрый, не ведающий страха, старый воин заставлял царские войска кружиться вокруг мертвой точки.

Бем и в самом деле не ведает страха, но за своего «сына» он боится, что верно, то верно. Из всех генералов революционной Венгрии лишь он один инстинктивно разгадал — словно хорошую стратегическую позицию, — какое сокровище таится в этом молодом человеке, в главном герое великого подвига нации. Он чувствует себя ответственным за него.

Еще в Марошвашархейе Бем приказал поэту остаться в тылу: он знал, на что идет. Петефи, нарушая приказ, отправился вслед за армией на какой-то телеге: у него не было ни коня, ни оружия, даже военного мундира. Когда в начале сражения Бем увидел его, он сердито закричал на него, приказывая немедленно отойти назад, по крайней мере, к резервным отрядам.

После этого Петефи видели на поле боя в разных местах.

Это поле боя, как и самый бой, нетрудно себе представить. Широкая, длинная, поросшая буйной растительностью долина реки. Проведем по ней в длину линию реки и проезжей дороги. Вдоль них обозначим три населенных пункта, находящихся друг от друга на расстоянии видимости, в следующем порядке: Шегешвар, Фейерэдьхазы, Хейашфалва. Шегешвар с его башнями и сложенной на горе средневековой крепостью представляет собой весьма красивое зрелище, даже издали. Как раз перед ним стоит Людерец. Венгры занимают позицию перед Фейерэдьхазой, опираясь левым флангом на горный кряж, правым же на реку Надькюкюллё. До пяти часов пополудни это и есть место действия. Затем оно перемещается за Фейерэдьхазу, а там откатывается еще дальше, развертываясь между Фейерваром и Хейашфалвой. Дорога между Шегешваром и Фейерэдьхазой ровная и прямая, почти как стрела. За Фейерэдьхазой дорога поворачивает к горному кряжу и, достигнув определенной высоты, делает крюк, очевидно, затем, чтобы приблизиться к журчащему там источнику, который издревле служил путникам, желавшим утолить жажду и напоить лошадей. Запомним же и этот подъем, крутой

и внезапный, запомним источник. Он находится примерно в двух километрах от деревни.

В начале сражения Петефи видели возле дороги, в том конце деревни, которая ближе к Шегешвару. Он сидел на каком-то припечке на самом краю сожженной деревни и что-то записывал в карманную тетрадку. С полчаса он стоял на мостке через канаву, облокотясь о перильца. Затем пошел к артиллеристам, и его скрыло облако пыли, поднятое упавшим неподалеку пушечным ядром; он потом долго рукавом протирал глаза. Когда яростные «ура» вражеской атаки зазвучали вдруг с трех сторон разом, он стоял, погруженный в раздумье у деревенской околицы, неподалеку от перевязочного пункта. Перевязывавший раненых врач с ужасом указал ему на два полка улан справа, которые едва в тысяче шагов от них уничтожали горстку тщетно оборонявшихся венгерских гусаров. «Чепуха», — ответил поэт. Врач указал ему налево. И левое крыло, вся линия фронта бежала. Слышались вопли: «Мы окружены!» Поэт взглянул налево; бегством спасался весь штаб и сам маленький старый генерал, несравненный храбрец; тогда поэт, не сказав ни слова, повернулся и тоже бросился бежать.

Все, что затем последовало, напоминает прыгающие, бесформенные кадры порвавшейся ленты перед тем, как наступает ошеломляющая белая пустота. Здесь уже и воображение рисует действительность так же, как трепещущий от ужаса взор последних свидетелей.

Крохотную надежду на спасение оставляли только лес, начинавшийся сразу же за холмами, что окружали разбитую пушечной канонадой деревню, да путь, ведущий в сторону, к Фейерэдьхазе, но и то и другое сулило спасение лишь тем, у кого была лошадь: кольцо казаков смыкалось с молниеносной быстротой.

Началось безумное кровопролитие; царские солдаты, мстя за смерть Скарятина и семисот своих товарищей, в плен не брали.

Врач, оглянувшись с холма, еще увидел, как ему показалось, поэта; Петефи бежал по дороге с непокрытой головой, с развевающимися полами расстегнутого сюртука. Потом и этот последний очевидец потерял поэта из виду.

Согласно правилам пользования оружием, существовавшим в царской армии, пику — укрепленную на плечевом ремне и удерживаемую под рукою — рекомендо-

валось всаживать в нижнюю часть тела, наиболее мягкую и имеющую большую поверхность — в живот. «Того, кто бежит, надлежит, приподнявшись на стременах, ударом сверху вниз лишить боеспособности».

Когда лошади уже настигли поэта, он повернулся к преследователям лицом. Удар он получил спереди.

«Исполнилась мечта поэта: он действительно не растаял как свеча среди комнаты пустой», — произнес, имея в виду это мгновение, один великий академик, почитатель Петефи. «Смерть его была поэтическим творением богов, достойным поэзии их любимца», — сказал муж еще более великий, нежели предыдущий, еще более высокопарно, уже с едва скрываемым садизмом. Это ханжество почтительного благоговения вынуждает нас воспроизвести во всей отчетливости и во всем ужасе несколько моментов одной из самых позорных минут в человеческой истории.

Геройскую смерть на поле брани мы представляем себе так: в момент счастливого экстаза нас неожиданно настигает пуля или уносит обрушивающийся внезапно сабельный удар. Поэт в пять часов пополудни осознает, что находится в смертельной опасности; он покидает перевязочный пункт рядом с мостом и бросается бежать по длинной деревенской улице. Оставив деревню позади, он бежит еще около двух километров, почти совсем один, почти последний, оставшийся еще в живых из всей армии. После долгого дня, проведенного на ногах, в непрерывном хождении и волнении, он бежит по дороге, вверх, в гору. Скрыться в деревне он не пытался, не пытался из воинской преданности — не желая оставлять своего генерала; к тому же для него плен мог означать лишь смерть. Он мчится по широкой дороге. Оглядываясь назад, видит, конечно, скачущих за ним следом всадников. Приблизительно без четверти шесть поэт достиг начала того подъема, взобравшись на который, — так он, вероятно, думал, — он скроется из глаз своих преследователей и опять увидит своих. В шесть часов, задыхаясь, он взбирается на пригорок.

И видит: спасения нет. Преследователи уже почти со всеми расправились, на очереди он, единственный, оставшийся в живых. Он выдохся, так как взбирался на гору бегом. Оглянувшись вокруг, он инстинктивно бросился направо, в кусты, окружавшие источник, но было уже поздно.

Из военных донесений можно было установить точно: «очистку» производили здесь две роты одесского гарнизона, так называемые «уланьы Нассау», состоявшие из донских казаков, под командованием балтийского барона Бреверна, царского гвардейского поручика. Поэт был в гражданском платье, не имел при себе никакого оружия. Попытался ли он словом подействовать на нападавших? Язык их он понимал. Однако славянские братья по крови или угорские братья по языку более жизни его оценили одежду и то, что надеялись они обнаружить в его карманах.

Франц-Иосиф без всякого права, то есть как убийца, ступил своим сапогом в Венгрию. На помощь он позвал сообщника, царя Николая, тем самым еще более нарушив всякое право. Их ответственность, следовательно, очевидна. Ну, а тех, кто убивал по приказу этих убийц то есть с ними заодно? Это поистине огромный вопрос. Вопрос о правах и ответственности индивидуумов, составляющих общество...

...У горного источника при Фейерэдьхазе кто-то погиб. Но труп поэта так никогда и не был обнаружен.

Позади казаков на некотором расстоянии трусил австрийский полковник. То был Хейдте, будущий Хайнау Эрдея. Он не воевал, его задачей была окончательная «очистка»: погребение трупов, эвакуация раненых. Этот полковник, согласно его донесению, отправленному военным властям, между Фейерэдьхазой и Хейашфалвой в непосредственной близости от источника видел пропоротого пикой спереди повстанца с искаженным лицом; убитый был раздет, на нем остались лишь черные брюки. Рядом с ним валялись запачканные кровью официальные документы: они были брошены мародерами, для которых не представляли ценности. Описание личности повстанца позволяет думать, что это был Петефи.

Но вдруг все-таки то был не он? Что, если он был только ранен? На другой день люди Хейдте вышли на поле боя, раненых заботливо добились, а все ценности, какие еще остались, подобрали. Ну, а если по какой-то счастливой случайности он все-таки и после того остался в живых? Это не сказки, увы, что среди тысячи тридцати убитых были захоронены и раненые. Существовала легенда — и даже находился свидетель — будто и поэта живым бросили в братскую могилу. Он еще крикнул

из ямы: «Не закапывайте!.. я жив!» — «Подыхай!» — донеслось сверху, и он был завален трупами.

Это случилось за две недели до того, как Гёргей — опоздав и к решающей темешварской битве — сложил оружие, а Кошут отправился скитаться по белу свету.

Сколько угодно твердите матери, что любимый сын ее погиб где-то в дальней дали. Она не поверит. И если много-много времени спустя умом даже примирится с такой мыслью, в сердце ее при каждом новом слухе, пусть даже самом невероятном, оживает надежда. Люди Венгрии десятилетия спустя продолжают видеть смутительные сны. При свете дня однажды проходит вдруг по коложварскому рынку оживший призрак поэта; в другой раз он является кому-то на берегу Балатона. Через тридцать лет после его гибели миллионы людей — взбудораженные прожженным авантюристом, его насквозь и явственно лживыми словами — в мучительных кошмарах видят поэта на царской каторге, в глубине сибирской свинцовой шахты, с седую головой и согбенной спиной. Пропорционально любви растет и мечта: о, если бы он вернулся, пусть разбитый, пусть онемевший, пусть даже потерявший рассудок! Если бы естественная граница человеческой жизни не лишала надежды, что он еще может быть жив, я и сам отправился бы в путь при наисомнительной весточке, чтобы сказать ему... но что же я сказал бы ему? Что «дух его восторжествовал»? Не будем убаюкивать себя, он не восторжествовал. Мысли поэта, причины его священного гнева, его грезы о свободе и о будущем народа не устарели — этого он менее всего ждал от будущего. Мучительное наследство. Тот, кто наслаждается лишь «красотой» его строк и отгораживается от сокровитного в них приказа, поистине может чувствовать себя укрывателем краденого. Право на его стихи мы можем купить лишь одним — признав себя его сторонниками; лишь приняв, прочувствовав, наряду с красотой, и дух его, можем мы понять в полной мере его произведения. Таково их требование и одновременно критерий: ибо самое это требование и есть критерий великой поэзии.

Дянт-Озора, сентябрь-октябрь 1936 г.

ВЕНГЕРСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УПОМИНАЕМЫЕ В ТЕКСТЕ КНИГИ.

Ади Эндре (1877—1919) — крупнейший поэт, оказавший революционизирующее воздействие на венгерскую литературу начала XX в.

Арань Янош (1817—1882) — выдающийся представитель венгерской реалистической поэзии.

Арпад (?—907) — вождь легендарных семи племен, основавших на территории Паннонии венгерское государство; родоначальник королевской династии Арпадов.

Байза Йозеф (1804—1858) — поэт и критик, один из руководителей и организаторов прогрессивных литераторов Венгрии в 30—40-х гг. XIX в.

Барабаш Миклош (1810—1898) — художник, создал галерею портретов выдающихся деятелей национально-освободительного движения 1848—1849 гг.

Баттяни Казмер (1807—1854) — политический деятель; был председателем «Общества поощрения промышленности»; в 1849 г. — министр иностранных дел в правительстве Семере, последовал за Кошутом в эмиграцию.

Баттяни Лайош (1806—1849) — политический деятель; председатель первого ответственного венгерского министерства, образованного в апреле 1848 г.; в октябре 1848 г. снял с себя полномочия председателя, несогласный с объявленной Венгрией войной против Австрии; был казнен по приказу австрийского маршала Виндишгреца.

Бачани Янош (1763—1845) — поэт, автор гражданственных стихотворений; был близко связан с группой «венгерских якобинцев».

Бем Йозеф (1794—1850), польский офицер, участник революционных битв во многих странах Европы, с ноября 1848 г. генерал венгерской национально-освободительной армии.

Бержени Даниэль (1776—1836) — поэт, в творчестве которого переплетались традиции классицизма и сентиментализма; надежды на обновление Венгрии связывал с дворянством.

Берци Карой (1821—1867) — писатель и переводчик, член «Общества десяти».

Буйовски Дюла (1827—1883) — прозаик и драматург; в первые дни революции солидаризировался с «мартовской молодежью».

Вайда Янош (1827—1897) — поэт, писатель, публицист, выдающийся представитель венгерской лирической поэзии.

Варади Антал (1819—1885) — адвокат, участник «Национального круга».

Вахот Имре (1820—1879) — драматург и издатель.

Вахотт Шандор (1818—1861) — поэт, старший брат Имре Вахота. (Написание общей родовой фамилии — Вахотт — младшим братом было упрощено, как знак демократизма.)

Вашвари Пал (1827—1849) — участник революции 1848—1849 г. придерживался крайне левых воззрений; во главе им же созданного батальона «красношапочников» воевал в Эрдее, где и погиб в одном из сражений.

Веттер Антал (1803—1882) — генерал-лейтенант освободительной армии; столкновение с ним Петефи произошло вследствие самовольной отлучки поэта из армии.

Вечи Карой (1807—1849) — граф, генерал национально-освободительной армии, кадровый офицер австрийской армии, летом 1848 г. перешедший на службу революции; в числе 13 генералов-гонимых был казнен 6 октября 1849 г.

Вешелени Миклош (1796—1850) — политический деятель «эпохи реформ», публицист, близкий соратник Сечени.

Вёрёимарти Михай (1800—1855) — поэт, крупнейший представитель романтического направления в венгерской поэзии, был выразителем настроений либерального дворянства в «эпоху реформ».

Гарай Янош (1812—1853) — поэт-романтик; в 1843 г. редактор журнала «Регелё».

Гвадани Йожеф (1725—1801) — писатель, наиболее широкую известность приобретший пародийно-сатирическими произведениями, а также историческими исследованиями.

Гёргеи Артур (1818—1916) — генерал, главнокомандующий, затем военный министр и наконец диктатор в период национально-освободительной войны 1848—1849 гг.; под Вилагошем сдался императорским войскам, приказом заставив революционную армию сложить оружие; эта акция завершила поражение национально-освободительной армии.

Грегуш Агошт (1825—1882) — писатель, эстетик-идеалист.

Дамьянич Янош (1804—1849) — генерал национально-освободительной армии, одержавший ряд побед; казнен в числе 13 генералов-гонимых.

Деак Ференц (1803—1876) — либеральный политический деятель, представитель умеренной оппозиции Габсбургам до 1848 г.; позднее, в 60-х гг., идейный вождь сторонников соглашения и компромисса с Австрией.

Дегре Алайош (1820—1896) — писатель, член «Общества десяти».

Дембинский Хенрик (1791—1864) — выдающийся участник польского освободительного движения 1830—1831 гг.; подполковник венгерской национально-освободительной армии.

Дожа Дёрдь (1474—1514) — вождь крестьянского восстания 1514 г.; был сожжен заживо на раскаленном железном «троне».

Дюлаи Пал (1826—1909) — поэт и прозаик, историк литературы, одним из первых признавший значение Петефи (хотя не одобрявший его революционных взглядов).

Зерфи Густав (1820—?) — критик, резко выступавший против Петефи; в дни революции держался ультрареволюционером, после поражения революции вкрался в доверие к Кошуту и венгерской эмиграции, был осведомителем австрийской полиции.

Зилахи Карой (1838—11864) — писатель и критик, автор первой на венгерском языке биографии Петефи.

Зрини Илона (1643—1703) — мать Ференца Ракоци II; героиня венгерского народа, в течение трех лет защищавшая крепость Мункач от осаждавших ее габсбургских войск.

Йокаи Мор (Мориц) (1825—1904) — прозаик и поэт, выдающийся представитель венгерского романтизма, придерживался умеренно либеральных взглядов, хотя в молодости, под влиянием Петефи, некоторое время принадлежал к группе наиболее радикально настроенной молодежи.

Казинци Габор (1818—1864) — литератор и политический деятель, сторонник умеренных реформ.

Казинци Ференц (1759—1831) — поэт и прозаик, идейный вождь антиплебейского направления в венгерской литературе, борющийся за высокий стиль в поэзии и чуждавшийся языка простонародья.

Каройи Шандор — военачальник повстанческой армии князя Ференца Ракоци II; в 1711 г. без ведома Ракоци заключил «сатмарский мир» с Габсбургами, предав национально-освободительное движение.

Катона Йожеф (1791—1830) — выдающийся драматург романтической школы.

Керени Фридеш (1822—1852) — поэт, участник национально-освободительной войны; после поражения революции эмигрировал в США, где в состоянии душевного расстройства покончил с собой.

Кёлчеи Ференц (1790—1838) — поэт, критик, политический деятель.

Киш Эрнё (1800—1849) — генерал национально-освободительной армии; бывший полковник императорской армии, перешедший на сторону революции осенью 1848 г.; казнен в числе 13 генералов-гонимых.

Кишфалуди Карой (1788—1830) — драматург и поэт, глава романтической школы в венгерской литературе.

Кишфалуди Шандор (1772—1844) — поэт-романтик, старший брат К. Кишфалуди; многие стихи его посвящены теме несчастной любви, другие выражают патриотическую скорбь о печальной судьбе отечества.

Клапка Дёрдь (1820—1892) — генерал национально-освободительной армии, бывший кадровый офицер австрийской армии; в революционных сражениях одержал много побед. Столкновение с Петефи описывал неоднократно, всячески пытаясь обелить себя.

Клаузал Габор (1804—1866) — представитель умеренной дворянской оппозиции; в 1848 г. — активный противник революционной молодежи; в правительстве Баттьани был министром промышленности и земледелия.

Конт Хедерварский Иштван (XV в.) — глава восстания против венгерского короля Жигмонда.

Костолани Дежё (1885—1936) — поэт, прозаик, выдающийся стилист, автор многочисленных исследований по венгерскому языку и стилистике.

Кошут Лайош (1802—1894), — выдающийся политический деятель, руководитель венгерской революции 1848—1849 гг.

Кути Лайош (1813—1864) — салонный писатель, драматург романтической школы.

Лаборфалви Роза (1817—1886) — трагическая актриса пештского Национального театра; в 1848 г. вышла замуж за М. Йокаи; ее заступничество дало Йокаи возможность вернуться к литературной деятельности после поражения революции.

Ламберг Франц Филипп (1791—1848) — граф; в сентябре 1848 г. был назначен представителем императорской власти и командующим австрийской армией в Венгрии; во время переезда из Пешта в Буду, где ему надлежало распустить Национальное собрание, был убит революционно настроенной толпой.

Лаука Густав (1818—1902) — плодовитый и популярный писатель, в его творчестве заметно влияние Э. Сю и В. Гюго; участвовал в революции 1848—1849 гг.

Ленкеи Янош (1807—1850) — полковник национально-освободительной армии; к началу революции был ротмистром в австрийской армии; его рота первой «нарушила» присягу, перейдя на сторону революции.

Лисьяи Калман (1823—1863) — популярный поэт, участник революции 1848—1849 гг.

Листи Ласло (1628—1663) — граф, автор известных в XVII в. поэтических произведений; преступник, в течение многих лет тайно погубивший множество жизней.

Мадарас Ласло (1811—1909) и *Мадарас* Йозеф (1814—1915) — радикалы крайне левого направления; возглавляли «Общество равенства».

Мартинович Игнац (1755—1795) — философ и естествоиспытатель, глава заговора так называемых «венгерских якобинцев»; был казнен вместе с четырьмя ближайшими сподвижниками, многие другие участники заговора были заключены в тюрьмы.

Марцали Хенрик (1856—1940) — историк.

Матяш Хуняди (1443—1490) — венгерский король с 1458 г.; чрезвычайно укрепил королевскую власть в противовес венгерским магнатам, способствовал внедрению просветительской культуры в Венгрии.

Мелцль Хуго (1846—1908) — историк литературы, автор ряда трудов о Петефи и его творчестве.

Месарош Лазар (1796—1858) — военный министр в правительстве Баттяни, затем член Комитета защиты отечества; долгое время стоял на позициях лояльности к Габсбургам, выступал за посылку венгерских солдат в Италию, на помощь австрийской армии.

Няри Пал (1806—1871) — представитель умеренной дворянской оппозиции, сторонник примирения с Габсбургами даже в самый разгар национально-освободительной войны.

Оберник Карой (1814—1855) — писатель, драматург.

Орлаи Петрич Шома (1822—1880) — художник, ученик Кульбаха; друг и близкий родственник Петефи.

Пазманди Денеш (1816—1856) — с июля 1848 г. — председатель нижней палаты Национального собрания; сторонник мирного соглашения с Габсбургами; в начале 1849 г., когда австрийские войска заняли Пешт, не покинул столицу вместе с революционным

правительством и сдался на милость победителей, за что был лишен депутатского мандата.

Пак Альберт (1823—1867) — писатель, юрист, член «Общества десяти».

Палфи Альберт (1820—1897) — писатель, идеолог наиболее радикального направления венгерской революции 1848—1849 гг.

Палфи Мориц (1812—1897) — подполковник габсбургской армии, консервативный политический деятель, в начале 40-х гг. — наместник Венгрии.

Пап Эндре (1817—1851) — поэт, близкий друг Петефи.

Перцель Мориц (Мор) (1811—1899) — генерал, один из главных военачальников национально-освободительной армии; считал себя несправедливо обойденным, что сделало его врагом Кошута, особенно в эмиграции.

Помпери Янош (1819—1884) — писатель и журналист, особенно популярный в 40-х гг. XIX в.

Ракоци Ференц II (1676—1735) — эрдейский князь, вождь антигабсбургского национально-освободительного восстания 1703—1711 гг. После поражения восстания жил в эмиграции, сначала в Париже, затем в Турции.

Ришко Игнац (1812—1890) — поэт, депутат Национального собрания в 1848—1849 гг.; после поражения революции отбывал наказание в тюрьме.

Рожса Шандор (1813—1878) — знаменитый бетяр-разбойник, герой многочисленных народных легенд и литературных произведений; героически сражался в рядах национально-освободительной армии.

Салаи Ласло (1813—1864) — либеральный публицист и историк, политический деятель «эпохи реформ».

Себерени Лайош (1820—1875) — литератор, автор трудов по педагогике и теологии.

Семере Берталан (1812—1869) — в 1848 г. министр внутренних дел в правительстве Баттяни; после детронизации Габсбургов, с мая по сентябрь 1848 г. — глава правительства. После поражения революции жил в эмиграции, был заочно присужден к смертной казни.

Сечени Иштван (1791—1860) — глава умеренной дворянской оппозиции Габсбургам в «эпоху реформ»; в правительстве Баттяни был министром путей сообщения.

Сиглигети Эде (1814—1878) — популярный и плодовитый драматург.

Силади Иштван (1819—1897) — писатель и лингвист, друг Я. Араня; в начале 40-х гг. был директором школы в Надьсалонте (родина Араня).

Сонтаг Пал (1820—1904) — деятель дворянской оппозиции «эпохи реформ»; в 1848 г. служил в Вене; по обвинению в содействии побегу из Вены Бема был осужден на двухлетнее тюремное заключение.

Танчич Михай (1799—1884) — политический деятель, писатель, публицист, самый радикально настроенный участник революции 1848—1849 гг.

Таркани Бела Йожеф (1821—1886) — эгерский священник и поэт, начавший печататься в 40-х гг. XIX в.

Телеки Адам (1789—1851) — полковник императорской армии, сражался в венгерских революционных войсках в чине генерала; в сентябре 1848 г. уклонился от сражения с армией Елачича и вскоре оставил службу в гонведской армии.

Телеки Шандор (1821—1892) — граф, писатель-мемуарист и общественный деятель, участник ряда освободительных движений в Европе.

Тёкёли Имре (1657—1705) — владетельный эрдейский князь, глава антигабсбургского восстания 1678—1685 гг.

Толди Ференц (1805—1875) — первый создатель истории венгерской литературы, соратник Вёрёшмарти и Байзы (до 1847 г. писал под собственной фамилией Шедель).

Томпа Михай (1817—1868) — поэт, соратник Петефи.

Фазекаш Михай (1766—1828) — поэт так называемой дебреценской школы, представлявшей в венгерской литературе конца XVIII — начала XIX вв. наиболее демократическую струю.

Хазуха Ференц (1815—1851) — посредственный литератор.

Хеллебрандт Арпад (1855—1925) — профессор, автор значительных библиографических трудов.

Хиадор (псевдоним Ямбора Пала, 1821—1897) — салонный стихотворец.

Хорват Михай (1809—1878) — историк; участник революции 1848—1849 гг., министр просвещения и религии в революционном правительстве Семере.

Хуняди Янош (1407—1456) — выдающийся военачальник, прославившийся победами над турками, отец короля Матяша.

Часар Ференц (1807—1858) — поэт-просветитель, родоначальник и глава дебреценской школы.

Чоконаи Витез Михай (1773—1805) — выдающийся поэт-просветитель, первым приблизившийся в «высокой» поэзии к народной венгерской песне.

Шаламон Ференц (1825—1892) — историк и эстетик; участник национально-освободительной войны 1848—1849 гг.

Шуйански Антал (1815—1906) — католический священник и поэт.

Эрдейи Янош (1814—1868) — поэт, критик, фольклорист, автор трудов по философии и эстетике.

Этвёш Йожеф (1813—1871) — писатель, один из крупнейших представителей критического реализма в Венгрии; политический деятель либерального направления.

Дюла Ийеш
ШАНДОР ПЕТЕФИ

Редактор
Л. Птушкина
Художественный редактор
Г. Масляненко
Техническим редактор
С. Журбицкая
Корректоры
А. Юрьева и Р. Пунга

Сдано в набор 9 III 1972 г. Подписано
в печать 7 VI 1972 г. Бум. тип № 1
Формат 84X108^{1/32}. 16 печ. л. 26,88 усл.
печ. л. 28,72 + 1 вкл. = 28,75 уч.-изд. л.
Тираж 20000 экз. Заказ № 531. Цена
1 р. 52 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Типография изд-ва газ. «Коммунар»,
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 150.



Иштван Петрович, отец поэта



Мария Хруз, мать поэта.



Дом в Кишкёрёше, где родился поэт
Рисунок М. Йокаи.



Шандор Петефи. Литография М. Барабаша



Мор Йокаи. Литография М. Барабаша



Михай Витез Чоконаи.

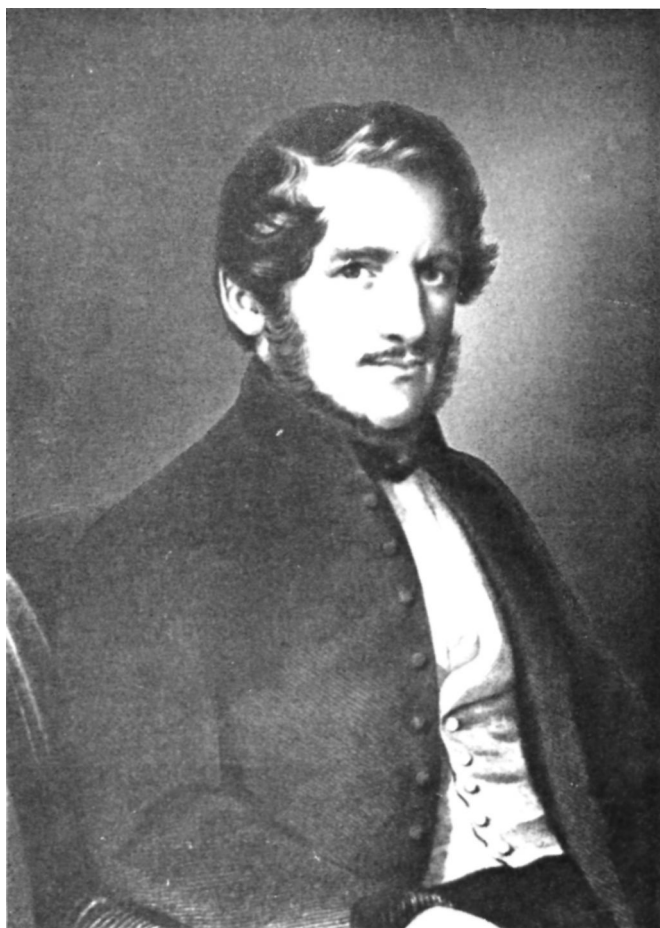


Михай Вёрёшмарти. Литография М. Барабаша.



Lajos Kossuth

Лайош Кошут



Йожеф Байза. Литография М. Барабаша.



Юлия Сендреи. Литография М. Барабаша.



Шандор Петефи. Литография М. Барабаша.



Замок в Эрдеде



Замок графа Телеки в Колто.
Рисунок М. Йокаи



Кафе «Пилвакс».



Янош Арань. Литография М. Барабаша



Михай Томпа. Литография М. Барабаша.



Бени Эгреши.



Пал Вашвари. Литография М. Барабаша.



Шегешварская долина, где погиб Ш. Петефи